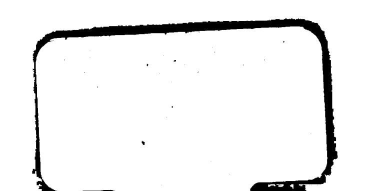


ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ.

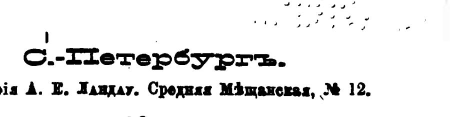
РОМАНЪ

ИЗЪ ПОСЛѢДНЯГО ПОЛЬСКАГО ВОЗСТАНІЯ.

СОЧИНЕНІЕ

Л. О. ЛЕВАНДЫ.





С.-Петербургъ.
Типографія А. Е. Ландау. Средняя Мѣщанская, № 12.
1875.

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ.



Книга первая.

НА ПРАВО ИЛИ НА ЛѢВО?

I.

Раскрываемъ подаренный намъ дневникъ одной еврейской дѣвушки и читаемъ:

20-го іюля 1861 года.

«Сегодня мои имянины; виновата... день моего *рожденія*: у евреевъ вѣдь нѣтъ имянинъ, потому что нѣтъ канонизованныхъ святыхъ. Потому-ли, что мы всѣ должны быть святыми, божіими людьми, или потому—что синагога не признаетъ рожденнаго во грѣхѣ человѣка святымъ?... Мы даже Моисея не празднуемъ! Это странно. Нужно когда нибудь спросить объ этомъ у людей знающихъ.

Родители, по обычаю, подарили мнѣ дорогое платье и еще болѣе дорогой браслетъ. Что имъ и дѣлать-то, если не баловать свою единочку? Мои подруги наслали мнѣ съ полдюжины изящныхъ бездѣлушекъ и поздравительныхъ карточекъ. Мама перебираетъ ихъ, всматривается, любуется ими и пожимаетъ плечами. «Въ наше время,—вѣроятно, думаетъ она,—этого и въ заводѣ не было». «Хорошо, хорошо»,—говоритъ она поминутно. Это означаетъ, что ей очень нравится, что и другіе меня балуютъ.

— Моше, Моше,—подзываетъ она папашу. Что это за фигурки? спрашиваетъ она, указывая на рисунокъ заинтересовавшей ее карточки.

— Это, должно быть, ангелы,—отвѣчаетъ отецъ, бросивъ взглядъ на карточку.

— Ахъ, да, ты правъ, Моше. Это точно ангелы: и крылышки у нихъ золотыя; вѣдь это крылышки?

— Крылышки.

— Я хотѣла-бы только знать, это наши ангелы, или *ихніе*?

— Ангелы, какъ ангелы, что у *нихъ*, что у насъ, отвѣчаетъ отецъ.

— Отчего же они безъ шапокъ?

— А оттого, что это рисовали христіане. Они и нашего учителя Моисея также рисуютъ съ непокрытою головою.

— Такъ, можетъ быть, этихъ фигуръ нельзя держать въ еврейскомъ домѣ?—освѣдомляется моя набожная мама.

— Ничего,—отвѣчаетъ отецъ,— вѣдь это игрушки.

— Стало быть, въ томъ нѣтъ никакого грѣха?

— Никакого; беру это на себя.

— Соня! Соньца! Сонюшка!—кличетъ меня мама.

Нечего дѣлать, нужно идти.

. . . .

Добрая мама! Она всегда предугадываетъ и предупреждаетъ мои желанія.

— Знаешь что, Сонюшка?—начала она, когда я вошла въ залу.

— А что? спросила я.

— А то, что ты должна сегодня пригласить на вечеръ твоихъ подругъ, которыя вспомнили, что ты сегодня имянинница.

Я бросилась цѣловать руки у мамаши.

— Я только-что хотѣла-было просить васъ объ этомъ, сказала я, растроганная предупредительностью моей доброй матушки.

— А что, видишь,—сказала она, торжествуя,—и мы знаемъ новые порядки, даромъ, что старики и не образованы. Правда, въ наше время, евреи имянинъ не справляли: не въ обычаѣ было. Но теперь не то, все на нѣмецкій манеръ пошло. Лучше это или хуже—не намъ разбирать; вѣроятно, такъ Богу угодно, а коли Богу угодно, такъ значитъ исполняй, что приказано. Имянины такъ имянины! Такъ вѣдь, Сонюшка?

— Такъ,—отвѣтила я, удивляясь безхитростному, но практическому взгляду мамаши на *новые порядки*, съ которыми другіе родители какъ я знаю, не такъ легко мирятся.

— Теперь, Сонюшка, ты мнѣ скажи, на сколько персонъ ты разсчитываешь. Я, какъ хозяйка, должна это знать, чтобы распорядиться на счетъ посуды и всего прочаго. Я ужасно не люблю суетиться, когда гости на порогѣ. Въ попыхахъ сама не знаешь, что и дѣлать. Все изъ рукъ валится: то того нѣтъ, то другаго, и подаешь не то и не такъ, какъ слѣдуетъ. Однимъ словомъ, срамъ да и только; а я срамиться не хочу: уже сорокъ лѣтъ хозяйкою, съ Божіею помощью, стало быть, я порядки должна знать. И такъ, душечка, сколько человѣкъ гостей у тебя сегодня будетъ?

— Я думаю, персонъ шесть или семь.

— Это только подруги, а еще кого ты намѣрена пригласить?

— Кого еще приглашать?

— А учителя музыки?

— Ахъ да, я чуть было не забыла про учителя музыки.

— А панну Изабеллу?

— Зачѣмъ панну Изабеллу? Она вѣдь мнѣ уже не гувернантка.

— Ишь, какая ты неблагодарная! упрекнула меня мама. А кто научилъ тебя говорить по французскому? а? забыла? Фи, Соничка, не хорошо забывать старыхъ друзей.

Поддавшись лести хитрой польки, мама считала m-lle Изабеллу нашимъ домашнимъ другомъ; но мнѣ очень хорошо было извѣстно, что m-lle Изабелла въ душѣ ненавидитъ, презираетъ насъ, завидуетъ намъ и въ польскихъ домахъ издѣвается надъ нами, въ особенности же надъ моею доброю матушкою, которую она обворожаетъ своею поддѣльною любезностью. Я не вывожу матушку изъ заблужденія, потому что это глубоко опечалило бы ея добрую, вѣрующую, любящую душу. Поэтому я и теперь согласилась пригласить Изабеллу на вечеръ, хотя мнѣ всегда непріятно встрѣчаться съ нею и принимать ея предательскія лобзанія, на которыя она совсѣмъ не скупа. Не помню, отъ кого я это слышала, что чѣмъ человѣкъ хитрѣе, тѣмъ онъ расточительнѣе въ раздачѣ ничего

ему не стоющихъ ласкъ и любезностей. Должно быть, что это правда.

— Теперь, Соничка,—начала опять мама:—условимся на счетъ угощенія.

— Даже и объ этомъ нужно условиться?—возразила я,— что вы подадите, то и будетъ хорошо.

— Для тебя вѣдь все хорошо,—сказала мама съ укоромъ,— даже ничего не подавай и то хорошо будетъ. Ты вѣдь однѣми книжками да музыкой и живешь. Но я знаю, что есть люди, которые отъ книжекъ и музыки не бываютъ сыты, хоть ты имъ весь свой шкапъ съ книгами отдай.

Мамаша никогда не пропускала случая пожурить меня за мое *легкое* отношеніе къ пищѣ.

— Тебѣ смѣхъ,—сказала мама, замѣтивъ мою улыбку,— а мнѣ совсѣмъ не до смѣху, когда вспомню, какъ ты надъ книжками здоровье твое портишь. На, всмотрись въ зеркало, развѣ такое должно быть лицо у молодой дѣвушки нашего состоянія? Другіе, пожалуй, еще подумаютъ, что мы скряги какіе нибудь, ѣсть тебѣ жалѣемъ.

— Ну, ужъ этого никто не подумаетъ,—успокоивала я маму,—кто не знаетъ, что вашей дочери развѣ птичьяго молока недостаетъ? А что до здоровья, то будьте увѣрены, матушка, что въ этомъ отношеніи могу поспорить съ любою изъ моихъ ровесницъ, которыя толще и румянѣе меня. Но послушаемъ лучше, чѣмъ вы намѣрены подчивать моихъ гостей?

— Чѣмъ я намѣрена угостить?—переспросила мама,—а вотъ чѣмъ: сперва чаемъ, потомъ фруктами и вареньемъ, а потомъ закускою, а на послѣдокъ......

— Чѣмъ еще?—полюбопытствовала я.

— А напослѣдокъ—ничѣмъ—съострила мама, потирая руки отъ удовольствія, что ей удалось озадачить меня на секунду.

— Ну и ладно,—отвѣтила я.

— Ладно то ладно, но я еще не рѣшила на счетъ того, какую закуску подавать, молочную или мясную.

— Не все-ли равно? - замѣтила я.

— Въ томъ то и дѣло, что не все равно,—отвѣтила мама. Пойду посовѣтуюсь съ Ривой.

И она ушла на кухню.

II.

21-го іюля.

Вечеръ вполнѣ удался. Были даже кавалеры: m-lle Изабелла пришла съ своимъ кузеномъ, паномъ Вацлавомъ; Полинька Кранцъ догадалась привести своего брата Адольфа; а учитель музыки, пожертвовавъ своими послѣобѣденными уроками, пришелъ не позже другихъ гостей.

Сначала, какъ водится, было немного скучно. Мужчины не были знакомы другъ съ другомъ, а дамы видимо стѣснялись въ присутствіи m-lle Изабеллы, которой почему-то вздумалось разыгрывать роль grande dame. Она расположилась на диванѣ и оттуда конфузила всѣхъ своими, то испытующими, то покровительственными взглядами. Ироническая улыбка не сходила съ устъ ея. Мэри Тидманъ то и дѣло краснѣла, задыхаясь въ своемъ туго-стянутомъ корсетѣ; Полинька Кранцъ дулась; Анна Израельсонъ металась на своемъ стулѣ, поминутно поправляла на себѣ платье, не зная, куда дѣвать свои руки; а Ревекка Гецель, завладѣвъ медальономъ Сары Темкесъ, такъ впилась въ него глазами, какъ будто она на его эмалевой покрышкѣ, Богъ знаетъ, какія чудеса открыла. Всѣ или молчали, или шопотомъ перекидывались самыми незначительными фразами. Всѣмъ было неловко, тѣмъ болѣе, что ни отъ кого неускользало, что grande dame отъ времени до времени перемигивается съ своимъ кузеномъ и язвительно улыбается. Я, конечно, была внѣ себя; но, не привыкшая принимать гостей, я не знала, что и дѣлать. Притомъ, я была сильно раздражена обидными манерами заносчивой гувернантки, вздумавшей разъигрывать въ еврейскомъ обществѣ роль какой то графини. Заговори я съ нею, какъ мнѣ хотѣлось и какъ она заслужила, она сразу очутилась-бы въ своей настоящей роли; но, уважая гостепріимство и во избѣжаніе скандала, я должна была молчать и, скрѣпя сердце, видѣть, какъ мои добрыя, умныя и образованныя подруги тяготятся неловкимъ положеніемъ, въ которое я ихъ поставила приглашеніемъ въ нашъ кружокъ хитрой польки, вздумавшей импонировать *жидувкамъ* своимъ шляхетскимъ происхожденіемъ. Я мысленно упрекала себя за то, что я не догадалась пригласить Исидора Шапсе-

левича. Какъ человѣкъ свѣтскій, бывалый, обращающійся въ христіанскомъ обществѣ, онъ однимъ присутствіемъ своимъ сдѣлалъ бы невозможнымъ то натянутое положеніе, въ которомъ мы находились, благодаря нашей неопытности, не свѣтскости Адольфа и скромности, почти запуганности, моего учителя музыки.

Я уже думала, что мы такъ и промучимся весь вечеръ, какъ вдругъ дѣла приняли другой, совершенно неожиданный оборотъ. Въ гостиную вошла мама. Поклонившись всѣмъ гостямъ на новый манеръ, т. е. весьма церемонно, она съ сіяющимъ лицомъ и распростертыми объятіями приблизилась къ своему *другу*, m-lle Изабеллѣ.

— Вотъ люблю, — сказала она, крѣпко сжимая протянутыя ей *другомъ* руки. Сонюшка сомнѣвалась, придете-ли вы, а я сказала, что вѣрно придете, не побрезгаете, потому что вы насъ любите, хотя вы ужъ больше не даете у насъ уроковъ. Вѣдь вы насъ любите по прежнему, панна Изабелла?

Теперь уже до панны Изабеллы дошла очередь краснѣть и конфузиться, что она и дѣлала. Привѣтствіе мамаши, въ особенности же фамильярность, съ которою произнесено было это привѣтствіе, сразу показало моимъ подругамъ, кто это grande dame, подъ высокомѣрными взглядами которой онѣ за минуту чувствовали себя такъ нехорошо. Онѣ переглянулись между собою, пожали плечами и улыбнулись, а Полинька Кранцъ чуть не прыснула смѣхомъ.

M-lle Изабелла сидѣла, какъ вкопанная; она такъ растерялась отъ смѣшнаго положенія, въ которое она сама себя поставила, что мнѣ даже жаль ее стало. Она съ особеннымъ усердіемъ стала вертѣть свой зонтикъ, и вертѣла до тѣхъ поръ, пока онъ не сломался. Гости, отъ нечего дѣлать, слѣдили за ея странными движеніями, что ее еще больше конфузило. Она не осмѣливалась поднять глаза, боясь встрѣтиться съ насмѣшливыми взглядами торжествующихъ *жидувекъ*, которымъ она прежде импонировала. Ея замѣшательство не ускользнуло отъ вниманія мамаши.

— Что это съ вами, панна Изабелла?—спросила она съ участіемъ. Вы сегодня какъ будто не въ духѣ. Вы, можетъ быть, нездоровы?

— Голова что-то разболѣлась,—едва слышно проговорила гувернантка задыхаясь отъ волненія.

— Неудивительно, что разболѣлась, — сказала мама, — когда вы разсѣлись и сидите себѣ въ комнатѣ при такой жарѣ. У насъ развѣ сада нѣтъ? Сонюша! Попроси гостей въ садъ. Я прикажу сервировать чай въ павильонѣ. Эдакъ будетъ здоровѣе и веселѣе. Вы, кстати, побѣгаете и покачаетесь на качеляхъ.

Это была счастливая мысль, которой всѣ обрадовались. Въ одну минуту мы уже были въ саду. Очутившись на, такъ назывемомъ, «лонѣ природы», мы почувствовали, какъ будто тяжесть какая-то съ нашихъ плечъ свалилась. Мы повеселѣли и сдѣлались развязнѣе. Мужчины закурили папироски и повели разговоръ между собою, а дамы, взявшись подъ руки, стали гулять по аллеямъ, останавливаясь передъ клумбами цвѣтовъ, и о чемъ-то разсуждая. Полинька Кранцъ, по обыкновенію, защебатала, какъ беззаботная птичка. M-lle Изабелла, которая уже успѣла оправиться отъ своего замѣшательства, подцѣпивъ меня подъ руку, зашагала со мною по большой аллеѣ и стала распрашивать меня о моихъ подругахъ.

— Онѣ воспитанныя?—спросила она.

— Нѣкоторыя изъ нихъ даже очень образованныя дѣвушки,— отвѣтила я.

— Вотъ какъ!—воскликнула она удивленно и какъ будто не вѣря моимъ словамъ.—Это любопытно. Гдѣ онѣ обучались?

— Однѣ въ пансіонахъ, а другія дома.

— Кто эта стройная блондинка, что въ шелковомъ платьѣ?

— Мэри Тидманъ.

— Знаешь что? Она совсѣмъ не похожа на.... на.... затруднялась гувернантка.

— На жидовку?—подхватила я.

— На старозаконную, - поправила гувернантка.

— Она вамъ нравится?

— Да. Elle a un air si distingué. Гдѣ она получила эту выправку?

— Въ Ригѣ.

— Между нѣмцами?—спросила гувернантка, изумляясь. Развѣ у нѣмцевъ такія хорошія школы?

— Лучшія, чѣмъ наши.

Гувернантка закусила губы и съ минуту молчала.

— Знаешь что, Зося,—начала она потомъ,—если-бы я была мужчиной, то я бы остерегалась влюбиться въ твою Мэри.

— Почему такъ?

— Потому-что она кажется мнѣ очень гордою, недоступною, что называется—съ каменнымъ сердцемъ.

— Она собственно не горда, а только серьезна; но сердце у нея доброе и даже очень чувствительное.

— А мнѣ такъ кажется, что твоя рижанка принадлежитъ къ тѣмъ Маріямъ, на одну изъ которыхъ Мицкевичъ жаловался:

Maryla słodkie miłosci wyrazy
Dzieliła skapo w rachubie,
Choc jej kto k o c h a m mówil po sto razy,
Nie rzekła nawet lubię.

Едва гувернантка окончила эту цитату, какъ мы услышали за собою чьи-то шаги. Мы обернулись: передъ нами стоялъ панъ Вацлавъ.

— Такъ и есть, началъ онъ немного конфузясь, но довольно развязно. Гдѣ только моя любезная кузина, тамъ уже miłosc тутъ какъ тутъ. Панна Изабелла и miłosc — это двѣ родныя сестры.

— А панъ Вацлавъ и zuchwalstwo—два родные брата, — отшучивалась гувернантка, устремляя на своего развязнаго кузена взгляды, полные самой нѣжной дружбы.

— Что жъ, — продолжалъ молодой человѣкъ весело, — zuchwalstwo—это наша добродѣтель, нашъ національный характеръ, которымъ мы можемъ гордиться. Что говоритъ Нѣмцевичъ?

Nie zniży Polak przed obcymi czoła,
Póki ma oręz, odwagę!......

— Т-съ!—воскликнула гувернантка грозно, поднявъ руку, чтобы зажать ротъ своему смѣльчаку-кузену. Ты развѣ хочешь прогуляться туда, гдѣ отецъ твой, swiętej pamieci, сложилъ свои кости?

— Что-жъ,—отвѣтилъ Вацлавъ, покручивая свои усики,— когда нужно будетъ сложить кости, такъ и сложу, за этимъ дѣло не станетъ. Развѣ я не такой же честный полякъ, какъ мой отецъ?

Безпокойство Изабеллы возрастало.

— Слушай, Вацлавъ,—сказала она въ сердцахъ:—ты еще совершенное дитя. Именемъ праха твоего отца-мученника заклинаю тебя, не играть съ огнемъ. Развѣ *здѣсь* мѣсто говорить о нашей святой справѣ?

— Надѣюсь, что мы не у шпіоновъ какихъ нибудь, — отвѣтилъ Вацлавъ, бросивъ на меня взглядъ, отъ котораго я невольно затрепетала.—Развѣ панна Софія не такая же полька, какъ ты? Она вѣдь вскормлена тою же литовскою землею, какъ мы; стало быть, она—наша. При томъ, она твоя воспитанница, слѣдовательно, она стократъ наша. Панна Софія! — воскликнулъ Вацлавъ восторженно, ловко опустившись предо мною на одно колѣно,—благоволите принять hold отъ вашего брата съ тою искренностью, съ которою онъ вамъ его подноситъ.

И, схвативъ мою правую руку, онъ крѣпко ее пожалъ и поцѣловалъ.

Я чуть не пошатнулась отъ этой неожиданной патетической сцены. M-lle Изабелла также вспыхнула. Я чувствовала, что нервическая дрожь пробѣжала по ея тѣлу. Она высвободила свою руку и приблизилась къ своему кузену, который всталъ и выпрямился. Онъ смѣло смотрѣлъ мнѣ въ глаза и молчалъ, ожидая моего отвѣта. Я молчала, не зная, что отвѣчать. Она молчала, потому что она тоже растерялась. Наше положеніе было странное и въ высшей степени неловкое. Богъ знаетъ, сколько оно продолжалось-бы, если-бы не наша горничная Анеля, которая въ эту минуту подошла къ намъ и объявила, что чай уже сервированъ.

Мы вошли въ павильонъ. Всѣ гости уже были тамъ, и ожидали насъ. Мама хозяйничала. Гости были заняты собою, а потому они не замѣтили нашего замѣшательства, которое легко можно было прочитать на нашихъ лицахъ. Мы, впрочемъ, вскорѣ оправились. Вацлавъ, съ свойственною ему развязностью, повелъ разговоръ съ Полиною, сидѣвшею съ нимъ рядомъ, и съ Мэри, находившейся съ нимъ vis-à-vis. Онъ должно быть острилъ, потому что Полина хохотала, а Мэри улыбалась. Я заняла мѣсто между Адольфомъ и учителемъ музыки, дабы быть защищенной отъ всегда непріятнаго

для меня интимнаго разговора съ Изабеллой.. Я имѣла удовольствіе замѣтить, что мои гости, по крайней мѣрѣ, не скучаютъ.

Разговоръ, мало по малу, сдѣлался общимъ; каждый имѣлъ случай вставлять свое слово. Но лучше и больше всѣхъ говорили Вацлавъ и Полинька, которые, казалось, старались перещеголять другъ друга въ остроуміи. Вацлавъ ловко нападалъ, а Полинька еще ловчѣе защищалась. Гости хохотали и кричали браво, поддерживая то ту, то другую сторону. Было весело. Даже Адольфъ, разставшись съ своею обычною хандрою, былъ веселъ, смѣялся. Состязаніе его бойкой сестрицы съ польскимъ говоруномъ его почему-то особенно заинтересовало и каждый разъ, когда оно угрожало прекратиться, онъ умѣлъ вставлять такое слово, которое давало новую пищу этому состязанію. Только Мэри почему-то была разсѣяна и даже грустна. Въ разговорѣ она меньше всѣхъ участвовала, меньше всѣхъ и смѣялась. Неужели между нею и Адольфомъ произошла какая-то размолвка?....

Кто-то идетъ ко мнѣ. Окончу завтра...

III.

22-го Іюля.

«Послѣ чаю, рѣшено было пойти къ качелямъ и провести тамъ время до самыхъ сумерекъ. На дорогѣ туда я какъ то незамѣтно опять очутилась между Изабеллою и Вацлавомъ.

— Замѣчательная дѣвушка эта m-lle Полина,—сказалъ Вацлавъ весьма серьезно.—Она истинная находка для нашего дѣла.

— Какъ-такъ?—спросила я машинально, избѣгая вопроса о самомъ *дѣлѣ*, познакомиться съ которымъ мнѣ почему-то не хотѣлось.

— Она въ состояніи воспламенить полсотню юношей, которые по ея мановенію полѣзутъ въ огонь и въ воду.

— Ты, пожалуйста, не преувеличивай, — вставила Изабелла, которой, видно, не понравилось восторженное мнѣніе ея кузена о какой нибудь еврейской дѣвушкѣ.—M-lle Полина — дѣвушка ничего себѣ и только. Какая она для насъ находка— я рѣшительно не понимаю.

— Но я понимаю, что говорю, — отвѣтилъ Вацлавъ почти сердито и замолчалъ

— Какіе мы ослы!—началъ онъ потомъ, ни къ кому изъ насъ не обращаясь,—подъ самымъ носомъ имѣемъ такія сокровища: умъ, деньги, азіатскую кровь, желѣзный характеръ, и не умѣемъ пользоваться! Странные мы люди.... Изабелла—обратился онъ вдругъ къ гувернанткѣ,—я.... мы тобою недовольны. Замѣть себѣ это. Мы послѣ объ этомъ поговоримъ..

Мы подошли къ качелямъ. Полинька Кранцъ уже качалась со всего розмаху. Ея локоны и платье развѣвались по воздуху, потому-что она качалась стоя и съ возрастающею горячностью. Прочіе гости слѣдили за нею съ удивленіемъ и страхомъ.

— Осторожно, бѣшенная!—кричалъ ей Адольфъ; но она отвѣчала ему звонкимъ хохотомъ, еще больше увеличивая описываемую ею дугу.

— Браво, m-lle Полина,—поощрялъ ее Вацлавъ, восторженно апплодируя. En avant! En avant! Молодецъ - панна!

Въ оправданіе хорошаго о ней мнѣнія Вацлава, Полина подбоченилась и стала качаться, держась за веревку только одною рукою. Она была восхитительна въ этой позѣ. Даже Изабелла не могла воздержаться, чтобы не сказать:

— Настоящая вакханка!

— Божество!—воскликнулъ восторженный Вацлавъ.

Адольфъ сталъ безпокоиться не на шутку.

— Г. Прачевскій!—обратился онъ къ учителю музыки,—сдѣлайте одолженіе, помогите мнѣ зацѣпить качель. Съ нею иначе нельзя.

Адольфъ и Прачевскій уже хотѣли было взяться за дѣло, но Полина, замѣтивъ ихъ намѣреніе, закричала имъ съ качели:

— Прочь! если дотронетесь до качели, то я совсѣмъ выпущу веревку.

Полина способна была и на это, а потому Адольфъ отсталъ отъ своего намѣренія.

Но тутъ вмѣшалась Мэри, которая имѣла большое вліяніе на свою подругу.

— Полина!—скомандовала она строго,—будетъ тебѣ качаться, дай покачаться и другимъ.

— Сію минуту,—отвѣтила Полина. Зацѣпите!—прибавила она потомъ и уже хотѣла спрыгнуть съ качели.

— Постой, чертенокъ! закричалъ ей Адольфъ. Не торопись. Ты никакъ хочешь шею себѣ сломать.

— Такія бравыя дѣвушки, какъ m-lle Полина, не сломаютъ себѣ шеи,—замѣтилъ Вацлавъ,—ихъ бережетъ Господь Богъ.

Качались поочередно всѣ. Послѣ качанья, мы немножко отдохнули, освѣжились вареньемъ, а потомъ начали играть въ фанты. Крику, смѣху было довольно. Всѣ были веселы, даже Адольфъ. Игры такъ сблизили всѣхъ, что гости стали обращаться другъ съ другомъ весьма фамильярно, какъ будто они уже нѣсколько лѣтъ знакомы были между собою. Я была очень рада, что мои гости не скучаютъ. Я этому особенно обязана была неистощимой веселости и находчивости Полины, которая никому не давала задумываться. Она подскакивала то къ тому, то къ другому, шалила, проказничала. Она расшевелила не только Адольфа и Мэри, но даже г. Прачевскаго, этого бѣднаго труженника, всегда боровшагося съ нуждою, а потому всегда угрюмаго; за него я ей была особенно благодарна.

Когда смерклось, мы возвратились въ залъ. Лампы уже были зажжены. Предложено было музыцировать. Всѣ изъ вѣжливости обратились къ m-lle Изабеллѣ, какъ къ самой старшей изъ дамъ. Она поломалась немного, — безъ этого вѣдь нельзя,—а потомъ подсѣла къ роялю. Взявъ нѣсколько аккордовъ, она—какъ это ей не стыдно было, — заиграла La prière d'une vierge, эту вѣчно скучную и вѣчно приторную пьесу, отъ которой всѣ польки почему-то безъ ума. Даже Вацлавъ поморщился на свою кузину. Окончивъ *молитву*, за которую ее изъ вѣжливости поблагодарили, она заиграла полонезъ изъ оперы «Halka». M-lle Изабелла, по своей крайней односторонности, знала или признавала только двухъ поэтовъ: Мицкевича изъ мужчинъ и импровизаторку Деотиму изъ женщинъ, и двухъ композиторовъ: Монюшко изъ мужчинъ и Бондаржевкую изъ женщинъ. Поэтовъ и композиторовъ всѣхъ прочихъ народовъ она упорно игнорировала. Только за Байрономъ она признавала нѣкоторыя достоинства, и то только потому, что его *удостоилъ* переводить Одынецъ. Она утверждала, а можетъ быть и была убѣждена, что Байронъ въ под-

линникѣ слабѣе, чѣмъ въ польскомъ переводѣ. Эту свою односторонность и нетерпимость она старалась развить и во мнѣ, но это ей не удалось.

За m-lle Изабеллой къ роялю подсѣла Мэри и мы услышали *музыку*: она съиграла одну бетховенскую сонату и одну изъ мендельсоновскихъ «пѣсень», вызвавшія громкіе и искренніе аплодисменты; она играла мастерски.

— А панна Полина ничѣмъ насъ не угоститъ? — спросилъ Вацлавъ, когда Мэри отошла отъ рояля.

Полина спѣла два нѣмецкихъ романса, заслужившіе неподдѣльныя одобренія *публики*. Я ей акомпанировала.

За музыкой послѣдовали танцы, которые еще больше развеселили и оживили гостей. Кадрили чередовались съ польками и вальсами. Вацлавъ былъ неутомимъ. Онъ перетанцовалъ со всѣми, но Полину онъ почти не выпускалъ изъ рукъ; она тоже казалась неутомимою.

Праздникъ заключился не легкою закускою, какъ предполагала мама, а формальнымъ ужиномъ. Вацлавъ произнесъ великолѣпный тостъ въ честь еврейской молодежи вообще и еврейской женщины въ особенности. Адольфъ же, поблагодаривъ его отъ имени еврейской молодежи, провозгласилъ тостъ за примиреніе націй.

— Неужели всѣхъ?—спросилъ Вацлавъ.

— Всѣхъ,—отвѣтилъ Адольфъ.

— Но, милостивый государь,—возразилъ Вацлавъ съ воодушевленіемъ,—есть народы, съ которыми миръ невозможенъ.

— Я такихъ народовъ не знаю, — спокойно отвѣтилъ Адольфъ.

— Стало быть—вы космополитъ?

— Да.

— И я тоже,—бухнула съумасшедшая Полина, кстати прервавъ объясненіе молодыхъ людей,—я тоже космополитъ. Люблю всѣхъ людей, въ особенности нескучныхъ, веселыхъ. Люблю даже моего брата, который часто наводитъ на меня тоску своею серьезностью. И такъ, mes-dames и messieurs, провозгласила она, поднявъ свой бокалъ,—за здравіе веселыхъ людей всѣхъ націй и племенъ—ура!!

Смѣхъ самый веселый былъ отвѣтомъ на этотъ оригиналь-

ный тостъ. Я хотѣла расцаловать Полину; своимъ вмѣшательствомъ она весьма кстати предупредила объясненіе, которое угрожало принять слишкомъ серьезный оборотъ. Вацлавъ, немножко разгоряченчый виномъ, не стѣснялся бы нашимъ присутствіемъ; Адольфъ, по обыкновенію, былъ-бы колокъ и ядовитъ: такимъ образомъ скандалъ былъ очень возможенъ. Но слава Богу, до этого не дошло. Гости разстались между собою въ самомъ веселомъ расположеніи духа и при самыхъ теплыхъ выраженіяхъ взаимнаго уваженія.

IV.

27 Іюля.

«Я совсѣмъ не ожидала, что сцена въ саду съ Вацлавомъ такъ глубоко засядетъ въ мою голову. Слова: «развѣ панна Софія не такая же полька, какъ ты»?— вотъ уже нѣсколько дней не выходятъ изъ моей памяти.

Что я, въ самомъ дѣлѣ, такое?—Полька?—Воспитаніе получила я преимущественно польское. Обучалась я въ польскомъ пансіонѣ. Мои гувернантки были польки. Люблю польскую литературу, фондъ моей библіотеки составляютъ польскія книги, пишу этотъ дневникъ тоже по польски. Но я чувствую, что между мною и полькою—цѣлая бездна; я всегда чувствовала, что полька смотритъ на меня, какъ на *жидувку*, а я смотрю на польку съ чувствомъ человѣка презираемаго на человѣка презирающаго, т. е. съ затаенною злобою. Я никогда не отдавала себѣ отчета въ этомъ чувствѣ, но оно тѣмъ не менѣе существовало и существуетъ. Случалось мнѣ иногда забываться въ польскомъ обществѣ, т. е. думать и даже чувствовать, что я и *они*—одно и тоже, тѣмъ болѣе, что я была вся проникнута *ихъ* интеллигенціею и произведенія польской литературы понимала не только не хуже, но даже лучше многихъ родовитыхъ полекъ; но достаточно было одного слова, сказаннаго, повидимому, безъ всякаго злаго умысла кѣмъ нибудь изъ *родовитыхъ*, достаточно было одного брошеннаго на меня взгляда, одного лестнаго, но въ сущности безтактнаго комплимента, чтобы я очнулась отъ моего минутнаго забытья, чтобы я почувствовала, конечно съ болью въ сердцѣ, что я одно, а они—совсѣмъ другое, что я, какъ

евреи выражаются, пляшу на чужой свадьбѣ. Нѣтъ, я не полька, никогда полькою и не буду!

Что же я,—Нѣмка? Но это ужъ ровно не имѣетъ никакого смысла. Живемъ мы совсѣмъ не на нѣмецкой землѣ; все насъ окружающее не имѣетъ ничего общаго съ нѣмецкимъ. Я знаю нѣмецкій языкъ, нѣмецкую литературу, но это еще не дѣлаетъ меня нѣмкою, точно такъ, какъ если бы я знала китайскій языкъ, я бы отъ этого не стала китаянкою. Мнѣ смѣшны Жюль Перецъ, изучившій французскій языкъ и воображающій себя поэтому французомъ, и Джонъ Берковичъ, изучившій англійскій языкъ и корчащій изъ себя кровнаго англичанина. Г. Перецъ и г. Берковичъ, можетъ быть, и хорошіе учителя французскаго и англійскаго языковъ, но какіе же они французы и англичане? Точно также и мнѣ, хоть и знающей нѣмецкій языкъ, трудно воображать себя нѣмкою. Корчить же изъ себя таковую — глупо и смѣшно. Я всегда удивляюсь тѣмъ образованнымъ еврейскимъ семействамъ, которыя всю свою домашнюю жизнь поставили на нѣмецкую ногу. Съ какой стати они на литовской землѣ образуютъ изъ себя какую то нѣмецкую колонію? Винить ихъ, конечно, нельзя; этому, вѣроятно, были и есть причины и, можетъ быть, очень важныя, законныя. Но ихъ положеніе тѣмъ не менѣе фальшиво и подчасъ даже комично.

Стало быть, что же, я—Еврейка?—Безъ сомнѣнія. Но смыслъ этого слова съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе съуживается. За-границей, говорятъ, это слово обозначаетъ уже только вѣроисповѣданіе. Тоже самое со временемъ, вѣроятно, будетъ и у насъ. Но вѣдь вѣроисповѣданіе есть только часть жизни, а не вся жизнь. Моя мать, напримѣръ, Еврейка, полная, цѣлая Еврейка: по вѣрѣ, понятіямъ, привычкамъ, чувствамъ, надеждамъ и стремленіямъ, а я уже только на половину, или даже только на четверть Еврейка. Что же я въ остальныхъ трехъ четвертяхъ моего существа? Этотъ вопросъ задаютъ себѣ, вѣроятно, многія изъ подобныхъ мнѣ еврейскихъ женщинъ. Мы чувствуемъ, что еврейская почва все болѣе и болѣе съуживается подъ нашими ногами, мы чувствуемъ, что намъ становится уже тѣсно и неудобно на этой почвѣ. Дойдетъ, вѣроятно, до

того, что намъ уже невозможно будетъ держаться на ней. Къ кому же примкнуть?

И примыкаемъ мы каждый какъ Богъ дастъ: одинъ къ одной народности, другой къ другой. Мэри преимущественно Нѣмка, я преимущественно Полька, Перецъ—Французъ, Берковичъ—Англичанинъ. Дѣти одного племени, одного города распредѣлились по разнымъ народностямъ. И все это произошло случайно. Мэри случайно попала въ Ригу, и вышла изъ нея Нѣмка, я случайно попала въ польскій пансіонъ, и вышла изъ меня Полька, Перецъ вѣроятно случайно попалъ на хорошій учебникъ французскаго языка, и показалось ему, что легко сдѣлаться Французомъ, а Берковичъ такъ и говоритъ, что Робертсонъ и The Vicar of Waekfield сдѣлали его englishman'омъ.

Положеніе странное, ненормальное, фальшивое и непріятное. Анализируя свои чувства, я нахожу, что изъ всего польскаго люблю только польскую литературу, все же прочее мнѣ чуждо. Я равнодушна къ полякамъ, ихъ судьбѣ, ихъ интересамъ и ихъ ойчизнѣ. Кто этому виноватъ, — я ли, что не умѣю любить Польшу, или они, что не умѣли внушить мнѣ этой любви? Довольно того, что мнѣ очень грустно задавать себѣ вопросъ: «что я такое?» и не находить въ сердцѣ своемъ прямаго на него отвѣта.

Какъ счастливы были наши матери, что не задавали себѣ такихъ вопросовъ и не ломали себѣ голову надъ ихъ разрѣшеніемъ. Онѣ знали, что онѣ еврейки, и этого было съ нихъ довольно...

V.

30-го іюля.

Мучимая неотвязчивымъ вопросомъ: «что я такое?», я вчера отправилась къ моей Мэри, чтобы вмѣстѣ съ нею пофилософствовать о противорѣчіяхъ, на которыя я такъ неожиданно наткнулась. Мэри—единственная изъ моихъ подругъ, съ которою можно поговорить серьезно и откровенно. Я разсчитывала, что заинтересовавшій меня вопросъ заинтересуетъ и ее.

Я нашла Мэри очень грустною, почти разстроенною. Она

мнѣ обрадовалась, но въ тоже время видно было, что мое присутствіе стѣсняетъ ее.

— Что съ тобою, Мэри?—спросила я.

— Ничего,—отвѣтила она, сконфузившись; мы вскорѣ разстанемся.

— Какъ такъ?—спросила я удивленно.

— Уѣзжаю въ Г*, къ теткѣ.

— На долго?

— Можетъ быть—на всегда.

— Почему такъ?

— Такъ нужно.

Я не смѣла больше разспрашивать ее о причинѣ ея внезапнаго отъѣзда. Изъ ея отрывистаго отвѣта я поняла, что тутъ кроется какое нибудь семейное обстоятельство, съ которымъ она не *можетъ* или не *должна* меня познакомить. Мы сидѣли грустныя и долго молчали.

— Адольфъ знаетъ, что ты уѣзжаешь?—рѣшилась я, наконецъ, спросить Мэри.

— Разумѣется,—отвѣтила она съ едва слышнымъ вздохомъ.

— Что же онъ?

— Онъ?..... Онъ благородный человѣкъ,—сказала она, и горько улыбнулась.

— Что означаетъ твоя улыбка? спросила я, предчувствуя что-то недоброе.

— Моя улыбка означаетъ,— отвѣтила она спокойно, но съ горечью,—что мы ужасныя дуры, когда мы думаемъ, что въ нашемъ народѣ тоже возможно то, что весь міръ называетъ любовью.

— Что случилось?

— Ничего особеннаго. Адольфъ возвратилъ мнѣ мое слово.

— Это съ какой стати?

— Онъ мнѣ объяснилъ. Онъ мнѣ сказалъ: такъ-какъ ты уѣзжаешь на неопредѣленное время, а я не могу даже приблизительно опредѣлить время, когда мнѣ возможно будетъ устроиться, какъ мнѣ хочется, то считаю своимъ долгомъ освободить тебя отъ даннаго слова. Если тѣмъ временемъ тебѣ представится хорошая партія, такъ ты... не стѣсняйся. Я въ претензіи не буду.

— Стало быть — онъ...

— Онъ меня не любитъ? перебила меня Мэри. Онъ говоритъ, что онъ всегда любилъ и вѣчно будетъ любить меня. И именно потому, что онъ такъ искренно любитъ меня, онъ не долженъ препятствовать моему счастію. Какъ тебѣ нравятся эти софизмы? Нѣтъ, Sophie, говори что хочешь, а мы, Евреи, созданы по совершенно другому образцу. Тамъ, гдѣ прочіе люди чувствуютъ, мы только разсуждаемъ, разсчитываемъ. Люди любятъ сердцемъ, а мы умомъ. Мѣсто пламеннаго чувства у насъ заступаетъ вѣрно-разсчитанная комбинація. Я до сихъ поръ думала, что съ Адольфомъ меня связываетъ любовь, та любовь, которая такъ великолѣпно описывается въ романахъ и которую мы такъ часто встрѣчаемъ въ христіанскомъ обществѣ. Теперь я вижу и вполнѣ убѣждена, что насъ связывалъ только расчетъ, самый холодный, самый коммерческій. И какъ это намъ несовѣстно было называть обыкновенную коммерческую сдѣлку такимъ именемъ, съ которымъ человѣчество связываетъ самыя возвышенныя понятія?

— Ты на себя клевещешь, Мэри — возразила я, испугавшись страннаго направленія ея мыслей.

— Нѣтъ, не клевещу, а говорю правду, святую правду, — отвѣтила она, воспламеняясь. — Я тебѣ сейчасъ это докажу логически, фактически, какъ дважды-два. Послушай, ты знаешь Мозырскаго?

— Знаю.

— Хорошо-ли его знаешь?

— Кажется, что хорошо.

— Стало быть, тебѣ извѣстно, что онъ, самъ по себѣ, не только не хуже, но даже въ десять разъ лучше Адольфа. Онъ не дуренъ собою, уменъ, образованъ, честенъ, благороденъ, трудолюбивъ, однимъ словомъ, очень достойный молодой человѣкъ. Однакожь я, что называется, влюбилась не въ него, а въ Адольфа. Отчего это такъ случилось, Sophie? Какъ ты думаешь?

— Ты странные задаешь вопросы, Мэри, — отвѣтила я, пожимая плечами. Развѣ можно отвѣчать на такіе вопросы?

— Можно. Я сейчасъ тебѣ объясню. Дѣло, видишь-ли, въ томъ, что Мозырскій, при всѣхъ своихъ отличныхъ качест-

вахъ, не болѣе, какъ бѣдный еврейскій учитель. Карьеры на педагогическомъ поприщѣ не предстоитъ ему никакой. Онъ можетъ трудиться, существовать безбѣдно—и только. Но безбѣдное, хоть и честное существованіе насъ не удовлетворяетъ. Намъ нуженъ блескъ, нужна роскошь. И вотъ, по моему разсчету вышло, т. е. собственно я не разсчитывала, но инстинктъ шепнулъ мнѣ, что честный, трудолюбивый, но бѣдный Мозырскій—мнѣ не пара, а потому любить его—не выгодно. Я влюбилась въ Адольфа. Онъ хотя и во многомъ уступаетъ Мозырскому, но за то онъ изъ хорошей фамиліи, богатъ, имѣетъ связи, словомъ—партія приличная. Адольфъ же, съ своей стороны, тоже имѣлъ свой разсчетъ. Я изъ хорошей фамиліи, имѣю десять тысячъ приданаго, буду, можетъ быть, наслѣдницей моей богатой бездѣтной тетки въ Г*. Какъ же меня не любить? Но мнѣ любопытно было бы знать, какъ Адольфъ отвѣчалъ бы на любовь, положимъ.. хоть Сарры Темкесъ, дѣвушки достойной, прекрасной, но неимѣющей десяти тысячъ приданаго и богатой тетки въ запасѣ. Я, впрочемъ, вполнѣ убѣждена, что Адольфъ не можетъ любить такого *субъекта*!...

— Софизмы! Софизмы! — воскликнула я, разсерженная циническимъ резонерствомъ Мэри.—Ты клевещешь на себя, на Адольфа, на всѣхъ насъ. Развѣ у насъ сердца нѣтъ? Развѣ мы не чувствуемъ, какъ всѣ люди чувствуютъ? Ты уже забыла слова J am a Jew Шейлока, которыми мы всегда восхищались? Что бы ни было причиною вашего разрыва, вы другъ друга любили какъ слѣдуетъ. Не знаю, чтó между вами произошло...

— Со временемъ узнаешь,—перебила меня Мэри.

— Все равно. Не знаю, чтò заставило Адольфа возвратить тебѣ твое слово; знаю только, что онъ тебя любилъ, какъ любятъ всѣ молодые люди нашего времени, не хуже какого нибудь Поляка, Нѣмца, Француза. Ты раздражена...

— Нисколько.

— И твое раздраженіе вполнѣ понятно и законно; но зачѣмъ топтать въ грязь себя и чувство, которое само по себѣ священно, возвышенно?

— Ошибаешься, другъ мой, — отвѣтила Мэри спокойно, но твердо,—ошибаешься, какъ я сама ошибалась. Если бы

мы другъ друга любили, то мы развѣ такъ легко переносили бы нашъ разрывъ? Мнѣ, конечно, досадно, Адольфу, вѣроятно, тоже досадно; но эта досада имѣетъ характеръ досады купцовъ на неудавшееся торговое предпріятіе. Развѣ два любящія сердца только досадуютъ, когда обстоятельства ихъ разлучаютъ? Въ доказательство, что память о моемъ романѣ мнѣ нисколько не дорога...

Она быстро вскочила, подбѣжала къ столу, выдвинула ящикъ и вынула изъ него пачку писемъ. Угадавъ ея намѣреніе, я подскочила къ ней и схватила ее за руки.

— Что ты хочешь сдѣлать, сумасшедшая?—воскликнула я, трясясь отъ волненія.—Опомнись! Ты послѣ будешь жалѣть, а будетъ поздно.

Она вырвалась изъ моихъ рукъ, отскочила въ уголъ и стала рвать письма Адольфа на мелкіе клочки. Я упала на кушетку и закрыла лицо руками: мнѣ въ эту минуту страшно было смотрѣть на Мэри, которая казалась мнѣ бездушною фуріею.

— Послушай, Sophie,—начала она по окончаніи своей *работы*, — мы уже не дѣти и не кисейныя барышни, мы — еврейскія женщины, а еврейская женщина тверда и благоразумна, какъ мужчина. Сантиментальничать не наше дѣло. Мы должны смотрѣть на вещи прямо и просто. Это, конечно, не поэтически, но скажи откровенно, много-ли поэзіи во всей еврейской жизни? Не поражаетъ-ли она каждаго европейца своею утомительною, черствою прозою? Правда, въ нашей молодежи какъ будто замѣтны нѣкоторые поэтическіе порывы, но это не больше, какъ порывы. Европейское образованіе наложило на насъ нѣкоторый внѣшній лоскъ, но въ сердце наше, въ кровь нашу оно еще не проникло и Богъ знаетъ, когда проникнетъ. Мы постигаемъ поэзію умомъ, но не сердцемъ. Христіанскій юноша и христіанская дѣвушка влюбляются, не задавая себѣ вопроса: «что изъ этого выйдетъ?» Они любятъ и знать никого и ничего не хотятъ. Поэтому въ христіанскомъ обществѣ нерѣдко случается, что графъ женится на простой мѣщанкѣ, а княжна выходитъ замужъ за какого нибудь живописца, музыканта и даже бѣднаго чиновника. Наши же юноши и дѣвицы влюбляются только тогда,

когда они уже предварительно разсчитали, *что* или, вѣрнѣе, *сколько* изъ этого выйдетъ.

Я пожала плечами, удивляясь ея неумолимой діалектикѣ.

— Ты со мною несогласна, Sophie?—спросила она,—но я тебя опять спрашиваю, отчего я сошлась съ Адольфомъ, а не съ Мозырскимъ, который болѣе его достоинъ уваженія и любви?

— Такъ люби Мозырскаго!—воскликнула я.—Кто тебѣ препятствуетъ?

— Кто мнѣ препятствуетъ?—переспросила Мэри.—Мнѣ препятствовало мое меркантильное чутье, мнѣ препятствовалъ-бы отецъ мой, который, при всемъ своемъ образованіи, хотѣлъ-бы видѣть меня лучше за человѣкомъ уже обезпеченнымъ, нежели за человѣкомъ, котораго только еще нужно вывести въ люди. Конецъ концовъ, мы всѣ люди очень практическіе, очень разсудительные. Я резонерка, ты резонерка, мы всѣ резонируемъ. Одна только Полинька Кранцъ почему-то не похожа на насъ всѣхъ. Въ ней много здоровой жизни, неподдѣльной поэзіи и очень мало разсудительности. Но она—несчастное исключеніе изъ общаго правила. Говорю «несчастное», потому-что такія богатыя поэтическія натуры никогда не поладятъ съ прозою тяжелой еврейской жизни. Такимъ натурамъ плохо живется въ нашей средѣ: она тѣсна и ограничена. Дай Богъ, чтобы я ошиблась, но со страхомъ вижу, что нашей Полинькѣ предстоитъ много страданій въ жизни. Еврей ея не оцѣнитъ, не пойметъ...

Мэри замолчала и тяжко вздохнула. Глаза ея подернулись влагою, она казалась очень разстроенною. Она подсѣла ко мнѣ на кушетку и, взявъ мои руки, опять начала:

— Послушай, Sophie,—ты не знаешь, а можетъ быть и знаешь, какъ дорогъ этотъ милый ребенокъ моему сердцу. Люблю Полину, какъ сестру, больше, чѣмъ сестру, люблю ее, какъ прекрасную мечту, какъ прекрасный идеалъ, къ которому мы стремились, но котораго мы недостигли. Боюсь, чтобы она въ мое отсутствіе не зачахла въ обществѣ своего практическаго брата, практическаго отца и прочихъ практическихъ людей нашей клики, или же, чтобы она своимъ живымъ темпераментомъ не надѣлала бѣдъ себѣ и своимъ. Она

требуетъ большаго присмотра. А потому прошу тебя постараться полюбить ее, какъ я ее люблю, она тебя тоже полюбитъ, тогда тебѣ легко будетъ руководить ею. Съ человѣкомъ, къ которому она привязана, она очень ручна. А привязать ее къ себѣ совсѣмъ не трудно: стоитъ только понять ее, а понимать и еще легче: у нея душа на распашку, въ ея сердцѣ можно читать, какъ по книгѣ. Она еще не знаетъ, что я, можетъ быть, на всегда оставлю Н. Я ей сказала, что уѣзжаю только на мѣсяцъ или на два. Потому-что, знай она всю правду, она или заупрямится и не отпуститъ меня, или же поѣдетъ со мною. И такъ, ты мнѣ обѣщаешь наблюдать за Полиной, быть ей другомъ, сестрою?

— Обѣщаю,—отвѣтила я.

— Благодарю тебя, другъ мой,—сказала Мэри, поцѣловавъ меня три раза.—Теперь я уже спокойна, зная, что Полина будетъ въ надежныхъ рукахъ.

Лицо ея просвѣтлѣло. Неподражаемая улыбка опять заиграла на ея тонкихъ губахъ. Я не могла воздержаться, чтобы не замѣтить ей:

— И ты, послѣ этого, можешь сказать, что мы не умѣемъ чувствовать, любить!..

— Я сама удивляюсь нашему характеру,—отвѣтила Мэри,—чутье у насъ, кажется, хорошее, сердца не каменныя, а все-таки выкидываемъ часто такія штуки, что нужно ахнуть. Кто насъ разберетъ?

VI.

4 Августа.

«Мэри уѣхала. На бангофъ пришли провожать ее всѣ наши: Адольфъ, Полина, Мозырскій, Берковичъ, Перецъ и всѣ наши подруги. Мы были грустны: мы всѣ сознавали, что уѣзжающая была лучшимъ украшеніемъ нашего кружка. Наше вниманіе очень ее трогало. Она поминутно пожимала намъ руки и благодарила насъ своею неподражаемою улыбкою. Она старалась казаться веселою, но ея блѣдность ясно выражала, что она страдаетъ. Стало быть, она уѣзжаетъ неохотно? Стало быть, она Адольфа все-таки любитъ? Кто ее разберетъ?

Полина не отставала отъ нея ни на шагъ. Она была очень разсѣянна, глаза у нея были заплаканы. Отецъ Мэри и Адольфъ

стояли у буфета и разговаривали между собою въ полголоса. Адольфъ былъ очень серьезенъ, а можетъ быть и грустенъ. По временамъ онъ взглядывалъ на Мэри, гулявшую взадъ и впередъ по залу, подъ руку съ Полиной. Замѣчательно, что во взглядахъ этихъ не отражалось ни особенной нѣжности, ни особенной грусти. Или мнѣ это такъ только казалось, потому-что я была предупреждена сообщеніемъ Мэри?... Мозырскій курилъ папироску и съ какимъ-то неестественнымъ упорствомъ смотрѣлъ на приклеенное къ стѣнѣ печатное объявленіе, состоявшее всего изъ какихъ-нибудь пяти строкъ очень крупнаго шрифта. Берковичъ и Перецъ заговаривали съ нимъ; но онъ имъ отвѣчалъ легкимъ киваніемъ головы, не оборачиваясь даже къ нимъ. Понимаю это внимательное чтеніе пятистрочнаго объявленія!...

Первый звонокъ. Пассажиры встрепенулись и хватились своихъ сакъ-вояжей. Нашъ кружокъ соединился въ одну группу. Мэри, выпустивъ руку Полины, подошла ко мнѣ и отвела меня въ сторону.

— Помни же, Sophie, о чемъ я тебя просила,—сказала она, судорожно сжимая мою руку. Надѣюсь, что Полина найдетъ въ тебѣ самую нѣжную сестру, самаго преданнаго друга. Я уже поговорила съ нею объ этомъ. Полина! кликнула она.

Полина подошла.

— Стало быть, на время моего отсутствія ты должна слушаться Sophie? Да?

— Да,—отвѣтила Полина,—но смотри, скоро вернись, не то—я все брошу и полечу къ тебѣ.

Второй звонокъ. Пассажиры зашевелились и стали высыпать на платформу. Мэри стала прощаться съ нами. Мужчинамъ она крѣпко пожала руку, а съ нами перецѣловалась. Когда дошла очередь до Полины, послѣдняя повисла Мэри на шею и громко зарыдала. Неужели она предчувствовала, что она прощается съ нею надолго или, можетъ быть, навсегда? Мы насилу оторвали ихъ другъ отъ дружки. Старый Тидманъ торопилъ Мэри сѣсть въ вагонъ. Она сѣла.

Третій звонокъ, а затѣмъ свистокъ, и поѣздъ тронулся.

— Adieu, mes amis!—крикнула Мэри изъ окошка, посылая намъ воздушные поцѣлуи.

— Au revoir, mon ange! — отвѣтила ей Полина, махая платкомъ.

Мы возвращались домой грустные и молча, точно мы похоронили кого нибудь. Полина шла съ Тидманомъ и всю дорогу не переставала плакать. Тидманъ утѣшалъ ее, но она не унималась, да у него самаго слезы такъ и лились. И не мудрено: какому отцу легко разлучаться съ такою дочерью?

Мнѣ и теперь очень грустно и все хочется плакать. Кто замѣнитъ мнѣ мою добрую, умную Мэри?...

VII.

9 Августа.

Сегодня утромъ я на улицѣ встрѣтилась съ Вацлавомъ.

— Самъ Богъ устроилъ нашу встрѣчу,—началъ онъ послѣ обычныхъ привѣтствій и разспросовъ о здоровьѣ. Идучи, я думалъ о васъ.

— Нельзя-ли узнать причину вашихъ думъ обо мнѣ?—спросила я.

— Мнѣ хотѣлось сообщить вамъ интересную новость,— отвѣтилъ онъ, покручивая свои усики.

— Новость и еще интересную! Это очень интересно. Говорите скорѣе.

— Ага! Такъ вы тоже любопытны!

— Еще-бы! Развѣ я не дочь Евы! Говорите же скорѣе, не мучьте.

— Хорошо, не буду. Но позвольте мнѣ сперва спросить, читаете-ли вы газеты?

— Нѣтъ,—отвѣтила я,—что пользы въ ихъ чтеніи, въ особенности для насъ, женщинъ?

— Знаешь, по крайней мѣрѣ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ.

— На бѣломъ свѣтѣ дѣлается все безъ насъ,—возразила я.

— Какъ же безъ насъ? — спросилъ Вацлавъ, обидѣвшись, — на свѣтѣ все дѣлается не ангелами, а людьми, такими же существами, какъ мы. Стало быть, и мы можемъ что нибудь сдѣлать и сдѣлаемъ! прошу васъ вѣрить, что сдѣлаемъ и какъ еще сдѣлаемъ. Небу жарко будетъ!

— Ахъ, Іезусъ-Марія! Какіе страхи!—пошутила я, заломавъ руки.

— Вы изволите шутить, панна Софія? замѣтилъ мнѣ Вацлавъ съ упрекомъ.

— Отчего же вы меня мучите? Гдѣ ваша обѣщанная новость?

— Вотъ она!—сказалъ онъ, вынувъ изъ своего боковаго кармана сложенный нумеръ польской газеты. Вы здѣсь найдете, помѣченную краснымъ карандашемъ, статью, которую совѣтую вамъ прочесть со вниманіемъ.

— А кто авторъ этой интересной статьи, не панъ ли Вацлавъ Заремба?—спросила я лукаво.

— Не знаю,—отвѣтилъ онъ съ авторскою скромностью,—она не подписана.

— Все равно. Обѣщаюсь вамъ прочитать ее съ большимъ вниманіемъ.

— И если она вамъ понравится,—прибавилъ Вацлавъ,—то прошу васъ прочитать ее вашимъ подругамъ, въ особенности тѣмъ, съ которыми я имѣлъ удовольствіе познакомиться на вашихъ имянинахъ.

— И паннѣ Полинѣ Кранцъ?—спросила я не безъ задней мысли.

— Разумѣется,—отвѣтилъ онъ зардѣвшись, и сталъ откланиваться.

Возвратившись домой, я взялась за газету. Помѣченная карандашомъ статья была корреспонденція изъ нашего города, въ которой,—ну кто бы могъ этого ожидать, — описывается празднованіе моихъ имянинъ со всѣми подробностями и съ какими красками! Имена не выставлены, а обозначены начальными буквами. Даже разговоры, даже шутки не забыты. На первомъ планѣ, разумѣется, фигурируетъ панна П. т. е. Полинька. Онъ называетъ ее то «перломъ въ діадемѣ восточной принцессы», то «главнымъ цвѣткомъ въ гирляндѣ». Корреспондентъ съ восторгомъ отзывается о нашемъ чисто-польскомъ произношеніи, чисто-польскомъ dowcipu *). Но болѣе, чѣмъ сама корреспонденція, поразила меня слѣдующая *замѣтка* отъ редакціи:

«Въ этой интересной корреспонденціи, которую, надѣемся, каждый добрый полякъ прочтетъ съ удовольствіемъ, непріятно поразило нашъ слухъ негармоническое слово «старозаконные».

*) Остроуміи.

Неужели нашъ почтенный корреспондентъ еще не знаетъ, что у насъ нѣтъ и не должно быть старозаконныхъ, а есть *поляки Моисеева исповѣданія?* Если не знаетъ, то да будетъ вѣдомо ему и всѣмъ, *кому о томъ вѣдать надлежитъ,* что слово «старозаконный» также старо, какъ стары тѣ вредные предразсудки, отъ которыхъ мы разъ на всегда должны отрѣшиться, если хотимъ идти въ уровень съ вѣкомъ, если хотимъ, чтобы образованный міръ былъ съ нами, а не противъ насъ. Понимаете-ли вы, братья наши въ Польшѣ, на Литвѣ, Волыни и Подоліи?... Преслѣдуйте назойливо честнаго человѣка кличкою «воръ» и онъ сдѣлается воромъ, и сдѣлается онъ не по своей натурѣ, а по вашей милости. Продолжайте называть израелитовъ *жидами, старозаконными* и они никогда не сдѣлаются поляками. Мы не намѣрены входить здѣсь въ разбирательство, кто изъ насъ правъ и кто виноватъ. Можетъ быть, виноваты они, а можетъ быть мы сами еще больше ихъ виноваты. Кассируемъ старые счеты и протягиваемъ имъ руку на zgodę, jedność, braterstwo. Кого мы кормимъ хлѣбомъ нашимъ, тотъ не долженъ и не можетъ быть врагомъ нашимъ. Евреи — народъ историческій, не толпа цыганъ, а цивилизованное общество съ извѣстною культурою. Патріотическаго чувства въ нихъ бездна. Доказательство—ихъ двухтысячелѣтняя привязанность къ своему бывшему отечеству, религіи, обычаямъ. Если съумѣемъ воспользоваться этимъ чувствомъ, мы въ проигрышѣ не будемъ. Если сдѣлаемъ край нашъ второю для нихъ Палестиною, они въ огонь за него полѣзутъ, головы свои положатъ, кровь свою прольютъ. Съ какимъ самоотверженіемъ отстаивали они свой священный городъ отъ побѣдоносныхъ римскихъ легіоновъ. Читайте Іосифа Флавія, и вы убѣдитесь, сколько воинской храбрости, мужества и неустрашимости было въ этомъ народѣ. Подавая руку нынѣшнимъ Израелитамъ, мы подаемъ руку не потомкамъ презрѣнныхъ трусовъ или измѣнниковъ своему отечеству, а потомкамъ храбрыхъ, но волею Промысла побѣжденныхъ *рыцарей*. Sapienti sat»...

Мнѣ трудно выразить словами то, что я почувствовала, когда я прочла эти огненныя строки. Сердце мое начало сильно биться... Голова закружилась... Я читала, перечитывала и

не вѣрила глазамъ своимъ... Совершенно новый для меня языкъ... Онъ волнуетъ мою кровь... Я вся дрожу... И это говоритъ полякъ?... И онъ не шутитъ, не дурачитъ?... Прочь отъ меня сомнѣнія!... Хочу вѣрить, хочу любить!... Развѣ мы не можемъ полюбить нашу родину, какъ наши предки любили Палестину? Можемъ! Тысячу разъ можемъ!... Мы развѣ изверги? «Мы потомки храбрыхъ, но волею Промысла побѣжденныхъ рыцарей!» Стало быть, мы не всегда были торгашами, скопидомами, скрягами, эгоистами? Дайте намъ возможность любить, и мы не будемъ все холодно расчитывать. Развѣ намъ пріятно ничего не любить, ни къ кому не принадлежать, всегда чувствовать себя какъ бы между чужими? Старикамъ это, можетъ быть, было и пріятно; но намъ, молодымъ, это тягостно, мучительно. Одна наша народность не удовлетворяетъ насъ, мы не находимъ въ ней того, что въ ней находили родители наши. Наши потребности совершенно другія... Онѣ должны быть удовлетворены. Удовлетворяйте! Не отталкивайте насъ словами, взглядами, потому-что мы до болѣзненности понимаемъ слова и взгляды. Дайте намъ отечество, дайте намъ народность! Намъ самимъ уже претитъ быть нѣмцами на землѣ польской... Я хочу быть, должна быть и могу быть полькой. Полькой, какъ всѣ мои землячки!... И будьте вы прокляты, если вы отнимите у насъ возможность любить ойчизну, какъ вы ее любите!

VIII.

10 августа.

«Какое великолѣпное утро! Какая свѣжесть! Какой ароматъ, отъ еще зеленыхъ деревьевъ! Изъ сада, чрезъ отворенное окно долетаетъ веселое чириканье птицъ, перелетающихъ съ вѣтки на вѣтку, съ дерева на дерево. Я встала съ солнцемъ. Вчерашнее волненіе улеглось. Душа ясна, свѣжа. Я уже давно не чувствовала себя такъ хорошо. Сердце не ноетъ, не тоскуетъ. Я довольна, я счастлива. Какъ хорошъ Божій міръ! Люди говорятъ, что жизнь—бремя. Нѣтъ, не бремя она, а прекрасный подарокъ. Развѣ бремя—это величественное солнце, это голубое небо, этотъ ароматическій воздухъ, эта душистая зелень?...Нужно, однакоже, внести въ дневникъ вчерашнія событія.

Часу въ пятомъ по-полудни, когда я хотѣла сѣсть за фортепьяно, ко мнѣ зашелъ Адолфъ.

— Извините, что я вамъ помѣшаю, началъ онъ съ видомъ человѣка, который очень занятъ и куда-то торопится,— я попрошу васъ отложить на послѣ вашъ музыкальный урокъ. Я пришелъ за вами.

— Какъ за мною?—спросила я.

— То есть, чтобы вы сейчасъ потрудились къ намъ, — пояснилъ онъ; не знаемъ, что дѣлать съ Полиной.

— Что такое случилось? — спросила я, испугавшись его разстроеннаго лица.

— Она закапризничала, по-просту сказать,—она бѣснуется. Со вчерашняго дня она не принимаетъ пищи, плачетъ, рыдаетъ, рветъ на себѣ платье, однимъ словомъ, дѣлаетъ разныя глупости.

— Что за причина?

-- Причина та, что кто-то изъ нашей прислуги съ дуру проболтнулась, что Мэри уѣхала на всегда и больше въ Н* не возвратится. Вотъ она и пошла писать: «Отпустите, отпустите меня въ Г*»—и только. Мы провозились съ нею всю ночь. Отецъ внѣ себя. Мы ее урезонивали, урезонивали,—не помогаетъ. Она грозитъ, что, если мы ее по доброй волѣ не отпустимъ, она тайкомъ уйдетъ и пѣшкомъ доберется до Мэри. Отъ такой взбалмошной можно всего ожидать. Вѣдь вы ее знаете: что разъ забьетъ себѣ въ голову, того никакимъ клиномъ изъ нея не выбьешь. Мнѣ только жаль старика: онъ вѣдь души въ ней не чаетъ. Что-же намъ дѣлать? Не возьметесь-ли вы унять ее? Не удастся-ли вамъ прибрать къ рукамъ этого діявола въ образѣ женщины! Мы уже не имѣемъ противъ нея никакихъ средствъ. Мы все испробовали, и ласки, и угрозы—не помогаетъ. Можетъ быть, вы, m-lle Sophie, будете счастливѣе.

— Попробую,—отвѣтила я,—тѣмъ болѣе, что и Мэри, передъ отъѣздомъ, препоручила мнѣ надзоръ за вашею капризницею.

— Ну и хорошо,—сказалъ Адольфъ, обрадовавшись. Поѣдемъ-те же сейчасъ.

Я одѣлась и мы отправились укрощать расходившагося звѣрька. На всякій случай я захватила съ собою нумеръ газеты.

Я нашла Полину въ постели растрепанною, заплаканною,

блѣдною, сердитою, взбѣшенною и съ лицомъ, обращеннымъ къ стѣнѣ. По ея ускоренному и тяжелому дыханію видно было, что въ ея груди цѣлый адъ. Когда я вошла въ спальню, она обернулась ко мнѣ лицомъ, покраснѣла, подперла рукою свою голову и ничего не сказала. Она даже не поздоровалась со мною. Мы нѣсколько минутъ смотрѣли другъ на дружку и молчали. Потомъ, не будучи въ состояніи воздержаться, я разсмѣялась.

— Ты еще смѣешься?—начала Полина спокойно,—хорошо, смѣйся. Я вижу, что вы всѣ рѣшились уложить меня въ гробъ. Извольте, смерть мнѣ не страшна.

— И такъ, ты уже собираешься на тотъ свѣтъ?—спросила я, продолжая смѣяться.

— Что же мнѣ и дѣлать, когда вы всѣ бѣсите, дурачите меня? И ты, Sophie, тоже съ ними заодно? Вѣдь ты тоже знала, что Мэри уѣзжаетъ на всегда. Отчего же ты мнѣ не сказала?

— Что же бы было, если бы и сказала?

— Знаю, что бы было!—крикнула Полина, оживляясь. О, ты ихъ не знаешь!...

— Кого это?

— А хоть бы моего любезнаго братца. Онъ, должно быть, сказалъ Мэри какую нибудь грубость,—вѣдь онъ мастеръ на это,—она взяла и уѣхала, вотъ я и живи съ этими тиранами.

— Какіе они тираны? что ты бредишь?

— Тираны, тираны, тираны! — кричала Полина запальчиво!—Эгоисты и тираны! Ты мнѣ не говори, я ихъ лучше знаю. Они никого не любятъ, никого не цѣнятъ. О, какъ я рада, что она уѣхала! Она была бы очень несчастна. Онъ измучилъ бы ее своею холодностью, своимъ эгоизмомъ. Адольфу нужна не Мэри, а подобная ему эгоистка. Они вмѣстѣ будутъ считать себѣ барыши и будутъ довольны. Ты знаешь, отчего Адольфъ бьетъ баклуши и не ѣдетъ въ академію? Не знаешь? А я знаю. Онъ находитъ, что медицинская карьера не довольно для него прибыльная. Грошовая практика! Не разбогатѣешь въ три мига, а ему нужно разбогатѣть быстро.

Я ее не прерывала. Парадоксъ слѣдовалъ за парадоксомъ, безсмыслица за безсмыслицей, несправедливость за несправедливостью. Я выслушала ее спокойно, молча, потому что я

знала, что это сердечное изліяніе облегчитъ ее и она успокоится.

Она дѣйствительно успокоилась. Не встрѣчая на пути препятствія, дикій потокъ ея гнѣвнаго краснорѣчія сталъ катить свои воды все спокойнѣе и спокойнѣе, сталъ мельчать, а потомъ и совсѣмъ остановился. Я воспользовалась этою минутою и сказала ей, что я имѣю для нея интересную новость.

— Новость?—воскликнула она, обрадовавшись—хорошо!— Подавай!

— Вчера, начала я.—я встрѣтилась съ Вацлавомъ.

— Съ Вацлавомъ? Какая счастливица! А вотъ я съ того вечера ни разу съ нимъ еще не встрѣчалась. Фи, не люблю его за то, что онъ никогда не попадается на встрѣчу. Ну, что же Вацлавъ?

— Вацлавъ передалъ мнѣ нумеръ газеты, въ которой я нашла очень интересную для насъ статью.

— Давай, давай!—вскричала она, протянувъ руки за газетою.

— Ты же умирающая,—возразила я,—тебѣ самой трудно будетъ читать. Ты лучше слушай, а я буду читать.

— Пусть такъ,—согласилась Полина,—начинай же скорѣе, потому что мои минуты, вѣроятно, уже сочтены,—прибавила она, улыбнувшись.

— Я начала:

«Н, 25 іюля. На-дняхъ, счастливый случай доставилъ намъ возможность присутствовать на семейномъ праздникѣ у одного изъ здѣшнихъ зажиточныхъ старозаконныхъ, пана М. А. Дочь этого почтеннаго старозаконнаго, пана С., дѣвица съ kompletnym wychowaniem, воспитанница одной нашей родственницы, доброй польки, праздновала свои имянины....»

— Послушай, Sophie, — перебила меня Полина,—не о тебѣ-ли здѣсь рѣчь!

— Здѣсь будетъ рѣчь о всѣхъ насъ,—отвѣчала я.—Слушай и не прерывай меня.

— Хорошо, хорошо. Читай дальше.

Я продолжала. По мѣрѣ того, какъ я подвигалась въ чтеніи, лицо Полины постепенно прояснялось. Она слушала вни-

мательно, вслушиваясь въ каждое слово. Когда я дошла до того мѣста, въ которомъ говорилось о ней, она подняла голову съ подушекъ и, привставъ немного, воскликнула.

— Я—перлъ въ діадемѣ? О, какъ это поэтично! Это пишетъ Вацлавъ, Вацлавъ и никто другой!..

— Почемъ ты это знаешь?—спросила я,—подъ статьей никто не подписанъ:

— Я чувствую, что это онъ — отвѣчала она, воспламеняясь. Слышишь,—онъ, онъ!... Но читай дальше.

Я читала дальше.

— «Лучшій цвѣтокъ въ гирляндѣ?» — опять прервала она.—Я его за вихорь выдеру за то, что онъ такъ льститъ! Не хочу, чтобы мнѣ льстили, хочу, чтобы меня любили!... Ты уже кончила?—

— Постой, тутъ еще замѣтка отъ редакціи.

— Читай замѣтку отъ редакціи.

Я прочла замѣтку.

Если корреспонденція только привела ее въ восторгъ, то замѣтка чуть совсѣмъ не свела ее съ ума. Она.. Но мамаша зоветъ меня къ завтраку.

IX.

11 августа.

«....Глаза Полины загорѣлись какимъ-то неестественнымъ огнемъ, зрачки расширились и метали такія искры, отъ которыхъ я невольно затрепетала. Потомъ, сдернувъ съ себя одѣяло, она соскочила съ кровати и, бросившись мнѣ на шею, истерически зарыдала. Я остолбенѣла.

— Полина, Полинька, что съ тобою?—спросила я, трясясь отъ испуга.

— Мнѣ—хорошо, очень хорошо, Софія, — проговорила она и опять бросилась на кровать.—Такъ хорошо, что сердце готово выскочить отъ радости. Мы—польки! Понимаешь, Софія,—мы ужъ не жидувки, а польки. Намъ уже не нужно будетъ краснѣть; намъ уже можно будетъ каждому смѣло смотрѣть въ глаза и никто уже не посмѣетъ окидывать насъ презрительными взглядами... Мы польки! Поймешь-ли ты, наконецъ, что это значитъ?—крикнула она на меня почти съ гнѣвомъ.—Отчего ты такъ безчувственна?



Она опять соскочила съ кровати, быстро накинула на себя бурнусъ, надѣла туфли, поправила свои локоны и, бросившись на кушетку, опять начала нѣсколько спокойнѣе, но съ возрастающимъ чувствомъ.

— Послушай,—Софія, ты не думай, что я глупая, пустая дѣвушка. Вы всѣ видите только мои капризы, мои сумасбродства, но что дѣлается *здѣсь* (она указала на сердце), этого вы не видите и никогда не увидите.... Я большая скрытница, ужасная скрытница. Я васъ всѣхъ обманываю. Я такъ хорошо умѣю притворяться, что никогда не поймете, что во мнѣ происходитъ въ данную минуту. Я могу плясать, дурачиться, проказничать въ то время, когда имѣю большую охоту повѣситься.... Но что я хотѣла тебѣ сказать?... Не помнишь?

— Нѣтъ.

— Ахъ, да, вотъ что,—сказала она, потеревъ свой лобъ.— Я хотѣла исповѣдываться передъ тобою въ одной вещи. Теперь это можно. Только, смотри, не осуждай меня, точно такъ, какъ не осуждала-бы меня и Мэри. А впрочемъ, какъ тебѣ угодно будетъ. Дѣло вотъ въ чемъ: меня всегда мучило сознаніе, что я еврейка... Ты пожимаешь плечами?... Я сама тоже знаю, какъ это глупо; но я никогда не могла преодолѣвать въ себѣ этого непріятнаго, мучительнаго чувства. Я желала себѣ провалиться сквозь землю каждый разъ, когда до моего слуха долетали простыя, но все-таки ядовитыя слова: «это жидувка»! Если это не произносили ихъ уста, то громко кричали ихъ взгляды, отчего мнѣ нисколько не было легче, было даже еще тяжелѣе... Жидувка! Я ни у кого ничего не украла, никого не ограбила, а мнѣ всегда жутко было проходить мимо христіанъ или встрѣчаться съ ними, потому что я хотя и потупляла глаза, однакожъ хорошо видала ихъ насмѣшливыя улыбки, отъ которыхъ кровь во мнѣ закипала, голова кружилась. Жидувка! Я очень хорошо знаю, что мы во всѣхъ отношеніяхъ не хуже, а можетъ быть и лучше ихъ, однакожъ я всегда завидовала полькамъ ихъ происхожденіе и злилась на судьбу, за то, что я родилась еврейкою... Ты находишь, что это глупо, очень глупо? Да?

— Да,—отвѣтила я.

— Положимъ, что я съ тобою согласна, но съ сердцемъ

ничего не подѣлаешь. Меня возмущаютъ наносимыя намъ обиды, онѣ меня давятъ, онѣ терзаютъ мое сердце, мою душу. О, если бы я умѣла презирать, то я бы столько не страдала. Но я презирать не умѣю; умѣю или любить, или ненавидѣть,—вотъ въ чемъ мое несчастіе! Любить христіанъ я не могу, потому что не заслуживаютъ, повода не даютъ: они постоянно дразнятъ насъ, кровь нашу портятъ; вѣчно же ихъ ненавидѣть—тошно, мучительно и для меня рѣшительно невозможно. О, научи меня презирать обиды и обидчиковъ, какъ ты, какъ всѣ наши презираютъ, и я по гробъ буду благодарна тебѣ. Перестану капризничать, потому что не буду раздражаться; буду смирна, какъ овечка, послушна, какъ самое послушное дитя; однимъ словомъ, буду вести себя умницей, не буду огорчать больше папашу, брата и всѣхъ васъ... Вѣдь Адольфъ въ сущности правъ, что называетъ меня сумасбродкою. Развѣ я не сумасбродничаю? Я сама это знаю, но не могу иначе: кровь кипитъ, бушуетъ и все отъ того, что какая нибудь глупая шляхтянка считаетъ себя выше меня, выше всѣхъ насъ, единственно потому, что она родилась христіанкою, а мы еврейками.

— Я думаю, что теперь ужь будетъ иначе, — возразила я.—Ты забываешь, что теперь мы—польки Моисеева исповѣданія, стало быть, называть насъ жидувками никто уже не смѣетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—спросила она удивленно, какъ будто она теперь только услышала эту новость.—И это правда? И ты не лжешь? И газета не лжетъ? О, какъ это хорошо! Какъ я счастлива! Да, мы польки, будемъ польками не хуже родовитыхъ полекъ! Я имъ это докажу!.... Послушай, Зося,—сказала она, вскочивъ съ кушетки и протянувъ мнѣ свою правую руку,—дадимъ себѣ клятву—говорить между собою не иначе, какъ по-польски, согласна?

— Согласна.

— Ни по нѣмецки, ни по французски,—на что намъ эти языки?—а только по-польски, языкомъ нашей отчизны, dobrze?

— Dobrze.

— И да будетъ стыдно тому, кто нарушитъ эту клятву! Согласна?

— Согласна.

Она меня обняла и поцѣловала.

Мнѣ душно здѣсь,—сказала она, подхвативъ меня подъ руку,—пойдемъ въ залъ.

Прошедшись со мною нѣсколько разъ по залу, она вдругъ высвободила свою руку, подскочила къ роялю и. взявъ предварительно нѣсколько аккордовъ забарабанила, и именно забарабанила: Jeszcze Polska nie zginęla... Она барабанила съ увлеченіемъ, съ азартомъ. Не довольствуясь этимъ, она обѣими ногами уперлась въ педаль и стала колотить по клавишамъ что было силъ, отчего звуки превратились въ какой-то неистовый, дикій гулъ. На этотъ гулъ, отъ котораго дрожали стѣны, прибѣжали старый Кранцъ и Адольфъ. Увидѣвъ Полину за роялемъ и производящую такую странную музыку, они остолбенѣли отъ ужаса и многозначительно переглянулись между собою, какъ бы говоря: все кончено, она рехнулась! Я поняла ихъ взглядъ, подошла къ нимъ на цыпочкахъ и въ нѣсколькихъ словахъ успокоила ихъ. Старикъ пожалъ плечами, покачалъ головой и вышелъ; за нимъ послѣдовалъ и Адольфъ. Полина, вся погруженная въ свою музыку, не замѣтила ни ихъ прихода, ни ихъ ухода. Она продолжала свое съ возрастающимъ азартомъ.

— Довольно!—сказала она, прервавъ игру на половинѣ колѣна.—Пойдемъ гулять.

— Какъ-же ты пойдешь? спросила я—на тебѣ вѣдь лица нѣтъ. Всмотрись въ зеркало, ты такая растрепанная!...

— Ничего,—отвѣтила она,—умоюсь и одѣнусь, такъ будетъ на мнѣ мое всегдашнее лицо.

— Но ты вѣдь со вчерашняго дня ничего не ѣла,—замѣтила я.

— Ахъ, да,—припомнила она,—ну чтожъ, я что нибудь перекушу и будетъ съ меня: мы вѣдь не дрова рубить идемъ.

Она два раза дернула за сонетку. Явилась Михалина.

— Умыться, одѣться и перекусить что нибудь, но живо, moja kochana!

— W moment, pani,—отвѣтила Михалина и живо захлопотала около своей барышни.

Въ полчаса Полина была совсѣмъ готова. Она была той

же Полиной, какъ и всегда, только лицо ея было нѣсколько блѣдно.

— Куда же мы пойдемъ?—спросила я.

— Въ городской садъ,—отвѣтила Полина,—тамъ мы вѣрно его встрѣтимъ.

— Кого это?

— Разумѣется, Вацлава. Какая ты, Зося, однакожъ, недогадливая.—замѣтила она мнѣ съ упрекомъ.

Мы обошли всѣ большія аллеи. Гуляющихъ было много. Она искала *его* глазами, но онъ не попадался на встрѣчу. Она стала нетерпѣлива.

— Какой онъ несносный!—сказала она, начиная уже сердиться,—всѣ гуляютъ, а онъ то гдѣ теперь торчать изволитъ? Неужели все у панны Изабеллы? Очень интересная особа, не правда ли?

— Она его кузина,—отвѣтила я.

— Знаемъ мы этихъ кузинъ и кузеновъ!.... По справкамъ оказывается, что седьмая вода на киселѣ, вотъ и все кузенство.

Это замѣчаніе мнѣ не понравилось.

— Ты, Полина,—зачѣмъ злословишь? упрекнула я ее.

— А чортъ его побери,—отвѣтила она съ своимъ обычнымъ легкомысліемъ.—Зачѣмъ же онъ прячется отъ людей, которые желаютъ его видѣть? .. Пойдемъ сюда, сказала она вдругъ, увлекши меня въ боковую аллею, на концѣ которой промелькнуло что-то похожее на Вацлава.

Cicho, patrzaj, któs nadchodzi,—
Serce mówi, ze to-on!...

продекламировала она шутя, и устремилась на встрѣчу къ *нему*. Но, поровнявшись съ *нимъ*, мы увидѣли, что это не онъ, а какой-то другой молодой человѣкъ.

— Не онъ!—воскликнула она довольно громко, такъ что молодой человѣкъ обернулся и окинулъ насъ испытующимъ взглядомъ. Намъ сдѣлалось неловко. Мы поспѣшили выбраться изъ сада.

У воротъ мы встрѣтились съ Мозырскимъ. Онъ съ нами раскланялся.

— Не писала-ли m-lle Тидманъ? спросилъ онъ мимоходомъ.

— Нѣтъ еще!—отвѣтила я.



— На дняхъ, вѣроятто, напишетъ, прибавила Полина, — заходите къ намъ.

— Постараюсь,—отвѣтилъ Мозырскій и пошелъ въ садъ.

На обратномъ пути Полина была совершенно спокойна. Я не замѣтила въ ней даже досады на то, что ей не удалось повидаться съ Вацлавомъ.

X.

Мэри Тидманъ пишетъ ко мнѣ слѣдующее:

«Тетушка и дядюшка приняли меня съ неподдѣльнымъ радушіемъ, могу сказать даже—съ восторгомъ. Они обнимали, цѣловали меня, смотрѣли мнѣ въ лицо и плакали отъ радости. Я тоже не могла воздержаться отъ слезъ.

— Какъ ты выросла! Какъ похорошѣла! Какая красавица! Вся въ мать твою покойную—царство ей небесное!—поминутно вскрикивала тетя; и давай душить меня въ своихъ объятіяхъ, а слезы такъ и льются.

— Ну, зачѣмъ же плакать? Слава Богу, что красавица,—увѣщевалъ ее дядя; а самъ, небось, тоже плачетъ.

Добрые старики! какъ хорошо имѣть родныхъ и притомъ такихъ добрыхъ и нѣжныхъ! Почти забываешь о своемъ сиротствѣ... Не знаю, сколько продолжалась эта сцена, но должно быть, что довольно долго, потому что, когда мы сѣли въ ожидавшую насъ коляску, на платформѣ и въ воксалѣ никого, кромѣ служащихъ при желѣзной дорогѣ, уже не было. Коляска вскорѣ подкатила къ большому, довольно изящно отдѣланному, зданію. Это—домъ моихъ родныхъ, и моя новая резиденція. Г*—городъ небольшой и, какъ надо полагать, довольно скучный. Но прежде, чѣмъ говорить о городѣ и моихъ первыхъ впечатлѣніяхъ, я должна разсказать тебѣ, что собственно заставило меня предпринять эту поѣздку. Въ Н я должна была молчать объ этомъ, обстоятельства этого требовали; но теперь могу быть откровенна, а съ тобою, Sophie, тѣмъ паче. Слушай же.

Нѣсколько недѣль тому назадъ, въ одно утро, ко мнѣ зашелъ папа, сѣлъ на кушетку и закурилъ сигару. Его умное, всегда спокойное лицо было такъ мрачно, что я невольно ис-

пугалась. Я хотѣла было заговорить съ нимъ, но страхъ такъ внезапно овладѣлъ мною, сердце мое начало такъ сильно биться, предчувствуя что-то недоброе, что я была не въ состояніи выговорить ни слова и съ мучительнымъ нетерпѣніемъ ждала его объясненія.

— Садись ко мнѣ, Мэри,—сказалъ онъ, наконецъ,—хочу поговорить съ тобою объ одномъ дѣлѣ.

Я сѣла и превратилась вся въ слухъ.

Лице мое, должно быть, выражало въ эту минуту всю тревогу, которою объята была душа моя, потому-что отецъ, бросивъ на меня испытующій взглядъ, поспѣшилъ успокоить меня.

— Да не пугайся же, душа моя,—сказалъ онъ,—ничего особенно важнаго не случилось. Хочу только посовѣтоваться съ тобою на счетъ одного дѣла.

— И только?—могла я наконецъ проговорить, когда у меня нѣсколько отлегло отъ сердца.

— Только.

— Ну, хорошо. Въ чемъ же дѣло?

— Дѣло, видишь-ли, въ томъ,—началъ отецъ какъ-то нерѣшительно;—впрочемъ, о дѣлѣ поговоримъ послѣ... Онъ нѣсколько разъ повелъ рукою по лбу и опять началъ:

— Что дѣла мои въ послѣднее время шли очень плохо,—ты, кажется, знаешь?

— Знаю.

— Но что я разорился...

— Разорился!—воскликнула я, всплеснувъ руками и вставъ съ своего мѣста,—обанкрутился!...

— Нѣтъ, Мэри, не обанкрутился, а разорился. Я никому не долженъ, но и ничего не имѣю. Я бѣденъ, но не обезчещенъ, могу каждому прямо смотрѣть въ глаза.

— Слава Богу и за это,—сказала я, чтобы хоть нѣсколько утѣшить отца,—незапятнанное имя также капиталъ.

— Это такъ,—возразилъ отецъ,—но наше положеніе отъ этого нисколько не улучшается. Мое незапятнанное имя не даетъ мнѣ пока средствъ держать нашъ домъ на прежней ногѣ. Мое незапятнанное имя даетъ мнѣ только возможность и смѣлость начать опять съ начала. Распродавъ наше иму-

щество, въ томъ числѣ и наше столовое серебро, могу выручить тысячи четыре или пять и на эти деньги опять начну торговать, ограничивъ притомъ расходы до самыхъ крайнихъ размѣровъ.

— Чтожъ, можете, — отвѣтила я, — я вамъ въ тягость не буду. Буду сама зарабатывать хлѣбъ свой.

— Какъ ты это будешь зарабатывать?—спросилъ отецъ почти иронически.

— Буду трудиться, работать.

— То-есть, уроки давать, рубашки шить?

— Отчего бы и не такъ?—спросила я;—развѣ воспитаніе, которое вы мнѣ дали, не можетъ принести мнѣ никакой пользы? Развѣ мой аттестатъ и мои познанія не даютъ мнѣ никакихъ правъ на трудъ?

— Права на трудъ они, пожалуй, и даютъ, но не даютъ никакой гарантіи, что трудъ твой будетъ вознагражденъ по достоинству, а на грошовые заработки я тебя не пущу: они тебя унизятъ, а меня убьютъ. Видѣть тебя гувернанткою въ какомъ нибудь полудикомъ семействѣ, которое не пойметъ, не оцѣнитъ тебя, которое будетъ смотрѣть на тебя, какъ на нищую, а на отпускаемый тебѣ гонораръ, какъ на милостыню — это выше силъ моихъ. Я могу все сносить, всякія непріятности, всякія лишенія, неудачи, даже свое униженіе, но униженіе моихъ дѣтей... моихъ дѣтей...

Онъ не могъ продолжать. Закрывъ лицо руками, онъ заплакалъ, онъ, отецъ мой, котораго я всегда считала невозмутимымъ!... Изъ этого я могла заключить, какъ сильно онъ страдаетъ, не за себя, а за насъ, которыхъ онъ такъ любитъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ оправился и опять началъ:

— Впрочемъ, не все еще потеряно. Положеніе наше вовсе не такое отчаянное, какъ кажется съ перваго взгляда. Я пользуюсь въ коммерческомъ мірѣ именемъ честнаго и дѣльнаго негоціанта. Поѣду въ Ригу: тамошнее купечество, съ которымъ я всегда имѣлъ дѣла, знаетъ меня съ самой лучшей стороны, не откажетъ мнѣ въ совѣтѣ, поддержкѣ и рекомендаціи. Сердце мнѣ говоритъ, что мои обстоятельства поправятся. Не буду имѣть своихъ дѣлъ, пойду въ бухгал-

теры, прикащики, я вѣдь съ этого и началъ. Буду работать день и ночь и надѣюсь, что мое усердіе, труды и умѣнье будутъ вознаграждены по достоинству; нѣмцы вѣдь умѣютъ цѣнить людей, не то, что наши евреи, которые любятъ все подешевле, хоть и погнилѣе Сашѣ буду высылать его мѣсячное содержаніе сполна, какъ прежде. Онъ долженъ продолжать свой курсъ также успѣшно, какъ началъ. Я не хочу, чтобы онъ отвлекался отъ своихъ прямыхъ студенческихъ занятій уроками или переводами Что же касается тебя, то ты тѣмъ временемъ, пока обстоятельства наши не поправятся, будешь жить въ Г*, у тети.

— Въ Г*, у тети!—воскликнула я, заломавъ руки; быть приживалкою въ чужомъ домѣ! Развѣ это почетнѣе, чѣмъ быть гувернанткою, зарабатывающею хлѣбъ свой честнымъ трудомъ?

— Послушай, Мэри,—возразилъ отецъ спокойно, но рѣшительно,—ты пойми меня хорошенько. Я противъ званія гувернантки ничего не имѣю: оно почтенно, какъ всякое честное занятіе; но я въ гувернантки тебя не готовилъ, да ты и неспособна быть гувернанткою. Ты нужды никогда не знавала, ты привыкла ко всѣмъ удобствамъ роскошной жизни, ты привыкла повелѣвать, а не слушать приказанія, ты умѣешь обращаться съ людьми, себѣ равными, но ты не съумѣешь обращаться съ дѣтьми, капризы которыхъ будутъ выводить тебя изъ терпѣнія, котораго у тебя не очень много, какъ у всѣхъ, воспитанныхъ въ довольствѣ. Поэтому, ты будешь гувернанткою очень плохою, или тебѣ очень горько будетъ быть гувернанткою. Это во первыхъ. Во вторыхъ, мое родительское сердце, которое тоже должно быть принято во вниманіе, возмущается противъ мысли—пустить тебя въ чужой домъ на заработки, служить, когда есть въ резервѣ болѣе приличный рессурсъ, не унизительный ни для тебя, ни для меня. Рессурсъ этотъ — твоя тетка. Она женщина добрая, богатая, деликатная и бездѣтна. Она будетъ тебѣ рада, какъ дочери, ты въ ней найдешь мать, которой ты такъ рано лишилась. Прочитай, что она пишетъ —заключилъ онъ, вынимая изъ своего боковаго кармана листокъ исписанной бумаги.

Письмо было подписано дядею и теткою. Оно дышало

такою теплотою, такою любовью, что я была сильно растрогана.

Дѣлать было нечего, я должна была согласиться.

Я почла долгомъ разсказать обо всемъ этомъ Адольфу. Что же онъ? Онъ нашелъ, что отецъ мой правъ, что принятое имъ рѣшеніе весьма *практично* и при этомъ случаѣ онъ возвратилъ мнѣ мое слово... Не знаю, что онъ обо всемъ этомъ думаетъ, но я думаю, что между нами все уже кончено, и слава Богу. Эта практичность въ такомъ молодомъ человѣкѣ меня пугаетъ. Такой молодой человѣкъ плохо понимаетъ движенія сердца, а мы, женщины, только сердцемъ и живемъ, оно — нашъ главный жизненный нервъ. Все въ мірѣ только тогда получаетъ для насъ цѣну, когда оно, такъ или иначе, затрогиваетъ этотъ нервъ нашъ. Мы сердцемъ чувствуемъ, сердцемъ думаемъ. Внѣ этой области, все для насъ безсодержательно, безсмысленно, безжизненно, мертво. Хорошо-ли это или нѣтъ,—но мы уже такъ созданы. Вотъ тебѣ и вся моя исторія. Прошу, никому не говорить о ней. О нашей связи знали только немногіе, пусть немногіе знаютъ и о нашемъ разрывѣ».

XI.

24 августа.

Городъ одѣлся въ трауръ. Это, какъ говорятъ, трауръ по ойчизнѣ. Въ костелахъ поютъ какіе-то патріотическіе гимны. Поляки требуютъ, чтобы и евреи надѣли трауръ, значитъ, наше дѣло общее. Польша—наша общая ойчизна. На ея защиту призываютъ насъ всѣхъ. Мы всѣ пойдемъ, должны пойти. Мы не должны щадить никакихъ жертвъ. Какъ сладко имѣть ойчизну, любить ее, тревожиться за нее, проливать за нее слезы и кровь! Наши старики не знали этого чувства, но они еще многаго не знали; время было другое. Старики говорятъ, что время было лучшее, но мнѣ кажется, что худшее. Безсмысленное отношеніе къ жизни, можетъ быть, и здорово, но оно унизительно. Да такое отношеніе къ жизни вообще невозможно, немыслимо въ наше время. Оно толкаетъ человѣка въ шею и недаетъ ему забываться, или безсмысленно глазѣть по сторонамъ. Слава Богу, что колесо времени зацѣпило, наконецъ, и насъ, евреевъ. Не вѣчно же оставаться

намъ позади процессіи, подвигающейся впередъ. Куда поляки, туда и мы. Въ обществѣ живыхъ людей и мы, можетъ быть, воскреснемъ, тѣмъ болѣе, что мы вѣдь не совсѣмъ еще умерли.

. . . .

Я сейчасъ получила записочку отъ Полины. Она пишетъ: «Польша, порабощенная, угнетаемая, простираетъ къ намъ свои материнскія объятія. Поспѣшимъ прижаться къ любвеобильной груди ея. Она плачетъ, осушимъ ея слезы, возрадуемся вмѣстѣ съ нею, кормилицею нашей! Ты читала прокламацію къ намъ? Мы получили сегодня ее по почтѣ. Отецъ, прочитавъ, хотѣлъ разорвать ее; но я не допустила. Она у меня. Завтра принесу ее тебѣ. Завтра же готово будетъ мое платье. Сегодня не буду выходить, не хочу показаться на улицѣ въ пестромъ туалетѣ. Намъ не прилично отставать отъ нашихъ сестеръ католическаго исповѣданія. Кстати, на завтра пригласи къ себѣ всѣхъ нашихъ подругъ и близкихъ знакомыхъ. Мы имъ прочтемъ газету и прокламацію. Мы должны теперь дѣйствовать сообща.

Нашъ лозунгъ: «да здравствуетъ Польша!»

XII.

16 августа.

Я не узнала Полину въ ея новомъ костюмѣ. Когда она вошла, я невольно встрепенулась, полагая, что предо мною какая-то незнакомая особа.

— Ты меня не узнала? — спросила она, замѣтивъ мой вопросительный взглядъ.

— Нѣтъ,—отвѣтила я.

— Неужели платье такъ перемѣняетъ человѣка?

— Должно быть, что перемѣняетъ. Я рѣшительно не узнала тебя съ перваго взгляда.

— О, если такъ,—сказала она съ своею обычною веселостью,— то я пойду и съиграю сцену съ твоею мамашей. То-то будетъ смѣху! Гдѣ она?

— У себя.

И, оставивъ у меня свой зонтикъ, она пошла къ мамашѣ. Черный цвѣтъ къ ней весьма идетъ: онъ дѣлаетъ ее еще интереснѣе. Впрочемъ, какой цвѣтъ не будетъ ей къ лицу? Съ

такою счастливою наружностью, что ни одѣнешь, все будетъ красиво.

Одна за другой пришли и наши прочія подруги. Всѣ были въ траурѣ, но не всѣмъ онъ былъ къ лицу. Нѣкоторымъ онъ прибавилъ нѣсколько лишнихъ лѣтъ. Анна Израельсонъ, напримѣръ, рѣшительно глядитъ матроной въ своемъ новомъ костюмѣ. Она, должно быть, это знаетъ, а потому проклинаетъ поляковъ и ихъ выдумку на чемъ свѣтъ стоитъ. Мы по возможности, утѣшали ее; но она—все свое.

— И досада какая,—повторяла она каждую минуту,—я только что сшила себѣ новое платье по послѣдней модѣ, еще не успѣла надѣть его, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, бросай его въ огонь.

— Но, любезная Аннета,—утѣшала ее Ревекка Гецель,—бросать въ огонь нечего. Обождемъ немного, пока дурь у поляковъ пройдетъ, тогда нашъ гардеробъ опять пойдетъ въ ходъ.

— Придется долго ждать,—отвѣтила m-lle Израельсонъ,—эта дурь продлится Богъ знаетъ сколько.

— Почему ты это знаешь?—спросили мы.

— Отецъ говорилъ. Онъ такъ себѣ объясняетъ все это дѣло. Съ тѣхъ поръ, какъ прочли манифестъ объ освобожденіи крестьянъ, помѣщики стали сводить свои счеты и нашли, что они безъ крестьянъ все равно, что нищіе, потому что свои наличные капиталы они прокутили, а къ работѣ и коммерціи они неспособны. И вотъ они вздумали теперь наверстать растраченныя въ безумномъ мотовствѣ деньги бережливостью, экономіею.

— Чтожъ, бережливость—хорошее дѣло,—замѣтила я.

— Хорошо то оно хорошо, — возразила мнѣ Аннета,—но зачѣмъ насильно навязывать другимъ свои мысли и расчеты? *Имъ* угодно, или они вынуждены скряжничать, пусть себѣ скряжничаютъ. И по дѣломъ: они до сихъ поръ мотали, пусть теперь пріучаются жить съ расчетомъ. Но какое имъ дѣло до насъ? Мы не мотаемъ, мы живемъ и одѣваемся по нашимъ средствамъ Съ какой же стати принуждать насъ къ трауру по растраченнымъ ими капиталамъ? Они грѣшили, а

мы каяться! Нѣтъ, на зло имъ, я все-таки надѣну свое новое платье.

— Не надѣнешь, Аннета,—сказала Ревекка Гецель.

— А почему такъ думаешь?

— А потому, что не захочешь имѣть непріятностей на каждомъ шагу.

— А полиція?—похрабрилась разсерженная Аннета.

Ревекка собралась что-то отвѣтить, но въ эту минуту вошла Полина и споръ прекратился.

— А что, удалось?—спросила я.

— Еще бы;—отвѣтила Полина,—я съ нею говорила, говорила и она меня не узнавала до тѣхъ поръ, пока я не расхохоталась. По смѣху она и узнала меня. Но—къ дѣлу — сказала она, вдругъ принявъ серьезную мину. Хорошо, mesdames, что вы пришли. Имѣемъ сообщить вамъ очень интересныя новости. Садитесь, слушайте и не прерывайте.

Всѣ сѣли. Лица нашихъ подругъ изображали любопытство и недоумѣнія.

— Начинай, Зося,—скомандовала мнѣ Полина.

Я прочла *корреспонденцію* и *замѣтку* отъ редакціи.

Онѣ произвели желаемое дѣйствіе Лица нашихъ подругъ оживились и почти преобразились. Магическія слова газеты задѣли ихъ за живое. Онѣ бросились цѣловать строки, поднимающія насъ въ нашихъ собственныхъ глазахъ. Восторженнымъ восклицаніямъ не было конца. Каждая, по одиночкѣ, стала душить меня въ своихъ объятіяхъ за сообщенную радостную вѣсть.

— Постойте, mesdames,—вскричала Полина среди общей суматохи,—еще не все. Выслушайте еще одинъ голосъ, который сильнѣе и важнѣе голоса просвѣщеннѣйшаго журналиста, а именно—голосъ всей польской націи, которая вотъ какъ къ намъ взываетъ.

Настала глубокая тишина и Полина мастерски, съ свойственнымъ ей глубокимъ чувствомъ, продекламировала «*воззваніе* «*къ нашимъ братьямъ-полякамъ Моисеева закона*».

Это пламенное воззваніе произвело на насъ потрясающее впечатлѣніе. Глубокая скорбь нашей несчастной ойчизны такъ насъ растрогала, что на глазахъ многихъ изъ насъ показались

слезы. Даже m-lle Израельсонъ забыла о своемъ новомъ платьѣ и помирилась съ поляками и съ трауромъ. Она теперь поняла его значеніе и находила, что мы ни въ чемъ не должны отставать отъ поляковъ. Она стыдилась своей прежней вспышки и извинялась тѣмъ, что не знала, въ чемъ дѣло.

— Что дѣлать, что дѣлать?—спрашивали мы другъ дружку, ломая руки, какъ будто мы въ самомъ дѣлѣ въ состояніи были что нибудь сдѣлать.

— Первымъ нашимъ дѣломъ,—отвѣтила Полина,—должно быть,—возлюбить нашу ойчизну всѣмъ сердцемъ, всею душою.

— Мы ее любимъ! — воскликнули наши подруги. — Мы польки, стало быть—мы не можемъ не любить Польшу. Es lebe Polen!

— Если мы польки, — замѣтила Полина, то мы, вмѣсто Es lebe Polen, должны кричать Niech zyje Polska!

— Niech zyje Polska!—подхватили въ одинъ голосъ всѣ наши подруги, хлопая въ ладоши. Восторгъ смѣнилъ грусть, навѣянную на насъ воззваніемъ. Пошли опять объятія, поцѣлуи, восклицанія.

Мы перешли въ залъ. Охватившій насъ патріотическій энтузіазмъ такъ душилъ насъ, что мы почувствовали потребность дать ему какой нибудь исходъ. Не помню, кому изъ насъ пришло въ голову - танцовать мазурку. Эта мысль намъ понравилась и мы бросились осуществить ее. Меня засадили за рояль и подруги, взявшись за руки, стали прыгать, что было мочи. Въ залѣ поднялся такой шумъ и топотъ, что мамаша не могла воздержаться, чтобы не заглянуть къ намъ.

Но едва Полина ее завидѣла, какъ она, бросивъ свою партнерку, подскочила къ дверямъ, подхватила подъ руку мамашу и со всего размаху пустилась съ нею въ галопъ по всему залу. Мать барахталась, хохотала, кричала, но Полина держала ее крѣпко и продолжала свое.

— Не перестанешь, съумасшедшая?—кричала мама, стараясь высвободиться изъ рукъ Полины. Ай, ахъ, голова кружится. Моше! Моше! Спасай! Разбойники!

На этотъ крикъ вбѣжалъ папа и положилъ конецъ нашимъ танцамъ.

— Что это вы сегодня такъ разгулялись?—спросилъ онъ, недоумѣвая.

Мы въ короткихъ словахъ объяснили ему, въ чемъ дѣло.

— Покажите-ка мнѣ эти газеты,—сказалъ онъ, вынимая свои очки,—посмотримъ, что тамъ такъ развеселило васъ.

— Это развеселитъ и васъ, ребъ Моше,—сказали подруги самоувѣренно.—Бьемся объ закладъ, что и вы пуститесь въ плясъ.

— Разумѣется,—отвѣтилъ отецъ,—добродушно улыбаясь.— Рахиль, не уходи,—приглашаю тебя на мазурку. Мы танцамъ не учились, но Богъ помилуетъ, надоумитъ. А что, Рахиль, въ молодости ты, вѣроятно, тоже умѣла прыгать, какъ коза.

— Еще бы!

— Стало быть, все ладно. Дайте только мнѣ прочитать, что тамъ въ газетахъ пишутъ.

Мы подали ему газету и воззваніе. Онъ сѣлъ на диванъ, надѣлъ очки и сталъ внимательно читать. Мы его окружили, слѣдя за выраженіемъ его лица. Но оно ничего особеннаго не выражало. Это насъ озадачило.

— А что, ребъ Моше?—спросила его Полина, когда онъ окончилъ чтеніе.

— А то,—отвѣтилъ папа, снимая очки,—что все это пустяки, не стоющіе хорошей луковицы.

Полина вспыхнула, а мы всѣ потупили глаза. Мнѣ досадно было, что газета и воззваніе не произвели на моего отца желаемаго впечатлѣнія.

— Почему вы полагаете, что все это пустяки?—спросила Полина, чуть не задыхаясь отъ волненія.

— Послушайте, дѣти,—началъ отецъ спокойно и наставительно,—вы умны и образованы, но молоды и неопытны; мы же, положимъ, и глупы, но зато опытны. Изъ этихъ *шпаргаловъ* я вижу, что поляки затѣваютъ бунтъ, какъ въ тридцать первомъ году. Что полякамъ и дѣлать, какъ не бунтовать? Они на то поляки.. Не понимаю только, для чего они и насъ хотятъ вовлечь? Что мы можемъ дѣлать? Что мы за воины? Мы бѣдные евреи, намъ совсѣмъ не до войнъ, не до политики. Притомъ, мы поляковъ знаемъ. Не первый годъ съ ними живемъ. Они насъ никогда не любили, никогда и лю-

бить не будутъ. Кого они въ первомъ мятежѣ вѣшали, жгли, грабили? Насъ, бѣдныхъ жидковъ, ничѣмъ неповинныхъ. Они развѣ противъ насъ воевали? Но для своевольной шляхты было забавой видѣть, какъ повѣшенный еврей барахтается на висѣлицѣ и дѣлаетъ такія умортиельныя гримасы, отъ которыхъ повстанцы лопали со смѣху. Знайте, дѣти, что не защищай насъ царское войско, они не оставили-бы изъ насъ ни одной живой души: всѣхъ бы перерѣзали или перевѣшали.

— Но теперь,—возразила Полина,—они хотятъ помириться съ нами, любить насъ ..

— На словахъ, дѣти, только на словахъ,—отвѣтилъ отецъ,—на умѣ же у нихъ что нибудь другое. О, мы ихъ знаемъ. Но они насъ не перехитрятъ: мы, евреи слава Богу, умнѣе ихъ. Въ нашемъ мизинцѣ больше мозгу, чѣмъ во всѣхъ головахъ ихъ ясневельможнѣйшихъ пановъ. А потому, пусть себѣ дѣлаютъ, что хотятъ, мы имъ не компаньоны. Мы будемъ молиться Богу о нашемъ нынѣшнемъ Царѣ, который милостивъ и къ намъ, а Польша... пусть себѣ бунтуетъ—на свою собственную погибель.

— Отъ послѣднихъ словъ насъ всѣхъ сильно покоробило. Мы зашевелились и зашумѣли. Отецъ поднялся съ дивана и собрался уходить.

— Mesdames! — вдругъ воскликнула Полина не своимъ голосомъ. Niech zyje Polska! Jeszcze Polska nie zginela!

— Zginie! отозвался отецъ твердо и рѣшительно.

— Nie zginie!—кричали всѣ.

— Zginie!—повторилъ онъ еще тверже.

— Nie zginie!

— Какъ Богъ святъ, zginie! Помяните мое слово, дѣти.

И онъ вышелъ, оставивъ насъ смущенными и взволнованными.

XIII.

Мэри Тидманъ пишетъ ко мнѣ слѣдующе.

...«Не смотря на то, что я здѣсь всего только двѣ недѣли, я успѣла однакоже познакомиться почти со всѣмъ здѣшнимъ обществомъ, по крайней мѣрѣ, съ цвѣтомъ его. Въ это короткое время у моихъ стариковъ перебывали почти всѣ,

кто вообще дѣлаетъ визиты. Я же, съ своей стороны, тоже сдѣлала съ полдюжины *необходимыхъ* визитовъ и, такимъ образомъ, я могу считать себя уже нѣсколько посвященной въ здѣшнюю жизнь, тѣмъ болѣе, что она, какъ и слѣдовало ожидать, немногосложна и безхитростна.

Если спросишь, что такое вообще г-ское общество, то я могу категорически отвѣчать тебѣ: г-ское общество есть общество необразованное, но образующееся. Не знаю, кто занесъ сюда идею объ образованіи, знаю только, что идея эта пустила здѣсь глубокіе корни. Здѣсь всѣ учатся, отъ мала до велика, въ особенности же женскій полъ. Здѣшніе дѣвичьи пансіоны переполнены ученицами, здѣшніе учителя заняты съ утра до вечера. Берутъ уроки не только молодежь, но и женщины уже не первой молодости. Все жаждетъ образованія. Какое прилежаніе, какое соревнованіе! Расчетливые во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, г-скіе жители ничего не жалѣютъ для образованія. Я здѣсь нашла самые дорогіе учебники, самыя лучшія книги. За уроки платятъ въ три раза больше, чѣмъ у насъ, не потому, чтобы здѣсь было мало учителей, а потому, что съ послѣдними совсѣмъ не торгуются; даютъ, сколько запрашиваютъ. Однимъ словомъ: стремленіе къ образованію замѣчательное и невольно бросается въ глаза. Если такъ пойдетъ дальше, то г-ское общество нетолько догонитъ, но и перегонитъ наше хваленое н-ское общество, передъ которымъ евреи всего края привыкли преклоняться.

Отъ Полины я на-дняхъ получила какое-то несвязное письмо, изъ котораго я ровно ничего не поняла. Она кажется мнѣ очень встревоженною или восторженною. Напиши мнѣ, пожалуйста, что съ нею происходитъ. Отъ нея, я знаю, толку не добьюсь. Она говоритъ о какихъ-то ожидаемыхъ важныхъ переворотахъ въ ея жизни, которымъ она смѣло идетъ на встрѣчу, и т. д. Въ чемъ дѣло?—Кланяйся г-ну Мозырскому и всѣмъ нашимъ».

«P. S. Что говорятъ въ городѣ объ отъѣздѣ моего отца въ Ригу? Что подѣлываетъ Адольфъ? Довольна ли ты Полиной? Какъ проводите вы время? Мнѣ здѣсь пока еще не скучно. Чтеніе, музыка и визиты наполняютъ все мое время.

Родные предупреждають мои малѣйшія желанія. Саша кланяется тебѣ. Онъ уже на послѣднемъ курсѣ».

XIV.

25-го августа.

Вчера въ городскомъ саду, мы, совершенно для насъ неожиданно, сдѣлались предметомъ почти восторженныхъ овацій со стороны польской молодежи и польской знати. Мы, т. е. я и мои подруги, по обыкновенію, гуляли вмѣстѣ. Не знаю, костюмъ ли нашъ, или нашъ польскій разговоръ бросался въ глаза, довольно того, что гулявшая публика почему то обратила на насъ вниманіе. Мы чувствовали, что глаза всѣхъ обращены на насъ. Мало по малу, нѣмое вниманіе стало принимать болѣе краснорѣчивыя формы. Намъ стали кланяться, передъ нами стали снимать шапки такіе люди, съ которыми мы совсѣмъ незнакомы. Сначала мы, по старой памяти, хотѣли было думать, что это насмѣшка и съ безпокойствомъ оглядывались, не встрѣтимъ-ли знакомаго кавалера, который защитилъ-бы насъ отъ приближающагося скандала; но во взорахъ кланявшихся намъ дамъ и мужчинъ было столько добродушія, столько искренности, столько неподдѣльнаго участія, что намъ совѣстно было думать о чемъ-нибудь подобномъ. Мы успокоились и стали отвѣчать на поклоны поклонами же; какъ-будто кланявшіяся намъ лица наши давнишніе добрые знакомые. Когда мы проходили мимо какой-нибудь скамейки, сидѣвшіе на ней кавалеры быстро вставали, предупредительно предлагая намъ свои мѣста. Мы благодарили и продолжали гулять. Къ намъ вскорѣ присоединился Вацлавъ, который, получивъ отъ насъ позволеніе быть нашимъ кавалеромъ, уже не отставалъ отъ насъ. Какъ доброму знакомому, мы выразили ему наше удивленіе вниманію, оказываемому намъ людьми, совершенно незнакомыми.

— Нужды нѣтъ, что вы ихъ не знаете, отвѣтилъ Вацлавъ,—но они васъ знають и горятъ нетерпѣніемъ познакомиться съ вами ближе. Мы были бы плохими поляками, еслибы не знали и не уважали тѣхъ, кто съ нами и за насъ.

— Откуда вы знаете, что мы съ вами и за васъ? спросила Полина, кокетливо качая головой.

— Позвольте мнѣ не сказать вамъ, откуда мы знаемъ.

Довольно того, что знаемъ. Мы даже знаемъ, кто противъ насъ,—сказалъ Вацлавъ, многозначительно взглянувъ на меня.

Я покраснѣла, вспомнивъ мнѣніе папаши о полякахъ. Мнѣ было стыдно и непріятно, что отецъ мой не раздѣляетъ тѣхъ примирительныхъ чувствъ, которыми теперь проникнуто каждое польское сердце. Но откуда Вацлаву знать, что́ думаетъ мой отецъ? Или мнѣ только показалось, что Вацлавъ, произнося послѣднія слова, какъ-то особенно посмотрѣлъ на меня?

Погруженная въ размышленія, я не замѣтила, что кто-то загородилъ намъ дорогу. Я подняла глаза — передъ нами стояла дама въ сопровожденіи двухъ дѣвушекъ. По ихъ туалету и осанкѣ видно было, что это дамы высшаго круга.

— Извините, mesdames,—начала дама съ обворожительною улыбкою на своихъ тонкихъ губахъ, — извините, что я загородила вамъ дорогу. Я себѣ позволила эту невѣжливость, потому-что не знала другого способа познакомиться съ вами. Г. Заремба, — обратилась она къ Вацлаву, — не возьмете-ли вы на себя труда отрекомендовать насъ?

— Съ большимъ удовольствіемъ, ясневельможная пани графиня,—отвѣтилъ Вацлавъ, и, поднявъ свою фуражку, торжественно провозгласилъ, сопровождая каждое имя граціознымъ поклономъ:

— Графиня Сташицкая... Княжна Amélie de Millefort.. панна Ядвига фонъ-деръ-Горстъ...

Потомъ онъ представилъ насъ, каждую по одиночкѣ.

— Стало быть, мы теперь между собою знакомы,—сказала графиня, когда церемонія представленія кончилась,—и, какъ знакомые, можемъ продолжать нашу прогулку вмѣстѣ, если это вамъ непротивно.

Послѣднія слова чуть не разсѣяли пріятной иллюзіи, которой я предалась подъ обаяніемъ только-что сдѣланнаго знатнаго знакомства; они отозвались въ моемъ сердцѣ чѣмъ-то въ родѣ насмѣшки, обиды. Я украдкой бросила взглядъ на графиню, не подмѣчу-ли чего на ея нѣжномъ, выразительномъ лицѣ; но на этомъ почти прозрачномъ лицѣ я, кромѣ сладкой обворожительной улыбки, ничего не замѣтила и успокоилась.

Графиня пошла съ Полиной, которая непринужденно защебетала, точно съ нею ходитъ кто нибудь изъ насъ, а не великосвѣтская дама и аристократка. Ея развязность достойна удивленія. Графиня говорила мало: она задавала только вопросы и выслушивала отвѣты. Эти отвѣты, должно быть, удовлетворяли ее, потому-что она очень часто пожимала руку Полины.

Я шла съ княжной Мильфоръ, живой брюнеткой, большой говоруньей, не дававшей мнѣ сказать двухъ словъ, чему я впрочемъ была очень рада, такъ какъ я обыкновенно стѣсняюсь въ разговорѣ съ человѣкомъ, не вполнѣ мнѣ знакомымъ. Мы, или справедливѣе, княжна говорила о литературѣ, музыкѣ, ойчизнѣ, Варшавѣ, Костюшкѣ, Мицкевичѣ, Сырокомлѣ, освобожденной Польшѣ и другихъ интересныхъ предметахъ, которые мнѣ, болѣе или менѣе, тоже были извѣстны. Княжна говоритъ великолѣпно, въ особенности живо.

Панна Ядвига, стройная блондинка съ нѣсколько гордымъ лицомъ, шла съ m-lle Израельсонъ. Разговоръ у нихъ что-то совсѣмъ не клеился. Скажутъ нѣсколько словъ и—молчаніе. Имъ обѣимъ, должно быть, было скучно. За то прочія подруги наши уже совсѣмъ не скучали: ихъ занималъ панъ Вацлавъ, который, какъ ловкій кавалеръ, повелъ разговоръ акъ, что каждая могла вставлять свое слово.

Какъ намъ ни лестно было находиться въ такомъ знатномъ обществѣ, намъ однакожс все это время было какъ-то не по себѣ, неловко. Потому-ли, что гулявшая публика уже слишкомъ безпокоила насъ своими любопытными взглядами, или потому, что при всемъ вниманіи, которое оказывала намъ графиня, мы ни на минуту не забывали глубокой пропасти, лежащей между польской аристократкой и нами, еврейскими дѣвушками, — довольно того, что, когда графиня стала прощаться съ нами, мы внутренно очень тому обрадовались. Мы проводили ее до кареты, потому-что она этого просила. Усѣвшись въ каретѣ, она опять пожала намъ руку и просила быть знакомыми. Княжна весело кивала намъ головой, а панна Ядвига какъ-то безсмысленно глядѣла на насъ, на графиню и на фонарный столбъ.

Полина въ восторгѣ отъ графини, Вацлава и всего, что

теперь происходитъ въ городѣ; я тоже кажется довольна, но... ужъ это мнѣ резонерство!... Оно покою мнѣ не даетъ, все чего-то доискивается и вселяетъ въ мою душу робость, недовѣріе, сомнѣніе. Или новость положенія меня такъ смущаетъ, или же это во мнѣ свойственная еврейской натурѣ способность — не увлекаться?... А вотъ Полина вся предалась новому положенію и — счастлива. Но она — исключеніе. Мнѣ очень хочется быть настоящей полькой, но я какъ-то еще не могу, не привыкла. Или скептицизмъ стариковъ, которые не совсѣмъ же глупы, не позволяетъ мнѣ стать твердою ногою на новую почву? Что, если поляки, въ самомъ дѣлѣ, только дурачатъ насъ? Но съ другой стороны, какая имъ отъ этого польза?

Нужно когда-нибудь поговорить объ этомъ съ Мозырскимъ. Что онъ обо всемъ этомъ думаетъ? Какъ человѣкъ мыслящій, онъ не можетъ безсмысленно относиться ко всему тому, что теперь у насъ происходитъ.

Впрочемъ, чему быть, того не миновать. Подождемъ...

XV.

Мэри Тидманъ пишетъ ко мнѣ слѣдующее:

«Хочу познакомить тебя съ героемъ здѣшняго общества. Его имя—Аркадій Саринъ, его профессія—учительство. Учитель и герой! Немножко странно, не правда ли? Но это такъ. Разскажу по порядку.

Чуть-ли не въ первый день моего пріѣзда въ Г., не помню, по какому поводу, услышала я имя Сарина. Потомъ, когда я стала дѣлать визиты и знакомства, это имя стало повторяться все чаще и чаще. «Саринъ такъ сказалъ», «Саринъ такъ думаетъ», «Саринъ этого не допуститъ», «спросите у Сарина»,—вотъ что мнѣ случалось часто слышать въ домахъ, которые я посѣщала. Однимъ словомъ имя Сарина здѣсь на языкѣ у всѣхъ и каждаго. Но что больше меня поразило — это поклоненіе здѣшнему идолу, какъ со стороны маменекъ, такъ и со стороны дочерей. Что за Саринъ,—думала я себѣ,— не уѣздный ли это франтъ, провинціальный Донъ-Жуанъ, кружащій голову простоватымъ барынямъ и барышнямъ здѣшняго маленькаго общества? Оказалось, что я ошиблась въ

своемъ предположеніи. Г-жа Липманъ, моя здѣшняя intime, совсѣмъ разувѣрила меня на этотъ счетъ. Отъ нея я узнала, что Аркадій Саринъ—герой совершенно особаго рода; поклоненіе ему не имѣетъ въ себѣ ничего предосудительнаго, ничего компрометирующаго, однимъ словомъ, ничего такого, что мы привыкли разумѣть подъ словомъ «обожанія».

Надобно тебѣ знать, что здѣшній учительскій персоналъ такъ удачно составленъ, что лучше и желать не надо. Здѣшніе учителя не простые ремесленники, а истинные наставники, воспитатели, смотрящіе на свое дѣло серьезно и занимающіеся имъ съ любовью, съ увлеченіемъ. Они образуютъ между собою кружокъ, ассоціацію съ извѣстными принципами, извѣстнымъ направленіемъ, извѣстною цѣлью. Цѣль эта—сѣять образованіе, просвѣщеніе между слоями здѣшняго еврейскаго общества, дѣйствовать на мужчинъ и женщинъ, стариковъ и молодыхъ, богатыхъ и бѣдныхъ. Стремятся они къ этой цѣли энергически, по зрѣло-обдуманному плану. Молодежь они образуютъ посредствомъ хорошо организованныхъ школъ и частныхъ уроковъ, а на стариковъ они дѣйствуютъ посредствомъ бесѣдъ, диспутовъ, газетныхъ статей, книгъ и т. п. И такъ какъ задача эта весьма обширна и для ея выполненія необходимо множество рукъ и силъ, то они очень благоразумно поступили, привлекши на свою сторону все, что имѣетъ какое-либо отношеніе къ народному образованію.

Къ ихъ кружку принадлежатъ, поэтому, всѣ здѣшніе частные преподаватели, не исключая и безграмотныхъ учителей чистописанія, меламеды съ болѣе просвѣщенными взглядами, проповѣдники разныхъ молитвенныхъ домовъ, еврейскіе литераторы, или имѣющіе претензію быть таковыми, книгопродавцы, однимъ словомъ: все, что приходитъ въ столкновеніе съ народомъ по интеллектуальной части. Къ этому кружку принадлежитъ даже, разумѣется тайно, одно изъ здѣшнихъ талмудическихъ свѣтилъ, предъ которымъ преклоняется все здѣшнее общество. Въ этомъ кружкѣ составляются проповѣди для разныхъ синагогъ съ самыми фанатическими прихожанами, статьи для газетъ русскихъ, еврейскихъ и даже иностранныхъ и бумаги къ высшимъ правительственнымъ учреж-

деніямъ по предмету образованія евреевъ. Однимъ словомъ, кружокъ этотъ работаетъ неутомимо и систематически.

Во главѣ же этого кружка стоитъ Аркадій Саринъ. Онъ—его организаторъ, его регуляторъ, его душа. Безъ него ничто не предпринимается и ничто не исполняется. Онъ распредѣляетъ занятія, зная кто къ чему способенъ, и слѣдитъ за ихъ ходомъ. Члены же кружка тѣмъ охотнѣе ему подчиняются, что они находятъ въ немъ человѣка безкорыстнаго и въ высшей степени безпристрастнаго. Возникающіе въ такомъ разнокалиберномъ кружкѣ споры, ссоры и разногласія онъ улаживаетъ при самомъ ихъ возникновеніи и тѣмъ сохраняетъ кружокъ отъ распаденія. Зная, что самымъ существованіемъ своимъ онъ обязанъ почти одному Сарину, кружокъ преданъ ему тѣломъ и душою. Слово Сарина для него законъ. Вотъ какого рода герой одинъ изъ здѣшнихъ учителей, о которомъ говоритъ здѣсь и старъ, и младъ.

Всѣ эти подробности я узнала отъ г-жи Липманъ, которая, какъ мнѣ кажется, чуть сама не принадлежитъ къ этому кружку, хотя она прямо мнѣ не говоритъ объ этомъ. Она женщина образованная, не первой молодости, вдова съ порядочнымъ состояніемъ и умна—какъ десять дьяволовъ вмѣстѣ. Она живетъ открытымъ домомъ, принимаетъ у себя почти всѣхъ членовъ кружка, въ которомъ она, какъ я догадываюсь, исправляетъ должность кассира и бухгалтера. Она въ здѣшнихъ училищахъ и пансіонахъ имѣетъ своихъ стипендіатокъ и, должно быть, не словомъ, а дѣломъ поддерживаетъ бѣдныхъ еврейскихъ литераторовъ, потому что я у нея нашла нѣсколько еврейскихъ брошюръ, посвященныхъ ея имени. Она снаетъ по еврейски не хуже любого мужчины.

Само собою разумѣется, что мнѣ сильно захотѣлось познакомиться съ замѣчательнымъ г—скимъ кружкомъ, въ особенности же съ его главою, Аркадіемъ Саринымъ, про котораго мнѣ прожужжали уши.

Я надѣялась встрѣтить его у г-жи Липманъ, у которой онъ бываетъ очень часто, но всегда случалось, что я приходила къ ней или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно. То Саринъ только-что былъ, то онъ будетъ часа черезъ два или

три. Мнѣ было досадно, потому-что я была нетерпѣлива....

На-дняхъ я, наконецъ, съ нимъ познакомилась.

Третьяго дня, утромъ, когда я только-что окончила туалетъ, ко мнѣ вошла наша горничная и доложила, что какой-то молодой человѣкъ желаетъ меня видѣть.

— Гдѣ онъ? — спросила я.

— Ожидаетъ въ гостиной.

Бросивъ взглядъ въ зеркало, я вышла въ гостиную.

Молодой человѣкъ отрекомендовался: Аркадій Саринъ.

Не знаю почему, я немножко сконфузилась и, кажется, покраснѣла. Я молча кивнула головой и, кажется, не совсѣмъ граціозно.

— Съ вашими стариками,—началъ Саринъ,—я очень хорошо знакомъ, бываю у нихъ часто и за-просто. Вашъ дядя старъ лѣтами, но молодъ духомъ, мы превосходно понимаемъ другъ друга. Есть чему у него поучиться.... Но, къ моему сожалѣнію, въ послѣднее время я сталъ рѣже съ нимъ видаться, все дѣла: то одно, то другое, никакъ не соберешься навѣстить кого хочешь. Эти то дѣла и лишили меня удовольствія раньше познакомиться съ вами.

Я опять ему поклонилась и попросила сѣсть.

Онъ сѣлъ и мы начали бесѣдовать о городѣ Г. и городѣ Н. Представь себѣ, онъ знаетъ Н, какъ свои пять пальцевъ, имѣетъ тамъ множество знакомыхъ и даже друзей. Мозырскій, напримѣръ, его закадычный другъ, школьный товарищъ, съ которымъ онъ часто переписывается. Потомъ Саринъ заговорилъ о дѣлѣ, за которымъ онъ собственно и пришелъ. Но прежде скажу слова два о наружности Сарина.

Саринъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати или двадцати двухъ, средняго роста, нѣжнаго сложенія, съ довольно правильнымъ, но серьезнымъ, чуть не строгимъ лицомъ. Еслибъ не его мечтательный, чуть не тоскливый взглядъ, еслибъ не его пріятная, но меланхолическая улыбка, то лицо Сарина принадлежало бы къ наименѣе симпатичнымъ физіономіямъ. Не имѣя въ своихъ линіяхъ и очертаніяхъ ничего привлекательнаго и ничего отталкивающаго, оно принадлежало-бы къ разряду тѣхъ обыденныхъ физіономій, мимо которыхъ проходишь съ полнѣйшимъ равнодушіемъ. Но его взглядъ и улыбка

дѣлаютъ изъ Сарина, который далеко не можетъ считаться красавцемъ, личность очень, очень симпатичную. Одѣвается онъ не щегольски, и даже не совсѣмъ по модѣ, но со вкусомъ. О манерахъ же его вообще можно сказать, что онѣ не изысканныя, не совсѣмъ свѣтскія, но и не угловатыя. Онъ держится просто, безъ аффектаціи, какъ простъ и искрененъ разговоръ его.

— А я къ вамъ, mademoiselle, съ просьбой, — началъ Саринъ, когда разговоръ о нашихъ общихъ знакомыхъ истощился.

— Ко мнѣ съ просьбой! Чѣмъ же я могу служить вамъ? спросила я.

— Я слышалъ, что вы привезли съ собою порядочную библіотеку.

— Ужъ сейчасъ и порядочную — возразила я; имѣю нѣсколько десятковъ книгъ, между которыми, можетъ быть, найдется и нѣсколько порядочныхъ, — вотъ вамъ и вся библіотека.

— Съ насъ довольно и этого, — отвѣтилъ Саринъ, — нѣсколько хорошихъ книгъ здѣсь, нѣсколько тамъ, и выходитъ въ итогѣ порядочное количество хорошихъ книгъ. Надобно вамъ знать, mademoiselle, что нашъ городъ имѣетъ привычку много читать.

— И я даже знаю кто привилъ эту привычку здѣшнему городу, — перебила я, намекая, что я посвящена въ дѣятельность здѣшняго кружка.

— Но публичной библіотеки здѣсь нѣтъ, — продолжалъ Саринъ, не обративъ вниманія на мой намекъ. — Какъ же удовлетворять пробудившейся и возрастающей потребности читать? Мы распорядились вотъ какъ. У каждаго изъ насъ есть нѣсколько книгъ, не то, такъ другое сочиненіе, не тотъ, такъ другой классикъ. Мы сдѣлали опись всѣмъ здѣшнимъ частнымъ библіотекамъ; изъ этой описи мы составили каталогъ всѣмъ книгамъ, находящимся въ городѣ, съ обозначеніемъ, что у кого есть. Этотъ каталогъ и есть наша публичная библіотека, не требующая ни особаго помѣщенія, ни особаго библіотекаря и никакихъ расходовъ. Копія съ этого каталога есть у каждаго изъ насъ. Понадобилась книга, — мы на кар-

точкѣ пишемъ заглавіе этой книги, подъ заглавіемъ — наше имя и отправляемъ къ владѣльцу книги. Такимъ образомъ, каждый изъ насъ порознь, не владѣя собственной библіотекой, имѣетъ въ своемъ распоряженіи большой выборъ книгъ, число которыхъ доходитъ уже до 1200 томовъ и до 300 названій. Это, конечно, немного, но для нашего города пока довольно, какъ вы полагаете?

— Я полагаю, что ничего лучшаго нельзя было и придумать,—отвѣтила я.

— Съ газетами и журналами мы тоже такъ поступаемъ,— продолжалъ Саринъ,—одинъ выписываетъ одну газету, другой другую и по прочтеніи мѣняемся изданіями; такимъ образомъ, каждый изъ насъ, не тратя много, имѣетъ возможность слѣдить за политическими, литературными и общественными новостями по лучшимъ періодическимъ изданіямъ, отечественнымъ и иностраннымъ.

— Надѣюсь, что вы и мнѣ предоставите эту возможность?— сказала я.

Съ большимъ удовольствіемъ,—отвѣтилъ Саринъ, присоединяя къ нашему каталогу списокъ вашихъ книгъ, вы дѣлаетесь членомъ нашей оригинальной Leihbibliothek со всѣми правами и преимуществами, сему званію присвоенными.

— Но, г. Саринъ, — сказала я, — книги мои въ такомъ безпорядкѣ, что мнѣ невозможно представить вамъ даже простой ихъ перечень. О систематическомъ каталогѣ и говорить нечего: это не по нашей части.

— Ну, ничего, — успокоивалъ меня Саринъ, — мы этому дѣлу поможемъ. Мы пришлемъ вамъ человѣка, который приведетъ ваши книги въ порядокъ, разсортируетъ по отдѣламъ, приклеитъ на корешкахъ номера и составитъ каталогъ. Ваше дѣло только согласиться на нашъ уставъ, который надняхъ будетъ вамъ доставленъ. И такъ, вы согласны?

— Согласна.

— Стало быть, вы теперь мнѣ позволите взглянуть на вашу библіотеку, чтобы хоть нѣсколько познакомиться съ ея характеромъ?

— Съ большимъ удовольствіемъ.

Я провела его въ свою комнату и отворила шкапъ съ книгами. Онъ надѣлъ pince-nez и сталъ ихъ осматривать.

— Библіотека небольшая, но хорошая, — сказалъ онъ, осматривая корешки.—Мишле... Гизо... Веберъ. . Шлоссеръ... Гете... Шекспиръ... Мендельсонъ... Кантъ... Фихте... Фейербахъ... Что эти господа у васъ дѣлаютъ,—спросилъ онъ, обернувшись ко мнѣ, неужели вы занимаетесь нѣмецкою философіей?

— Это книги моего отца,—отвѣтила я.

— Хорошая библіотека, повторилъ онъ, осмотрѣвъ всѣ полки. Нужно только привести ее въ порядокъ.

Саринъ попростился со мною и ушелъ. Онъ произвелъ на меня очень хорошее впечатлѣніе. Благодаря моей библіотекѣ, я нѣкоторымъ образомъ буду принадлежать къ здѣшнему кружку, дѣятельность котораго достойна всякой похвалы. Вашъ городъ такого кружка не имѣетъ и имѣть не можетъ. Не такіе люди! Не обижайся, пожалуйста, ma chére. Цѣлую тебя сто разъ».

XVI.

31 Августа.

Весь городъ не перестаетъ говорить о великой чести, которой мы удостоились въ саду со стороны графини Сташицкой. Знакомые поздравляютъ насъ и распрашиваютъ о подробностяхъ этой прогулки. Многимъ не вѣрится, чтобы графиня Сташицкая, эта гордая польская аристократка, могла забываться до такой степени, чтобы публично гулять почти подъ руку съ еврейскими дѣвушками. Многіе видятъ въ этомъ многознаменательномъ фактѣ большую для насъ, евреевъ, перемѣну къ лучшему. Многіе же относятся къ этому факту скептически. «Обманъ! Притворство!—говорятъ они.—Поляки насъ любить не будутъ; все это братанье съ евреями есть только комедія, политика. Они ищутъ нашей дружбы, потому что имъ такъ приказано изъ Варшавы, изъ Парижа. Въ сердцѣ же они насъ ненавидятъ и презираютъ по прежнему. Поляки очень хитры и умѣютъ ловко притворяться».

На чьей сторонѣ правда? О, Боже! Неужели люди могутъ быть такъ фальшивы? Какая польза полякамъ насъ обманывать? Почему они не могутъ полюбить насъ искренно? Какая

польза имъ и намъ ненавидѣть другъ друга?.. Нѣтъ, это не обманъ, не притворство!.. Прочь отъ меня эта несчастная мысль!

Многія другія изъ нашихъ подругъ, которыя не удостоились чести быть обласканными графинею Стащицкою, намъ завидуютъ и досадуютъ. M-lle Закманъ, напримѣръ, просто внѣ себя и дуется на насъ. Дура какая! Какъ же ей не понять, что въ лицѣ нашемъ графиня обласкала всю еврейскую молодежь, стало быть и ее?

Хорошее во всей этой исторіи есть то, что m-lle Закманъ и многія другія еврейскія дѣвушки поняли, наконецъ, необходимость знанія польскаго языка, за изученіе котораго онѣ теперь серьезно взялись. Слава Богу! Надоумились наконецъ. Быть хоть кой-какими польками имѣетъ въ нашемъ краѣ все таки больше смысла, чѣмъ корчить изъ себя нѣмокъ. Въ эти дни я отрекомендовала паннѣ Изабеллѣ пять новыхъ ученицъ. Вчера, встрѣтившись со мною, она мнѣ сообщила, что ея новыя ученицы дѣлаютъ неимовѣрно быстрые успѣхи въ польскомъ языкѣ. Ихъ прилежаніемъ, ихъ понятливостью она не можетъ нахвалиться. Она этому, конечно, очень рада, но я еще больше рада. Если бы отъ меня зависѣло, я бы обязала всѣхъ евреевъ учиться по-польски. Безъ польскаго языка мы никогда не поймемъ и не полюбимъ другъ друга. — Языкъ первая ступень къ сближенію народовъ.

Странно, что евреи этого не понимаютъ или не хотятъ понять. Даже отецъ мой имѣетъ какой-то странный взглядъ на польскій языкъ. Надняхъ онъ такъ прямо и сказалъ мнѣ, что онъ очень жалѣетъ, что меня учили по-польски, что онъ былъ бы очень радъ, если бы я не знала этого языка. Онъ сказалъ мнѣ это по поводу моего разсказа о встрѣчѣ въ городскомъ саду. Я думала, что онъ этому обрадуется, но вышло какъ разъ на-оборотъ. Онъ нахмурилъ брови и посовѣтовалъ мнѣ, чтобы я по возможности избѣгала знакомства съ поляками, такъ какъ знакомство это, по его мнѣнію, ни къ чему хорошему не поведетъ.

Полинѣ же пришлось по тому же поводу выдержать со стороны ея отца и даже брата болѣе бурную сцену. Тамъ дѣло не обошлось безъ криковъ, угрозъ и даже слезъ. «Ты

себя и меня погубить хочешь! кричалъ старый Кранцъ, — я тебя на цѣпь посажу, въ маленькое мѣстечко сошлю, и т. д.»

Странные иногда бываютъ взгляды у стариковъ, даже умныхъ . . . .

Я сейчасъ получила отъ Изабеллы записочку, въ которой она приглашаетъ меня и Полину на свои имянины. Я совсѣмъ было забыла, что послѣзавтра ея имянины. Нужно приготовить подарокъ.

XVII.

Г. Мозырскій показалъ и позволилъ мнѣ списать слѣдующее письмо къ нему г. Сарина.

«...Стало быть, все у васъ спитъ мертвецкимъ сномъ и никакому трубному звуку неудастся разбудить васъ? Стало быть, все обстоитъ у васъ благополучно? Счастливцы! Вы точно въ Аркадіи живете. А вотъ намъ почему-то совсѣмъ не спится, и какъ теперь спать? Все вокругъ насъ зашевелилось, засуетилось, зашумѣло. По всему пространству Россіи идетъ тепевь генеральная ломка, сверху и снизу. Ломка старыхъ идей, заматерѣлыхъ принциповъ, закаменѣлыхъ учрежденій и въѣвшихся въ плоть обычаевъ. Шумъ, трескъ и грохотъ. Все спѣшитъ обновляться, очищаться; все стремится впередъ, на встрѣчу чему-то новому, небывалому, почти неожиданному. Даже наши единовѣрцы — и тѣ поднялись на ноги и готовы идти... Они только не знаютъ еще куда. Доходятъ-ли до васъ умилительные звуки трубы юга? Должно быть, что нѣтъ, потому что изъ вашего города не слышно никакого отклика. Скажите, ради Бога, неужели необычайный шумъ всего теперь происходящаго еще не достигъ вашего слуха? Неужели послѣднія пять лѣтъ пронеслись надъ вашими головами совершенно безслѣдно? Неужели ваша тридцати-тысячная община есть все та же нестройная, безстрастная и лѣнивая масса, какою мы знали ее пять, десять лѣтъ тому назадъ?.. Ваши сытые все-ли еще ничего, кромѣ дневнаго моціона, не дѣлаютъ? Ваши голодные все-ли еще ожидаютъ манны небесной, или другаго какого нибудь ветхозавѣтнаго чуда? Ваши грошовые капиталисты все ли еще считаютъ себя кандидатами въ Ротшильды, а злостные банкро-

ты—умными коммерсантами? Ваши ученые все-ли еще думають, что они непризнанные генiи, а ваши литераторы все-ли еще мечтають о воскресенiи еврейскаго языка посредствомъ своей риѳмованной галиматьи? Ваши женщины все-ли еще воображають себя нѣмками—по происхожденiю и маркизами—по манерамъ? Ваши дѣвы все-ли еще мечтають о пламенной любви и выходять замужъ по не менѣе пламенному влеченiю къ туго-набитымъ карманамъ? Ваша новомодная молельня, обѣщавшая столь много хорошаго при своемъ возникновенiи, все-ли еще богата лишь обѣщанiями? Ваши передовые все-ли еще стоять сзади въ ожиданiи, чтобы какая нибудь бомба толкнула ихъ впередъ? Однимъ словомъ: ваша община все-ли еще благодушествуетъ, какъ израильтяне во дни Соломоновы, ни о чемъ не заботясь и ничего не зная?

Но знайте, что приближается время, *горячее время*, въ которое ваши виноградники и смоковницы окажутся не совсѣмъ надежной опорой покоящимся подъ ихъ тѣнью. Приближается время, въ которое съ ножомъ къ горлу будутъ приставать къ намъ, требуя категорическаго отвѣта на вопросъ: кто вы? что вы? за кого вы? съ кѣмъ вы? Въ польскомъ лагерѣ затѣвается что-то серьезное, кровью пахнетъ. Ужъ годъ тому назадъ, въ немъ стало замѣчаться какое-то броженiе. Неизвѣстно было только, чѣмъ оно разразится. Теперь это броженiе обозначается все яснѣе и яснѣе. Домашнiй вѣковой споръ опять выступаетъ на сцену. Неизвѣстно, когда борьба начнется, но извѣстно, что это будетъ борьба не на животъ, а на смерть. Эта борьба, такъ или иначе, задѣнетъ и насъ. Мы получаемъ на этотъ счетъ довольно прозрачные намеки. Поляки стали насъ обнюхивать, ухаживать за нами, авось, не удастся ли соблазнить насъ, благо намъ не особенно вольготно подъ русскими законами. Они въ насъ чуютъ или предполагаютъ враждебный Москвѣ элементъ, а потому мы имъ и на руку. Вѣдь двухмиллiонное населенiе съ извѣстнымъ экономическимъ положенiемъ въ самомъ дѣлѣ не шутка. Ихъ губа не дура. Глупо только то, что поздно спохватились. Но извѣстно, что Polak mędry po szkodzie... Не наша поэтому вина, что умъ только на дняхъ пожаловалъ къ нимъ. А что дѣлается въ Варшавѣ, вы знаете? Листки, воз-

званія къ вамъ доходятъ? Съ тридцатьперваго года мы сдѣлались старше тридцатью годами. На насъ уже смотрятъ, какъ на совершеннолѣтнихъ. На насъ расчитываютъ, къ намъ взываютъ. И такъ, подумали-ли вы уже, куда намъ идти, *направо* или *налѣво*? Не забывайте, что отъ этого рѣшенія зависитъ будущность всего нашего племени. Стало быть, стоитъ, чтобы поломать надъ этимъ рѣшеніемъ голову.

Мы здѣсь подумали и рѣшились—идти на право, пристать къ Москвѣ. Туда влечетъ насъ инстинктъ, соображенія и, наконецъ, чувство благодарности. Мы никогда не должны забывать, что *варварская* Россія, а не *цивилизованная* Польша впервые стала заботиться о нашемъ образованіи и воспитаніи. Пробужденіемъ въ насъ самосознанія мы обязаны Россіи, а не Польшѣ. Императоръ Николай I былъ для насъ, евреевъ, нѣкоторымъ образомъ, тѣмъ, чѣмъ Петръ I былъ для русскихъ. Что здѣлалъ для нашего образованія князь Чарторыйскій? Мы для него совсѣмъ не существовали. Но мы существовали для графа Уварова; онъ насъ изобрѣлъ для русскаго образованія, онъ много для насъ сдѣлалъ, и еще болѣе *хотѣлъ* сдѣлать. Мы этого не должны забывать и не забудемъ.

Польша не дала намъ ни отечества, ни народности,—что же намъ любить въ ней? Польша, давъ намъ пріютъ, превратила насъ въ орду мелкихъ торгашей, въ которой она сильно нуждалась, пусть и ищетъ теперь въ этой ордѣ патріотическаго чувства. Не найдетъ?—Было-бы странно, если-бы нашла. Чего не посѣялъ, того не пожнешь. Съ Россіей намъ, можетъ быть, болѣе посчастливится. Получивъ отъ нея ключъ къ образованію, мы этимъ ключемъ, дастъ Богъ, — отопремъ для себя русскую народность, русскую гражданственность, русское отечество .. Правда, и въ Россіи не больше насъ жалуютъ. Но сердце мнѣ говоритъ, что со временемъ русскіе насъ полюбятъ. Мы ихъ *заставимъ* полюбить насъ! Чѣмъ?—Любовью же. Народъ русскій—народъ здоровый, счастливый, а въ народѣ здоровомъ больше любви, больше великодушія, и, наконецъ, больше ума, чѣмъ въ племени разслабленномъ, несчастномъ, умирающемъ. Поляки не могутъ насъ любить:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидѣть.

Польша-то и дѣлала, что ненавидѣла: аристократія ненавидѣла народъ, народъ—аристократію, они оба ненавидѣли славянъ, русскихъ, шведовъ, нѣмцевъ. Не начинать же ей упражняться въ любви именно на насъ, евреяхъ.

Пути исторіи неисповѣдимы. Очень можетъ быть, что поляки выйдутъ побѣдителями изъ предстоящей борьбы. Тогда—намъ, не примкнувшимъ къ ихъ знамени, придется плохо. Они, пожалуй, не будутъ прочь окончательно истребить насъ. Что-жъ, тѣмъ лучше: такъ разомъ покончимъ съ нашимъ невозможнымъ существованіемъ. Я испытываю адскія муки каждый разъ, когда подумаю, что я — точно песъ, не имѣющій хозяина, уныло бродящій по улицамъ, не имѣющій кого любить, кому быть вѣрнымъ, къ кому приласкаться. Такой песъ, замѣтилъ-ли ты, потерялъ даже привычку лаять, потому что ему нечего оберегать, некого защищать. Онъ, молча и равнодушно, проходитъ мимо ночнаго вора, проникающаго въ сномъ объятую избу. «Пусть себѣ крадетъ, мнѣ что за дѣло! А вотъ найду кость, обгложу ее и буду сытъ. Больше мнѣ и не нужно».

Мнѣ тошно быть такимъ безпріютнымъ, вольнопрактикующимъ псомъ, а потому я очень радъ навсегда порѣшить, кто мы и съ кѣмъ мы? Опредѣливъ вѣковыя натянутыя отношенія между поляками и русскими, борьба эта въ тоже время выяснитъ и наше двусмысленное положеніе среди этихъ двухъ народовъ. Отлынивать фразами: «не знаемъ, не вѣдаемъ» — не позволятъ намъ ни поляки, ни русскіе, потому что мы теперь *должны* знать, *должны* вѣдать.

Знаете-ли вы, вѣдаете-ли вы, мой добрый Морицъ, и вы, мои любезные товарищи по оружію?.. Берегитесь, чтобы приближающіяся событія не застигли васъ въ расплохъ. Стойте на стражѣ, будьте чутки. Полученное нами образованіе и наше званіе народныхъ наставниковъ, стало быть руководителей молодаго поколѣнія, обязываютъ насъ сознательно идти туда, куда слѣдуетъ, а не туда, куда безсмысленная толпа будетъ толкнута повѣявшимъ вѣтромъ. На насъ смотрятъ, какъ на передовыхъ, стало быть, мы должны идти впередъ, къ

опредѣленной цѣли, твердо, сознательно, и намъ не простятъ безхарактерныя уклоненія въ сторону».

XVIII.

4 сентября.

Странныя были имянины у панны Изабеллы. Впрочемъ, все, что дѣлается теперь поляками, невольно бросается въ глаза и вызываетъ на размышленіе.

Согласно приглашенію, мы пришли въ 6 часовъ по-полудни. Изабелла приняла насъ съ распростертыми объятіями, лобзаніямъ не было конца. Мы нашли у нея нѣсколько дѣвицъ и нѣсколько кавалеровъ. Дамы были въ глубокомъ траурѣ и съ четками изъ большихъ черныхъ бусъ. Нѣкоторыя, вмѣсто браслетовъ, носили желѣзныя цѣпочки, довольно тяжелыя, въ знакъ того, что ойчизна въ неволѣ. Кавалеры были въ чамаркахъ и ботфортахъ, подъ мышкой они держали конфедератки. Они всѣ имѣли не праздничный, а воинственный видъ, усы лоснились отъ фиксатуара и были закручены въ невѣроятныя колечки. Можно было догадаться, что они долго провозились надъ своимъ туалетомъ.

Пришелъ Вацлавъ и еще нѣсколько молодыхъ людей. Заговорили о политикѣ, о Франціи, Наполеонѣ и проч. Я мало прислушивалась къ этому разговору, потому что онъ меня несовсѣмъ интересовалъ. Мое вниманіе возбудило только имя Мѣрославскаго, которое не сходило съ языка всѣхъ присутствовавшихъ.

— Онъ теперь въ Познани,—сказалъ Вацлавъ.

— Извини, братъ,—возразилъ какой-то молодой человѣкъ,—онъ теперь во Львовѣ.

— А я знаю навѣрное,—отозвался еще кто-то,—что Мѣрославскій теперь въ Швеціи, вербуетъ матросовъ для флота. Тамъ теперь и Бакунинъ.

— Очень можетъ быть, очень можетъ быть,—согласились многіе изъ присутствующихъ.

— Кто этотъ Мѣрославскій? — рѣшилась я спросить въ полголоса у панны Изабеллы.

— Польскій генералиссимусъ, нашъ будущій главнокомандующій,—отвѣтила Изабелла.—Онъ по храбрости и воен-

нымъ талантамъ второй Костюшко. Наполеонъ хотѣлъ сдѣлать его маршаломъ Франціи и военнымъ министромъ, но онъ отказался. «Моя сабля нужна Польшѣ», сказалъ онъ. Съ Гарибальди онъ за панибрата; они товарищи по оружію, въ одной палаткѣ всегда стояли. Ему стоитъ только сказать слово, такъ Гарибальди со всѣми своими волонтерами придетъ намъ на помощь.

— Приди ко мнѣ завтра, — прибавила потомъ Изабелла, такъ я тебѣ дамъ литографированную брошюру, въ которой ты найдешь біографію нашего генерала и его портретъ.

Я крѣпко пожала ей руку въ знакъ невыразимой благодарности.

Вошелъ какой-то ксендзъ среднихъ лѣтъ и очень пріятной наружности.

— Niech będzie pochwalony Pan Jezus Christus, Zbawiciel nasz, i Matka Boska Ostrobramska, Opiekunka nasza, — провозгласилъ онъ скороговоркой, кланяясь на всѣ стороны.

Всѣ поднялись съ своихъ мѣстъ и почтительно поклонились ему. Осѣнивъ все собраніе крестнымъ знаменіемъ, ксендзъ направился къ дивану и занялъ мѣсто между дамами. Изабелла подвела насъ къ нему и представила.

— Очень пріятно, очень пріятно, — сказалъ онъ, привставъ немного и добродушно улыбаясь.

Мужчины продолжали прерванный разговоръ о политикѣ, а дамы занялись ксендзомъ, который началъ бесѣдовать съ ними въ полголоса. Должно быть, что онъ ихъ смѣшилъ, потому-что онѣ очень часто хихикали. Мы сидѣли поодаль, а потому не могли слышать ихъ разговора.

— Вы, сударыни, позволите мнѣ немножко погавендзиць съ моею коханкою? — спросилъ ксендзъ нѣсколько громче и улыбаясь.

— Позволяемъ, позволяемъ,—отвѣтили дамы.

Онъ переглянулся съ Изабеллой, которая, отлучившись на минуту въ боковую комнату, возвратилась оттуда съ набитою трубкою и со спичками.

— Вотъ вамъ и ваша коханка, пане ксендзе,—сказала она.

— Tenga przyjaciolka, — отвѣтилъ ксендзъ,—аппетитно раскуривая трубку,—неправда-ли, сударыни?

— И не капризница?—спросила Изабелла. И ѣсть не проситъ? –спросила еще кто-то.

— О, этого нельзя сказать,—отвѣтилъ ксендзъ,—но она довольствуется малымъ: cwierc Zukowego—и довольно съ нея.

Потомъ бесѣда продолжалась опять въ полголоса. Намъ становилось скучно и даже неловко. Полина даже зѣвнула. Вацлавъ это замѣтилъ, а потому онъ подскочилъ къ ней и завелъ съ нею разговоръ.

Изабелла украдкой взглянула на свои часы и пожала плечами, перемигнувшись съ Вацлавомъ. Что означаетъ эта мимика и что это за имянины? --спрашивала я себя.

Мое недоумѣніе вскорѣ разрѣшилось.

Около семи часовъ мы услышали грохотъ подъѣзжающихъ экипажей. Всѣ бросились къ окошкамъ. На дворъ въѣзжали двѣ кареты съ опущенными шторами.

— Графиня!—воскликнули присутствующіе.

Все засуетитось. Ксендзъ отставилъ свою трубку въ уголъ и вышелъ на середину комнаты, дамы поправили свои туалеты; кавалеры застегнули свои чамарки на всѣ пуговицы и пріосанились, а Вацлавъ и Изабелла бросились въ сѣни встрѣчать графиню. Всѣ торжественно молчали.

Черезъ нѣсколько минутъ, двери широко распахнулись и въ комнату вошла или, справедливѣе, вплыла, поддерживаемая съ одной стороны Изабеллой, а съ другой Вацлавомъ, графиня Сташицкая, въ сопровожденіи большой свиты изъ дамъ и мужчинъ.

Я не узнала ее въ странномъ, фантастическомъ костюмѣ. На ней было бѣлое пикейное платье, отороченное по краямъ широкими черными лентами; къ груди приколота была большая красная кокарда, имѣвшая изображеніе сердца, изъ которой ниспадали, въ видѣ кровавыхъ струй, длинныя, тоненькія, но красныя же ленточки. На плеча накинута была розовая кофточка, напоминавшая покроемъ мужскую чамарку. На головѣ она имѣла бѣлую конфедератку съ страусовымъ перомъ. Волосы ея были распущены и ниспадали густыми прядями на плеча, спину и грудь. Станъ ея охватывала

стальная цѣпь, сообщавшаяся съ цѣпями, висѣвшими на ея шеѣ и рукахъ. Отъ малѣйшаго движенія цѣпи производили свойственное имъ непріятное бряцанье. Весь этотъ костюмъ въ совокупности былъ нестолько эффектенъ, сколько страненъ и произвелъ на меня не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе. Онъ показался мнѣ ребяческою декораціей, недостойною умной и серьезной женщины, каковою я считала графиню со дня нашего перваго знакомства. Нѣсколько позже я узнала, что графиня своимъ страннымъ костюмомъ имѣла изображать собою невинную Польшу въ цѣпяхъ и истекающую кровью. Но неужели патріотическое чувство въ полякахъ такъ слабо, что нужно будить его аллегоріями, символами и театральными эффектами? Мнѣ эта выходка графини положительно не понравилась.

Съ появленіемъ графини, мужчины отвѣсили ей глубокій поклонъ, а дамы подошли къ ея ручкѣ. То же самое сдѣлалъ ксендзъ, то же самое сдѣлали мы.

— И вы здѣсь? — сказала она, подавая намъ свои обѣ руки,—я очень рада видѣть васъ въ нашей средѣ. Надѣюсь, что отечество всегда найдетъ васъ въ ряду патріотокъ.

— Гдѣ прочія польки, тамъ и мы, – смѣло и твердо отвѣтила Полина, окинувъ все собраніе однимъ изъ тѣхъ пламенныхъ взглядовъ, которые ей свойственны были въ минуты экзальтаціи. – Отечество всегда найдетъ насъ польками, будь это при тихомъ домашнемъ очагѣ, будь это на шумномъ полѣ брани. Въ жилахъ нашихъ течетъ благородная кровь Маккавеевъ и многихъ другихъ рыцарей древней Палестины! Не побоимся меча и кинжала, какъ того не побоялись наши прабабушки Дебора и Юдиѳь...

Взрывъ рукоплесканій былъ отвѣтомъ на эти слова Полины. Восторженнымъ крикамъ «браво» не было конца. Одну минуту она была царицею собранія, затмивъ собою графиню. Послѣдняя заключила Полину въ свои объятія и осыпала ея голову поцѣлуями. Глаза ея покрылись влагою отъ избытка умиленія. Когда графиня выпустила Полину изъ своихъ объятій, къ послѣдней подошелъ ксендзъ и сталъ крѣпко жать ей руку. Не довольствуясь этимъ, онъ осѣнилъ

ее крестнымъ знаменіемъ, отъ котораго она невольно отшатнулась назадъ.

— Не пугайся, дитя мое, креста — сказалъ ксендзъ, понявъ движеніе ея сердца,—онъ благословляетъ, а не проклинаетъ. У васъ и у насъ одинъ и тотъ же Богъ, что на небѣ. Только внѣшнія формы у насъ разныя...

— А за внѣшнія формы насъ и отталкиваютъ,—вставила Полина.

— От-тал-ки-ва-ли, дитя мое,—отвѣчалъ ксендзъ,—но не отталкиваютъ. Ты этого не забудь. Люди теперь умнѣе стали.

Меня поразила эта вѣротерпимость въ католическомъ ксендзѣ. Но искренна-ли она?—спросилъ во мнѣ какой-то голосъ.

Графиня заняла мѣсто на диванѣ, усадивъ подлѣ себя съ правой руки княжну Мильфоръ, а съ лѣвой Полину. Прочіе гости расѣлись гдѣ и какъ кому удобно было. Но глаза всѣхъ обращены были на диванъ, гдѣ сидѣлъ цвѣтъ всего собранія. Разговоръ тоже шелъ оттуда. Графиня скажетъ фразу, княжна пополнитъ, обработаетъ ее и тогда фраза дѣлается достояніемъ всего собранія. Я замѣтила, что графиня властвовала въ этомъ кружкѣ. Всѣ обращались къ ней съ подобострастіемъ, какъ мужчины, такъ и женщины. Даже ксендзъ видимо ея побаивался и льстилъ ей ужъ черезъ-чуръ. Чѣмъ она взяла? Своимъ умомъ? —Но необыкновеннаго ума въ ней не замѣчалось. Своимъ богатствомъ? Можетъ быть: она богатѣйшая помѣщица въ краѣ.

Подали чай. Разговоръ на нѣкоторое время прекратился.

Послѣ перваго стакана, графиня, закуривъ папиросу, начала:

— Господа! Всѣ минуты нашей жизни должны быть посвящены ойчизнѣ. Даже наши семейные праздники должны соединять насъ только во имя нашей многострадальной Польши. А потому, любезный г. Зарембо, вы хорошо сдѣлаете, если займете насъ назидательнымъ чтеніемъ о предметѣ, который для насъ дороже жизни.

Вацлавъ поклонился графинѣ въ знакъ согласія.

— Что прикажете читать,—спросилъ онъ,—изъ старыхъ или изъ новыхъ?

— Новыя книги, конечно, для насъ интереснѣе,—отвѣтила графиня,—потому что онѣ трактуютъ о современности; но и въ нашихъ старыхъ книгахъ есть такіе перлы, которые теперь только могутъ быть оцѣнены по достоинству. Такъ вѣдь, г. ксендзъ?

— Совершенно справедливо, ясневельможная пани графиня,—отвѣтилъ ксендзъ съ поклономъ.

— Хорошо, — сказалъ Вацлавъ и вышелъ въ боковую комнату.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ возвратился съ старою, переплетенною въ здоровую кожу, книгою и съ портфелемъ.

— Ну, кого вы намъ изъ стариковъ принесли?—спросила графиня.

— Лукаша Горницкаго: Dzieje w koronie Polskiej.

— А что у васъ въ портфелѣ?

— Вновь полученныя комитетомъ брошюры изъ-за границы.

— Это любопытно. Потрудитесь прочесть намъ пока заглавія.

Вацлавъ раскрылъ портфель и, выложивъ на столъ нѣсколько брошюръ, началъ:

— Glos ludu polskiego w tysiacletnie rocznicę zgonu Piasta, przez Karola Balinskiego.

— Хорошо,—сказала графиня, обрадовавшись,—гдѣ брошюра издана?

— Въ Парижѣ.

— Хорошо. Дальше?

— Mowa miana przez Adama Czartoryskiego w towarzystwie lit. historycznem w Paryzu 3 Maja 1861 г.

— Не очень важно, но любопытно, — былъ отзывъ графини. Дальше.

— Westchnienie pobozne za dynastyie Czartoryskich w Polsce.

— Это брошюра старая и къ дѣлу не идущая. Принципы Ламберова отеля Польши не воскресятъ. Мы съ Лелевелемъ, Мѣрославскимъ, съ демократами. Такъ, господа?

— Безъ сомнѣнія, безъ сомнѣнія,—отвѣтили мужчины.

— Къ чорту всѣхъ Чарторійскихъ съ Замойскими вмѣстѣ,—воскликнулъ, запальчиво топнувъ ногою, одинъ изъ свиты графини, мужчина пожилыхъ лѣтъ съ коротко остриженными волосами, съ лицомъ краснымъ, какъ ракъ, и съ неимовѣрно длинными усами!... Я, положимъ, шляхтичъ шарачковый, но я честный полякъ, а потому водить себя за носъ не позволю никому, никому!

Онъ окинулъ все собраніе почти гнѣвнымъ взглядомъ и сталъ тяжело сопѣть отъ внутренняго волненія.

— Что у васъ еще есть?—спросила графиня.

— Czy Polacy moga sie wybic na niepodleglosc?

— Это мнѣ тоже что-то знакомо.

— Брошюра въ самомъ дѣлѣ не новая,—отвѣтилъ Вацлавъ,—она издана въ Парижѣ въ 1843 году, но въ нашей народной библіотекѣ ея еще не было, поэтому коммиссіонеръ нашъ прислалъ ее. А вотъ совершенно свѣжая брошюрка: Obrazki caryzmu. Она появилась въ Лейпцигѣ въ началѣ текущаго года.

— Кто авторъ этой брошюры?

— Юзефъ Гордонъ.

— Такого польскаго писателя что-то непомню, — замѣтилъ ксендзъ.—Должно быть, что это полякъ Моисеева исповѣданія.

— A la bonne heure,—сказала княжна Мильфоръ, бросивъ на меня и Полину взглядъ, полный нѣжнаго участія.

— Слава Богу,—сказала графиня.

— Слава Богу,—подхватили всѣ гости.

— Уже все?—спросила графиня.

— Еще одна брошюра,—отвѣтилъ Вацлавъ. Оттискъ статьи г. Юльяна Клячко изъ Revue des deux Mondes. Московская цензура не пропустила ее, стало быть она намъ нужна.

— Нужна или нѣтъ, для меня все равно, отозвался усатый шляхтичъ, отославшій прежде Чарторійскихъ и Замойскихъ къ чорту. Я по-французски не читаю. Но для меня важно то, что московскій жондъ на своемъ не поставилъ. Ты, подлецъ, не пропускаешь, а мы вотъ имѣемъ. Вотъ тебѣ и твоя цензура!



Послѣднія слова сопровождены были энергическою гримасою и не менѣе энергическимъ кукишемъ.

Гости размѣялись.

— Да, господа,—продолжалъ шляхтичъ,—будемъ кормить москалей кукишами до тѣхъ поръ, пока они съ ногъ не свалятся. Го, го, отъ этого постнаго блюда не поздоровится даже такимъ юфтяннымъ желудкамъ, какъ у капустняковъ.

Гости опять разсмѣялись.

По мановенію графини, приступлено было, наконецъ, къ чтенію.

XIX.

5-го сентября.

«Чтеніе длилось около часу. Сперва читалъ ксендзъ—изъ старой книги, потомъ Вацлавъ—выдержки изъ брошюръ. Чтеніе часто прерываемо было рукоплесканіями слушателей и замѣчаніями графини; замѣчанія же послѣдней дополнялись циническими выходками сердитаго шляхтича, которому все прощалось—вѣроятно, изъ уваженія къ его лѣтамъ и къ его пылкому нраву. Даже изящная графиня была снисходительна къ его тривіальному краснорѣчію. Она, бывало, поморщится, а потомъ все-таки улыбнется. Должно быть, что этотъ шляхтичъ—очень нужный человѣкъ. Даже Вацлавъ, какъ я замѣтила, въ немъ заискиваетъ. Онъ всячески избѣгалъ ему прекословить, хотя онъ не разъ имѣлъ къ тому причину и основаніе. Этотъ шляхтичъ мнѣ положительно не нравится. Я его пугаюсь: въ его словахъ, манерахъ и взглядахъ столько кровожадности!... Но для спасенія ойчизны, можетъ быть, нужны и такіе люди.

За чтеніемъ послѣдовалъ отдыхъ. Кавалеры подошли къ дамамъ и повели разговоръ въ полголоса. Нѣкоторые стали прохаживаться по залу. Графиня съ своими ассистентками оставалась на диванѣ и о чемъ-то разговаривали, при чемъ графиня часто цѣловала Полину въ лобъ. Рядомъ со мною сидѣлъ какой то юноша, должно быть гимназистъ, съ которымъ я отъ времени до времени перекидывалась незначительными фразами. Ксендзъ, сердитый шляхтичъ, Вацлавъ и Изабелла удалились въ боковую комнату и долго оттуда не возвращались.

Часу въ девятомъ, въ залъ возвратился сердитый шляхтичъ, который, растопыривъ руки, торжественно провозгласилъ:

— На молитву, господа, на молитву; все уже готово.

Всѣ встали и попарно отправились въ боковую комнату. Впереди всѣхъ шла графиня съ княжною. Бывшія на графинѣ цѣпи какъ-то особенно бренчали, что придавало нашей процессіи характеръ шествія каторжниковъ.

Миновавъ боковую комнату, служившую кабинетомъ, и узскій корридорикъ, мы очутились въ обширномъ залѣ, поразившемъ меня своею странною, почти костельною обстановкою.

Въ немъ, во-первыхъ, не было никакой мебели, за исключеніемъ рояля, стоявшаго по самой срединѣ зала, и табурета при рояли. У противуположной отъ дверей стѣны возвышалась узкая эстрада въ три высокихъ ступени. На верхней ступени находился большой образъ Остробрамской Божіей Матери въ богатой оправѣ. По сторонамъ его водружены были два красныхъ знамени съ какими-то надписями, которыхъ я не могла разобрать. У подножія образа, на низшей ступени, стояли большія, въ человѣческій ростъ, гипсовыя фигуры съ одной стороны — Костюшка въ повстанскомъ костюмѣ и съ другой—Мицкевича въ плащѣ и съ непокрытою головой. На третьей ступени, самой низшей, стояла пирамида изъ винтовокъ, саблей и косъ. Пирамида увѣнчана была большою красною конфедераткою. Вся эта картина освѣщена была нѣсколькими свѣчами и гирляндою изъ черныхъ и красныхъ лампіоновъ.

Во всемъ залѣ царствовалъ полумракъ, такъ какъ на дворѣ уже было темно и шторы были опущены.

Графиня съ своею свитою заняла мѣсто у самой эстрады; прочіе же гости разсыпались по всему залу, такъ что каждому пришлось стоять одиноко.

Всѣ торжественно молчали и съ благоговѣніемъ смотрѣли на эстраду.

Раздался звонокъ.

Къ рояли тихо и безмолвно приблизилась Изабелла и сѣла на табуретъ; къ рояли же подошелъ, тяжелымъ шагомъ, сердитый шляхтичъ, таща съ собою віолончель, которой я прежде не замѣтила.

Заиграли что-то монотонное, но торжественное, напоминавшее мнѣ костельную музыку. Эта музыка, въ особенности же звуки віолончели, на которой шляхтичъ игралъ мастерски, хватала за сердце.

— На колѣни!—скомандовалъ шляхтичъ, когда прелюдія кончилась.

Всѣ, за исключеніемъ графини, опустились на колѣни. Графиня сложила руки и наклонила голову. Болѣе театральной позы нельзя было и придумать. Она стояла не шевелясь, не моргая, точно изваянная. Лицо ея покрылось матовою блѣдностью, мысль замерла на немъ. Она, казалось, перестала дышать. Въ этомъ положеніи ее легко можно было принимать за третью гипсовую фигуру въ группѣ.

По данному шляхтичемъ знаку, всѣ колѣнопреклоненные запѣли, подъ звуки рояля и віолончели, гимнъ: Boze, cos Polska.

Въ одну минуту вся зала до самаго потолка наполнилась потрясающими звуками. Шляхтичъ сильно потѣлъ, извлекая изъ своего инструмента почти человѣческіе вздохи и вопли. Онъ, казалось, тиранилъ свою *жертву* и находилъ въ томъ удовольствіе. Пѣніе становилось все громче и громче. Я перестала слышать фразы, потомъ слова. Потомъ пѣніе превратилось въ одинъ общій плачъ, рыданіе съ опредѣленными ритмами и каденціями. Надъ всею же этою музыкою господствовали, точно рыканье разъяреннаго звѣря, страшные звуки страшнаго инструмента въ рукахъ страшнаго шляхтича.

Я была внѣ себя. Я едва удерживалась на колѣняхъ и дрожала всѣмъ тѣломъ. Мнѣ казалось, что полъ качается подо мною. Одно время я пошатнулась и ударилась головою объ стѣну. Этотъ ударъ привелъ меня въ себя и я нѣсколько успокоилась. Я взглянула на графиню,—она стояла статуею по прежнему; я взглянула на Полину,—она пѣла и изъ глазъ ея струились слезы.

Гимнъ пропѣтъ былъ три раза, послѣ чего всѣ встали. Наступила маленькая пауза, во время которой графиня обняла княжну и поцѣловала ее въ лобъ. Отъ этого движенія цѣпи ея какъ-то особенно забренчали среди всеобщаго безмолвія.

Шляхтичъ опять далъ знакъ и всѣ, уже стоя, запѣли другой гимнъ:

Z dymem pozarow. Другая музыка, тоже потрясающая, но уже не плачевная, а нѣсколько воинственная. Она подѣйствовала на меня освѣжительно.

Этотъ гимнъ былъ пропѣтъ только разъ, послѣ чего мужчины стали жать другъ другу руки, а дамы цѣловаться. По окончанiи этого обряда, всѣ возвратились въ гостинную. Мнѣ пришлось идти съ Изабеллой.

— Что это такое было?—спросила я ее шепотомъ, желая знать, при какой это церемонiи я присутствовала.

— Это былъ патрiотическiй вечеръ,—отвѣтила она.

— Вы часто даете такiе вечера?

— Нѣтъ, какъ случится. Мы всѣ теперь такъ празднуемъ наши именины. Танцовать нельзя, играть тоже. Вотъ мы и поемъ патрiотическiе гимны. Это назидательно и прiятно.

Стали дѣлать приготовленiя къ ужину.

Мы распростились и ушли. Графиня и Изабелла настаивали, чтобы мы остались, но мы сказали, что намъ никакъ нельзя, и насъ отпустили.

— Что ты обо всемъ этомъ думаешь,—спросила я Полину, когда мы возвращались домой.

— Я теперь ни о чемъ не думаю, а только чувствую, отвѣтила она,—чувствую, что я полька, что я готова жизнь свою отдать за ойчизну. А ты развѣ этого не чувствуешь? спросила она въ свою очередь.

— Я еще сама не знаю,—отвѣтила я.

— Ну, когда не знаешь, значитъ никогда и знать не будешь.

— Послушай, Зося, начала она нѣсколько минутъ спустя, отчего бы тебѣ не выдти за-мужъ за моего брата?

— Что это тебѣ вдругъ вздумалось? — спросила я, удивленная такимъ страннымъ вопросомъ.

— Мнѣ вздумалось потому, что ты и Адольфъ были бы отличная пара.

— А Мэри?

— Я Мэри до этого брака не допущу. Адольфъ ей не пара.

Я не разсердилась, потому что къ причудамъ Полины я уже довольно привыкла.

XX.

Мэри Тидманъ опять мнѣ пишетъ:

«Мы всѣ здѣсь глубоко опечалены. Саринъ оставляетъ насъ: его переводятъ къ вамъ. Онъ самъ, кажется, тоже не радъ этой перемѣнѣ, хотя она доставитъ ему больше матеріальныхъ выгодъ. Здѣсь его любили, уважали, оцѣнивали, а у васъ... я увѣрена, что вы его не поймете. Онъ не фатъ, стало быть, онъ вамъ не понравится, да онъ, я думаю, и не постарается даже вамъ понравиться: не такой человѣкъ. Вы, пожалуй, еще подымете его на язычокъ; но предупреждаю васъ: онъ тоже зубастъ, даромъ, что держитъ себя тихо и скромно. Сначала вы подумаете, что онъ и двухъ словъ сказать не умѣетъ. На ваши банальные вопросы онъ, точно, кромѣ да и нѣтъ, ничего вамъ не отвѣтитъ. Но когда вы попробуете быть не банальными, тогда убѣдитесь, что подъ гладкою, почти безцвѣтною поверхностью бьетъ живой родникъ самаго пламеннаго краснорѣчія, самыхъ свѣжихъ мыслей; вы увидите, что человѣкъ не разговариваетъ, а душу свою изливаетъ. Вотъ почему здѣсь его любили, на рукахъ носили. Жаль будетъ, если вы его не поймете; онъ уйдетъ въ себя и не принесетъ вамъ той пользы, какую онъ въ состояніи принести. Надобно тебѣ знать, что онъ бываетъ дѣятеленъ только тогда, когда его вызываютъ къ дѣятельности, а то онъ радъ предаваться созерцательной жизни, къ которой онъ имѣетъ большую склонность. Что это, недостатокъ предпріимчивости, флегматичность характера или эгоизмъ? Еще болѣе жаль будетъ, если онъ опошлѣетъ среди пошлой обстановки вашей жизни... Но надѣюсь, что этого не будетъ, да и не можетъ быть: у него характеръ твердый, желѣзный. Вашей жизни не удастся вовлечь его въ свой мутный водоворотъ. Все, что можетъ быть, это—что вы останетесь чужды другъ другу.

«Не думай, chère Sophie, чтобы во мнѣ говорило что нибудь другое, кромѣ чувства уваженія къ Сарину. Я не ослѣплена, потому что не влюблена. Ты сама вскорѣ убѣдишься, что Сарина *любить* нельзя, даромъ, что онъ молодъ и не дуренъ собою. Онъ не то, что отталкиваетъ, а просто не

привлекаетъ, и это потому, что *любовь*, какъ мнѣ кажется, совсѣмъ невходитъ въ программу его жизни. Онъ самъ ее избѣгаетъ и не старается возбудить ее въ другихъ. Здѣсь за нимъ не знаютъ ничего, что хоть сколько-нибудь похоже на любовную интригу. Въ здѣшнемъ дамскомъ обществѣ онъ имѣетъ многихъ почитательницъ, но ни одной, которая бы объ немъ *мечтала*; а дѣвушки просто боятся его. Его отношенія къ женщинамъ очень оригинальны. Когда говоришь съ нимъ, то рѣшительно забываешь, что предъ тобой — молодой человѣкъ довольно пріятной наружнисти, а думаешь, что говоришь съ братомъ, отцомъ, другомъ. Съ нимъ какъ-то совѣстно кокетничать, аффектировать, такъ какъ ты на него рѣшительно не расчитываешь. Почему? Я сама не знаю, но я это чувствую, и это чувствуютъ многія. Ты едва-ли повѣришь, что, уже при второй встрѣчѣ съ нимъ въ домѣ г-жи Липманъ, я уже была съ нимъ откровеннѣе, фамильярнѣе, естественнѣе, чѣмъ съ Адольфомъ послѣ трехъ лѣтъ знакомства. Ему какъ-то не стараешься понравиться, потому что чувствуешь, что это совершенно лишнее дѣло, и говоришь съ нимъ поэтому просто, безъ обиняковъ, безъ граціознаго кривлянья и нашихъ прочихъ глупыхъ женскихъ замашекъ, не производящихъ на него ни малѣйшаго впечатлѣнія. Точно не для него это дѣлается. Здѣшнія дамы сначала досадовали на него за его равнодушіе къ ихъ граціи, не вызвавшей въ немъ ни малѣйшаго коплимента, но тенерь онѣ уже свыклись. Онѣ отъ него выслушиваютъ самыя горькія истины и не сердятся. Другому не простили бы такой *грубости*, но ему прощаютъ, потому что видишь, что онъ не обижаетъ, а только правду говоритъ. Въ этомъ отношеніи онъ будетъ интереснымъ сюжетомъ для вашихъ кокетокъ. Любопытно знать, кому изъ нихъ удастся вскружить ему голову. Здѣсь это никому не удалось. Знаешь-ли, мнѣ бы даже хотѣлось, чтобы его помучили немножко. Его равнодушіе къ нашему полу иногда просто обидно. Неужели мы, кромѣ равнодушія, ужъ ничего больше не заслуживаемъ? Одно изъ двухъ: или сердце его уже занято, или у него совсѣмъ нѣтъ сердца. Жаль, что онъ уѣзжаетъ, а то я отгадала-бы эту загадку. Неужели наша хваленая хитрость—только миѳъ?

Имѣю еще кое о чемъ съ тобою потолковать, но отлагаю до другаго раза.»

XXI.

Вотъ еще одно письмо Мэри:

«Представь себѣ, chère Sophie, я стала брать уроки русскаго языка. Ты этого не ожидала? Я тоже не ожидала. Да это, въ самомъ дѣлѣ, странно: ношу трауръ по *польской* отчизнѣ, а изучаю *русскій* языкъ! Но что-же мнѣ было дѣлать? Саринъ настаивалъ, убѣждалъ, г-жа Липманъ тоже, я не могла отказать и согласилась познакомиться съ русскимъ языкомъ, котораго я, какъ знаешь, до сихъ поръ терпѣть не могла. Саринъ утѣшаетъ меня, что со временемъ я полюблю и русскій языкъ и русскую литературу. Слышишь, *литературу*! Русскіе имѣютъ литературу! Совершенно новое для насъ открытіе, неправда-ли? Мы по переводамъ знаемъ, что существуетъ литература испанская, даже шведская, даже персидская, но чтобы существовала литература русская,—этого мы никогда и не подозрѣвали, по крайней мѣрѣ, въ Ригѣ я ничего объ ней не слыхала. Не знай я Сарина за человѣка очень серьезнаго, не позволяющаго себѣ сказать неправду даже въ шутку, я бы подумала, что онъ шутитъ, хочетъ меня мистифицировать. Но такъ какъ Саринъ говоритъ о русской литературѣ, стало быть такая вещь на свѣтѣ существуетъ и я теперь горю отъ нетерпѣнія поскорѣе познакомиться съ этою вещью. Это нетерпѣніе нѣсколько услаждаетъ скуку первыхъ уроковъ. Боже мой! Какія слова! Какія буквы! Зубы заболѣваютъ отъ ихъ произношенія, точно булыжники грызешь. Саринъ говоритъ, что это отъ непривычки. Можетъ быть, но мнѣ отъ этого нисколько не легче. Но безъ русскаго языка, какъ говоритъ Саринъ, я не могу быть полезной кружку, къ которому уже имѣю честь принадлежать, потому что всѣ дѣла, вся переписка кружка производятся на русскомъ языкѣ. Кромѣ того, живя здѣсь, я не могу отставать отъ здѣшнихъ—mit den Wölfen muss man heulen. Всѣ здѣшнія еврейскія дѣвушки знаютъ по-русски и охотно разговариваютъ на этомъ языкѣ. Не сидѣть же мнѣ между ними и хлопать глазами.

На дняхъ я имѣла съ Сарининымъ слѣдующій разговоръ.

— Кому вы передаете начальство,—спросила я его полусерьезно, полушутя.

— Въ нашемъ кружкѣ не было и не можетъ быть начальства,—отвѣтилъ онъ,—кромѣ идеи, которой мы всѣ служимъ, мы не признаетъ надъ собою ничьей власти, ничьей личной воли. Мы всѣ—товарищи-рабочіе на одной фабрикѣ: одинъ дѣлаетъ одно, другой другое, изъ нашей же работы выходитъ что нибудь цѣлое, болѣе или менѣе соотвѣтствующее плану, нами же составленному. Даже уѣзжая, я не перестаю принадлежать здѣшней артели. Я перемѣняю только мѣсто жительства, но не образа дѣйствія.

— Стало быть, вы не прекратите сношеній съ нами?

— Стало быть, вы еще мало знакомы съ духомъ нашего кружка, когда вы задаете мнѣ такой вопросъ. Куда судьба не забросила-бы меня или кого нибудь изъ нашихъ, мы не перестанемъ дѣйствовать, на сколько силъ хватитъ, въ духѣ предначертанной нами программы.

— Въ чемъ она состоитъ?—спросила я.

— Программа наша состоитъ въ томъ, чтобы выдвинуть нашихъ единовѣрцевъ изъ заколдованнаго круга, въ который ихъ втиснули неблагопріятныя обстоятельства, и поставить ихъ на путь къ русскому гражданству. Короче сказать: программа наша состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать евреевъ русскими.

— Почему русскими, а не нѣмцами?—спросила я, нѣсколько испугавшись программы кружка,—вы развѣ не признаете, что германская цивилизація несравненно выше русской?

— Намъ нѣтъ никакого дѣла до того, чья цивилизація выше,—отвѣтилъ онъ,—рѣчь идетъ пока у насъ не о цивилизаціи, а о народности, т. е. о духѣ и языкѣ. Мы живемъ въ Россіи, а потому мы должны быть русскими.

— Что же на то скажутъ поляки?

— Поляки свое слово уже сказали. Всею своею прошлою политикою въ отношеніи къ намъ они доказали, что имъ не желательно, чтобы мы были поляками.

— Но теперь они вѣдь поютъ совсѣмъ другое.

— То, что они поютъ теперь, имъ слѣдовало запѣть, по крайней мѣрѣ, сто лѣтъ тому назадъ. Тогда былъ бы прокъ.

Теперъ же намъ до ихъ лебединной пѣсни нѣтъ никакого дѣла; она насъ трогаетъ, какъ голосъ умирающаго, но она не обязываетъ насъ лечь въ гробъ вмѣстѣ съ отходящею въ вѣчность Польшей. Судьба предписала намъ жить, а потому мы должны и будемъ жить. Будемъ жить и пѣть: хотимъ быть русскими!

— Но что будетъ, если ваша новая пѣснь не найдетъ отголоска и въ русскихъ? — спросила я.

— Этого не можетъ быть,—отвѣтилъ онъ твердо.

— Почему?

— Потому, что русскій народъ совсѣмъ не глупъ; притомъ ненужно слишкомъ далеко забѣгать впередъ. Сдѣлаемъ попытку, вѣдь спросъ не бѣда.

— Но что, если попытка не удастся, т. е. если она докажетъ, что и русскіе не хотятъ знать насъ? Что же тогда?

— Тогда... началъ Саринъ, нѣсколько задумавшись, тогда знаемъ, что будетъ. Но къ чему этотъ скептицизмъ? Если вы думаете имъ пошатнуть въ насъ разъ принятое намѣреніе, то вы ошибаетесь. Мы въ нашихъ убѣжденіяхъ и надеждахъ очень тверды, тверже, чѣмъ вы думаете, тѣмъ болѣе, что не имѣемъ еще никакого повода усомниться въ нихъ. Мы убѣждены, что мы можемъ сдѣлаться русскими, а потому мы должны къ этому стремиться всѣми зависящими отъ насъ мѣрами. Мы наше дѣло дѣлаемъ, дѣлайте, что и вамъ поручено, учитесь по-русски! Мы пока больше отъ васъ не требуемъ, но за то мы ни за какія блага не освободимъ васъ отъ того немногаго, которое вы намъ уже обѣщали. Учитесь по-русски и—баста!

Какъ тебѣ нравится такой деспотизмъ? Они просто закабалили меня. Дѣлать нечего, я *должна* учиться по-русски, потому что разъ дала слово».

XXII.

Полинька Кранцъ отправила къ Мэри такое письмо:

«Мэринька, душенька, ангелъ мой! Поздравь меня, обними меня, цѣлуй меня! Я счастлива: я учительница. Мы завели школу, т. е. панъ Вацлавъ, панна Изабелла (ты ихъ помнишь?) и я (а меня помнишь?). Мы набрали 25 еврейскихъ

дѣвочекъ и обучаемъ ихъ польскому языку—и совсѣмъ безплатно, и книги имъ даемъ. Впрочемъ, не мы даемъ, а графиня. Ты знаешь графиню? Ахъ, нѣтъ. Я совсѣмъ забыла, что я ничего тебѣ о ней не писала. Какая я забывчивая!.. Ну, все равно, дѣло въ томъ, что здѣсь есть графиня Сташицкая. Какъ она добра, какъ ласкова, какъ образована и какая патріотка! Бываю у нея запросто почти каждый день. У нея домъ—полная чаша. У нея собираются всѣ патріоты. Если-бы ты знала, о чемъ здѣсь говорятъ!... Но я боюсь тебѣ писать, потому что говорятъ, что московскій жондъ распечатываетъ и просматриваетъ даже частныя письма. Графиня и подала намъ мысль о школѣ. «Приготовьте намъ побольше полекъ, — сказала она, — такъ ойчизнѣ легче будетъ справиться съ врагомъ». Мы и приготовляемъ полекъ. Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидаю того времени, когда мнѣ возможно будетъ познакомить моихъ учениць съ «Паномъ Тадеушемъ» и «Конрадомъ Валленродомъ»!—я съ ума сойду отъ радости. Нашъ Мицкевичъ—выше Шиллера, выше Гюго. Шиллеръ — напыщенъ и приторно-сладокъ, Гюго — фантастиченъ, но Мицкевичъ—правдивъ, великъ, святъ. А Ходьзко? А Сырокомля?... Кстати о послѣднемъ. Здѣсь слышно, что его Kasper Karlinski дѣлаетъ фуроръ за границей. Еще-бы!..

«Я чуть было не позабыла сказать тебѣ, что я имѣю и учениковъ, и знаешь кого?—Переца и Берковича. Они тоже начали учиться по польски. Я имъ даю по три урока въ недѣлю. Языкъ они скоро поймутъ, но произношеніе... Я просто въ отчаяніи отъ ихъ произношенія. Что мнѣ съ ними дѣлать? Не знаешь-ли какого нибудь средства?

«Зося въ школѣ не участвуетъ: отецъ ей не позволяетъ. Мнѣ отецъ тоже не позволяетъ, но я его не слушаюсь: ойчизна мнѣ дороже всего. Я теперь и рѣдко бываю дома. То я въ школѣ, то у графини. У нея всегда большое общество, пріятное. Съ княжной живемъ душа въ душу. Ты знаешь княжну? Ну все равно. Княжна Мильфоръ—секретарь графини, а я—ея помощникъ. Если бы ты видѣла, какіе циркуляры мы пишемъ!... Графиня - начальникъ отдѣленія главнаго комитета! Она подписывается—желѣзный *вѣеръ*, княжна — *иголка*, а я — *мотылекъ*. Эти псевдонимы нужны въ

видахъ предосторожности, чтобы перехваченныя бумаги не скомпрометировали насъ въ глазахъ московскаго жонда, который уже начинаетъ слѣдить за нами.

«Есть у насъ человѣкъ, шляхтичъ, богатырь. Онъ у насъ называется *молотомъ*. Никому не совѣтую подвернуться подъ его лапу: пришибетъ, какъ муху. Ему будетъ порученъ отрядъ косиньеровъ, который формируется въ имѣніяхъ графини. У насъ будетъ посполитное рушенье, какъ во времена Костюшки. Мужики будутъ на нашей сторонѣ, потому что мы имъ обѣщаемъ бóльшую волю, чѣмъ Царь въ своемъ манифестѣ. Надняхъ отсюда отправлены будутъ эмиссары для приготовленія народа къ возстанію. Имъ энергически будутъ содѣйствовать такъ называемые *мировые посредники* (чиновники такіе изъ дворянъ), въ рукахъ которыхъ вся судьба крестьянъ. Я этихъ эмиссаровъ вижу у графини. Они сшили себѣ мужицкія одежды и упражняются въ мужицкомъ говорѣ. Если бы ты слышала, какъ они разговариваютъ! Умора да и только.

«Мэринька, душенька! прошу тебя, не пиши уже ко мнѣ по-нѣмецки. Мнѣ теперь совѣстно переписываться на нѣмецкомъ языкѣ, столь-же намъ ненавистномъ, какъ московскій. Ты же довольно хорошо владѣешь польскимъ языкомъ. Отчего же тебѣ не писать ко мнѣ по-польски? Побольше читай, упражняйся, переводи и будешь писать по-польски не хуже, чѣмъ по-нѣмецки. Прошу тебя, умоляю тебя,—ради неразрывной дружбы нашей. Мнѣ теперь крайне непріятно все то, что хоть сколько нибудь напоминаетъ мнѣ о моей прошлой жизни. Неужели ты захочешь дѣлать мнѣ непріятности? А твои нѣмецкія письма я буду считать большою для себя непріятностью.

«Еще одна просьба. Нельзя ли тебѣ будетъ устроить въ Г. такую же школу, какую мы устроили здѣсь? Досугу у тебя много. Отчего же не посвятить его доброму дѣлу? Мы всѣ должны служить ойчизнѣ, несмотря на полъ и возрастъ. Захоти только, и мы отсюда доставимъ тебѣ всѣ средства и рекомендательныя письма, когда понадобятся. По крайней мѣрѣ, будешь знать, что ты не даромъ ѣшь польскій хлѣбъ. Смотри, какъ хорошо ополячены единовѣрцы наши въ Кру-

левствѣ! Тамъ уже изданъ польскій молитвенникъ для нашихъ женщинъ, а наши образованныя дамы еще и читать не умѣютъ по-польски! Просто гадко. Но богъ съ ними, съ бабами! Намъ нужно стараться, чтобы, по крайней мѣрѣ, подростающая молодежь знала языкъ своей родины. Въ противномъ случаѣ мы не будемъ имѣть никакого права называться поляками... Да здравствуетъ Польша!

Искренно любящій тебя *Мотылекъ*».

Книга вторая.

Жондъ Народовый и Евреи.

I.

— Теперь я буду спрягать,—сказалъ, въ одно январьское утро 1862 года, Жюль Перецъ Джону Берковичу, сидѣвшему насупротивъ его съ польскою грамматикою въ рукахъ.

И онъ началъ спрягать польскій глаголъ: pisac. Берковичъ внимательно слѣдилъ за спрягающимъ по книгѣ, дабы, въ случаѣ надобности, придти ему на помощь. Но Жюль Перецъ въ этой помощи не нуждался: благодаря своей счастливой памяти, онъ благополучно провелъ свой глаголъ сквозь пучину всѣхъ временъ и наклоненій,не споткнувшись ни разу.

— Wery well, сказалъ Берковичъ, погладивъ свою рыжую бородку.

— То есть, tres bien на языкѣ порядочныхъ людей?— спросилъ Перецъ.

— Yes, sir,—хладнокровно отвѣтилъ Берковичъ, медленно перелистывая грамматику.

Жюль Перецъ и Джонъ Берковичъ, первый—частный преподаватель французскаго языка, а второй—таковая же птица по части англійскаго языка,—переживали теперь очень трудныя времена. Вслѣдствіе польскаго движенія, охватившаго весь край, они лишились большей половины своихъ уроковъ, составлявшихъ единственный источникъ ихъ существованія. Уступая напору обстоятельствъ, евреи города N вдругъ охладѣли къ иностраннымъ языкамъ, на которые прежде были такъ падки, и бросились изучать польскій языкъ съ свойственной имъ горячностью. Они стали раскупать на расхватъ

польскія грамматики, словари, христоматіи. Число изучающихъ польскій языкъ возрастало съ каждымъ днемъ. Люди состоятельные нанимали учителей, а несостоятельные бросились самоучкой осиливать языкъ, которымъ прежде пренебрегали, но который теперь вдругъ почему-то сталъ всѣмъ необходимъ. Поляки, само собою разумѣется, всячески поддерживали и поощряли горячку, овладѣвшую еврейскимъ населеніемъ города N, видя въ ней вожделѣнный переломъ въ образѣ мыслей и чувствахъ евреевъ, переломъ, обѣщавшій имъ много хорошаго въ будущемъ. Но они горько ошибались. Перелома въ образѣ мыслей и чувствахъ евреевъ никакого не было; каждый еврей сталъ учиться по-польски потому, что всѣ остальные евреи почему-то стали учиться этому языку. Соревнованіе, конкурренція,—эти обычныя явленія въ жизни русскихъ евреевъ, — и играли во всей этой кутерьмѣ главную, почти единственную роль. Одинъ началъ учиться по-польски, стало быть, всѣ должны учиться. Въ силу этого, и Перецъ и Берковичъ, чтобы не отстать отъ другихъ, тоже должны были взяться за польскіе учебники.

Какъ сказано, Жюль Перецъ и Джонъ Берковичъ переживали теперь очень трудныя времена. Ихъ доходъ не покрывалъ ихъ расходовъ. Не будь у нихъ кой-какихъ сбереженій отъ прошлыхъ лѣтъ и не живи они весьма экономно,— имъ пришлось бы теперь очень жутко.

Они занимали небольшую комнату во второмъ этажѣ, если только вторымъ этажемъ можно назвать мансарду надъ одноэтажнымъ деревяннымъ домикомъ предмѣстья. Но такъ, по крайней мѣрѣ, называли ее владѣлецъ этого домика, отставной чиновникъ, и жильцы его. Меблирована была эта комната, какъ обыкновенно меблируются квартиры бѣдныхъ холостяковъ: двѣ простыя некрашенныя кровати, два стула, тоже некрашенные, одинъ столъ, немножко покрашенный, и одинъ табуретъ, исправлявшій по утрамъ также и должность умывальнаго столика. Эта *мебель* была хозяйская. Но, кромѣ этой мебели, въ комнатѣ находились: старый комодъ, два сундука и одно небольшое и очень дешевое зеркало. Эти предметы уже были благопріобрѣтенною собственностью самихъ жильцовъ.

Въ видахъ экономіи, Жюль Перецъ, вмѣсто хорошихъ си-

гаръ, къ которымъ было привыкъ, сталъ курить простыя, самодѣльныя папиросы, а Джонъ Берковичъ, вмѣсто двухъ бутылокъ баварскаго пива, которыя выпивалъ каждый день, сталъ входить во вкусъ простаго кваса домашняго приготовленія.

— А что, сэръ, — плохо? — сказалъ Жюль Перецъ, съ отвращеніемъ покуривая свою папироску.

— Не хорошо, я даже думаю, что совсѣмъ не хорошо, — отвѣтилъ Джонъ Берковичъ, продолжая перелистывать, лежавшую предъ нимъ, грамматику.

— Но ничего, — прибавилъ какъ бы въ утѣшеніе Жюль Перецъ, — будетъ еще хуже: мы вскорѣ лишимся и послѣднихъ нашихъ уроковъ.

— Ты такъ думаешь? — спросилъ Берковичъ, поблѣднѣвъ, какъ полотно.

— Я почти въ томъ убѣжденъ, — отвѣтилъ Перецъ, бросивъ въ уголъ окурокъ папиросы. Вѣдь наши единовѣрцы все равно, что стадо барановъ: куда одинъ, — туда и всѣ. Одинъ бросилъ учиться по-французски, значитъ, никому уже ненужно учиться. Къ первому числу у меня, вѣроятно, не останется ни одного урока.

— У меня въ перспективѣ почти тоже самое, — проговорилъ Берковичъ, испустивъ глубокій вздохъ.

— Однако, mon cher, — началъ Перецъ послѣ короткой паузы, — отчаяваться нечего. Мы люди холостые. Какъ хорошо, что мы не женаты! Мы съ голода не умремъ.

— Но ты, кажется, забываешь, — возразилъ Берковичъ, — что у меня мать и сестра, которыя только моею поддержкою и живутъ?

— Ахъ да, виноватъ, — извинился Перецъ, — я точно забылъ, что ты все равно, что съ семьей. Но мы объ этомъ еще подумаемъ.

Онъ всталъ и зашагалъ по комнатѣ взадъ ивпередъ, ероша свои длинные черные волосы. Берковичъ, закрывъ книгу, растянулся на кровати и сталъ безмысленно глядѣть на потолокъ.

Молчаніе длилось нѣсколько минутъ.

— О чемъ ты задумался? — спросилъ Жюль Перецъ, подошедъ къ своему товарищу.

— Я задумался о томъ, — отвѣтилъ Берковичъ, обернув-

шись лицомъ къ стоявшему передъ нимъ Перецу,—я задумался о томъ, что какъ хорошо-бы было, если бы я былъ дровосѣкомъ, чернорабочимъ, ремесленникомъ или земледѣльцемъ. Чернорабочій всегда найдетъ для себя занятіе, а мы—вотъ нѣтъ. Въ нашихъ услугахъ никто теперь не нуждается. Вотъ въ чемъ наша бѣда.

— Ошибаешься, другъ мой,—возразилъ Жюль Перецъ,—въ услугахъ нашихъ еще нуждаются, не здѣсь, такъ тамъ, и бѣда наша не въ томъ, что мы не чернорабочіе, а въ томъ, что мы евреи.

— Какъ такъ?—спросилъ Берковичъ, не понявъ мысли своего товарища.

— Да такъ. Что сдѣлалъ, напримѣръ, мсье Дюпре, когда онъ, подобно намъ, сталъ терять одинъ урокъ за другимъ? Онъ плюнулъ на весь край и уѣхалъ въ Россію, гдѣ трудъ его вознаграждается гораздо лучше, чѣмъ здѣсь. А мы вотъ сиди здѣсь и издыхай съ голоду, потому что намъ въ Россію нельзя. Мсье Дюпре, иностранцу, можно свободно разъѣзжать по Россіи, а мнѣ, русскому поданному, нельзя, потому что я еврей. Какъ тебѣ нравится эта логика?

Берковичъ ничего не отвѣтилъ; но изъ сдѣланной имъ гримасы видно было, что и ему эта логика не больно нравится.

— Послушай, Джонъ,—опять началъ Перецъ—тебѣ, кажется, извѣстно, какъ мало я сочувствую полякамъ. При всемъ томъ, я ни на минуту не задумаюсь, когда они того потребуютъ, стать въ ихъ ряды. Россія насъ не принимаетъ, стало быть, мы должны оставаться въ Польшѣ. M-lle Кранцъ въ самомъ дѣлѣ права, когда говоритъ, что мы ѣдимъ польскій хлѣбъ, а не русскій. Чортъ возьми! Пойду въ повстанцы. Стрѣлять, фехтовать, ѣздить верхомъ умѣю, а потому могу быть воиномъ не хуже другихъ польскихъ юношей. Рѣшено: при первомъ призывѣ я промѣняю свою учительскую указку на повстанскую винтовку. Чѣмъ я тутъ рискую?

— Бездѣлицей: жизнью, — флегматически отвѣтилъ Берковичъ.

— Эхъ, братъ!—воскликнулъ Перецъ, подсѣвъ къ Берковичу на кровать,—не все ли равно умереть съ голоду или отъ шальной пули! Для людей же нашего образованія—смерть отъ послѣдней легче и почетнѣе.

— А мнѣ-то что дѣлать?—спросилъ Берковичъ.

— Тоже самое,—отвѣтилъ Перецъ.—Мы вѣдь все равно, что сіамскіе близнецы. Мы вмѣстѣ тянули учительскую лямку, мы, такъ сказать, и на полѣ чести будемъ подвизаться вмѣстѣ. Ужъ мы другъ отъ друга не отстанемъ—это вѣрно.

— Но ты, Жюль, все забываешь, что у меня есть мать, сестра...

— Lass sie betteln gehen, wenn sie hung'rig sind!—продекламировалъ Перецъ извѣтный сихъ изъ «Двухъ гренадеръ» и всталъ съ кровати.

Берковича передернуло отъ послѣднихъ словъ Переца. Онъ сталъ моргать глазами и щипать свою бородку, что означачало, что онъ очень взволнованъ.

— Послушай, Жюль, къ чему эти пустыя слова, сказалъ Берковичъ.—Ты вѣдь очень хорошо знаешь, что мать и сестра для меня—святыня, что скорѣе я самъ соглашусь нищенствовать, нежели ихъ пущу по-міру. По этому, ты бы лучше серьезно подумалъ, а потомъ-бы и говорилъ.

— Ну, ничего,—успокоивалъ Перецъ своего взволнованнаго друга,—мы еще подумаемъ. Мы до крайности не допустимъ ни твою мать, ни твою сестру. Ты вѣдь знаешь, что и я ихъ глубоко уважаю. Гейневскій стихъ сорвался у меня съ языка, потому что такъ къ слову пришлось. Какъ положительный совѣтъ, я и не думалъ предлагать его тебѣ. Мы еще подумаемъ. Ты вѣдь не сердишься на меня?

— Нѣтъ.

— Дай же руку.

Перецъ крѣпко пожалъ протянутую ему Берковичемъ руку. Потомъ онъ опять зашагалъ по комнатѣ и засвисталъ марсельезу, что онъ обыкновенно дѣлалъ, когда бывалъ недоволенъ собою.

— Ба!—вдругъ воскликнулъ Перецъ, переставъ свистать и взглянувъ на свои часы.—Уже четыре часа. M-lle Кранцъ поставитъ насъ въ уголъ за то, что опоздали. Aux armes, citoyen! поднимись и пойдемъ.

— Я сегодня не пойду,—отвѣтилъ Берковичъ, потягиваясь,—я сегодня не расположенъ.

— Не расположенъ поболтать даже съ m-lle Полиной?

Это уже настоящая хандра, и я насильно тебя потащу, если не польскіе глаголы, такъ ея черныя очи тебя вылечатъ. Вѣдь ты влюбленъ въ эти очи, да?

— Что за вздоръ!—отвѣтилъ Берковичъ, сильно покраснѣвъ. Мнѣ теперь совсѣмъ не до любви.

— Отчего не до любви? Плохія обстоятельства? Пустое! Я на обстоятельства никогда не обращалъ вниманія. Есть кого любить,—люблю, все равно, есть-ли въ портмоне кредитка или нѣтъ. Развѣ бѣдняку ужъ и любить нельзя?

— Не запрещено, но какъ-то не идетъ,—замѣтилъ Берковичъ.

— Отчего не идетъ?—спросилъ Перецъ,—развѣ бѣднякъ не человѣкъ? А я, по легкомыслію моему, всегда считалъ себя человѣкомъ. Я голодалъ, а все таки любилъ, и меня любили. Я и теперь люблю.

— Кого?—почти крикнулъ Берковичъ, вытаращивъ глаза на Переца.

— Успокойся, другъ,—отвѣтилъ Перецъ,—не Полину, а другую дѣвушку, которой ты совсѣмъ не знаешь. Но, сознаюсь, не будь я влюбленъ въ мою, я бы влюбился въ твою Полину.

Берковича покоробило отъ послѣднихъ словъ Переца.

— Послушай Жюль,—сказалъ онъ тономъ обиженнаго,—зачѣмъ эти шутки? Почему ты называешь m-lle Полину моею? Ты вѣдь знаешь, что она слишкомъ богата для того, чтобы могла думать о такомъ горемыкѣ, какъ я; а я слишкомъ разсудителенъ для того, чтобы думать о невозможномъ.

— Ну, все равно, думаешь ли ты о ней, или нѣтъ, я хотѣлъ только сказать, что она славная дѣвушка.

— Кто этого не знаетъ?

— Бѣдовая дѣвушка,—продолжалъ Перецъ, восторгаясь.— Ты знаешь, какимъ оригинальнымъ образомъ она на дняхъ познакомилась съ Саринымъ?

— Она уже познакомилась съ Саринымъ?—спросилъ Берковичъ удивленно.

— Ну, да, чего испугался? Саринъ птица неопасная онъ такой же бука, какъ ты. Но слушай, какъ было дѣло. Саринъ почти ежедневно бывалъ у Адольфа: они старые знакомые и, при томъ, дѣла у нихъ какія то есть. Полина ждетъ

день, два, три,—Саринъ съ нею не знакомится. Встрѣчаясь съ нею въ залѣ, онъ раскланивается, но не говоритъ ни слова, не рекомендуется. Полинѣ стало досадно и она рѣшилась дать ему урокъ. На дняхъ, встрѣтившись съ нимъ въ залѣ, она загородила ему дорогу и скомандовала: «стой! равняйсь». Онъ оторопѣлъ и остановился. Полина, приложивъ два пальца къ виску, отрапортовала: «честь имѣю рекомендоваться: Полина Кранцъ, сестра Адольфа и другъ Мэри Тидманъ, прошу любить и жаловать». Саринъ улыбнулся и тоже отрекомендовался. «Такъ вы Аркадій Саринъ?» спросила она. — «Да». — «Слушайте же, Аркадій Саринъ! Кто освободилъ васъ отъ свѣтскихъ приличій?» И ну, давай читать ему нотацію на эту тему. Онъ былъ ужасно сконфуженъ, сталъ объясняться, просить прощенія. Однимъ словомъ, была сцена уморительная... Но я заболтался, а намъ уже пора, она насъ ждетъ. Такъ ты не пойдешь?

— Нѣтъ, хочу полежать.

— Ну, лежи, Богъ съ тобой!

Онъ надѣлъ пальто и калоши, захватилъ книгу и направился къ двери, насвистывая арію изъ «Севильскаго Цырюльника».

Берковичъ проводилъ его глазами.

— Ахъ да, Жюль, припомнилъ онъ,—мимоходомъ скажешь хозяйкѣ, чтобы она принесла мнѣ квасу.

— Ишь, сибаритъ какой!—весело воскликнулъ Перецъ.— А что, папиросы будешь мнѣ набивать?

— Буду.

— Ладно. Сію минуту ты получишь свою любимую бурду. Прощай и не унывай.

Перецъ вышелъ, продолжая насвистывать свою арію.

II.

Урокъ кончился. Полина встала, но Жюль Перецъ продолжалъ сидѣть на своемъ мѣстѣ, одною рукою подперши голову, а другою барабаня по столу не то маршъ, не то вальсъ. Онъ такъ крѣпко задумался, что не замѣтилъ, какъ Полина вышла въ другую комнату. Возвратившись черезъ нѣсколько

минуть въ свой кабинетъ, она нашла Переца въ томъ же положеніи. Это ее нѣсколько озадачило.

— О чемъ вы задумались, мсье Перецъ?—спросила она.

Перецъ вздрогнулъ, какъ человѣкъ, который только что вздремнулъ и котораго внезапно разбудили щелчкомъ въ носъ или пинкомъ въ бокъ. Онъ вскочилъ съ своего мѣста, потеръ себѣ лобъ, погладилъ свои волосы и пересѣлъ на другой стулъ.

— Извините, mademoiselle,—началъ онъ,—извините, что я вамъ, можетъ быть, мѣшаю; но мнѣ нужно поговорить съ вами объ одномъ дѣлѣ.

— Хоть о двухъ, я къ вашимъ услугамъ,—отвѣтила Полина, сѣвъ насупротивъ его на кушетку.

Перецъ погладилъ свои усики и опять началъ:

— Вы, mademoiselle, знаете, зачѣмъ я учусь по-польски?

— Затѣмъ, чтобы знать этотъ языкъ, отвѣтила Полина.

— Нѣтъ, этого мало, это было-бы роскошью, а такому человѣку, какъ я, совсѣмъ не до роскоши. Мало ли на свѣтѣ языковъ, достойныхъ изученія! Я учусь по-польски затѣмъ, чтобы быть въ состояніи служить Польшѣ...

— Въ самомъ дѣлѣ?—воскликнула Полина, вскочивъ съ кушетки и протянувъ молодому человѣку свои руки.—Вы не можете себѣ представить, какъ вы меня теперь обрадовали. Я ужь давно собиралась поговорить съ вами о нашемъ дѣлѣ, о справѣ ойчизны; но я думала, что еще рано. Я не предполагала, чтобы вы такъ скоро прониклись польскимъ духомъ...

— Польскимъ духомъ я еще не проникся,—поспѣшилъ прибавить Перецъ,—лгать, лицемѣрить я не намѣренъ. Поляковъ я еще очень мало знаю, еще меньше ихъ люблю. Но если я чѣмъ нибудь проникнутъ, такъ это негодованіемъ къ Россіи.

— Ну, все равно, замѣтила Полина:—кто врагъ Москвѣ, тотъ другъ Польшѣ.

— Не знаю, такъ-ли это, отвѣтилъ Перецъ,—знаю только, что я *обязанъ* служить Польшѣ. Россія къ намъ слишкомъ несправедлива: мы ея подданные, а она насъ къ себѣ на порогъ не пускаетъ. Освобожденная Польша, можетъ быть, будетъ справедливѣе къ намъ. Поляки теперь много говорятъ о братствѣ, равенствѣ...

— Они не только говорятъ, но и чувствуютъ, перебила



его Полина,—и горятъ нетерпѣніемъ доказать это на дѣлѣ. Остановка только за нами. Мы какъ-то не рѣшаемся...

— Но я рѣшился,—перебилъ ее Перецъ,—введите меня въ польскій кругъ, и я вашъ.

— Нашъ?

— Тѣломъ и душой.

— О, благодарю васъ!—воскликнула Полина, крѣпко пожавъ руку молодому человѣку; — благодарю васъ отъ имени всѣхъ патріотовъ, отъ имени Польши, которая есть наше при родное отечество. Я васъ познакомлю съ поляками, вы ихъ узнаете, вы ихъ полюбите, вы къ нимъ привяжетесь, вы сами сдѣлаетесь полякомъ. Только твердо-ли ваше намѣреніе?

— Развѣ вы во мнѣ сомнѣваетесь?—спросилъ Перецъ тономъ обиженнаго.

— О, нѣтъ! поспѣшила Полина исправить свою ошибку,—я вамъ вѣрю, вполнѣ вѣрю. Но, признаться, я не предполагала, я даже не подозрѣвала въ васъ намѣренія служить Польшѣ. Я всегда смотрѣла на васъ, какъ на иностранца, которому нѣтъ никакого дѣла до нашей родины. Вы всегда бредили Франціею, Парижемъ... Я считала васъ французомъ.

— Я, точно, французъ по образованію, но литвинъ по рожденію, по привычкамъ и, пожалуй, по чувствамъ.

— Больше намъ и не надо, сказала Полина. — Если вы только чувствуете себя литвиномъ, то вамъ не трудно будетъ и дѣйствовать политовски. Вы вскорѣ услышите, какую пѣсню затянетъ наша умная Литва, родина Костюшки и Мицкевича. Въ доказательство, что я уже считаю васъ нашимъ, даю вамъ теперь же порученіе отъ имени того кружка, съ которымъ на дняхъ познакомлю васъ. Хотите?

— Я готовъ,—отвѣтилъ Перецъ твердо и рѣшительно.

— Послушай,—теначала Полина, опустивъ глаза и какъ будто затрудняясь говорить,—вы... съ Саринымъ... знакомы?

— Знакомъ.

— То есть, какъ знакомы?

— Какъ обыкновенно: встрѣчаемся на улицѣ—кланяемся другъ другу, встрѣчаемся въ какомъ нибудь домѣ—перекидываемся фразами.

— А другъ у друга не бываете?

— Нѣтъ.

— Жаль.

— Почему жаль? Я могу сегодня же сдѣлать ему визитъ и ближе сойтись съ нимъ, если это нужно.

— Вы такъ и сдѣлайте. Начинайте бывать у него почаще.

— Съ какою-же цѣлью,—позвольте спросить?

Полина прикусила губы; она, видимо, затруднялась отвѣтомъ.

— Съ какою цѣлью?—повторилъ свой вопросъ Перецъ.

— Видите-ли,—начала Полина какъ-то нерѣшительно,—порученіе, о которомъ идетъ рѣчь, есть очень деликатное, дипломатическое.

— Чтожъ, я попробую. Я довольно ловокъ.

— Если такъ, такъ вотъ что,—прибавила Полина рѣшительно,—намъ необходимо узнать образъ мыслей Сарина, т. е., что онъ думаетъ о нашемъ дѣлѣ? Мы узнали, что онъ имѣетъ большое вліяніе на еврейскую молодежь, а потому мы должны знать, нашъ-ли онъ или нѣтъ?

— Но это вамъ самимъ гораздо легче узнать: онъ вѣдь бываетъ у васъ почти каждый день.

— Въ томъ-то и дѣло,—возразила Полина,—что онъ бываетъ не у насъ, а только у брата. Мнѣ какъ-то неудается вовлечь его въ разговоръ. Я уже нѣсколько разъ пробовала... Онъ очень тяжелый господинъ.

— Такъ спросите у брата,—посовѣтовалъ Перецъ.

— У брата? — спросила Полина, горько улыбнувшись,—развѣ вы не знаете, что я и братъ это—огонь и вода? Братъ всегда себѣ на умѣ, мнѣ никогда не узнавать, что̀ онъ думаетъ. Признаюсь, меня больше всего безпокоитъ то, что братъ такъ близко сошелся съ Саринымъ. Онъ внушаетъ ему богъ знаетъ что. Они просиживаютъ, запершись, по цѣлымъ часамъ, они что-то пишутъ, что-то предпринимаютъ, и намъ необходимо знать, о чемъ у нихъ идетъ дѣло. Да, я забыла вамъ сказать, что и Мозырскій съ ними за-одно. Сердце мнѣ говоритъ, что они затѣваютъ что-то не ладное. А что, мсье Перецъ, вы беретесь разузнать, что̀ они затѣваютъ?

— Извините, mademoiselle, отвѣтилъ Перецъ,—то, что̀ вы мнѣ поручаете, пахнетъ шпіонствомъ, а къ этому ремеслу я совершенно неспособенъ. Я готовъ служить Польшѣ всѣмъ,

чѣмъ только могу, не пожалѣю крови своей; пошлите меня на русскіе штыки, и я пойду, не разсуждая, какъ на пиръ; но быть шпіономъ... слуга покорный.

— Но, г. Перецъ.... начала было оправдываться Полина, но въ эту минуту кто-то постучался въ дверь.

— Entrez, - сказала Полина и прекратила разговоръ.

Вошелъ Вацлавъ. Увидѣвъ незнакомаго ему молодаго человѣка, онъ вопросительно взглянулъ на Полину.

— Не безпокойся, Вацлавъ,—проговорила Полина, понявъ взглядъ пана Зарембы.—Этотъ молодой человѣкъ нашъ. Рекомендую, панъ Юльянъ Перецъ.

— Вацлавъ Заремба, — отрекомендовался полякъ, протянувъ Перецу руку.—Ваше имя мнѣ что-то знакомо, прибавилъ онъ потомъ,—не вы ли учитель французскаго языка?

— Да.

— Excellent—воскликнулъ Вацлавъ, обрадовавшись.—Вы можете оказать намъ большую услугу, продолжалъ онъ по-французски.

— Съ удовольствіемъ, отвѣтилъ Перецъ.

— Но, г. Перецъ,—прибавилъ Вацлавъ,—прошу впередъ извиненія за нескромный вопросъ: вы свободно пишете по-французски?

— M-lle Кранцъ знакомъ мой слогъ—отвѣтилъ Перецъ.

Вацлавъ взглянулъ на Полину.

— Г. Перецъ пишетъ по-французски, какъ французскій литераторъ, засвидѣтельствовала Полина.

Перецъ покраснѣлъ отъ этого лестнаго отзыва.

— Если такъ,—сказалъ Вацлавъ,—то вы, г. Перецъ, для насъ просто находка. Но предупреждаю, мы васъ загонимъ, мы вамъ покою, отдыху не дадимъ.

— Мнѣ это не страшно, отвѣтилъ Перецъ,—я не бѣлоручка. Я привыкъ работать по четырнадцати часовъ въ сутки.

— Славно!—воскликнулъ Вацлавъ, потирая руки,—я просто въ восхищеніи. И какъ обрадуется графиня! Дѣло, видите-ли, въ томъ, что наша французская корреспонденція съ каждымъ днемъ увеличивается. Пишетъ графиня, пишетъ княжна—я васъ съ ними познакомлю,—но гдѣ имъ справиться со всею громадною перепиской: онѣ вѣдь женщины и аристо-

кратки. Вотъ мы васъ и сдѣлаемъ секретаремъ по иностранной корреспонденціи.

— Это можно,—отвѣтилъ Перецъ, бросивъ на Полину торжествующій взглядъ, какъ бы говоря: «а что, mademoiselle, мы пригодились для чего нибудь болѣе порядочнаго, чѣмъ шпіонство»?

— Я очень рада,—отвѣтила Полина, понявъ взглядъ осчастливленнаго молодаго человѣка.

— Еще вотъ что,—продолжалъ Вацлавъ,—намъ отъ времени до времени нужна будетъ корреспонденція, которая годилась-бы для печати. Въ матеріалахъ недостатка не будетъ; нужно будетъ только придавать имъ литературную форму, видъ газетной статьи или письма изъ края, понимаете?

— И это можно,—отвѣтилъ Перецъ,—я и теперь отъ времени до времени пишу въ Le Temps.

— Великолѣпно! значитъ по рукамъ, что-ли?

— Пожалуй.

— Но,—началъ Вацлавъ, потупивъ глаза,—кто намъ поручится за вашу скромность... вѣрность?

— Я, Полина Кранцъ!—отвѣтила Полина, положивъ руку на сердце.

— И мое происхожденіе,—прибавилъ Перецъ гордо.—Мы народъ несчастный, но честный. Данное нами слово—свято. Я сказалъ, что я вашъ, стало быть—я вашъ тѣломъ и душой. Такими словами мы шутить не можемъ, потому что понимаемъ всю ихъ важность. Ваша мнительность извинительна; но въ отношеніи къ намъ она неумѣстна. Если же вы хоть сколько нибудь сомнѣваетесь во мнѣ...

— О, нѣтъ!—перебилъ его Вацлавъ, схвативъ его руку,—я вамъ вѣрю. Я на васъ расчитываю, какъ на испытаннаго патріота. И такъ, по рукамъ, и пожалуйте мнѣ вашъ адресъ. На дняхъ мы введемъ васъ въ должность.

Перецъ передалъ Вацлаву свой адресъ. Вслѣдъ затѣмъ онъ откланялся и ушелъ. На улицѣ онъ взглянулъ на свои часы: ему было пора на урокъ. Онъ стоялъ нѣсколько минутъ въ раздумьи, потомъ, махнувъ рукой, «прощай, учительство!» — сказалъ онъ и отправился домой, насвистывая: Heil Dir im Siegeskranz—что означало, что онъ очень доволенъ собою.

III.

Оставшись на-единѣ, Вацлавъ и Полина сѣли другъ противъ друга.

— Что новаго?—спросила Полина.

— Цѣлый коробъ новостей,—отвѣтилъ Вацлавъ.

— Хорошихъ?

— По крайней мѣрѣ, не дурныхъ. Впрочемъ, какъ для кого.

— Разсказывай скорѣй, не мучь,—проговорила Полина.

— Погоди, моя дорогая,—сказалъ Вацлавъ флегматически,—я сперва закурю папироску.

Полина вскочила съ кушетки и поднесла ему спички.

— Во-первыхъ,—началъ Вацлавъ, затягиваясь дымомъ папиросы,—нашъ тузъ пріѣхалъ.

— Пріѣхалъ?—воскликнула Полина, видимо обрадовавшись этому извѣстію.—Гдѣ онъ теперь былъ?

— Гдѣ онъ не былъ? Онъ побывалъ въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ Познани, въ Вѣнѣ, во Львовѣ, въ Варшавѣ и въ Петербургѣ.

— И въ Петербургѣ?

— Онъ теперь прямо оттуда.

— Ну что?

— Все идетъ какъ по маслу.

Полина вспыхнула отъ удовольствія.

— Что дальше?—спросила она.

— Во вторыхъ,—отвѣтилъ Вацлавъ,—мы, наконецъ, можемъ себя поздравить—*Жондомъ*.

— Какъ, онъ уже образовался?—спросила Полина, не то обрадовавшись, не то испугавшись.

— Онъ теперь организуется, но помаленьку уже дѣйствуетъ,—отвѣтилъ Вацлавъ.—Тузъ привезъ съ собою много номинацій.

— Откуда идутъ эти номинаціи?

— Изъ центральнаго... началъ было Вацлавъ, но, спохватившись, поправился:—мы, впрочемъ, этого не знаемъ и не должны знать.

Полина задумалась.

— Чѣмъ теперь будетъ наше kolko patriotyczne? *)— спросила она потомъ.

— Оно будетъ упразднено. Теперь, кромѣ жонда народоваго, ничего не должно быть.

— А графиня?

— Графиня будетъ завѣдывать kwesta **) и вообще приношеніями въ пользу отчизны и раненыхъ. Стало быть, вамъ будетъ работы много.

— А ты?

— Меня назначаютъ уѣзднымъ начальникомъ.

— Уѣзднымъ начальникомъ?—Поздравляю.

— Не поздравляй, моя дорогая: я этого назначенія не приму.

— Почему не примешь?

— Потому, что хочу остаться здѣсь.

— Что это, капризъ или имѣешь болѣе основательныя причины.

— Причина та, что не могу оторваться отъ школы.

— Вотъ резонъ!—воскликнула Полина съ презрительною улыбкою.—Въ школѣ обойдемся и безъ тебя. Тебя легко можетъ замѣнить княжна или фонъ-деръ-Горстъ.

— Но, моя дорогая,— возразилъ Вацлавъ, понизивъ голосъ и обративъ на Полину умоляющій взглядъ,—кто мнѣ замѣнитъ тебя?

— Вацлавъ!—строго крикнула на него Полина,—ты опять начинаешь говорить глупости?

— Для тебя это глупости,—возразилъ молодой человѣкъ, тяжко вздохнувъ,—но для меня это вопросъ жизни. Полина, ангелъ мой, божество мое, не отталкивай меня отъ себя, я безъ тебя жить не могу! Твой образъ воодушевляетъ, вдохновляетъ меня. Безъ тебя я дня не переживу.

Полина встала съ кушетки, подошла къ окошку и остановилась, обернувшись къ Вацлаву спиною.

— О, умилосердись, жестокая!—возопилъ молодой человѣкъ, ломая руки,—выслушай меня, я съ ума сойду.

*) Патріотическій кружокъ.

**) Сборъ милостыни.

— Я тысячу разъ тебя выслушивала,—отвѣтила Полина, обернувшись къ нему лицомъ,—и тысячу разъ тебѣ говорила, что я люблю тебя, какъ брата, какъ патріота.

— Благодарю тебя и за это, но этой любви для меня недостаточно.

— Чтожъ дѣлать, другой любви я не могу предложить тебѣ. Я разъ навсегда тебѣ сказала, что мое сердце принадлежитъ всецѣло ойчизнѣ.

— И больше никому?

— Никому.

— Даже... не пану—Андрею?—тихо и робко проговорилъ Вацлавъ, вперивъ въ Полину испытующій взглядъ.

Полина затряслась отъ гнѣва.

— Что ты сказалъ, несчастный!—воскликнула она, топнувъ ногой;—какъ ты смѣешь ревновать меня къ такому пьяницѣ, шулеру, развратнику, извергу? Развѣ ты не понимаешь, что честная, хоть сколько нибудь уважающая себя, женщина—должна чувствовать къ нему отвращеніе?

— Однакожъ... его же любитъ графиня?

— Но я не графиня, Вацлавъ, понимаешь-ли? Я еврейка, у меня вкусъ мѣщанскій, слѣдовательно, такіе салонные негодяи, какъ панъ Андрей, не могутъ мнѣ нравиться, и прошу тебя впредь паномъ Андреемъ меня не попрекать. Мое сердце свободно.

— Что же тебѣ мѣшаетъ отдать его мнѣ?

— Во-первыхъ то, что я тебя не люблю.

— Но со временемъ ты, можетъ быть, меня полюбишь.

— Во-вторыхъ, между нами лежитъ такая пропасть, которой мнѣ не перешагнуть, даже если бы я и полюбила тебя.

— Что это за пропасть?

— Ты забылъ?—Религія.

— Религія? Но ты возлюбила нашу ойчизну, ты возлюбишь и нашу религію.

— Ошибаешься, другъ мой; ойчизна и религія—двѣ особыя статьи. Польшу люблю, а католицизма—нѣтъ. Я въ еврейской религіи родилась, въ этой религіи и умру, тѣмъ болѣе, что она нисколько не мѣшаетъ мнѣ любить ойчизну самою пламенною любовью.

— Такъ уѣдемъ за границу: тамъ различіе религій не препятствуетъ браку.

— А ойчизна?

— Богъ спасетъ ойчизну и безъ насъ.

— Стало быть, я для тебя дороже ойчизны?

— О, дороже, стократъ дороже!—проговорилъ Вацлавъ, приближаясь къ Полинѣ съ распростертыми объятіями.

— Прочь, измѣнникъ! крикнула Полина, оттолкнувъ его отъ себя со всего розмаху, отъ чего онъ пошатнулся и едва не упалъ.—Вонъ отсюда! Я ненавижу, презираю тебя!...

Вацлавъ былъ ошеломленъ этимъ отвѣтомъ. Онъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, и сталъ рвать на себѣ волосы, сознавая, что сгоряча сдѣлалъ непростительную ошибку. Онъ думалъ, что Полина почувствуетъ себя польщенной мыслью, что она для него дороже даже ойчизны; но вышло совершенно наоборотъ. Онъ былъ внѣ себя отъ стыда и досады.

— Такъ вотъ какой ты патріотъ! — продолжала упрекать его Полина. — Женщина для тебя дороже ойчизны! И ты, послѣ этого, смѣешь называться полякомъ? Нѣтъ, ты не полякъ.

— Я полякъ!—заревѣлъ Вацлавъ, ударивъ себя кулакомъ въ грудь и заскрежетавъ зубами,—слышишь, Полина, я полякъ! И докажу это кровью, которую я пролью за ойчизну. Я тебя застрѣлю, если осмѣлишься еще разъ сказать, что я не полякъ!

— А я тебя заколю, если осмѣлишься еще разъ говорить мнѣ о любви!—отвѣтила Полина въ томъ же тонѣ.

Вацлавъ быстро и съ шумомъ зашагалъ по комнатѣ взадъ и впередъ, ероша свои длинные волосы и что-то бормоча про себя. Въ груди его кипѣло и клокотало, какъ въ котлѣ. Лицо пылало; глаза горѣли страшнымъ огнемъ.

Мало по малу его волненіе улеглось и онъ сталъ ходить медленнѣе.

— Полина!—началъ онъ вдругъ умоляющимъ голосомъ, опустившись на колѣни передъ стоявшею у окна, съ сложенными на груди руками, Полиною,—забудь, что сейчасъ произошло между нами. Я увлекся, я съ ума сходилъ и наговорилъ такихъ глупостей и дерзостей, которыя недостойны ни тебя, ни меня. Ты возвратила мнѣ разсудокъ. Ты напомнила

мнѣ о моихъ обязанностяхъ, о которыхъ я сталъ было забывать, отуманенный страстью. Съ разбитымъ сердцемъ, но съ удвоеннымъ мужествомъ, пойду туда, куда зоветъ меня святой долгъ. И будь я проклятъ, если окажусь недостойнымъ ойчизны и тебя!

Полина перестала сердиться.

— Встань!—сказала она, подавъ Вацлаву руку, —такіе благородные юноши не должны валяться у ногъ слабой женщины. Я опять узнаю въ тебѣ моего Вацлава. Ты не можешь себѣ представить, какъ мнѣ больно было потерять къ тебѣ уваженіе.

— Но теперь?—спросилъ Вацлавъ.

— Теперь я опять тебя люблю, какъ брата, и уважаю, какъ патріота и защитника нашего святаго дѣла.

— Больше мнѣ пока и не надо,—отвѣтилъ Вацлавъ восторженно. —Твоя братская любовь и уваженіе вдохновятъ меня на самые смѣлые подвиги самоотверженія. Я хочу, чтобы ты мною гордилась. Ты вскорѣ обо мнѣ услышишь. Сегодня же принимаю назначеніе и завтра уѣду, куда жондъ посылаетъ меня. Когда начнется рухавка, я стану во главѣ какого нибудь отряда и пойду побѣждать или умирать за ойчизну. Прощай, Полина! Мы, можетъ быть, не скоро увидимся. Помни обо мнѣ и молись за меня!

Онъ поцѣловалъ ея руку, распростился и вышелъ, сопутствуемый благопожеланіями и ободрительными словами Полины.

IV.

Когда Вацлавъ спускался съ лѣстницы, къ нему, изъ отворившейся въ корридорѣ двери, вышла горничная хозяевъ и спросила:

— Вы г. Заремба?

— Да,—отвѣтилъ Вацлавъ.

— Г. Кранцъ желаетъ поговорить съ вами.

— Какой Кранцъ, старый или молодой?

— Старый.

— Со старымъ Кранцомъ я совсѣмъ незнакомъ.—Гдѣ онъ?

— Въ своемъ кабинетѣ.

— Пожалуй, — отвѣтилъ Вацлавъ и послѣдовалъ за горничной.

Въ довольно просторномъ и богатоубранномъ кабинетѣ, устланномъ во всю длину и ширину персидскимъ ковромъ, Вацлавъ нашелъ старика лѣтъ семидесяти пяти, высокаго роста, съ благороднымъ и умнымъ лицемъ, съ длинною сѣдою бородою, внушавшею невольное уваженіе къ ея обладателю, и глазами, еще сохранявшими, подъ навѣсомъ густыхъ и длинныхъ рѣсницъ, достаточно молодаго огня. Старикъ былъ въ шелковомъ шлафровѣ на легкомъ мѣху и въ бархатной, вышитой золотомъ, ермолкѣ. Эта ермолка, — подарокъ Полины, въ соединеніи съ богатымъ шлафрокомъ и бархатными сапогами, въ которые были обуты теперь его ноги, очень шла къ лицу красиваго старика, который, какъ видно, еще не прочь былъ щегольнуть костюмомъ.

Когда Вацлавъ вошелъ, старикъ поднялся съ своихъ вольтеровскихъ креселъ, подтянулъ свой поясъ и пошелъ на встрѣчу молодому человѣку.

— Извините меня, mosci dobrodzieju, — началъ онъ на правильномъ польскомъ языкѣ, — извините, во-первыхъ, что я васъ безпокою, а во вторыхъ, что я такого почтеннаго гостя принимаю въ халатѣ.

— Помилуйте, въ ваши лѣта.., сказалъ Вацлавъ.

— Да, mosci dobrodzieju, — продолжалъ старикъ, — старость не радость. Было время, когда я рѣдко надѣвалъ халатъ, теперь я рѣдко надѣваю сюртукъ, а потому не взыщите.

— Помилуйте, — опять сказалъ Вацлавъ.

— Сядемъ, — сказалъ старикъ, пододвинувъ гостю стулъ къ письменному столу и самъ опустившись въ свои вольтеровскія кресла: — эдакъ намъ удобнѣе будетъ покалякать.

Вацлавъ сѣлъ.

— Вы г. Зарембa? — началъ старикъ, погладивъ свою бороду.

— Къ услугамъ, — отвѣтилъ Вацлавъ съ поклономъ.

— Можетъ быть, родственникъ бывшаго предводителя, блаженной памяти?

— Бывшій предводитель былъ мнѣ дядя.

— Стало быть, вы сынъ покойнаго пана Игнаца?

— Такъ есть, г. Кранцъ. Вы развѣ знали моего батюшку?

— Еще бы!—отвѣтилъ Кранцъ,—я зналъ всю магнатскую фамилію Зарембовъ, отъ перваго до послѣдняго; со всѣми дѣла имѣлъ. Я зналъ вашего дѣдушку—шамбеляна и вашу бабушку—президентувну. Вы, можетъ быть, замѣтили у меня въ залѣ готическіе часы съ курантами? Эти часы я получилъ въ подарокъ отъ стараго шамбеляна. Я зналъ и вашу матушку.

— Вы знали мою матушку?—спросилъ Вацлавъ, растроганный до глубины души.

— Еще бы!—отвѣтилъ Кранцъ, еще разъ погладивъ свою бороду,—я ее зналъ, когда она была еще панной! Она вѣдь Масальская изъ дому?

— Да.

— Славная была женщина, первая красавица въ губерніи. Старый генералъ, дѣдъ вашъ, хотѣлъ выдать ее за полковника Турчинскаго, но мать ваша заупрямилась и не пошла. Отецъ вашъ укралъ ее изъ замка и обвѣнчался съ нею... Молодецъ былъ мужчина, всѣмъ паннамъ голову кружилъ. Мать ваша влюбилась въ него и дала себя увезти. Сколько шуму тогда надѣлала эта исторія!... Полковникъ съ досады застрѣлился; горячій былъ человѣкъ. Дѣдъ вашъ десять лѣтъ не пускалъ ее къ себѣ на порогъ, но потомъ простилъ: дворянство вмѣшалось и заступилось за вашу мать. Отецъ вашъ, изволите видѣть, былъ человѣкъ хорошій, но, между нами будь сказано, большой кутила. Въ пять лѣтъ онъ прокутилъ свое имѣніе, богатѣйшее имѣніе. Купилъ это имѣніе панъ Слупкевичъ, зять вашего батюшки, заплативъ за все 75 тысячъ червонныхъ. Онъ купилъ, можно сказать, за безцѣнокъ. Я бы самъ, зажмуривъ глаза, заплатилъ 100 тысячъ. Какой тамъ лѣсъ былъ! Пленипотентъ обманулъ вашего батюшку... Мать ваша стала терпѣть нужду.

— Бѣдная матушка!—отозвался Вацлавъ, тяжко вздохнувъ.

— Она продала своихъ лошадей, свои экипажи, свои шубы и собиралась уже продать свои семейные брильянты. Тутъ вмѣшалось дворянство, и старый генералъ отдалъ вашей матери ея приданное: два имѣнія въ К—скомъ уѣздѣ.

— Гдѣ теперь эти имѣнія!—проговорилъ Вацлавъ, покачавъ головой и чуть не прослезившись.

— Знаю,—спокойно отвѣтилъ Кранцъ,—они конфискованы.

Но кто виноватъ? Зачѣмъ вашъ отецъ пошелъ въ повстанье? Сидѣлъ бы лучше въ своемъ имѣніи и занимался хозяйствомъ, такъ ему не нужно было-бы тащиться въ Сибирь и тащить съ собою вашу матушку, такую нѣжную даму. Кстати, гдѣ вы родились, въ Сибири или въ краѣ?

— Въ краѣ,—отвѣтилъ Вацлавъ.

— Ахъ да, я теперь припомнилъ, что ваша мать, проживъ въ Сибири шесть лѣтъ, возвратилась въ край беременною. Она васъ родила и, два года спустя, скончалась. Ея родителей уже тогда не было въ живыхъ.

— Какъ вы все это знаете!—замѣтилъ Вацлавъ.

— Какъ же мнѣ не знать! Я зналъ всю околичную шляхту, а кто изъ околичной шляхты не зналъ Лейзера Кранца? Нужно ли было лѣсъ продать—Лейзеръ Кранцъ, нуженъ ли большой заемъ съ умѣренными процентами — все Лейзеръ Кранцъ. Да-съ, такъ. Я все свое богатство нажилъ около шляхты и почти все свое богатство спустилъ потомъ между шляхтою же. Кто не былъ мнѣ долженъ, но кто мнѣ заплатилъ? Одинъ въ повстанье пошелъ; другой такъ себѣ умеръ, предварительно пустивъ по міру все свое семейство. Съ кого же взыскать? Въ моей конторкѣ вы найдете заемныхъ писемъ на десятки тысячъ рублей. Не возьмись я за другую торговлю, я былъ бы теперь нищимъ.

Но не въ томъ дѣло... Разскажите мнѣ лучше, что сталось съ вами по смерти вашей матушки? Мнѣ любопытно знать. Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ вести торговлю съ заграницей, я раззнакомился съ здѣшнею шляхтою и обывательствомъ, и не знаю, что сталось съ ними и ихъ дѣтьми. Ну, начнемъ съ васъ. На чьихъ рукахъ вы остались по смерти матери?

— Меня принялъ на воспитаніе графъ Сташицкій, — отвѣтилъ Вацлавъ.

— Графъ Сташицкій? — спросилъ удивленно Кранцъ, — этотъ чудакъ, который у своего пасѣчника учился играть на волынкѣ?

— Тотъ самый, — отвѣтилъ Вацлавъ,—онъ былъ ко мнѣ очень милостивъ, мнѣ было у него хорошо. Я окончилъ гимназію...

— А въ университетѣ вы были?—перебилъ его Кранцъ.

— Былъ, но не окончилъ.

— Почему?

— Потому, что мнѣ нужно было ѣхать съ графомъ и графиней за-границу, на воды.

— Такъ вы уже были за границей?

— Мы три года тамъ жили. По смерти графа, мы возвратились въ край?

— Что же вы теперь подѣлываете? Вы служите?

— Нѣтъ.

— Чѣмъ же вы живете?

— Во-первыхъ, графъ въ своемъ завѣщаніи назначилъ мнѣ небольшой пожизненный пенсіонъ.

— Но этого пенсіона, вѣроятно, для васъ мало?—дороговизна такая...

— Разумѣется.

— Что же вы дѣлаете?

— Зарабатываю.

— Какъ же вы это зарабатываете? — продолжалъ свой допросъ старый Кранцъ, какъ видно, не довольствовавшійся общими словами.

— Занимаюсь литературой.

— Литературой?—переспросилъ Кранцъ,—т. е. вы книжки печатаете и продаете?

— Что-то въ родѣ этого,—отвѣтилъ молодой человѣкъ, почему то покраснѣвъ.

Старый Кранцъ пожалъ плечами, какъ будто говоря: ну, нашелъ же себѣ человѣкъ занятіе.

— Кто еще остался изъ вашей фамиліи?—спросилъ онъ.

— Больше никого. Я послѣдній въ родѣ.

— Послѣдній въ родѣ!—воскликнулъ Кранцъ, качая головою, какъ-бы сожалѣя. — Ахъ да, что сталось съ паномъ Слупкевичемъ, вашимъ дядей? Онъ, какъ мнѣ помнится, мѣтилъ въ милліонщики, да и капиталъ у него, въ самомъ дѣлѣ, былъ порядочный.

— Панъ Слупкевичъ раззорился на суконной фабрикѣ, обанкрутился и кончилъ жизнь пулею въ лобъ.

— Эхъ, паны вы, паны!—замѣтилъ Кранцъ,—не умѣете вы коммерцію вести. Какъ только не повезло, такъ ужъ

сейчасъ пулю въ лобъ! Умный купецъ такъ не дѣлаетъ. Не повезло, опять начинай сначала. Мы по пяти разъ въ жизни раззоряемся и все таки не теряемъ духа. Ужъ сколько разъ я самъ былъ подъ конемъ, однакожъ я въ отчаяніе не приходилъ, и Богъ, дѣйствительно, помогъ. Если бы всѣ купцы стрѣляли себѣ въ лобъ при первой неудачѣ, то теперь на свѣтѣ уже не было-бы ни одного купца. Не бывать вамъ купцами, какъ мнѣ предводителемъ! А что, панъ Слупкевичъ дѣтей оставилъ?

— Одну дочь, Изабеллу.

— Она уже замужемъ?

— Нѣтъ, она гувернантка.

— Гувернантка! — воскликнулъ Кранцъ, вскочивъ съ креселъ и заломавъ руки. О, Боже милосердый! Что сталось съ нашею шляхтою! Потомки Зарембовъ и Масальскихъ книжками торгуютъ и уроки даютъ!

Вацлавъ понурилъ голову и тяжко вздохнулъ. Кранцъ продолжалъ въ томъ же тонѣ:

— Если-бы старый шамбелянъ всталъ теперь изъ гроба и взглянулъ на своихъ внуковъ — онъ ихъ проклялъ-бы и еще глубже зарылся бы въ могилу.

— Проклялъ? — воскликнулъ Вацлавъ, вскочивъ со своего мѣста, — за что онъ бы насъ проклялъ? Мы его имени не мараемъ.

— Не горячитесь, молодой человѣкъ, — отвѣтилъ Кранцъ, усадивъ своего гостя и подвинувшись къ нему поближе. — Мы теперь потолкуемъ о дѣлѣ. Знаете ли, зачѣмъ я васъ обезпокоилъ?

— Нѣтъ.

— Во-первыхъ, — началъ Кранцъ, — затѣмъ, чтобы дать вамъ совѣтъ, а во-вторыхъ, чтобы попросить у васъ услуги. Какъ другъ вашего рода, съ которымъ я знакомъ былъ почти полвѣка и которому много обязанъ, я считаю себя вправѣ предостеречь васъ, потомка этого рода, отъ опаснаго шага, который вы теперь намѣрены сдѣлать.

— Что вы подъ этимъ разумѣете? — спросилъ Вацлавъ.

— Я подъ этимъ разумѣю — мятежъ, который вы опять теперь затѣваете. Это опасная игра, молодой человѣкъ! Много крови и денегъ она вамъ стоила, а еще больше она будетъ

вамъ стоить. Москаль силенъ, вы на землю его не повалите. Вы только растратите ваши послѣднія силы и пользы вамъ отъ этого не будетъ никакой. Зачѣмъ же губить себя понапрасну? И чего вамъ недостаетъ? Вы имѣете свои костелы, своихъ ксендзовъ, своихъ бискуповъ, своихъ маршалковъ и своихъ чиновниковъ. Живите же себѣ въ свое удовольствіе и не напрашивайтесь на побои! Вѣдь поколотятъ же васъ навѣрное.

— Ну, это еще неизвѣстно, кто кого поколотитъ,—возразилъ Вацлавъ.—Впрочемъ, это уже наше дѣло. Если мы рѣшились, значитъ мы знаемъ, что дѣлаемъ и что насъ ожидаетъ. Мы обо всемъ подумали.

— Стало быть, вы моего совѣта не принимаете?

— Нѣтъ.

— Какъ вамъ угодно. Я свое дѣло сдѣлалъ. Совѣсть моя чиста. Теперь позвольте мнѣ попросить у васъ одной услуги. Опять какъ другъ вашего рода, я, кажется, имѣю право надѣяться, что вы мнѣ не откажете.

— Увидимъ, въ чемъ состоитъ эта услуга?

— Она состоитъ въ томъ,—началъ Кранцъ почти жалобнымъ голосомъ,—чтобы вы не лишали стараго, въ гробъ смотрящаго отца его единственной дочери, единственнаго утѣшенія въ послѣдніе дни его жизни.

— Вы говорите о вашей дочери, паннѣ Полинѣ?

— Да, о моей Полинѣ. О, не лишайте меня ее!

— Помилуйте, г. Кранцъ, чѣмъ мы васъ ее лишаемъ?

— Тѣмъ, что вы кружите ей голову, увлекаете въ ваше опасное предпріятіе, въ которомъ я не хотѣлъ-бы, чтобы она принимала хотя малѣйшее участіе. Она вѣдь дитя, вы наговорили ей Богъ знаетъ что, она и лѣзетъ въ огонь, очертя голову. Я все знаю, вы бываете у нея, она бываетъ на вашихъ собраніяхъ, на которыхъ ей совсѣмъ не слѣдуетъ бывать.

— Почему?

— Потому, что она дитя.

— Какое она дитя? Она уже не дитя, она патріотка, она полька.

— Богъ съ вами! что вы говорите, г. Заремба? — вос-

кликнулъ старикъ въ отчаяніи.—Какая она полька? Она еврейка, дочь моя.

— А еврейка развѣ не должна любить ойчизну?

— Пусть она себѣ любитъ ойчизну, я ей не мѣшаю. Я тоже люблю ойчизну, но ходить въ ваши собранія ей все таки не слѣдуетъ.

— Почему?

— Потому, что она еврейка, потому, что это не ея дѣло. Мы мятежами никогда не занимались. Знаемъ, къ чему они ведутъ. Хотимъ жить въ мирѣ и спокойствіи. Круль такъ круль, царь такъ царь. Намъ что за дѣло до этого? Кому намъ прикажутъ повиноваться, тому и будемъ повиноваться. Намъ и религія наша предписываетъ повиноваться поставленнымъ властямъ.

— Ну, и повинуйтесь жонду народовому. *Онъ* здѣсь теперь власть, *онъ* теперь въ краѣ хозяинъ.

— Какой онъ хозяинъ!—Царь здѣсь хозяинъ!

— Но мы не признаемъ его.

— Мало, что не признаете. Вы и въ тридцать-первомъ году не признавали его; однакожъ, кто хозяйничаетъ? Впрочемъ, мы вамъ не мѣшаемъ. Дѣлайте, какъ знаете, только насъ оставьте въ покоѣ.

Вацлавъ вспылилъ.

— Ойчизна въ опасности, а васъ оставлять въ покоѣ?— воскликнулъ онъ.—Что вы за недотроги такіе? Позволяю себѣ замѣтить вамъ, г. Кранцъ, что вы очень плохой патріотъ. При случаѣ мы это вамъ припомнимъ.

— Припоминайте, казните меня, но не отнимайте у меня дочери! Она для меня дороже жизни.

— Но она и намъ очень дорога.

— Чѣмъ она вамъ дорога? Какая вамъ отъ нея польза? Что можетъ сдѣлать для польской ойчизны еврейская дѣвочка?

— Вы, г. Кранцъ, какъ я вижу, очень плохо знаете вашу дочь, а потому объяснить вамъ всю пользу, какую намъ приноситъ панна Полина, мнѣ очень трудно будетъ. Коротко только скажу вамъ: такой благородной польки, такой пламенной патріотки, какъ ваша дочь, поискать надо, а потому она



намъ очень нужна и мы ни за что ее вамъ не уступимъ. Она принадлежитъ отчизнѣ.

— Она принадлежитъ мнѣ! — воскликнулъ старикъ, топнувъ ногой,—она дочь моя, я ея отецъ! Могу уступить вамъ все мое имущество, все мое состояніе, но дочери я вамъ не уступлю! Она кость изъ костей моихъ, кровь изъ крови моей, вы ее отнимете развѣ вмѣстѣ съ моею душою. О, добрый, благородный г. Заремба, — умолялъ старикъ, залившись слезами,—именемъ святаго праха вашего дѣдушки—шамбеляна, заклинаю васъ, не отнимайте у меня моей дочери! Дайте мнѣ умереть спокойно, вѣдь мнѣ уже недолго остается жить на свѣтѣ. Для того ли я весь вѣкъ свой трудился, работалъ, не доѣдалъ, не досыпалъ, потѣлъ, тревожился, копилъ деньги, для того-ли, чтобы на старости лѣтъ видѣть дѣтей моихъ, награду всей моей трудовой жизни, проливающихъ кровь свою изъ-за панской фантазіи? О, сжальтесь надо мною, надъ моими сѣдыми волосами! Наложите на меня какую угодно контрибуцію, я сегодня же съ удовольствіемъ внесу ее въ вашу кассу; но оставьте дѣтей моихъ въ покоѣ, не тащите ихъ съ собою въ ту пропать, которую вы сами себѣ роете.

Вацлавъ выслушалъ эти слова равнодушно и ничего не отвѣчалъ. Онъ всталъ и, закусивъ губы, началъ натягивать свои перчатки.

— Вы уже уходите, г. Заремба?

— Да, мнѣ уже пора.

— И вы ничѣмъ не успокоите старика?

— Могу только утѣшить васъ обѣщаніемъ, что я уже больше не буду безпокоить вашу дочь своими визитами: я завтра уѣзжаю совсѣмъ изъ города.

— Вы уѣзжаете? Не потрудитесь ли вы передъ отъѣздомъ объяснить моей дочери, что ваше предпріятіе въ ней не нуждается?

— Вы, г. Кранцъ, требуете отъ меня слишкомъ много. Во первыхъ, предпріятіе наше нуждается въ ней столько же, сколько въ каждомъ патріотѣ. Во-вторыхъ, мое объясненіе не поможетъ. Ваша дочь слишкомъ тверда въ своемъ намѣреніи, чтобы я, или кто либо другой, легко могъ пошатнуть его. Еще разъ говорю вамъ: дочь ваша уже не дитя, она

знаетъ, что дѣлаетъ, и хорошо дѣлаетъ. Затѣмъ, прощайте, г. Кранцъ, не поминайте меня лихомъ. Придетъ время, и вы увидите, что ваши опасенія были напрасны. Мы тоже не дѣти; если мы затѣваемъ дѣло, стало быть, мы убѣждены въ его успѣхѣ. Мы вѣдь еще не совсѣмъ выжили изъ ума. Совѣтую вамъ, какъ другу рода Зарембовъ, быть лучшимъ патріотомъ и не относиться такъ равнодушно и недовѣрчиво къ дѣлу Польши, потому что... Впрочемъ, прощайте!

Онъ поклонился и вышелъ.

Старикъ заломалъ руки, наклонилъ голову и погрузился въ думу.

— Что мнѣ дѣлать, что мнѣ дѣлать съ этою взбалмошною дѣвченкою? проговорилъ онъ. — Она хочетъ погубить себя, меня, всѣхъ насъ.—О, Господи, спаси насъ!..

Онъ всталъ и прошелся нѣсколько разъ по кабинету. Потомъ онъ подошелъ къ сонеткѣ и два раза позвонилъ. Явилась горничная.

— Адольфъ дома?—спросилъ Кранцъ.

— Дома.

— Такъ попроси его сюда.

V.

Софія Аронсонъ писала къ Мэри Тидманъ слѣдующее:

«Твои упреки, chère Marie, за мое долгое молчаніе вполнѣ заслуженны; но я все таки не виновата. Я больна. Въ послѣдніе мѣсяцы мною овладѣла такая лѣнь, такая апатія, что не могу ни за что взяться: все-бы сидѣла, сложа руки, прислушиваясь къ мѣрному качанію маятника. Я даже бросила свой дневникъ: не до него мнѣ теперь, когда душа моя изнемогаетъ. Во мнѣ теперь точно все замерло и думы, и чувства, и желанія. А причина овладѣвшей мною скуки и лѣни очень простая: бездѣйствіе, мучительное бездѣйствіе, на которое осудили меня родители. Въ тревожное время, которое мы теперь переживаемъ, мои добрые старики сочли за лучшее совершенно отрѣзать меня отъ всего, что дѣйствуетъ. Они зорко за мною наблюдаютъ, слѣдятъ, куда я хожу, съ кѣмъ видаюсь, что дѣлаю; постоянно встревожены, какъ буд-

то я собираюсь совершить какое нибудь преступленіе. Но пуще всего мнѣ достается отъ матушки: она съ меня глазъ не спускаетъ, сидитъ или у меня въ комнатѣ, или въ залѣ у дверей моей комнаты, въ качествѣ тѣлохранителя и, безъ разныхъ предосторожностей, никого до меня не допускаетъ. Представь себѣ, она даже панну Изабеллу, своего *друга*, не пускаетъ на порогъ нашъ подъ разными благовидными предлогами. То мы всѣ угорѣли и лежимъ больные, то никого изъ насъ дома нѣтъ, то во всемъ домѣ полы моютъ и негдѣ принимать ее, однимъ словомъ, матушка каждый разъ что нибудь присочинитъ, чтобы отвязаться отъ *опасной* гостьи. Если бы ты видѣла, какой шумъ она подняла въ домѣ, когда разъ застала у меня пана Вацлава, пришедшаго проститься со мною, передъ отъѣздомъ своимъ въ уѣздъ!.. Она плакала, ломала руки, осыпала меня упреками и, въ тоже время, душила въ своихъ объятіяхъ. Ея отчаяніе и тревога были такъ велики, что она хотѣла на нѣкоторое время услать меня въ другой городъ. Едва на третій день она успокоилась и призналась мнѣ, что ей все мерещилось, что полиція сію минуту нагрянетъ и заарестуетъ меня за свиданіе съ *мятежникомъ*.

«Изъ этихъ строкъ ты можешь заключить, какъ мнѣ теперь должно быть тошно и больно. Мнѣ вдвойнѣ больно: во-первыхъ, что я ничего не дѣлаю для ойчизны, въ то время, когда она нуждается въ посильной помощи каждаго изъ дѣтей своихъ; а во-вторыхъ, что я такъ слаба, что у меня не хватаетъ духа дѣйствовать на перекоръ моимъ родителямъ, любовь къ которымъ, по всѣмъ моимъ соображеніямъ, должна бы была уступать мѣсто болѣе возвышенной любви къ ойчизнѣ. Вотъ что меня мучитъ и гнететъ! Я борюсь, но что въ томъ проку,—когда я не выхожу побѣдительницей изъ этой борьбы, когда голосъ родителей заглушаетъ во мнѣ голосъ ойчизны?.. Если мы всѣ будемъ слушаться только голоса нашего сердца, то что тогда будетъ съ долгомъ, который мы всѣ имѣемъ передъ ойчизной? Кто будетъ исполнять его? Не будутъ ли наши соотечественники имѣть полное право презирать насъ, какъ эгоистовъ и даже измѣнниковъ? И я въ самомъ дѣлѣ начинаю ненавидѣть, презирать себя за мое малодушіе, за мою безхарактерность, за мою преступную сла-

бость. О, презирай меня тоже, потому что я вполнѣ этого заслуживаю...

«Какъ я завидую нашей Полинѣ! Она живетъ, дѣйствуетъ, работаетъ, не обращая вниманія на наставленія, просьбы и угрозы своего отца и брата. Она патріотка до мозга костей. Я съ ней видаюсь теперь очень рѣдко. Она бываетъ у меня только мимолетомъ. Она всегда занята. Дома почти никогда ее теперь не застанешь: то она въ своей школѣ, то у графини, то въ другомъ какомъ нибудь патріотическомъ кружку. Ты теперь не узнала бы ее: она такъ перемѣнилась! Она сдѣлалась серьезнѣе, благоразумнѣе, сдержаннѣе. Она теперь меньше говоритъ, но больше дѣйствуетъ. Мы съ нею дружны по прежнему, но отъ прежней ея откровенности теперь уже и слѣда не осталось. Она отъ меня очень многое скрываетъ и въ сущности права. За чѣмъ мнѣ открывать такія дѣла, въ которыхъ я не участвую? Я ею восхищаюсь, я ей удивляюсь, потому что она цѣлою головою переросла меня. Вотъ что значитъ серьезно посвятить себя служенію идеѣ! Это служеніе просвѣщаетъ, развиваетъ, человѣкъ растетъ въ немъ не по днямъ, а по часамъ. Въ послѣдніе мѣсяцы наша Полина далеко ушла впередъ, а я, кажется, ушла назадъ. Грустно и больно, но дѣлать нечего. Могу только пенять на судьбу, одарившую меня такою дряблою натурою, но въ этомъ мало утѣшенія.

«Ты спрашиваешь, какое впечатлѣніе произвелъ на насъ вашъ Саринъ?—Почти никакого особеннаго. Всѣ находятъ, что онъ человѣкъ порядочный и неглупый, вотъ и все. Онъ не успѣлъ еще высказаться, и врядъ ли когда нибудь выскажется, потому что онъ уже пересталъ бывать въ домахъ, съ которыми познакомился. Должно быть, что наше общество не особенно ему понравилось, и въ этомъ отношеніи я нахожу, что онъ очень правъ. Развѣ наше общество можетъ нравиться серьезному и развитому человѣку?—Пустота, мелочность, скудоуміе на каждомъ шагу! Мы съ этимъ положеніемъ сжились, а потому привыкли; но на человѣка свѣжаго оно не можетъ не произвести отталкивающаго впечатлѣнія. Все свое время Саринъ проводитъ съ Адольфомъ и Мозирскимъ. Между этими молодыми людьми, по видимому, установилась самая тѣсная

дружба, и это весьма естественно: всѣ они люди серьезные, разсудительные. Они сообща что-то затѣваютъ, предпринимаютъ, но что именно—еще не извѣстно. Саринъ хотя у насъ иногда и бываетъ, но я его не распрашиваю, а онъ самъ не говоритъ. Поживемъ, увидимъ.

«Для успокоенія своей совѣсти, я на этихъ дняхъ сдѣлала вотъ что: я взяла сумму, собравшуюся у меня изъ моихъ карманныхъ денегъ,—около ста рублей—и препроводила ее въ *кассу для патріотическихъ цѣлей.* Такъ я буду дѣлать со всѣми деньгами, которыя попадутъ въ мои руки. Кромѣ того, я намѣрена, разумѣется тайкомъ отъ родителей, распродать свои драгоцѣнныя вещи, которыя я въ разное время получила въ подарокъ отъ родителей, родственниковъ и подругъ, и вырученную за нихъ сумму препроводить туда-же. Родители не спохватятся потому, что они этихъ драгоцѣнностей никогда на мнѣ не видятъ. Какъ ты думаешь, имѣю-ли на это право или нѣтъ? Но вѣдь эти вещи моя собственность, стало быть, я могу распорядиться ими по собственному моему усмотрѣнію. Такъ и быть! Если не могу участвовать въ освобожденіи ойчизны лично, буду, по крайней мѣрѣ, участвовать своими матеріальными средствами».

VI.

Въ одинъ ненастный мартовскій вечеръ 1862 года, двѣ долговязыя фигуры, закутанныя въ непромокаемые плащи съ капюшонами, опущенными по самые подбородки, медленно расхаживали взадъ и впередъ по Садовой улицѣ, одной изъ самыхъ тихихъ улицъ города N. Цѣлью ихъ прогулки былъ, по видимому, большой каменный двухэтажный домъ съ изящнымъ балкономъ изъ чугуна, потому что каждый разъ, какъ таинственныя фигуры поравнивались съ нимъ, онѣ останавливались на нѣсколько минутъ и не спускали глазъ со втораго этажа, пять оконъ котораго были очень ярко освѣщены, что, повидимому, не только заинтересовало, но и озадачило ихъ.

— Что бы такое тамъ было?—спросила одна фигура, вытянувъ шею и вставъ на цыпочки, какъ-бы желая хоть гла-

зомъ проникнуть въ освѣщенныя комнаты,—неужели свадьба нашей Кранцувны?

— Такъ чтожъ, если свадьба?—спросила вторая фигура.

— Такъ я пропалъ.

— Почему пропалъ?

— Потому, что тогда не видать мнѣ моихъ ста дукатовъ.

— Ста дукатовъ? — переспросила вторая фигура, заглядывая своему товарищу подъ капюшонъ.—Ты, Стась, шутишь или пьянъ?

— Я не шучу и не пьянъ,—отвѣтилъ Стась. —Дѣло въ томъ, что мы съ паномъ Андреемъ условились когда нибудь увезти дочку богатаго Кранца, и за это онъ мнѣ обѣщался дать сто дукатовъ.

— А гдѣ панъ Андрей возьметъ эти сто дукатовъ? Вѣдь онъ голъ, какъ соколъ.

— Ужь это не мое дѣло, я возьмусь за работу только тогда, когда деньги будутъ у меня въ карманѣ. Мы такъ и условились.

— Ну на здоровье; желаю тебѣ успѣха, — проговорила вторая фигура, плотнѣе закутываясь въ свой плащъ и собираясь уходить.—Прощай!

— Ты, Ясь, куда торопишься?

— Я еще не обошелъ своего цыркула.

— Еще успѣешь, цыркулъ отъ тебя не уйдетъ. А ты лучше помоги мнѣ вскарабкаться на балконъ; загляну въ окошко, что тамъ жиды дѣлаютъ, и пойдемъ вмѣстѣ.

— Мнѣ некогда,—возразилъ Ясь,—хочу сегодня раньше окончить свой обходъ и завалюсь спать. Я насилу волочу ноги. Чортъ возьми! Какъ только окончится мѣсяцъ, я поблагодарю за службу и опять возьмусь за свое прежнее ремесло.

— Знать служба уже надоѣла тебѣ?

— Очень даже надоѣла.

— Развѣ тебѣ лучше было, когда ты былъ извощикомъ?

— Лучше,—отвѣтилъ бывшій извощикъ,—по крайней мѣрѣ знаешь, что дѣло дѣлаешь. А то — шататься, какъ песъ, по улицамъ, въ то время, когда всѣ порядочные люди спятъ, заглядывать въ окошко, прятаться, какъ воръ, —это чортъ зна-

етъ на что похоже. Я—дворянинъ, мой гоноръ не позволяетъ мнѣ быть шпіономъ.

— А еще патріотъ!—замѣтилъ съ укоромъ Стась, качая головой.

— Да, патріотъ, — отвѣтилъ Ясь, — когда нужно будетъ драться за ойчизну, я, какъ добрый полякъ, пойду драться; но быть хожалымъ—слуга покорный... Я дворянинъ, мой гоноръ...

— А чортъ тебя побери съ твоимъ гоноромъ,—перебилъ его Стась,—ты мнѣ лучше скажи, хочешь ли пособить мнѣ вскарабкаться на балконъ?

— Нѣтъ, не хочу,—сказалъ рѣшительно Ясь,—еще кто нибудь подвернется, подыметъ гвалтъ, и насъ, какъ мошенниковъ, уведутъ въ полицію.

— Такъ что-жъ, если уведутъ? Полиція — свои люди, не съѣстъ насъ. Узнаютъ кто мы, такъ сію минуту выпустятъ.

— Выпустятъ или не выпустятъ, а все таки придется сидѣть въ козѣ. Я дворянинъ...

— Трусъ ты, а не дворянинъ, вотъ что я тебѣ скажу!— въ сердцахъ крикнулъ Стась.—Трусъ, утвержденный герольдіей. У тебя гонору меньше, чѣмъ у жида пархатаго. Тьфу!

Дворянинъ вломился въ амбицію.

— Ты, Стась, какъ смѣешь меня ругать?

— А вотъ погоди здѣсь еще минуточку, такъ я тебя и поколочу, — отвѣтилъ Стась, высунувъ изъ подъ-плаща свою мускулистую руку.

Ясь, зная, что имѣетъ дѣло съ записнымъ забіякой, счелъ за лучшее ретироваться.

— Я съ тобою и говорить не хочу, — сказалъ онъ на-прощанье и поспѣшно удалился.

Стась громко расхохотался и плотнѣе закутался въ свой плащъ.

Оставшись одинъ, онъ подошелъ къ заинтересовавшему его дому и сталъ ощупывать водосточную мѣдную трубу, тянувшуюся съ крыши до самой панели, съ намѣреніемъ вскарабкаться по ней на балконъ. Онъ уже поднялъ руки и сталъ карабкаться, какъ вдругъ услышалъ скрипъ воротной калитки. Дѣлать было нечего. Онъ бросилъ свою работу и, какъ

ни въ чемъ не бывало, спокойно отправился по тому направленію, откуда послышался скрипъ. Слухъ не обманулъ его: у калитки стояла женская фигура, закутанная въ большой теплый платокъ. Поровнявшись съ фигурою, Стась бросилъ на нее бѣглый, но проницательный взглядъ, и вдругъ остановился, какъ вкопанный.

— Марциша!—воскликнулъ онъ, распахнувъ свой плащъ и простирая фигурѣ свои обѣ руки.

— Стась!—воскликнула въ свою очередь фигура, всплеснувъ руками.

— Вотъ встрѣча!—прибавилъ Стась, освободивъ свою голову отъ капюшона,—а я перешарилъ весь городъ: гдѣ моя Марциша? Нѣтъ моей Марциши! Точно сквозь землю провалилась.

— Да, толкуй,—отвѣтила дѣвушка, надувши губки,—ты вѣдь все врешь. Ты совсѣмъ не искалъ меня. Очень я тебѣ нужна.

Она закрыла свое лицо платкомъ и прослезилась.

— Ну, не сердись, моя коханная, — приставалъ къ ней Стась,—помиримся. Дай руку.

Она, какъ бы нехотя, протянула ему руку.

— Ангелъ мой, душа моя, королева моя, — ворковалъ влюбленный Стась, цѣлуя то одну руку, то другую и притягивая къ себѣ дѣвушку все ближе и ближе. — Отнынѣ мы уже не разстанемся. Я чувствую, что люблю только тебя.

— А Анелька?—спросила Марциша, вдругъ вырвавъ свои руки изъ рукъ разчувствовавшагося Стася.

— Что было, то уплыло,—отвѣтилъ Стась,—я Анельку уже давно бросилъ. Она твоего мизинца не стоитъ.

— Клянись.

— Jak Boga kocham,—отвѣтилъ юноша, положивъ руку на сердце.

Дѣвушка бросилась въ его объятія и, казалось, повисла на одномъ долгомъ, почти нескончаемомъ поцѣлуѣ.

— И такъ, ты меня любишь, Стась?—проговорила растаявшая дѣвушка, чуть не задыхаясь отъ сердечнаго волненія.

— Я тебя обожаю.

— И никогда не покинешь?

— Никогда, честное слово!

— Я повѣшусь, если ты опять промѣняешь меня на какую нибудь Анельку или Стефку.

— Сказано, что не покину и баста!—проговорилъ почти строго Стась, которому, вѣроятно, уже стали надоѣдать припадки ревности своей возлюбленной. — Поговоримъ лучше о дѣлахъ: мы такъ давно не видались.

— А кто этому виноватъ?

— Ну, все равно. Скажи мнѣ, что ты здѣсь дѣлаешь?

— Я здѣсь служу, у Кранцевъ.

— У Кранцевъ? — почти вскрикнулъ Стась, обрадовавшись.— Это великолѣпно.

— Почему великолѣпно?

— Ужь я знаю почему. Это ваши окошки освѣщены?

— Наши.

— Что сегодня у васъ такое?

— У молодаго Кранца гости.

— Кто они такіе?

— Извѣстно кто, жиды.

— Что они дѣлаютъ?

— Извѣстно что, чай пьютъ, разговариваютъ.

— Не знаешь-ли, о чемъ они разговариваютъ?

— А мнѣ почемъ знать! Но къ чему ты это все спрашиваешь?

— Вѣроятно, нужно,—отвѣтилъ Стась, и, чтобы перевести разговоръ на другую тему, началъ разсказывать ей, что бросилъ карты, поступилъ на службу за двадцать пять рублей въ мѣсяцъ и что ему скоро предстоитъ—кромѣ того, заработать еще двѣ тысячи польскихъ злотыхъ.—А вотъ, когда получу деньги,—прибавилъ Стась,—я на тебѣ женюсь и мы заживемъ по-пански.

— Серьезно?

— Честное слово.

Дѣвушка бросилась цѣловать своего возлюбленнаго. Затѣмъ, условившись, что по воскресеньямъ будутъ видѣться у тети Праксeды, на предмѣстьѣ, они еще разъ обнялись и разошлись.

Стась надѣлъ капюшонъ, закутался въ свой плащъ и уже собирался уйти, какъ вдругъ къ воротамъ подъѣхали дрожки. Съ нихъ соскочилъ молодой человѣкъ, тоже въ непромокаемомъ плащѣ, но безъ капюшона.

— Дозорца?—окликнулъ Стася молодой человѣкъ.

— Дозорца,—отвѣтилъ Стась.

— Номеръ?

— Восьмой.

— Haslo? *).

— Niech zyje **).

— Васъ ищутъ. Отправьтесь скорѣе krzyz na krzyz ***), фонарь № 13-й, лѣстница А, входъ справа, haslo: niech będzie.

— Слушаю,—отвѣтилъ Стась и скорымъ шагомъ отправился по этому таинственному, но хорошо ему знакомому адресу, а молодой человѣкъ вошелъ въ отворенную калитку. Дрожки ожидали у воротъ.

Чрезъ нѣсколько минутъ, молодой человѣкъ появился у калитки въ сопровожденіи молодой дамы въ тепломъ бурнусѣ съ черною шалью на головѣ. Они сѣли на дрожки.

— Куда?—спросилъ извощикъ.

— *Туда*,—отвѣтилъ молодой человѣкъ.

Дрожки умчались съ своими сѣдоками, — Жюль Перецомъ и Полиной Кранцъ.

VII.

Въ то время, когда m-lle Полина, въ сопровожденіи Жюля Переца, мчалась на биржевомъ извощикѣ *туда*, въ квартирѣ ея брата, Адольфа Кранца, дѣлались приготовленія къ *первому* засѣданію еврейской молодежи города N.

Большой письменный столъ перенесенъ былъ изъ кабинета въ гостинную; къ нему приставленъ былъ еще ломберный столикъ. Вмѣсто зеленаго сукна, котораго не нашлось въ квартирѣ Кранца, на эти оба стола накинута была какая-то

---

*) Пароль.

**) Да здравствуетъ!

***) Крестъ на крестъ.

полосатая бумажная матерія, которую Адольфъ добылъ гдѣ-то въ скарбѣ своей сестры. Кресла, стулья и подсвѣчники разнаго калибра и фасона натащены были изъ разныхъ комнатъ обширной квартиры Кранцевъ. Всѣми приготовленіями распоряжался самъ хозяинъ, которому содѣйствовали нѣкоторые изъ гостей, такъ какъ, по важности дѣлъ, которыя подлежали обсужденію, сочли за благо не допускать въ комнату засѣданія никого, даже изъ прислути.

Когда приготовленія были окончены, гости, по приглашенію хозяина, сѣли вокругъ стола. Ихъ было человѣкъ до тридцати. Кромѣ Кранца, Сарина и Мозырскаго, по инціативѣ которыхъ и состоялось это засѣданіе, тутъ были почти всѣ преподаватели еврейскихъ учебныхъ заведеній города N, нѣсколько еврейскихъ литераторовъ и образованные люди изъ купеческаго сословія.

Адольфъ Кранцъ провозгласилъ:

— Не въ качествѣ предсѣдателя, а въ качествѣ хозяина, объявляю засѣданіе открытымъ.

Водворилась тишина.

— Кто будетъ говорить?—спросилъ кто-то.

— Г. Саринъ, отвѣтилъ Адольфъ.

Саринъ всталъ и началъ:

— Милостивые государи! Я вполнѣ убѣжденъ, что вы годъ, полтора года тому назадъ, съ прискорбіемъ слѣдили за ярыми нападками на насъ, евреевъ, мѣстной прессы. Имѣвъ теперь случай лично познакомиться съ представителями этой прессы, я узналъ, что они далеко не такіе заклятые юдоѣды, какими мы ихъ всегда представляли себѣ. Какъ люди просвѣщенные, они о евреяхъ вообще такого-же мнѣнія, какъ и мы съ вами; но, какъ польскіе патріоты, они нападали на нихъ, имѣя въ виду двоякую цѣль: во-первыхъ, возстановивъ противъ евреевъ администрацію, вызвать въ ней репресивныя противъ нихъ мѣры; и во-вторыхъ, заставить евреевъ, недовольныхъ, вслѣдствіе этихъ мѣръ, правительствомъ, броситься въ объятія поляковъ, обѣщающихъ имъ теперь золотыя горы...

— Ловко придумано!—замѣтилъ кто-то.

— Да, милостивые государи,—продолжалъ Саринъ,—дѣятели здѣшней прессы — люди очень ловкіе; они не только

искусные литераторы, но и искусные дипломаты. Первой цѣли они почти уже достигли; вѣдь отуманить администрацію не Богъ знаетъ, какъ трудно, тѣмъ болѣе, что ей самой какъ будто пріятно быть отуманенной относительно евреевъ. Администрація, какъ я узналъ изъ вѣрнаго источника, начинаетъ смотрѣть на насъ косо, и не будетъ ничего удивительнаго, если еврейскія дѣла примутъ дурной оборотъ... Представленія о насъ въ Петербургѣ пишутся поляками или, по крайней мѣрѣ, подъ ихъ диктовку.

— Совершенно справедливо, — замѣтилъ одинъ изъ купцовъ,—во всѣхъ канцеляріяхъ дѣлами заправляютъ поляки; въ ихъ рукахъ не только начальники отдѣленій, но и предсѣдатели, даже губернаторы.

— Но до второй цѣли,—продолжалъ Саринъ, возвысивъ голосъ,—мы ихъ не допустимъ: евреи съ поляками брататься не должны! И это потому, что отъ этого братанья мы не только ничего не можемъ выиграть, но можемъ потерять даже то немногое, которымъ уже владѣемъ... За стариковъ нашихъ намъ нечего опасаться: они къ полякамъ не пристанутъ, они, люди опытные, смышленные, будутъ знать, какъ держать себя. Польская удочка десять разъ оборвется, пока разъ зацѣпитъ ихъ. Но молодежь...

— За молодежь мы ручаемся; такъ вѣдь, господа? —отозвался Копельсонъ, одинъ изъ учителей, окинувъ вопросительнымъ взглядомъ своихъ товарищей.

— Разумѣется, разумѣется, – подтвердили учителя въ одинъ голосъ,—за нашу учащуюся молодежь тоже нечего безпоиться: мы даемъ ей самое легальное направленіе.

— Извините, господа,—возразилъ Саринъ, — дѣло идетъ не объ одной учащейся молодежи, за которую вы ручаетесь, но о всей нашей молодежи. Притомъ, даже и относительно учащейся молодежи, вы, какъ учителя, можете ручаться развѣ только за ея успѣхи въ наукахъ—ни больше. Вы, господа, меня извините, если откровенно вамъ скажу, что наши учителя, сколько я ихъ не знаю, до сихъ поръ давали ученикамъ только уроки, но не направленія; а потому говорить о послѣднемъ, какъ о чемъ нибудь положительномъ, будетъ нѣсколько преждевременно. Да и гдѣ было выработываться ка-



кому либо направленію? Признайтесь, господа, вѣдь вы сегодня чуть-ли не въ первый разъ сошлись вмѣстѣ? Кромѣ какъ на урокахъ, никогда другъ съ другомъ не встрѣчаетесь, какъ будто вы, кромѣ служебныхъ занятій, уже ничего общаго между собою не имѣете.

Учителя потупили глаза. Саринъ продолжалъ:

— Вамъ непріятно это слушать? Но намъ еще непріятнѣе видѣть, какъ люди молодые, образованные и трудолюбивые ушли въ себя и копошатся, каждый въ своемъ отдѣльномъ углу, какъ кроты въ своей норѣ; а между тѣмъ, у насъ у всѣхъ, кромѣ личныхъ интересовъ, есть интересы общіе, народные, священные, которые безъ совмѣстнаго труда могутъ очень пострадать. Кто же въ этомъ будетъ виновенъ?

— Не мы! — энергически воскликнулъ одинъ изъ учителей,—или, по крайней мѣрѣ, не мы одни. Во всемъ нашемъ обществѣ господствуетъ полнѣйшій разладъ; каждый стоитъ особнякомъ, всякъ заботится только о себѣ. Что дѣлаютъ наши купцы?—торгуютъ. Что дѣлаютъ наши медики?—практикуютъ. Что дѣлать намъ, учителямъ, если не давать уроковъ? Если у насъ интересы общіе, такъ и забота и работа должны быть общія. Работать для общей пользы, среди общаго равнодушія и апатіи, мы не обязаны. Мы не герои, мы скромные труженники и ничего больше. Всѣ возьмутся за работу—и мы отставать не будемъ. Всѣ бездѣйствуютъ—и мы бездѣйствуемъ. Если же отъ этого пострадаютъ наши народные интересы—вините весь народъ, но не насъ, ибо мы—лишь самая незначительная частица этого народа.

— Браво! браво!—зааплодировали учителя своему оратору.—Мы не виноваты! Мы не отвѣчаемъ! Мы, не виноваты!

— Это вамъ только такъ кажется,—возразилъ Саринъ, спокойно, но твердо.—Поразмыслите хорошенько и вы перемѣните ваше мнѣніе. Мы, по количеству, точно незначительная частица нашего народа, но, по качеству, мы—мыслящая часть его, его интеллигенція, а потому мы обязаны за него думать, за него дѣйствовать. Вамъ же, господа, знакомо изреченіе нашихъ древнихъ мудрецовъ: «на безлюдьи старайся хоть ты быть человѣкомъ». Это изреченіе во всѣ времена нашего историче-

скаго странствованія вызывало изъ среды нашего народа людей мысли и почина, которые давали немыслящей массѣ нашей надлежащее направленіе и тѣмъ спасали ее отъ конечной гибели, сохраняя ее для лучшей будущности. Это изреченіе должно и васъ воодушевлять къ дѣятельности на благо нашего безпомощнаго народа. Лѣтъ двадцать, тридцать тому назадъ, во главѣ нашего народа стояли раввины, ученые, наше, такъ называемое, духовенство, которое твердо стояло на стражѣ нашихъ народныхъ интересовъ, работая денно и нощно, по своему крайнему разумѣнію. Теперь эти почтенные дѣятели сходятъ со сцены; новыя требованія времени вручаютъ кормило правленія намъ, молодымъ; во главѣ обществъ поставлены равнины изъ среди насъ; обученіе юношества поручено намъ; на насъ возложена великая и священная миссія: преобразовать, перевоспитать нашихъ единовѣрцевъ, поставить ихъ на торную дорогу всего человѣчества, съ которымъ они должны идти рука объ руку, нога въ ногу. Неужели-же, изъ личнаго удобства ничегонедѣланья, мы будемъ прикидываться непонимающими возложенной на насъ миссіи? Неужели мы можемъ успокоиться на автоматическомъ исполненіи обязанностей? Неужели совѣсть наша уже ничего, такъ-таки рѣшительно ничего не подсказываетъ намъ на счетъ того, чтó мы *обязаны* дѣлать въ качествѣ раввиновъ, учителей, литераторовъ и, вообще, мыслящихъ людей?

Взрывъ рукоплесканій покрылъ послѣднія слова оратора. Рукоплескали даже тѣ, противъ которыхъ главнымъ образомъ и направлена была эта филиппика. Учитель же, который нѣсколько минутъ предъ тѣмъ думалъ, что онъ блестящимъ образомъ отразилъ нападеніе на своихъ сотоварищей, былъ такъ растроганъ, что всталъ съ своего мѣста, подошелъ къ Сарину и крѣпко пожалъ ему руку.

— Вы совершенно правы, г. Саринъ, вы открываете намъ глаза,—сказалъ онъ взволнованнымъ голосомъ.—Мы, правду говоря, люди честные, но сонливые. Будите насъ, и мы постараемся бодрствовать.

Когда тишина опять водворилась, Саринъ, отеревъ потъ съ своего блѣднаго лица, продолжалъ:

— Я еще не кончилъ. Г. Блюмъ ссылается на равнодушіе

къ общественнымъ дѣламъ нашихъ купцовъ и нашихъ медиковъ. Но спрашивается, должно ли это равнодушіе служить намъ образцомъ, или оправданіемъ нашего собственнаго бездѣйствія? Вы развѣ не знаете, что торговое сословіе нигдѣ не стоитъ во главѣ какихъ либо общественныхъ движеній? Оно, впрочемъ, и не претендуетъ на иниціативу. Торговое сословіе—та же масса, идущая туда, куда ее направляютъ болѣе интеллигентные классы общества. Какъ масса, оно видитъ факты, но ему некогда обобщать ихъ; смотритъ на явленія, но не понимаетъ ихъ смысла и внутренняго содержанія. А потому мы отъ нашихъ купцовъ не должны требовать осмысленнаго образа дѣйствій. Они масса, *толпа*, и этимъ, надѣюсь, уже все сказано.

Присутствововавшіе купцы немножко сконфузились, крякнули, но молчали. Саринъ продолжалъ:

— Что же касается нашихъ медиковъ, то мы съ прискорбіемъ должны признаться, что рѣдко между ними встрѣчаемъ человѣка, преданнаго интересамъ своего народа. Они большею частью люди профессіи, попросту сказать, ремесленники. Университетъ далъ имъ ремесло и права, они и бросились эксплоатировать то и другое, съ жадностью людей, долгое время голодавшихъ. Гдѣ имъ и думать объ интересахъ, которые выше ихъ хлѣбной практики? Они похожи на узниковъ, только что выпущенныхъ изъ тюрьмы и еще не насытившихся свободою на столько, чтобы имъ возможно было подумать о своихъ бывшихъ сотоварищахъ по заключенію. Иначе и не можетъ быть. Современемъ они убѣдятся, что, не смотря на свою личную свободу, они, тѣмъ не менѣе, связаны съ своими единовѣрцами болѣе крѣпкими узами, чѣмъ они думаютъ. Христіанское общество на каждомъ шагу будетъ напоминать имъ, что они—тѣ же узники, только случайно вырвавшіеся на волю. Тогда и они, можетъ быть, станутъ содѣйствовать тому, чтобы совсѣмъ не было узниковъ, и не будутъ стоять поодаль и безучастно смотрѣть на усилія своихъ братьевъ, рвущихся на волю. Такъ было за-границей, такъ будетъ и у насъ, въ Россіи. Но это еще впереди, а пока мы не должны забывать, что опасность не за горами, а за плечами, и если не поспѣшимъ стать передъ нею грудью, ожидая помощи отъ нашихъ

купцовъ и медиковъ, то мы погибнемъ, пропадемъ... Мы теперь очутились, что называется, между молотомъ и наковальней: съ одной стороны администрація, а съ другой—поляки. Давленіе будетъ сверху и снизу. Вопросъ, слѣдовательно, въ томъ, какъ намъ держаться, чтобы нась не прихлопнули, какъ пройти невредимыми межъ двухъ огней?...

На этотъ вопросъ никто изъ присутствовавшихъ не отвѣчалъ. Всѣ какъ будто рѣшились выслушать Сарина до конца, тѣмъ болѣе, что каждый былъ внутренно убѣжденъ, что поставленный ораторомъ вопросъ будетъ имъ и разрѣшенъ. Помолчавъ немного, какъ-бы ожидая отвѣта, Саринъ продолжалъ:

— О нашихъ старикахъ мы уже говорили. Сильно развитое въ нихъ чувство самосохраненія научитъ ихъ благополучно пролавировать между Сциллою и Харибдою. Но молодежь?.. Я знаю, что въ ней уже начинаетъ развиваться нѣчто въ родѣ патріотическаго чувства, т. е. потребность имѣть отечество и любить его. Съ этимъ мы, конечно, можемъ поздравить себя; но, съ другой стороны, мы должны опасаться, чтобы этою возбудившеюся въ нашей молодежи потребностью не воспользовались, для своихъ личныхъ цѣлей, поляки, съ которыми едва-ли мы можемъ имѣть что нибудь общее. Молодежь ищетъ отечества, ей и предложатъ несчастную Польшу, трижды умершую, но все таки продолжающую пожирать дѣтей своихъ. Молодежь неопытна, податлива, а приманка блестящая. Поляки пустятъ въ ходъ все свое краснорѣчіе, всѣ свои соблазны, чтобы отуманить и завлечь насъ подъ свое знамя... Нѣкоторымъ изъ нашей молодежи они уже успѣли вскружить голову.

— Кому это?—спросило нѣсколько голосовъ.

Адольфъ Кранцъ вздрогнулъ и бросилъ умоляющій взглядъ на Сарина. Послѣдній понялъ этотъ взглядъ и сказалъ:

— Зачѣмъ вамъ имена? Довольно того, что нѣкоторые изъ насъ уже безвозвратно закабалили себя полякамъ.

— Но «нѣкоторые» вѣдь еще не вся молодежь,—отозвался кто-то.

— Это такъ,—отвѣтилъ Саринъ,—но вы забываете нашу круговую поруку, по которой за одного провинившагося еврея

тащутъ къ суду всѣхъ насъ, все еврейство. Я знаю, что многіе изъ здѣшнихъ русскихъ, сознательно или безсознательно, дѣйствуютъ заодно съ поляками; однакожъ, никому въ голову не придетъ сказать, что русскій *народъ* сочувствуетъ польскимъ замысламъ. Но съ нами вѣдь разсчеты совсѣмъ другіе: одинъ попадется въ мятежѣ, такъ скажутъ, что всѣ евреи бунтовали! Вотъ это то и должно насъ безпокоить.

— Что же намъ дѣлать?—воскликнули почти всѣ присутствующіе, понявшіе, наконецъ, опасное положеніе вещей.— Что намъ дѣлать?—вопрошали они, уже прямо обращаясь къ Сарину.—Говорите, совѣтуйте, вѣдь вы, вѣроятно, уже объ этомъ подумали?

— Да, милостивые государи,—отвѣтилъ Саринъ,—мы точно подумали и кое-что уже сдѣлали. Г. Кранцъ, г. Мозырскій и я составили программу дѣйствій, которую и предложимъ сейчасъ на ваше обсужденіе.—Г. Кранцъ, теперь ваша очередь говорить.

Саринъ сѣлъ, а Кранцъ всталъ и хотѣлъ было уже начать говорить, но въ эту минуту дверь отворилась, и въ комнату вошла m-lle Полина. На ней еще были бурнусъ и шаль, въ которыхъ она только что возвратилась изъ города. При появленіи Полины, Адольфъ поблѣднѣлъ, а Саринъ и Мозырскій многозначительно переглянулись между собою. Всѣ остальные присутствовавшіе уже поднялись было съ своихъ мѣстъ, чтобы привѣтствовать ее, но Полина, быстро сдернувъ съ себя шаль и взъерошивъ свои длинныя и черныя кудри, подошла къ столу и начала:

— Извините, господа, что я своимъ внезапнымъ появленіемъ помѣшала вашей пріятной бесѣдѣ, а можетъ быть, и серьезнымъ совѣщаніямъ. Дѣло очень спѣшное, не терпящее отлагательства. Я къ вамъ прислана отъ людей, въ рукахъ которыхъ судьба всего нашего народа, всего нашего края. Эти люди въ послѣдній разъ взываютъ къ вамъ: хотите-ли принять участіе въ великомъ дѣлѣ освобожденія ойчизны, или нѣтъ?

— Нѣтъ!—энергически воскликнулъ Саринъ, вставъ съ своего мѣста и вперивъ въ Полину грозный, почти гнѣвный взглядъ.—Тысячу разъ нѣтъ! Благоволите, m-lle, сказать тѣмъ,

отъ которыхъ вы присланы, что они сами разрушили свою ойчизну, пусть теперь сами ее и будують. Мы имъ въ этомъ дѣлѣ не товарищи. Мы ихъ не знаемъ.

— Но вы ихъ узнаете,—отвѣтила Полина въ сердцахъ,—въ особенности вы, г. Саринъ! Хотя я не должна этого сказать, но не могу воздержаться, а потому объявляю вамъ, г. Саринъ, что за вами слѣдятъ.

— Слишкомъ много чести для меня,—отвѣтилъ Саринъ, поклонившись и саркастически улыбнувшись,—и я объявляю вамъ, въ свою очерередь, что мы за ними тоже слѣдимъ и надѣемся, что имъ не удастся вовлечь нашу молодежь въ безразсудное предпріятіе, которое они теперь затѣяли.

Полина тряслась отъ гнѣва.

— Что, вы будете доносить?—спросила она, устремивъ на Сарина взглядъ, полный страха, гнѣва и презрѣнія.

— Зачѣмъ доносить?—отвѣтилъ Саринъ, съ тою же саркастическою улыбкой,—этимъ благороднымъ дѣломъ займется благородная же шляхта. Кто продалъ Польшу, если не сами же поляки? За орденскую ленту, за камергерскій ключъ купишь, пожалуй, многихъ изъ этихъ, такъ называемыхъ, патріотовъ.

— Это говорите вы!...

— Нѣтъ, это не я говорю, а говоритъ авторъ Parafiańszczyzny, одинъ изъ умнѣйшихъ гражданъ Польши, на котораго вы можете смѣло положиться, потому что онъ знаетъ своихъ родаковъ основательнѣе, чѣмъ мы съ вами. Что касается насъ, то скажу вамъ коротко и ясно, что я своею головою ручаюсь за всѣхъ здѣсь присутствующихъ, что ни одинъ изъ нихъ не унизится до доноса и ремесла полицейскаго сыщика. Такъ вѣдь, господа?

— Такъ, такъ!—подтвердили всѣ присутствующіе.

— Мы располагаемъ орудіями болѣе дѣйствительными, чѣмъ доносы; этими орудіями и будемъ бороться противъ польскихъ приманокъ. — Кончено. Я уже все сказалъ. Другаго объясненія вы отъ насъ не получите. И хотя я въ здѣшнемъ домѣ не хозяинъ, но, ради дѣла, для котораго мы теперь собрались, позволяю себѣ просить васъ, m-lle Кранцъ, чтобы вы намъ не мѣшали. Вы идете по одной дорогѣ, а мы по

другой. Кто изъ насъ ошибся въ выборѣ,—покажетъ время. Какъ женщина умная и развитая, вы, надѣюсь, въ скоромъ времени узнаете, за кого и за что вы ратуете. Воодушевляющія васъ теперь идеи, сами по себѣ, дѣлаютъ честь не только вамъ, но и намъ. Мы можемъ гордиться вами; но слѣдовать за вами, куда влечетъ васъ ваше возвышенное, но ослѣпленное чувство,—мы не должны, по соображеніямъ, о которыхъ намъ теперь некогда распространяться. Коротко вамъ скажу: евреи должны имѣть и будутъ имѣть отечество почище безтолковой Польши, которая безвозвратно погибла еще во-времена Костюшки. Затѣмъ, прощайте, m-lle Кранцъ!!.

Эти слова произнесены были Саринымъ съ такою энергіею, съ такимъ апломбомъ, слова: «прощайте, m-lle Полина»—звучали такъ безапелляціонно и повелительно, что взволнованная, ошеломленная дѣвушка не знала, что и отвѣчать, и, какъ будто инстинктивно повинуясь только что прогремѣвшему строгому приказу, поспѣшно оставила комнату, не успѣвъ даже бросить взглядъ на человѣка, который ее чуть не выгналъ и противъ котораго она въ эту минуту чувствовала непримиримую ненависть и... глубокое уваженіе.

По удаленіи Полины, прерванныя совѣщанія опять возобновились, но уже не въ томъ порядкѣ, не съ тою послѣдовательностью, какъ прежде; всѣ были слишкомъ разсѣянны только что происшедшей сценою. Вмѣсто рѣчи, которую Кранцъ собирался было произнести, Мозырскій читалъ по бумагѣ предложеніе за предложеніемъ, которыя, послѣ краткихъ преній принимались или отвергались всѣмъ обществомъ или большинствомъ голосовъ.

Засѣданіе кончилось часу въ одиннадцатомъ. Всѣ разошлись, давъ обѣщаніе держать эпизодъ съ Полиной подъ величайшимъ секретомъ, такъ какъ объ этомъ просили Адольфъ и Саринъ.

VIII.

— Извольте садиться, раббойсай *), мѣста хватитъ для всѣхъ. Мои скамьи жосткія, но длинныя. Наши предки,—да

---

*) Господа.

покоятся въ мирѣ,—на болѣе мягкихъ скамьяхъ не сидѣли, а въ гробу, черезъ сто двадцать лѣтъ, намъ тоже мягче не будетъ.

Этими словами, приправленными добродушною, но вмѣстѣ и грустною улыбкою, обратился престарѣлый, но еще довольно бодрый ребъ Іохананъ, многоученый и многоуважаемый проповѣдникъ города N, къ собравшимся у него, по его приглашенію, старѣйшинамъ N-скаго еврейскаго общества. Собрались они въ библіотекѣ ребъ Іоханана, въ тотъ самый вечеръ, въ который происходили только что разсказанныя событія.

По приглашенію ребъ Іоханана, старѣйшины N-ской общины, все сѣдовласые старцы съ болѣе или менѣе серьезными и почтенными физіономіями, разсѣлись на скамьяхъ, вокругъ дубоваго стола, на которомъ большой мѣдный подсвѣчникъ о трехъ вѣтвяхъ съ зажженными въ нихъ сальными свѣчами старался, по возможности, освѣщать какъ эту комнату, такъ равно и примыкавшій къ ней альковъ, служившій ребъ Іоханану опочивальной.

Старѣйшины были въ своихъ верхнихъ платьяхъ и въ шапкахъ; на нѣкоторыхъ же изъ нихъ были даже шубы, хотя въ комнатѣ было довольно тепло. На ребъ Іохананѣ же была сутана изъ черной шелковой матеріи, перехваченная около самой груди широкимъ шелковымъ же поясомъ, застегивавшимся спереди двумя серебряными рыбками. На головѣ онъ имѣлъ черную бархатную ермолку; но, когда старѣйшины заняли свои мѣста, онъ, поверхъ ермолки, надѣлъ свою большую соболью шапку, которая еще больше возвышала торжественную серьезность его умной физіономіи.

Всѣ сидѣли молча, ожидая слова уважаемаго проповѣдника, который, подперши лобъ правою рукою и закрывъ глаза, погрузился на нѣсколько минутъ въ думу.

— Раббойсай! — началъ ребъ Іохананъ, открывъ глаза и погладивъ свою бороду,—я пригасилъ васъ ко мнѣ для разрѣшенія одного важнаго, очень важнаго вопроса. Уже нѣсколько дней, какъ онъ не даетъ мнѣ покоя. Я все думаю о немъ и даже обдумалъ его, но на себя не полагаюсь, хочу

выслушать и ваше мнѣніе, тѣмъ болѣе, что дѣло касается не только нашей общины, но и всего нашего народа.

Старѣйшины выпучили глаза и навострили уши. Ребъ Іоханань продолжалъ:

— Намъ угрожаетъ большая опасность.

— Съ какой стороны? откуда?—спросили въ одинъ голосъ всѣ присутствующіе, встревоженные послѣдними словами проповѣдника.

— Со стороны пановъ, поляковъ.

— А, на счетъ возстанія!—воскликнули нѣкоторые болѣе успокоительно,—мы слышали, слышали. Знать, тридцатьпервый годъ изъ памяти вышелъ...

— Но, раббойсай,—продолжалъ ребъ Іохананъ,—бѣда не въ томъ что тридцатьпервый годъ изъ памяти у нихъ вышелъ, а въ томъ, что поляки хотятъ, чтобы мы, евреи, подставили подъ казацкія нагайки и свои спины. Вотъ какое письмо я на дняхъ получилъ по почтѣ.

Сказавъ это, онъ разстегнулъ свою сутану и вынулъ изъ боковаго кармана большое, тщательно сложенное письмо и передалъ его присутствующимъ.

— Польское! Печатное!—воскликнули послѣдніе, развернувъ письмо и бросивъ на него бѣглый взглядъ.

— Мои дѣти прочли и сообщили мнѣ его содержаніе; но не мѣшаетъ, чтобы мы всѣ знали его подробности. Кто изъ васъ, раббойсай, читаетъ по польски?

— Я,—отозвался ребъ Пинхасъ Мордхесъ, взявъ письмо и впѣривъ въ него свои подслѣповатые глаза, осѣненные густыми, сѣдыми бровями.

Всѣ замолкли и притаили дыханіе, чтобы не проронить ни одного слова изъ письма, которое собирался читать ребъ Пинхасъ Мордхесъ. Послѣдній, продержавъ письмо въ своихъ рукахъ нѣсколько минутъ, просиллабизировалъ, наконецъ, потѣя и заикаясь, слѣдующія слова: «Do du-cho-wién-stwa Moj-ze-szo-wego wyz-na nia».

Преодолѣвъ первую строку, ребъ Пинхасъ полѣзъ къ себѣ въ карманъ за платкомъ, чтобы отереть потъ, выступившій на его лицѣ, и хотѣлъ продолжать свое чтеніе, но ребъ Іохананъ пріостановилъ его.

— Ну, ребъ Пинхасъ,—сказалъ онъ съ добродушною улыбкою,—видно, что мы съ вами учились по-польски въ одной школѣ, а потому мы оба такіе хорошіе поляки. Ребъ Лейзеръ,—обратился онъ къ находившемуся тутъ-же Лейзеру Кранцу,—не возьметесь-ли вы за письмо? Мы васъ оштрафуемъ, если вы не прочтете намъ письма, какъ настоящій полякъ. Вѣдь вы весь вѣкъ свой между поляками жили...

— Попробую, отвѣтилъ ребъ Лейзеръ Кранцъ,—принявъ письмо отъ забракованнаго чтеца и надѣвъ свои очки.

Онъ началъ читать громко, плавно и съ надлежащею интонаціею, такъ что всѣ присутствующіе, которые вообще плохо понимали по-польски, все таки поняли въ чемъ дѣло, тѣмъ болѣе, что слова и выраженія трудныя ребъ Лейзеръ объяснялъ имъ по-еврейски.

— Все?—спросилъ ребъ Іохананъ, когда ребъ Лейзеръ пересталъ читать.

— Все,—отвѣтилъ послѣдній.

— Вы поняли?—спросилъ ребъ Іохананъ, обращаясь ко всѣмъ присутствующимъ.

— Поняли отъ начала до конца,—отвѣтили спрошенные.

— Стало быть, мы въ этомъ письмѣ уже не нуждаемся, а потому мы и можемъ уничтожить его. Ребъ Лейзеръ,—обратился проповѣдникъ къ Кранцу, державшему еще письмо въ рукахъ,—потрудитесь сжечь это письмо, дабы и слѣда его не осталось.

Ребъ Лейзеръ исполнилъ приказаніе проповѣдника.

— Теперь, раббойсай,—началъ послѣдній, когда зажженное письмо, брошенное на полъ, превратилось въ золу,—подумаемъ, что намъ дѣлать. Поляки требуютъ отъ насъ, ни больше, ни меньше, чтобы мы пошли вмѣстѣ съ ними драться съ русскими за ихъ ойчизну.

— Долго имъ придется ждать, пока пойдемъ,—отозвался кто-то.

— Хотя эта мысль сама по себѣ достойна смѣха,—продолжалъ ребъ Іохананъ,—ибо, во-первыхъ, что мы за воины? и, во-вторыхъ, наша святая религія строго воспрещаетъ намъ бунтовать; но такъ какъ она разъ засѣла въ головѣ пановъ, то мы отъ нея не такъ легко отдѣлаемся.

— Почему же мы не легко отдѣлаемся?—спросилъ ребъ Пинхасъ, — мы скажемъ коротко и ясно, что мы не хотимъ и баста.

— Но, любезный ребъ Пинхасъ, — возразилъ ребъ Іоханавъ,—въ томъ-то и дѣло, что мы не можемъ такъ сказать. Вы забываете, что мы между панами и отъ пановъ и живемъ. Мы всегда въ ихъ рукахъ. Если они захотятъ, то могутъ сдѣлать намъ много зла, а потому мы должны остерегаться раздражать ихъ.

— Нашъ рабби правъ,—согласилось все собраніе, — навлечь на себя негодованіе пановъ весьма опасно.

— А правительство?—спросилъ ребъ Пинхасъ Мордхесъ.

— Да, раббойсай, отвѣтилъ ребъ Іохананъ, — положеніе наше теперь очень щекотливо. Опасность справа, опасность и слѣва. Вы же знаете, что̂ обыкновенно отвѣчаетъ дитя, когда его спрашиваютъ, кого оно больше любитъ: папу или маму? Оно отвѣчаетъ: и папу и маму. Если бы насъ спросили, кого мы больше боимся: поляковъ или русскихъ, то мы должны бы были отвѣчать, что мы ихъ обоихъ больше боимся, потому что они оба не больно-то любятъ насъ: русскіе, какъ властители, а поляки, какъ сосѣди. А потому мы должны угождать и русскимъ, и полякамъ, дабы не разсердить ни тѣхъ, ни другихъ. Они подерутся, но въ концѣ концовъ помирятся; при стаканѣ вина они забудутъ свою вражду, но не забудутъ своей общей ненависти къ намъ, потому что они все-таки христіане, а мы все-таки евреи. Между огнемъ и водою никогда не будетъ мира, пока самъ Богъ не перемѣнитъ существа этихъ враждующихъ стихій. Мы должны это помнить и, согласно этому, поступать .. Если мы пристанемъ къ русскимъ, то поляки, хотя побѣжденные, но помирившіеся съ русскими, будутъ мстить намъ черезъ посредство русскихъ же, потому что поляку всегда легче будетъ столковаться съ русскимъ, чѣмъ съ евреемъ. Такъ было и въ тридцатьпервомъ году. Многіе, охъ! многіе изъ насъ пострадали за свою вѣрную службу Царю—и отъ кого же? Отъ русскаго начальства, которое давало себя дурачить полякамъ.

— Да, да, мы это помнимъ, — отозвались нѣкоторые изъ присутствующихъ.—Вмѣсто обѣщанныхъ наградъ, многіе изъ

евреевъ, по наговору поляковъ, попали въ тюрьму и даже въ Сибирь.

— Если же мы возьмемъ сторону поляковъ,—продолжалъ ребъ Іохананъ, — то русскіе, которые, безъ сомнѣнія, и въ этотъ разъ возьмутъ верхъ, будутъ имѣть полное право наказать насъ за измѣну, и это будетъ вполнѣ справедливо, ибо мы, евреи, не должны быть глупы, мы должны быть умны и знать, что Польша слаба, а Россія сильна. Стало быть, выбирать намъ нечего; мы должны только стараться, чтобы противъ насъ ничего не имѣли ни поляки, ни русскіе. Охъ, охъ, охъ!—вздыхалъ ребъ Іохананъ, — одинъ Богъ знаетъ, какъ противно это двоедушіе нашей совѣсти, но что же намъ дѣлать, когда мы, за грѣхи наши, подпали подъ начало двухъ господъ, которые притомъ еще ссорятся между собою? Будемъ усердно служить одному, разсердится другой; будемъ усердно служить другому—разсердится первый. Да сжалится Богъ надъ нами!...

Онъ опять тяжко вздохнулъ, закрылъ лицо обѣими руками и заплакалъ.

— Народъ израильскій,—заговорилъ ребъ Іохананъ, рыдая,—народъ патріарховъ, священниковъ, левитовъ, пророковъ, царей и князей,—до чего ты дожилъ! Ты долженъ быть рабомъ двухъ пановъ, которые ненавидятъ, презираютъ и топчутъ тебя ногами! Жизнь твоя всегда виситъ на волоскѣ. О, горе тебѣ, народъ израильскій, горе тебѣ!...

Старѣйшины были глубоко растроганы.

— Но Богъ справедливъ и судъ Его справедливъ!—продолжалъ ребъ Іохананъ, осушивъ свои слезы.—Возвратимся, раббойсай, къ нашему дѣлу. Мы сдѣлаемъ вотъ что: Поляки требуютъ помощи — хорошо. Но помощь бываетъ двоякаго рода: людьми и деньгами. Людей мы имъ не дадимъ, потому что мы къ войнѣ непривычны,—мы имъ только мѣшать будемъ нашимъ присутствіемъ, а деньги дадимъ.

— Деньги?—спросили нѣкоторые, испугавшись этого рода помощи.

— Да, деньги, — отвѣтилъ ребъ Іохананъ, почти строго взглянувъ на вопросителей,—все свое достояніе человѣкъ долженъ отдать за спасеніе своей жизни. Притомъ, эти деньги

не наши, онѣ нажиты отъ пановъ-же. Пусть возвращаются туда, откуда онѣ взяты. Богъ не оставитъ насъ. Съ голоду не умремъ.

Присутствующіе пожали плечами, но ничего не сказали.

— Кромѣ того,—продолжалъ ребъ Іохананъ, — слѣдуетъ распорядиться, чтобы никто изъ евреевъ на поляковъ не доносилъ. Пусть себѣ поляки дѣлаютъ, что угодно, мы и въ ихъ сторону смотрѣть не должны. А если что увидимъ, такъ будемъ знать только про себя. Правительство само съ ними справится. У него чиновниковъ довольно, пусть эти чиновники и смотрятъ за мятежниками. А наше дѣло—сторона. Какъ вы полагаете, раббойсай?

— Мы согласны,—отвѣтили присутствующіе.

— Что же касается правительства, — продолжалъ ребъ Іохананъ,—то оно ничего противъ насъ имѣть не можетъ, такъ какъ мы вѣдь противъ него ничего не предпринимаемъ. Мы вѣрноподданными были, вѣрноподданными и останемся. Мы даже будемъ молиться Богу о его побѣдѣ надъ мятежниками... При этомъ случаѣ, позвольте мнѣ, раббойсай, разсказать вамъ одну притчу, которая сейчасъ пришла мнѣ въ голову.

Ребъ Іохананъ погладилъ свою бороду и началъ:

— У одного мужа умерла жена, оставивъ ему малолѣтняго сына. Мужъ женился на другой и, такимъ образомъ, дитя получило мачиху. Проживъ со второю женою нѣсколько лѣтъ, мужъ умеръ, а жена вышла за другаго; такимъ образомъ, дитя получило и отчима. Горько пришлось дитяти подъ опекою отчима и мачихи, потому что какъ тотъ, такъ и другая равно ненавидѣли его, желая сбыть съ рукъ, какъ чужаго и лишняго члена въ семействѣ. Съ утра до вечера его тиранила мачиха, а съ вечера до утра терзалъ отчимъ, который только на ночь возвращался домой. Терпѣливо и безропотно переносило дитя побои отчима и мачихи, потому-что оно было умное, и понимало, что, какъ круглая сирота, оно не имѣетъ права на любовь своихъ опекуновъ. Оно было послушно какъ отчиму, такъ и мачихѣ, ласкалось къ обоимъ, зная, что его бѣдное существованіе зависитъ какъ отъ одного, такъ и отъ другой. Но ничто не помогало: сердца ихъ не смягчались...

При всемъ томъ, дитя не жаловалось на свою судьбу, потому что опекуны, хотя и били его, но все таки кое-какъ кормили и изъ избы не гнали. Случилось, однажды, что супруги поссорились между собою. Для сироты настали еще болѣе тяжелые дни. Отчимъ сталъ приставать къ нему: «слушайся только меня, не то—я тебя выгоню; не забудь, что ты дармоѣдъ и что ты живешь только по моей милости». Мачиха же, съ своей стороны, тоже приставала: «слушайся только меня, не то я тебя выгоню, ибо ты дармоѣдъ и живешь только по моей милости». Что ему было дѣлать? Оно равно боялось какъ отчима, такъ и мачихи, потому что жизнь его зависѣла какъ отъ одного, такъ и отъ другой. Разъ, когда попреки и угрозы стали уже не въ терпежъ дитяти, оно оставило избу, ушло въ лѣсъ, сѣло подъ дерево и залилось горючими слезами. «Боже, помоги мнѣ, молилось оно, смягчи серца моихъ опекуновъ или прими отъ меня душу». Какъ только дитя произнесло послѣднія слова, передъ нимъ, точно изъ земли, выросъ сѣдовласый старецъ съ добродушнымъ лицомъ. Этотъ старецъ былъ—пророкъ Илія. «Чего ты плачешь, сынъ мой?» — мягко и сострадательно спросилъ его старецъ. Дитя разсказало свое горе. «Отъ кого ты больше хочешь освободиться, отъ отчима или отъ мачихи?» Отъ обоихъ,— отвѣчало дитя.—«Нѣтъ, сынъ мой,—возразилъ старецъ,—этакъ нельзя, ты—еще дитя, опекуна ты долженъ имѣть. Кого ты хочешь имѣть опекуномъ, отчима или мачиху?» «Не знаю», отвѣтило дитя. «Ну такъ я знаю, сказалъ старецъ,—отчимъ будетъ для тебя лучше. Онъ мущина, занятъ дѣломъ, такъ у него не хватитъ столько времени, чтобы тиранить тебя. Притомъ, когда подростешь, ты будешь помогать ему въ работѣ, такъ онъ уже не будетъ попрекать тебя дармоѣдствомъ. Ступай домой, твоя участь улучшится». Дитя пошло домой и нашло, что мачиха умерла отъ угара.

Кончивъ притчу, ребъ Іоханамъ опять погладилъ свою бороду и, окинувъ собраніе умнымъ взглядомъ, продолжалъ:

— Эта притча можетъ быть легко примѣнима къ нашему положенію. Круглая сирота — это мы, евреи, отчимъ—Россія, мачиха—Польша. Если хотимъ, чтобы участь наша хоть нѣсколько улучшилась, то должны усердно молить Бога, чтобы онъ освободилъ насъ, по крайней мѣрѣ,

отъ мачихи: съ отчимомъ мы со временемъ, можетъ быть, и поладимъ. Съ мущиной всегда лучше столковаться, чѣмъ съ бабой, которая по природѣ хитра, привередлива, капризна и безтолкова. Такъ вѣдь, раббойсай?

— Такъ,—согласились присутствующіе.

— Стало быть, дѣло кончено. На чемъ же мы порѣшили? Повторимъ же въ короткихъ словахъ.—Если поляки потребуютъ у насъ людей? —сталъ катехизировать ребъ Іохананъ.

— Не дадимъ,—отвѣтили старѣйшины.

— Если потребуютъ денегъ?

— Дадимъ.

— За Царя?

— Молиться.

— А доносовъ?

— Не дѣлать.

Оставшись довольнымъ отвѣтами, ребъ Іоханавъ всталъ и объявилъ засѣданіе закрытымъ.

IX.

Саринъ своимъ энергическимъ объясненіемъ не только глубоко опечалилъ Полину, но и задалъ ей такую задачу, надъ разрѣшеніемъ которой она напрасно трудилась три дня сряду. Какъ быть? спрашивала она себя,—выдать-ли Сарина и его сообщниковъ народному жонду, или нѣтъ?—Выдать—значитъ подвергнуть опасности жизнь честныхъ и благородныхъ юношей, въ томъ числѣ и своего роднаго брата. Не выдавать—значитъ завѣдомо допускать, чтобы кружокъ ослѣпленныхъ парализировалъ замыселъ жонда привлечь на свою сторону евреевъ, на которыхъ онъ возлагаетъ такія большія надежды, замыселъ, который, по видимому, можетъ увѣнчаться успѣхомъ... Выдать, значитъ донести, а Саринъ и его сообщники поклялись, что они будутъ дѣлать свое, но не унизятся до доносовъ. Не обязываетъ ли это и меня поступать точно также? Знай Саринъ, что я намѣрена передать его слова жонду, онъ не далъ бы мнѣ такого категорическаго отвѣта, не объяснился бы со мною такъ откровенно, а отвѣчалъ бы уклончиво. Онъ этого не сдѣлалъ, потому что вѣрилъ

въ мою честность, вѣрилъ, что я его искреннія слова приму къ свѣдѣнію, но не сдѣлаю изъ нихъ употребленія, во вредъ ему, Адольфу и всему ихъ кружку.

Теперь, если передамъ его слова по принадлежности, значитъ я подлѣйшимъ образомъ злоупотребляю довѣріемъ ближняго, дѣлаюсь доносчицей на людей, преступленіе которыхъ состоитъ лишь въ томъ, что они желаютъ поступить по своему убѣжденію, по своему крайнему разумѣнію. Это гадко и непростительно. Жондъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи безчисленное множество агентовъ и шпіоновъ. Пусть эта свора гончихъ и выслѣдитъ дичь. Я—патріотка, я обязалась служить отчизнѣ всѣмъ своимъ существомъ—я это и дѣлаю; но я не обязалась быть доносчицей, быть подлымъ человѣкомъ, а потому...

Но съ другой стороны,—размышляла она,—не должно ли уже считать измѣной то, что я, зная, гдѣ кроется опасность, не предупреждаю о ней жонда! Жондъ поручилъ мнѣ слѣдить за настроеніемъ моихъ единовѣрцевъ, вербовать ихъ подъ польское знамя, а я буду скрывать, что мнѣ извѣстно объ этомъ настроеніи, о намѣреніяхъ молодежи, потому что эта молодежь мои единовѣрцы!..Стало быть, я все таки прежде всего еврейка, радѣющая только о своихъ единоплеменникахъ, а не полька, какою мнѣ хочется и имѣю претензію быть!..

Полина покраснѣла со стыда отъ послѣдней мысли.

«Евреи должны имѣть и будутъ имѣть отечество»—сказалъ Саринъ. Что же мѣшаетъ ему признать Польшу своимъ отечествомъ, Польшу, которая простираетъ къ евреямъ свои объятія? Не есть-ли это капризъ нѣсколькихъ тупоумныхъ юношей, имѣющихъ дерзость думать, что имъ удастся толкнуть массу туда, куда имъ хочется, а не туда, куда ее толкаютъ обстоятельства и событія? И развѣ нужно церемониться съ какою нибудь горстью сумасбродовъ?...

Сумасбродовъ?—спрашивалъ въ ней какой-то внутренній голосъ. Развѣ Саринъ, Адольфъ, Мозырскій и ихъ сообщники—сумасброды? Развѣ я не знаю, что они люди умные, серьезные, образованные, дѣйствующіе не на обумъ, а по зрѣломъ обсужденіи? Кто можетъ мнѣ ручаться, что ошибаются они, а не я, которая моложе и неопытнѣе ихъ всѣхъ?... О, Боже,

Боже! восклицала она, ломая руки. Помоги мнѣ выбраться изъ этого лѣса сомнѣній и противорѣчій, въ которомъ я брожу безъ проводника, руководителя и еще съ завязанными глазами!..

Снѣдаемая борьбою противуположныхъ чувствъ и мыслей, Полина хотѣла было посовѣтоваться съ Софіею Аронсонъ, но вспомнила, что послѣдняя почти охладѣла къ ойчизнѣ, стало быть, она будетъ пристрастна къ молодежи. Посовѣтоваться съ Жюлемъ Перецомъ? Но она знаетъ напередъ, что ей скажетъ этотъ молодой человѣкъ. Онъ ее осудитъ за одну мысль о доносѣ. Какъ же быть? Она мучилась, терзалась, ломала голову, но не находила отвѣта на эти вопросы, не знала, что дѣлать. Но то она знала, что, пока она не рѣшится твердо поступить такъ или иначе, она не должна видаться ни съ кѣмъ изъ членовъ жонда, дабы, въ припадкѣ откровенности, не сдѣлать какой нибудь ошибки или даже преступленія. А потому она нѣсколько дней сидѣла дома, никуда не выходила, отвѣчая на неоднократныя приглашенія графини и княжны Изабеллы, что она не здорова. Графиня и княжна вызвались было навѣстить ее, но она отклонила отъ себя эту честь по причинамъ, «которыя она объяснитъ при личномъ свиданіи». Одинъ только Жюль Перецъ имѣлъ право посѣщать ее и просиживать у нея по нѣскольку часовъ, коротая время разсказами и предположеніями о распоряженіяхъ жонда, готовящемся возстаніи и тому подобныхъ дѣлахъ. Какъ секретарь по иностранной перепискѣ, онъ былъ посвященъ почти во всѣ тайны жонда и этими тайнами онъ охотно дѣлился съ Полиной, предъ которой онъ ничего не скрывалъ.

Въ одно утро, когда Полина сидѣла у себя и для развлеченія что то вышивала, къ ней вошла Марцина и передала ей большой запечатанный пакетъ. Взглянувъ на печать, она обрадовалась и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ раскрыла пакетъ, заключавшій въ себѣ нѣсколько бумагъ. Между этими бумагами было и письмо къ ней отъ Вацлава. Онъ писалъ:

«Послѣ долгихъ трудовъ, мнѣ, наконецъ, удалось повести дѣло, какъ слѣдуетъ. Вербовка идетъ весьма успѣшно, въ особенности, между дворовыми людьми, мелкою шляхтою и ремесленнымъ сословіемъ. Чиновничество также къ намъ при-

станетъ, только со временемъ. Бѣда только съ мужиками и съ евреями. Крестьяне и евреи и слышать не хотятъ о рухавкѣ. Первые заняты, такъ называемою, *свободою*, а послѣдніе своимъ вѣчнымъ гандлемъ. Объ ойчизнѣ они и понятія не имѣютъ. Толкуешь имъ по два часа, а они хоть-бы слово сказали. Стоятъ, выпуча глаза, и молчатъ. Они или въ самомъ дѣлѣ тупы или только прикидываются таковыми. Чортъ ихъ разберетъ. Тѣмъ не менѣе однакоже, списокъ нашъ увеличивается съ каждымъ днемъ. Мой уѣздъ можетъ выставить до полуторы тысячи самыхъ отборныхъ парней, между которыми есть нѣсколько десятковъ отличныхъ стрѣлковъ, настоящихъ головорѣзовъ, которые будутъ драться, какъ черти. Будетъ истинное наслажденіе командовать такими хватами. Никому не уступлю этой команды; ужъ это вѣрно.

«Фундуши наши тоже растутъ довольно изрядно. Помѣщики не заставляютъ себя долго просить. Куда не пошлешь прокламацію, на третій или на четвертый день уже получаешь отвѣтъ, деньгами или припасами. Я уже открылъ въ уѣздѣ четыре складочныхъ магазина. Чего-чего только нѣтъ въ этихъ магазинахъ! Хлѣбъ, овесъ, холстъ, сукно, сѣдла, косы и проч. Польскій патріотизмъ никогда не достигалъ такихъ обширныхъ размѣровъ, какъ теперь. Слова Костюшки: albo teraz, albo nigdy—только теперь поняты и примѣняются къ дѣлу. Если-бы наши предки были умнѣе и сдѣлали-бы эти слова нашего великаго патріота своимъ лозунгомъ, то теперь москаль былъ-бы только нашимъ сосѣдомъ, а не властелиномъ. За грѣхи отцевъ расплачиваются дѣти. Постараемся же, чтобы, по крайней мѣрѣ, наши дѣти не поплатились за насъ...

«Было бы преступленіемъ скрывать, что въ нашеиъ стадѣ есть и паршивыя овцы. Списокъ ихъ при семъ препровождаю, для представленія по принадлежности. Жондъ долженъ знать объ нихъ. Подчеркнутые синимъ карандашемъ означаютъ нерѣшительныхъ или скупыхъ. Ихъ только нужно будетъ пугнуть и они раскошелятся. Подчеркнутые-же краснымъ карандашомъ—просто измѣнники, для которыхъ не должно быть никакой пощады, потому что они своимъ примѣромъ могутъ вредно подѣйствовать на другихъ. Какъ только получу разрѣшеніе, я выжгу ихъ фольварки до тла, для чего

мною уже приняты надлежащія мѣры. Кстати сказать Тузу, что нахожу необходимымъ, чтобы здѣшняго исправника перевели куда нибудь подальше, потому что онъ, кажется, уже начинаетъ догадываться, что въ уѣздѣ что-то не ладно. Пусть пришлютъ сюда другого постарше и поглупѣе, преимущественно такого, который въ краѣ еще не служилъ. Я его такъ одурачу, что будетъ любо. Я самъ поступлю къ нему въ писаря, на первый годъ даже безъ жалованья. То-то будетъ смѣху!...

«Второй, прилагаемый при семъ, списокъ есть списокъ молодыхъ помѣщиковъ, обязывающихся давать, во все продолженіе рухавки, десятину съ своихъ доходовъ, но съ условіемъ, чтобы имъ предоставлено было командованіе отрядами съ чинами капитановъ. Всѣ они отличные кавалеристы и упражняются теперь въ стрѣльбѣ и фехтованіи. Они начнутъ вносить свои десятины съ того дня, когда получатъ свои номинаціи.

«Работа въ кузницахъ идетъ весьма успѣшно. Въ нашъ арсеналъ уже сдано 500 косъ, 300 пикъ, 120 топоровъ. Свинцу тоже у насъ много. Я скупилъ все, сколько было въ лавкахъ. Во всемъ уѣздѣ не найдешь теперь въ продажѣ ни одного пуда свинца. Евреи несутъ теперь ко мнѣ свою свинцовую посуду, но запрашиваютъ неподходящія цѣны. Подожду еще мѣсяцъ, авось спустятъ.

«Всѣ мои дѣловыя письма буду адресовать на твое имя. Во-первыхъ потому, что такъ будетъ безопаснѣе; во-вторыхъ, чтобы ты могла ходатайствовать о моихъ представленіяхъ и увѣдомлять меня о ходѣ интересующихъ меня дѣлъ; и въ третихъ, чтобы доказать мою безпредѣльную къ тебѣ привязанность. Я еще не потерялъ надежды, что ты, гордая и неприступная, когда нибудь оцѣнишь по достоинству чувства, наполняющія мое сердце. Даже на эшафотѣ, если когда нибудь сподоблюсь мученической смерти за нашу дорогую ойчизну, моею послѣднею мыслью будетъ—несравненная Полина. Твой милый образъ, котораго никто и ничто не вырветъ изъ моего сердца, облегчитъ мнѣ предсмертныя муки, какъ онъ облегчаетъ теперь мои неимовѣрные труды и хлопоты на пользу нашей ойчизны... Но... тсъ! Я уже вижу, какъ

ты начинаешь сердиться за мою откровенность, а потому я опять перехожу къ дѣламъ... Когда ты будешь писать ко мнѣ, то пиши по адресу: «Янкелю Фишману, для передачи Цодеку Кугелю». Янкель Фишманъ—мой факторъ, а Цодекъ Кугель—это я. Осторожность не мѣшаетъ, въ особенности при теперешнемъ исправникѣ, который, кажется, уже начинаетъ слѣдить за мною. Прошу тебя энергически настаивать на его удаленіи и на разрѣшеніи мнѣ поступить съ измѣнниками, какъ они заслуживаютъ... Графиня и княжна будутъ тебѣ содѣйствовать.

«Ахъ да... я чуть было не забылъ. Я слышалъ, что къ Тузу пріѣхала его племянница, которая исправляетъ у него должность тайнаго секретаря. Боюсь, чтобы она не надѣлала между вами интригъ, потому что она, какъ я слышалъ, штука очень ловкая и властолюбивая, привыкшая водить всѣхъ за носъ. Если ты съ нею уже знакома, то будь осторожна. Впрочемъ, ты, слава Богу, не промахъ: съумѣешь постоять за себя.

«Прощай и не забывай преданнаго тебѣ

«Вътра».

— Рѣшено! — воскликнула Полина, когда прочла это письмо.—Предъ голосомъ ойчизны долженъ умолкнуть голосъ сердца. Вацлавъ не хочетъ щадить своихъ единоплеменниковъ, такъ я не должна щадить и своихъ. Безъ жертвъ ойчизна не будетъ спасена.. Пусть измѣнники спасаются, какъ знаютъ. Жондъ долженъ, по крайней мѣрѣ, знать о нихъ. Не выдавать ихъ, значитъ быть съ ними заодно. Я полька и всецѣло принадлежу ойчизнѣ. Все, что находится на пути къ ея освобожденію, должно быть устранено!...

И, чтобы принятое ею рѣшеніе не было поколеблено другими доводами и мыслями, она поспѣшила одѣться и, забравъ съ собою полученныя ею отъ Вацлава бумаги, умчалась на извощикѣ къ графинѣ Сташицкой.

X.

Графиня Сташицкая сидѣла въ своемъ обширномъ и роскошно убранномъ кабинетѣ, окруженная своимъ генераль-

нымъ штабомъ. Здѣсь были: княжна Мильфоръ, панна фонъ-деръ Горстъ, панна Изабелла, ксендзъ Квецинскій, панъ Видра, сердитый шляхтичъ, и панъ Андрей, ея intime. Она сидѣла за большимъ письменнымъ столомъ, стоявшимъ по самой срединѣ кабинета, а штабъ сидѣлъ поодаль на стульяхъ и отоманкахъ, кто въ амбразурѣ окна, а кто возлѣ топившагося камина.

Шелъ докладъ. Жюль Перецъ, стоя по правую руку графини, читалъ свѣже-полученную иностранную корреспонденцію и отвѣты на письма, полученныя прошлою почтою. Свѣжія письма графиня отмѣчала краснымъ карандашемъ, а отвѣты—подписывала перомъ въ золотой съ брильянтами оправѣ. Жюль Перецъ читалъ громко, съ чувствомъ, почти нараспѣвъ, а всѣ слушали съ благоговѣйнымъ молчаніемъ. Лицо графини сіяло отъ удовольствія. Она поминутно окидывала своихъ приближенныхъ быстрымъ взглядомъ, а тѣ частымъ киваніемъ головы выражали ей свое одобреніе.

— Bardzo dobrze, panie Juljanie, slicznie panu dziekujemy,—процѣдила графиня, покровительственно кивнувъ Перецу головою и сладко ему улыбнувшись.

Жюль Перецъ, забравъ свѣже-полученныя письма въ свой портфель, откланялся и вышелъ; письма же подписанныя забралъ въ свой портфель панъ Андрей, такъ какъ онъ исправлялъ при графинѣ должность регистратора и экспедитора.

Бронзовые часы надъ каминомъ пробили двѣнадцать. Графиня позвонила. Явились лакеи съ шоколадомъ и бисквитами.

— Наша иностранная корреспонденція, слава Богу, получила теперь очень правильный ходъ,—сказала графиня, закуривъ тоненькую папиросу.

— Это хорошо, отозвался ксендзъ Квецинскій,—но... Онъ запнулся, погладивъ свой гладко выбритый подбородокъ, и хлебнулъ изъ чашки, которую держалъ въ своей лѣвой рукѣ.

— Но что? спросила графиня, устремивъ на ксендза любопытный взглядъ, - говорите, не стѣсняйтесь.

— Но, ясневельможная пани графиня, не хорошо то,—отвѣтилъ ксендзъ съ неопредѣленной гримасой, — что все это идетъ черезъ жидовскія руки. Зачѣмъ жидамъ знать всѣ наши тайны?

— Słusznie, pan mówisz, — отозвался панъ Видра, одобрительно кивнувъ ксендзу головою,—я точно такого же мнѣнія. Зачѣмъ жидамъ знать все, рѣшительно все, что мы дѣлаемъ?

— Но, милостивые государи, возразила графиня, мы же сами хотимъ, чтобы они были съ нами за-одно. Какъ не посвящать ихъ въ то, что они должны дѣлать?

— Извините, ясневельможная пани графиня, — сказалъ ксендзъ, поставивъ свою чашку на каминъ и выступивъ на средину комнаты. По моему мнѣнію, братерство съ жидами мы должны понимать совсѣмъ иначе. Мы должны ихъ ласкать, ублажать, дабы они намъ содѣйствовали деньгами, шпіонствомъ, посредничествомъ съ заграницей; главное, чтобы они не мѣшали намъ, чтобы не сдѣлались шпіонами московскаго жонда. Дальше этого братерство наше идти не должно, потому что, какъ только дашь чорту палецъ, чортъ овладѣетъ всею рукою.

— Совершенно справедливо, подтвердилъ панъ Видра.— Чортъ и жидъ—одно и тоже.

Графиня и княжна поморщились немного, но молчали.

— Даже теперь,— продолжалъ ксендзъ,— мы должны держать жидовъ въ очень почтительномъ отъ себя отдаленіи. Сдѣлавъ ихъ прямыми участниками въ освобожденіи ойчизны, мы рискуемъ...

— Чѣмъ?—нетерпѣливо спросила графиня.

— Во-первыхъ, тѣмъ, — отвѣтилъ ксендзъ, — что если мы одолѣемъ, они будутъ требовать равныхъ правъ съ нами, отчего насъ Боже упаси. Они уже сидятъ и теперь намъ на шеѣ; потомъ они еще сядутъ намъ на голову. Этого, какъ мнѣ извѣстно, опасаются и въ Варшавѣ. Послѣ москалей, жиды— наша первая kara Boska. Когда Богъ намъ поможетъ освободиться отъ москалей, мы должны будемъ стараться освободиться и отъ жидовъ... На первомъ сеймѣ, до котораго дай Боже намъ всѣмъ дожить, это должно быть нашимъ первымъ дѣломъ. Освобожденная Польша должна быть семьею польскою, чисто польскою, безъ малѣйшей примѣси иностраннаго или инородческаго элемента.

— Даже, когда эти элементы уже ополячены?—спросила княжна Мильфоръ.

— Даже, когда эти элементы уже ополячены, — отвѣтилъ ксендзъ, не соображая, что онъ этими словами ставитъ себя въ очень неловкое положеніе.

— О, вы слишкомъ строги, достопочтенный ксендзъ, возразила княжна, полусерьезно, полушутя,—куда же прикажете дѣваться намъ, мнѣ и паннѣ фонъ деръ-Горстъ? Мы, какъ вы знаете, происходимъ отъ ополяченныхъ французовъ и нѣмцевъ.

Только теперь ксендзъ почувствовалъ, что онъ зарапортовался. Онъ покраснѣлъ и смѣшался.

— О, вы... — залепеталъ онъ, краснѣя и заикаясь, — вы, княжна, и панна фонъ-деръ-Горстъ—совсѣмъ другое. Вы настоящія польки; по матерямъ вы чистокровныя польки. У васъ только иностранныя фамиліи; но и этой бѣдѣ можно будетъ легко помочь: вы въ краевый сеймъ подадите прошеніе о перемѣнѣ вашей фамиліи...

— Что?—воскликнула княжна въ сердцахъ,—мнѣ стыдиться моей фамиліи, моего герба? Никогда! Слушайте, панове,—обратилась она ко всѣмъ присутствующимъ, вставъ съ своего мѣста, — даю вамъ честное слово, что когда буду выходить замужъ даже за Чарторыйскаго или Замойскаго, то первымъ условіемъ нашего брачнаго договора будетъ, чтобы мужъ мой присоединилъ къ своей фамиліи—фамилію князей Мильфоръ, такъ какъ я послѣдняя въ родѣ, а потому не допущу, чтобы угасла одна изъ древнѣйшихъ дворянскихъ фамилій благородной Франціи. Понимаете, достопочтенный г. ксендзъ? Если освобожденная Польша будетъ простирать свою нетерпимость до тѣхъ предѣловъ, на которые вы ей указываете, никто ее терпѣть не будетъ и она падетъ сама собою, даже безъ подкоповъ москалей и нѣмцевъ.

При этихъ словахъ она окинула собраніе такимъ пламеннымъ, зловѣщимъ взглядомъ, что всѣмъ вдругъ сдѣлалось весьма неловко. Панна фонъ-деръ-Горстъ покраснѣла до ушей, закусила свои хорошенькія губки и молчала. Графиня стала быстро чертить что-то карандашемъ и тяжело дышать отъ душевнаго волненія. Панъ Андрей сталъ ерошить свою длинную гриву и крутить молодецкіе усики. Панъ Видра былъ

красенъ, какъ ракъ, и сопѣлъ, поглаживая колѣна своими мускулистыми и косматыми лапищами.

Ксендзъ же совсѣмъ растерялся. Онъ вынималъ изъ кармана то свою табакерку, то свой платокъ, то свои очки, и не зналъ, что съ ними дѣлать. Минута была тягостная для всѣхъ. Конецъ этой тягостной минуты положила панна Изабелла, которая почему-то была меньше всѣхъ взволнована.

— Но, панове, — начала она, — мы не выслушали пана ксендза до конца. Мы выслушали только первый пунктъ.

— Ахъ да, ахъ да, — ухватились всѣ за эту мысль, какъ за якорь спасенія.

— Извольте продолжать, г. ксендзъ,—проговорила графиня, бросивъ карандашъ и собираясь слушать.

— На чемъ, бишь, мы остановились? — началъ онъ нѣсколько оправившись,—ахъ да. Во-вторыхъ, если насъ, отъ чего Боже упаси, одолѣютъ русскіе, то нельзя предвидѣть весь тотъ вредъ, который могутъ причинить намъ жиды, посвященные въ наши тайны. Они намъ измѣнятъ, продадутъ насъ Москвѣ, чтобы тѣмъ выгородить себя изъ предпріятія, въ которомъ они теперь, по видимому, принимаютъ такое живое участіе. Развѣ жидамъ можно вѣрить? Они вѣдь недовѣрки, потомки Искаріота: измѣна лежитъ въ самой ихъ крови, а потому, мы должны остерегаться ихъ предательскихъ поцѣлуевъ. Они намъ дорого обойдутся!... Таково мое мнѣніе.

— И мое,—пробасилъ панъ Видра.

— И мое,—подхватила панна Изабелла.

— Но не мое,—вставила графиня.

— И не мое,—вставила княжна.

— Не знаю, какъ будутъ поступать другіе жиды,—продолжала графиня,—но что касается тѣхъ, которыхъ мы обласкали, т. е. пана Переца и панны Кранцъ, то ручаюсь вамъ, что они намъ не измѣнятъ, ни къ какомъ случаѣ. Они намъ вѣрны, преданы и очень полезны.

— Даже полезны?—спросилъ ксендзъ, разводя руками.— Положимъ, что Перецъ нѣсколько намъ полезенъ, какъ человѣкъ работящій, хотя и его очень легко могла бы замѣнить наша милая княжна, которая, надѣюсь, владѣетъ французскимъ языкомъ не хуже пана Юделя Переца; но чѣмъ намъ полезна

Кранцувна? Съ какой стати ее посвящать въ наши тайны? А я знаю, что она была-бы намъ гораздо полезнѣе, если-бы она совсѣмъ къ намъ не ходила, а сидѣла-бы дома.

— Какъ такъ?—спросили графиня и княжна.

— Панъ Вацлавъ,—отвѣтилъ ксендзъ, — разсказалъ мнѣ передъ отъѣздомъ, что старый Кранцъ, которому совсѣмъ не нравятся патріотическія выходки своей Пэшки, готовъ отсчитать намъ пять тысячъ рублей, лишь бы мы оставляли его Пэшку въ покоѣ.

Панна фонъ-деръ-Горстъ и панна Изабелла улыбнулись тому, что ксендзъ назвалъ Полину—Пэшкою. Онѣ находили, что это очень остроумно.

— Пять тысячъ!—вскрикнулъ панъ Андрей, и глаза его расширились не отъ удивленія, но отъ худо скрываемой жадности. Онъ слегка вздохнулъ и подумалъ про себя: «совсѣмъ не мѣшало-бы имѣть мнѣ теперь эту сумму».

— Старый Кранцъ и десяти тысячъ не пожалѣлъ бы, — сказалъ ксендзъ,—вотъ сколько мы теряемъ отъ того, что нянчимся съ этою черномазенькою жидовочкою!

Графиня собиралась было что-то отвѣтить, но въ дверяхъ появился лакей и доложилъ:—панна Полина Кранцъ.

— Не принимать! скомандовалъ ксендзъ, забывъ всякое приличіе.

— Не принимать! повторилъ за ксендзомъ панъ Видра.

Терпѣніе добродушной графини, наконецъ, лопнуло.

— Панове!—крикнула графиня, вставъ съ своего мѣста и поблѣднѣвъ, какъ полотно. — Прошу не забываться; прошу помнить, что вы въ домѣ графини Сташицкой. Грубость не можетъ имѣть здѣсь мѣста, понимаете? Антонъ, проси,—обратилась она къ лакею.

Ксендзъ и панъ Видра сконфузились, понявъ, что они, въ самомъ дѣлѣ, переступили границы приличія.

Вошла Полина и, своею скорою, твердою и граціозною походкою подошла къ графинѣ. Послѣдняя, оправившись отъ волненія, приняла ее съ своимъ обычнымъ радушіемъ и поцѣловала въ лобъ.

— Ну что, милый мотылекъ,—спросила графиня, сладко улыбаясь,—какъ здоровье?

— Благодарю, графиня,—отвѣтила Полина,—я здорова и привезла вамъ много новостей.

Хорошо, послушаемъ, — проговорила графиня, обрадовавшись, что ея любимица вскорѣ займетъ все собраніе своимъ разговоромъ, а это развлеченіе было необходимо, потому что всѣмъ присутствующимъ было теперь какъ-то не по себѣ, чего Полина, занятая своими мыслями, не замѣчала.

— Садись, милочка, вотъ здѣсь,—сказала графиня, указывая на близь стоящее кресло.

Полина сѣла и начала:

— Сегодня я получила письмо отъ пана Вацлава.

— Дѣловое?—спросилъ панъ Андрей.

— Конечно, а то какое же?

— Въ такомъ случаѣ, — замѣтилъ панъ Андрей, пожавъ плечами,—странно, что онъ не адресовалъ его прямо въ комитетъ, на имя господина президента.

Ксендзъ и панъ Видра, молча, кивнули головою, въ знакъ того, что они раздѣляютъ мнѣніе пана Андрея.

— Я не знаю, — сказала Полина, — можетъ быть, это и странно, но панъ Вацлавъ находитъ, что адресовать на мое имя безопаснѣе.

— Это ужь излишняя трусость, — пробасилъ панъ Видра, крутя свой усъ и смотря въ уголъ.

— Панъ Вацлавъ не трусъ, онъ только благоразуменъ и патріотъ не хуже всякаго другого,—сказала Полина, бросивъ пылкій взглядъ на сердитаго шляхтича.

Послѣдняго взорвало отъ этихъ словъ Полины. Ему показалось, что жидовка хочетъ пикировать его.

— Что вы хотите этимъ сказать, сударыня? — пробасилъ онъ, заскрежетавъ зубами и покраснѣвъ до самой макушки.

Графиня поблѣднѣла и стала бросать испуганные взгляды то на разсвирѣпѣвшаго шляхтича, то на свою недоумѣвающую любимицу. Она еще болѣе поблѣднѣла, когда Полина, вставъ съ своего мѣста и выпрямившись, проговорила гордо и рѣшительно:

— Я, милостивый государь, хотѣла сказать то, что сейчасъ сказала, потому что всегда говорю то, что хочу, и отъ

своихъ словъ никогда не отрекаюсь; да будетъ это вамъ вѣдомо.

— Въ такомъ случаѣ,—сказалъ панъ Видра, засопѣвъ отъ ярости,—я вамъ совѣтую быть осторожнѣе въ выраженіяхъ, въ особенности со мною, понимаете? Со мною, съ Игнацомъ Видрой, потому что Игнацъ Видра...

— Потому что панъ Игнацъ Видра, — перебила его Полина, — любитъ придираться, держать всѣхъ въ страхѣ, я это знаю. Но панъ Игнацъ Видра, можетъ быть, не знаетъ, что я совсѣмъ не изъ трусихъ, что я его совсѣмъ не пугаюсь. Я тоже зубастая, въ карманъ за словомъ не полѣзу.

— Это видно, замѣтилъ панъ Видра уже безъ гнѣва.

— Если видно, то вамъ нечего и придираться, нечего и напрашиваться на ссору.

— Іезусъ Марія!—воскликнула княжна Мильфоръ, заломавъ руки,—когда же будетъ конецъ этому препирательству? Послушаемъ лучше, что пишетъ панъ Вацлавъ.

Графиня подала знакъ Полинѣ, и та начала читать. Всѣ слушали съ возрастающимъ вниманіемъ и любопытствомъ. Но не дошла чтица еще и до половины письма, какъ въ дверяхъ опять появился лакей и доложилъ: — ясневельможная панна Юлія Крутицкая.

Всѣ встрепенулись. Графиня встала и пошла встрѣчать гостью. Чтеніе было прервано.

Минуты черезъ двѣ, въ кабинетъ вошла, граціозно кланяясь графинѣ, высокая и стройная блондинка лѣтъ двадцати двухъ, съ лицомъ правильнымъ и гордымъ, и съ глазами такими блестящими и умными, что съ ними могли поспорить развѣ только глаза Полины. Поцѣловавшись съ графиней, она, подъ руку съ нею, прошлась по кабинету, отвѣчая на низкіе поклоны мужчинъ покровительственнымъ киваньемъ головы, а дамамъ подавая руку и добродушно улыбаясь. Всѣ присутствующіе, принявъ почтительную позу, торжественно молчали, какъ подчиненные въ присутсвіи высокаго начальника.

— Я вамъ помѣшала? — спросила панна Крутицкая, опускаясь на кресло передъ каминомъ.

Она сдернула свои перчатки и бросила ихъ по направ-

ленію къ письменному столу, до котораго онѣ не долетѣли-бы, если-бы не панъ Андрей, который подскочилъ и ловко подхватилъ ихъ на - лету.

— Нисколько,—отвѣтила графиня, которая тоже сѣла передъ каминомъ, — докладъ кончился.

— Панъ Видра! — кликнула панна Крутицкая, смотря въ каминъ.

Шляхтичъ на цыпочкахъ подошелъ къ ней и навострилъ уши.

— Вашъ сынъ уже назначенъ.

— Назначенъ! — воскликнулъ панъ Видра въ восторгѣ, — O, slicznie pani dziekuje, —сказалъ онъ, сложивъ руки, какъ къ молитвѣ.

— Мы вашего сына мало знаемъ, — продолжала Крутицкая, — но мы это сдѣлали ради васъ; вы намъ и будете отвѣчать за него.

— О, будьте покойны, сказалъ Видра, тая отъ удовольствія,— мой Петрусь не ударитъ лицомъ въ грязь. Онъ tegi chłopiec. Но я съ него голову сорву, если.... Но я вамъ за него отвѣчаю, я, Игнацъ Видра!

— Хорошо, — сказала Крутицкая, — бѣгите теперь къ дядюшкѣ. Онъ долженъ переговорить съ вами.

— Слушаю, — отвѣчалъ Видра, и, отвѣсивъ низкій поклонъ Крутицкой и графинѣ, поспѣшно вышелъ, простившись взглядомъ со всѣми присутствующими.

— Панъ ксендзъ! — крикнула Крутицкая, нѣсколько минутъ спустя.

Ксендзъ подошелъ и крякнулъ.

— Потрудитесь сейчасъ навѣдаться къ пану бискупу. Есть и для васъ работа. Изъ діоцезіи присланы проповѣди на разсмотрѣніе. У прелата Пшешкевича вы найдете подробную объ этомъ инструкцію.

Ксендзъ, молча, поклонился и вышелъ.

— Нѣтъ ли и для меня какихъ нибудь приказаній?—спросилъ панъ Андрей, развязно подходя къ камину.

— Есть и для васъ, — отвѣтила Крутицкая, закуривая папироску, которую поднесла ей графиня. — Вамъ дядюшка

поручаетъ отыскать надежнаго человѣка, который съумѣлъ-бы управлять нашею типографіею.

— Развѣ уже все готово? — спросилъ панъ Андрей.

— Все, — отвѣтила Крутицкая, — станокъ уже поставленъ, шрифтъ присланъ, только еще не разобранъ, а краска будетъ доставлена изъ казенной типографіи.

— Вотъ какъ! — замѣтила графиня.

— Мы оттуда и наборщиковъ, и печатниковъ будемъ брать. Намъ только хорошаго управляющаго нужно.

— Найдемъ, ясновельможная пани, найдемъ, будьте увѣрены, — проговорилъ панъ Андрей, погладивъ свои бѣлокурые кудри.

Онъ постоялъ еще нѣсколько минутъ, потомъ разшаркался и ушелъ.

Панна Юлія Крутицкая, бросивъ папироску, взглянула на оставшихся дѣвицъ, потомъ на графиню, и молчала, какъ бы спрашивая: «а что, скоро онѣ уйдутъ?» Дѣвицы поняли этотъ взглядъ, встали, распростились и ушли.

— А что дѣлать съ донесеніемъ пана Вацлава?—спросила графиня, догоняя Полину.

— Спишу копію и представлю г. президенту, отвѣтила Полина.

— Хорошо, душенька, заходи вечеркомъ, потолкуемъ,— сказала графиня, крѣпко пожавъ руку своей любимицы.

Оставшись однѣ, Крутицкая встала, расправила свое платье, подошла къ графинѣ, взяла ее подъ руку и увела ее въ уборную.

— Что мы здѣсь будемъ дѣлать?—спросила графиня недоумѣвая.

— Сдѣлайте скорѣе туалетъ,—проговорила Крутицкая,— уже половина перваго. Мы ѣдемъ съ визитомъ къ генеральшѣ.

— О, я терпѣть ее не могу — сказала графиня, сдѣлавъ кислую мину.

— И я ее не люблю, —отвѣтила Крутицкая, — но чтоже дѣлать, нужно... Дядюшка приказалъ. Вы должны обдѣлать у нея дѣло.

— Какое?

— На счетъ Коли. Рѣшено непремѣнно опредѣлить его

адъютантомъ къ генералу. Вакансія открылась, нужно торопиться. Коля вчера представлялся генералу, и, кажется, понравился. Сегодня въ часъ онъ заѣдетъ къ генеральшѣ и передастъ ей письмо отъ штатсъ-дамы Дугиной. Когда мы заручимся протекціей генеральши, то Колѣ нечего будетъ бояться конкурренціи.

— Да, сказала графиня,—эта дура, однакожъ, настолько умна, что умѣетъ держать своего старика подъ башмакомъ.

— Это намъ и на-руку, — продолжала Крутицкая, — мы дѣло такъ обдѣлаемъ, что самъ генералъ предложитъ Колѣ адъютантство, и тогда...

— Что тогда?—спросила графиня.

— Что тогда? — переспросила Крутицкая, какъ бы съ упрекомъ, — вы развѣ не понимаете, какъ важно для насъ имѣть около такого сановника своего человѣка?

— Но Коля еще очень молодъ, только что изъ корпуса вышелъ,—замѣтила графиня.

— Ничего,—возразила Крутицкая,—онъ уменъ, ловокъ и полякъ до мозгу костей, несмотря на то, что между москалями воспитывался. Притомъ,.. на что же мы тутъ? Онъ будетъ дѣлать то, что ему прикажутъ. Онъ вѣруетъ въ дядюшку, какъ въ оракула. А я, какъ сестра, развѣ уже ничего для него не значу?

— Ваша правда,—согласилась графиня,—стало быть, ѣдемъ?

— Чѣмъ скорѣе...

Полчаса спустя, вѣнская карета бывшаго предводителя дворянства, *дядюшки*, остановилась у вторæго подъѣзда генеральской квартиры. Ливрейный лакей, соскочивъ съ козелъ, отворилъ дверцы. Изъ кареты выпорхнули: панна Юлія Крутицкая и графиня Сташицкая. Швейцаръ, отставной гвардеецъ, широко распахнулъ стеклянную дверь подъѣзда и пропустилъ дамъ съ глубокимъ поклономъ.

Еще полчаса спустя, къ этому же подъѣзду подкатилъ щегольской фаэтонъ, запряженный парой отличныхъ рысаковъ. Изъ фаэтона выскочилъ молодой и очень стройный гусарскій офицеръ въ полной парадной формѣ. Швейцаръ опять широко распахнулъ дверь и вытянулся въ струнку. Офицеръ, брянча своею саблею и шпорами, прошелъ во внутренніе покои,

гдѣ, на вопросъ камеръ-лакея, какъ о немъ доложить, отвѣтилъ: N—скаго лейбъ-гусарскаго полка корнетъ Николай Крутицкій.

XI.

Наканунѣ католическаго праздника св. Казиміра, на Болотной улицѣ, въ одномъ изъ бѣднѣйшихъ кабаковъ города N., за досчатой перегородкой, раздѣлявшей небольшое помѣщеніе кабака на двѣ половины: одну подъ буфетъ, а другую для гостей,—сидѣло два человѣка со стаканами меду въ рукахъ.

Одинъ изъ этихъ гостей былъ приземистый и кругленькій старичекъ лѣтъ пятидесяти пяти, съ сѣдою головою, сѣдыми и густыми бровями, краснымъ носомъ порыжѣвшими отъ нюхательнаго табаку густыми усами и очень плутоватыми глазенками, зрачки которыхъ не могли ни одной минуты устоять на одномъ мѣстѣ. На немъ былъ длиннополый сюртукъ изъ не совсѣмъ тонкаго сукна коричневаго цвѣта, черный бархатный камзолъ съ перламутровыми пуговицами и шейная подвязка изъ какой то полосатой матеріи, вмѣсто галстука.

Второй мужчина былъ рослый парень, лѣтъ двадцати пяти, съ бѣлокурыми волосами, подстриженными à la moujik, съ открытымъ, красивымъ и вызывающимъ лицомъ и со щегольски закрученными усиками, вдобавокъ, нѣсколько нафабренными. Онъ былъ въ застегнутой на всѣ петли чамаркѣ, которая очень шла къ его стройной фигурѣ, и въ большихъ охотничьихъ сапогахъ, которые повыше колѣна были застегнуты здоровыми ремнями.

Оба собесѣдника сидѣли у окна, другъ противъ друга, и, по ихъ краснымъ и оживленнымъ лицамъ, въ особенности же по пустымъ бутылкамъ, стоявшимъ на столѣ, видно было, что стаканамъ меду, которые они держали въ рукахъ, предшествовали въ этотъ вечеръ многіе другіе!

— И такъ, по рукамъ, что-ли?—спросилъ старикъ, придвигаясь съ своимъ стуломъ къ молодому собесѣднику.

— Пожалуй, — отвѣтилъ послѣдній, поставивъ свой стаканъ на подоконникъ и протянувъ правую руку.

Старикъ тоже отставилъ свой стаканъ и схватилъ протянутую ему руку обѣими руками.

— Шмуль!—кликнулъ онъ шинкаря, стоявшаго за буфетомъ, на которомъ онъ мѣломъ писалъ какой-то счетъ.

— Zaraz, panie majstru! — откликнулся шинкарь, продолжая свои ариѳметическія выкладки.

— Не люблю твоего жидовскаго zaraz! – воскликнулъ старикъ, разсердившись —Сію минуту, не то—прибью.

Въ три прыжка Шмуль очутился за перегородкой.

— Разними наши руки,—скомандовалъ старикъ.

Шмуль рознялъ ихъ руки и полетѣлъ къ буфету, къ своимъ цифрамъ.

— Теперь,—сказалъ старикъ, взявъ стаканъ и мигнувъ своему собесѣднику, чтобы тотъ сдѣлалъ тоже, – чокнемся.

— Разъ, два, три—пли!—скомандовалъ старикъ и быстро опрокинулъ стаканъ въ свою глотку. Тоже сдѣлалъ и его собесѣдникъ.

— Шмуль, двѣ сигары, но безъ zaraz!—снова скомандовалъ старикъ.

Шмуль предсталъ съ двумя сигарами.

— Больше панове ничего не прикажутъ?—спросилъ онъ.

— Маршъ къ твоимъ фляжкамъ! — крикнулъ панъ майстеръ. – Когда нужно будетъ, позову.

Шмуль ушелъ къ буфету. Не успѣлъ онъ взять мѣлокъ въ руку, какъ опять раздался голосъ старика.

— Шмуль! Еще бутылку липецу.

Шмуль предсталъ съ бутылкою липецу.

— Поставилъ, ну и убирайся къ чорту, чего ты тутъ стоишь?—накинулся на него старикъ.

Шмуль ушелъ къ буфету.

— А что, Стась, я хорошо муштрую и командую?—спросилъ старикъ, молодецки подбоченившись и любовно глядя въ лицо своему собесѣднику.—Я былъ-бы отличнымъ командиромъ, slowo honoru. Солдаты боялись бы меня, какъ огня. Baczność!! *), — крикнулъ онъ неистово и строго, замахавъ руками и выпучивъ глаза, думая, что этимъ окончательно убѣдитъ собесѣдника въ своихъ военныхъ способностяхъ. Но собесѣдникъ улыбнулся и спросилъ:

---

*) Смирно.

— Кто-же для нашей арміи будетъ поставлять обувь?

— Кто будетъ поставлять обувь?—переспросилъ старикъ, испугавшись и забывъ, что онъ сейчасъ хотѣлъ быть командиромъ. — Я, Марцинъ Шило! Мы-же такъ условились. Ты развѣ забылъ? Товаръ первый сортъ, три рубля пара. Дешевле жондъ нигдѣ не достанетъ. Я это такъ... изъ патріотизма, потому что я, хоть и шевцъ, но добрый полякъ и шляхтичъ z łaski Boskiej. Мой дядя, знаешь...

— Знаю, знаю, былъ pełnym plenipotentem u pana Radziwiłła,—перебилъ его Стась, — поставка обуви останется за вами, разумѣется, по моей рекомендаціи. Это дѣло рѣшенное. Но, коханный пане Шило, мнѣ бы хотѣлось поскорѣе увидаться съ задаткомъ.

— Съ какимъ это задаткомъ?—спросилъ сапожникъ.

— Вы забыли? Двѣ пары ботинокъ для моей Марциши.

— Ахъ да, — припомнилъ сапожникъ, — вотъ важность! Пусть она хоть завтра завернетъ въ магазинъ, снимемъ мѣрку и сошьемъ въ три мига.

— Завтра праздникъ,—замѣтилъ Стась, который еще не былъ пьянъ, а потому помнилъ, что завтра день св. Казиміра.

— Такъ послѣзавтра, — сказалъ сапожникъ, взявшись за новую бутылку липецу.—Что тутъ толковать... Выпьемъ!

— Благодарю, — отвѣтилъ Стась, вставъ со стула и накинувъ на себя непромокаемый плащъ. — Мнѣ некогда.

— Ты уже уходишь?

— Служба.

— Твоя правда, не смѣю задерживатъ, но по стаканчику мы должны же еще выпить, ради св. Казиміра.

— Но скорѣе, пане Шило, — поторопилъ его Стась.

Сапожникъ живо откупорилъ бутылку, и налилъ въ стаканы. Шило и Стась, поздравивъ другъ друга съ завтряшнимъ праздникомъ, обнялись, три раза поцѣловались и залпомъ выпили свои стаканы. Вслѣдъ затѣмъ, Стась распростился и ушелъ.

По уходѣ Стася, сапожникъ сталъ, шатаясь, ходить по комнатѣ взадъ и впередъ, что-то бормоча себѣ подъ носъ и загибая по порядку пальцы лѣвой руки. Знать, онъ считалъ ожидаемые имъ барыши отъ поставки обуви для арміи.

Его раскраснѣвшееся отъ напитковъ лицо выражало нѣкоторое время радость и веселіе; онъ улыбался и чуть не хохоталъ отъ избытка удовольствія; но потомъ лицо его вдругъ затуманилось и на немъ, мало по малу, стали выражаться испугъ, страхъ и чуть не отчаяніе.

— Вѣдь было три тысячи,—забормоталъ онъ громче,— а теперь двѣ. О, swiety Marcinie! Гдѣ-же еще одна тысяча? Три тысячи, какъ одинъ грошъ! Чортъ возьми! Неужели я обчелся? Не можетъ быть!

Онъ перестаʌъ ходить по комнатѣ, остановился въ раздумьѣ, повѣсилъ голову и заломилъ руки.

— Шмуль! мѣлу! крикнулъ онъ взволнованнымъ голосомъ, подсѣвъ къ столу и сбросивъ съ него на полъ опорожненныя бутылки.

Шмуль, ни живъ, ни мертвъ отъ шума, произведеннаго полетѣвшими на полъ бутылками, поднесъ ему мѣлокъ и отскочилъ назадъ. Сапожникъ, дрожащими, отъ старости, волненія и пьянства, руками, сталъ чертить на столѣ цифры какого-то страннаго фасона, причемъ что-то проговаривалъ и то больше носомъ, чѣмъ устами. Онъ долгое время чертилъ и маралъ, маралъ и чертилъ, теръ себѣ лобъ, сопѣлъ, нюхалъ табакъ, потѣлъ и злился.

— Шмуль! — кликнулъ онъ, скрежеща зубами, — сколько шесть разъ семь?

— Шесть разъ семь? — переспросилъ Шмуль изъ за буфета, — сорокъ два!

— А два раза тридцать шесть?

— Два раза тридцать шесть? — семдесятъ два!

— Вотъ psia glowa! проговорилъ сапожникъ, какъ бы въ похвалу шинкарю и продолжалъ чертить и марать. Онъ еще долго возился съ своими цифрами; но, не достигая желаемаго результата, призвалъ, наконецъ, на помощь шинкаря. Послѣдній, взглянувъ на чертежъ, сказалъ, что этакъ нельзя, потому что цифры стоятъ не на своихъ мѣстахъ.

— Какъ-же быть? — спросилъ сапожникъ.

— Pan majster нехай порудится продиктовать мнѣ числа, а я ужъ подведу итогъ, — отвѣтилъ шинкарь, взявъ мѣлокъ въ руку.

Сапожникъ такъ и сдѣлалъ. Черезъ три минуты, итогъ былъ подведенъ.

— Сколко выходитъ? — спросилъ сапожникъ.

— Три тысячи.

— Врешь, каналья! — воскликнулъ сапожникъ, не вѣря словамъ шинкаря. — Покажи ка, покажи... одинъ нуль, два нуля, три нуля и три, такъ три тысячи. Браво! ура! виватъ, кричалъ въ изступленіи сапожникъ и бросился душить удивленнаго шинкаря въ своихъ объятіяхъ. Молодецъ, Шмуль! Люблю! Выпьемъ!

— Благодарю, не хочу, — сказалъ шинкарь.

— Dla mojej satisfakcii *) ты долженъ! Я приказываю! Я, Марцинъ Шило! Прибью, slowo honoru. — И онъ потащилъ шинкаря къ буфету, за которымъ стояла жена шинкаря съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ.

— Двѣ рюмки рябиновки! — скомандовалъ сапожникъ. — Живо, пани Шмулева!

Пани Шмулева налила двѣ рюмки рябиновки.

— Садись вотъ здѣсь, я тоже сядю и погавендзимъ **),— сказалъ сапожникъ, взявъ рюмку и опустившись на скамью.

Шмуль взялъ табуретъ и сѣлъ противъ сапожника.

— Знаешь что, Шмуль,—началъ послѣдній, понизивъ голосъ и хитро подмигивая однимъ глазомъ,—ты ужъ не Шмуль, а Мойжешь.

— Co pan gada? — спросилъ удивленно шинкарь, выпуча глаза, — я Шмуль, а не Мойжешь. Я такъ и въ сказкѣ записанъ.

— Ты Мойжешь, говорю тебѣ! — крикнулъ сапожникъ,— Мойжешь и баста! Не толковать! Знаю, что говорю! Ты Мойжешь, и Хацкель —Мойжешь, и Борухъ — Мойжешь и всѣ жиды, сколько васъ есть, теперь Мойжеши. Такъ приказано изъ Варшавы, понимаешь?

Шмуль переглянулся съ своею женою, пожалъ плечами, но ничего не возразилъ.

— А почему вы теперь Мойжеши, знаешь?

---

*) Для моего удовольствія

**) Покалякаемъ.

— Откуда мнѣ знать?

— Вы теперь Мойжеши потому,—объяснялъ сапожникъ,— что мы должны любить васъ, шановать.. Однимъ словомъ: братство, равенство et cetera. Теперь всѣ равны: что жидъ, что цыганъ, что чортъ, все равно!... Мы всѣхъ должны любить, потому что такъ приказано изъ Варшавы, понимаешь? Ну,—чокнемся, braciszku.

Они чокнулись и выпили свои рюмки.

Сапожникъ крякнулъ, понюхалъ табаку и опять спросилъ:

— Ты газеты читаешь?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ шинкарь.

— Такъ ты дурень, — сказалъ сапожникъ, призрительно махнувъ рукой. — А вотъ, мой покойный дядюшка, который былъ pelnym plenipotentem u pana Radziwilla, тотъ бывало день и ночь читаетъ газеты. Ученый человѣкъ былъ: у піаровъ учился. Читалъ по-латыни не хуже ксендза. Не умри онъ такъ рано, я былъ бы теперь прелатомъ, а, можетъ быть, и бискупомъ. Онъ хотѣлъ меня отдать въ ученіе къ каноникамъ, чтобъ изъ меня ксендзъ вышелъ, но онъ умеръ, а потому я сдѣлался шевцомъ. Но не въ томъ дѣло... Такъ ты газетъ не читаешь?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ шинкарь.

— Ну, Богъ съ тобой! Ты почцивый жидекъ, а потому скажу тебѣ, что пишутъ въ газетахъ. Только помни, что я говорю это тебѣ подъ секретомъ. Ты никому не разболтаешь?

— На что мнѣ разболтать?—проговорилъ Шмуль, растопыривъ руки,—развѣ мнѣ отъ этого что нибудь прибудетъ?

— Ну, прибудетъ или не прибудетъ, — сказалъ сапожникъ,—а ты знай — держи языкъ за зубами, не то худо будетъ, разумѣется, не мнѣ, а тебѣ, твоей женѣ, твоимъ дѣтямъ и всѣмъ вашимъ... Такъ вотъ что пишутъ въ газетахъ, слушай со вниманіемъ: по веснѣ или лѣтомъ сюда придетъ французъ, англикъ и влохъ Гримбальдіушъ съ войскомъ, съ кораблями и съ гарматами и прогонятъ отсюда москалей.

— Всѣхъ?—спросилъ Шмуль.

— До единаго.

— Даже... губернатора? — опять спросилъ Шмуль, сдѣлавъ кислую мину. Онъ хотѣлъ, собственно, спросить о ба-

таліонныхъ писаряхъ, какъ о завсегдатаяхъ своего кабака, а потому живо интересовавшихъ его, но счелъ за лучшее схитрить и спросилъ о губернаторѣ.

— Даже губернатора,—подтвердилъ сапожникъ, — будетъ имъ здѣсь пановать! Пусть убираются въ свою Россію, здѣсь Польша. *Мы* здѣсь хозяева, это *нашъ* край. Мой покойный дядюшка, который былъ pelnym plenipotentem u pana Radziwilla, всегда говорилъ, что этотъ край нашъ. Выходитъ, что покойникъ правъ былъ, царство ему небесное!

Шмуль задумался, и поскребъ свой правый високъ.

— Значитъ, будетъ война, страженія?—спросилъ онъ, что-то соображая.

— Разумѣется,—отвѣтилъ сапожникъ.

— И войска будутъ проходить?

— Разумѣется.

— А жителей грабить не будутъ?—допытывался шинкарь.

— Какое грабить! Развѣ они разбойники? За все будутъ платить чистоганомъ, золотомъ, не то, что бумажками. Французъ богатъ.

— Это хорошо. Дай Богъ! – проговорилъ шинкарь, успокоившись и даже обрадовавшись ожидаемымъ событіямъ.

— А на войну мы всѣ пойдемъ,—продолжалъ сапожникъ, понюхавъ табаку,—всѣ влосцяне, вся шляхта и я тоже.

— И вы тоже, panie majstru?—спросилъ шинкарь, удивляясь.

— А ты какъ думаешь, я буду сидѣть, и сапоги шить? Го, го, ты Марцина Шила еще не знаешь! Помни мое слово: черезъ годъ я буду полковникомъ. Я шляхтичь, ты этого не забудь. Baczność! Накра-улъ!!—закричалъ онъ такъ неистово, что ребенокъ, сидѣвшій на рукахъ у пани Шмулевой, испугался и заплакалъ. Мать стала его качать и успокаивать, бросая сердитые взгляды на расхрабрившагося сапожника. Шмуль улыбнулся. Сапожникъ всталъ, закурилъ сигару, подподбоченился и сталъ ходить по комнатѣ взадъ и впередъ.

— А мнѣ тебя жаль, Шмуль,—началъ онъ, вдругъ остановившись предъ шинкаремъ. — Право жаль, ты жидекъ nic sobie, ты только глупъ, но человѣкъ смирный. Мнѣ отъ души тебя жаль, słowo honoru.

Шмуль испуганно и вопросительно смотрѣлъ на сапожника.

— Знаешь, что будетъ послѣ войны?—спросилъ послѣдній. Шмуль пожалъ плечами въ знакъ того, что онъ ничего не знаетъ, что будетъ послѣ войны.

— Послѣ войны,—продолжалъ сапожникъ,—ты, и Борухъ, и Хацкель, и вся ваша команда должна будетъ убираться отсюда.

— Куда?—спросилъ шинкарь.

— А намъ что за дѣло? Идите, куда хотите, куда глаза глядятъ, а въ краѣ вамъ не бывать.

— Вы шутите, panie majstru.

— Jak Boga kocham, не шучу, а правду говорю. Это дѣло рѣшенное. Магнаты такъ порѣшили. Будетъ вамъ сидѣть намъ на шеѣ... Мы, впрочемъ, трогать васъ не будемъ. Мы только вамъ скажемъ: любезные жиды, возьмите себѣ ваши тлумки z ruchomoscia i ruszajcie sobie z Panem Bogiem... do kroc set diablow!

Шмулева крякнула и, перемигнувшись съ мужемъ, проговорила:

— Hörstu, hörstu, wos der Kelew dibbert? *)

— Schwaig, schoite!—крикнулъ на нее Шмуль,—dos is nit dein sach. **)

— А какъ будетъ съ нашими домами?— спросилъ онъ у сапожника.

— Если можете ихъ взять съ собою, такъ возьмите,—отвѣчалъ сапожникъ,—а если нѣтъ, такъ они здѣсь останутся. Вы уже пользовались, теперь мы будемъ пользоваться. Тоже будетъ и съ казенными зданіями. Все будетъ наше.

— А что будетъ съ гандлемъ?

— Мы и гандлевать будемъ. Ты думаешь, мы не съумѣемъ? Эка важность! Покупать и продавать не Богъ знаетъ какъ трудно. Обойдемся и безъ васъ. Вы только мозолите намъ глаза и даромъ хлѣбъ ѣдите. Ваше плутовство и шахрайство—вотъ гдѣ у насъ сидятъ (сапожникъ указалъ на свое горло). Мы молебны будемъ служить, когда отъ васъ осво-

*) Слышь, слышь, что собака брешитъ.

**) Молчи, дура, не твое дѣло.

бодимся. Если не захотите убраться по доброй волѣ, то мы васъ въ-зашей прогонимъ или перерѣжемъ всѣхъ до единаго, понимаешь?

— Вы глупости говорите, вотъ что! — сказалъ шинкарь, вставъ съ табурета и плюнувъ.

Сапожникъ вспылилъ.

— Глупости?!—заревѣлъ онъ и глаза его налились кровью, —какъ смѣешь?.. Да знаешь-ли, съ кѣмъ ты говоришь?

— Отчего не знать, знаю, — отвѣчалъ шинкарь твердо и смѣло,—съ его милостью сапожникомъ Шилою! Вы развѣ въ первый разъ упиваетесь у меня, какъ свинья?

Сапожникъ затрясся отъ этой обиды. Онъ сжалъ кулаки и хотѣлъ кинуться на всегда смирнаго шинкаря, въ которомъ и не подозрѣвалъ столько смѣлости и дерзости; но, замѣтивъ, что послѣдній схватилъ стулъ, онъ съ своими сжатыми кулаками остался на мѣстѣ и тяжело засопѣлъ отъ злости. Шмуль, со стуломъ въ рукѣ, ожидалъ нападенія. Его жена, съ блѣднымъ отъ страха лицомъ, смотрѣла на происходившее и не смѣла вмѣшаться, зная, что когда мужъ ея сердитъ, то весьма опасно бываетъ подвернуться подъ его руку.

— Шмуль! ты ли это? — кричалъ сапожникъ, ломая руки.—Я не узнаю тебя! Опомнись! Не губи себя! Ты дорого заплатишь за твою дерзость. Я дворянинъ! Мой дядюшка...

- Былъ лакеемъ у пана Радзивилла, перебилъ его шинкарь, мы это знаемъ. Ишь, изъ края насъ гнать вздумали! Да знаете ли, что пока что, москали васъ, безмозглыхъ, нагайками искрошатъ.

— Шмуль! Опомнись! тебя повѣшутъ!

— Не повѣшутъ! Руки коротки. Мы живемъ не по вашей милости, а по милости Царя. Попробуйте только бунтовать, такъ и духу отъ васъ не останется.

— Шмуль!—кричалъ сапожникъ, скрежеща зубами.

— Да, я Шмуль, я шинкарь, стараюсь угождать гостямъ какъ можно. Вы обращаетесь со мною, какъ съ собакой, и я молчу, потому что это хлѣбъ мой. Вы называете меня дуракомъ, и я молчу, потому что я умнѣе васъ. Но когда вы начинаете уже слишкомъ глупить, то я молчать не могу и не буду. Я вамъ покажу, что Шмуль не дуракъ и не трусъ. Я

зубы выколочу не только какому-нибудь сапожнику, но даже вельможному пану, даже вашему маршалку, когда онъ осмѣлится гнать насъ изъ края. Земля не ваша и не наша, а Божья, а потому человѣкъ человѣка гнать съ земли не смѣетъ. Если Богъ не захочетъ, чтобы земля насъ носила, то онъ сдѣлаетъ, чтобы мы всѣ померли; а гнать насъ не смѣете, а если посмѣете, то мы вамъ морды побьемъ.

Шмуль оставилъ стулъ, обтеръ рукавомъ потъ, выступившій на его лицѣ, и зашагалъ по комнатѣ взадъ и впередъ, поглаживая свою бороду и пейсы. Сапожникъ, не то оробѣвъ, не то успокоившись, сидѣлъ и молчалъ, обдумывая, какъ ему выдти изъ своего затруднительнаго положенія.

Шинкарь Шмуль вовсе не былъ тѣмъ, за что можно было принять его, смотря по наружности. По наружности каждый принималъ его за человѣка слабаго въ физическомъ и нравственномъ отношеніи, мягкаго, робкаго, вялаго и не далекаго ума; но подъ этою неказистою, почти жалкою наружностью, процвѣталъ организмъ здоровый, крѣпкій, со смѣлою и неустрашимою душою, съ желѣзными нервами и воловьими мускулами. Никакія опасности не пугали его, и онъ удивлялся, какъ человѣкъ можетъ вообще чего нибудь и кого нибудь бояться. Онъ былъ уменъ и хитеръ, но прикидывался дурачкомъ, допускалъ, чтобы завсегдатели его кабака, ремесленики и разночинцы, которыхъ онъ былъ выше во всѣхъ отношеніяхъ и которыхъ презиралъ до глубины души, обижали и помыкали имъ, какъ грязною тряпкою, и охотно доставлялъ имъ удовольствіе поглумиться надъ бѣднымъ жидкомъ. Но когда шуточки завсегдателей принимали слишкомъ большіе размѣры, т. е. когда шутники имѣли неосторожность задѣть его за живое, онъ, смирный ягненокъ, въ одну минуту превращался въ льва рыкающаго, поражая всѣхъ этимъ неожиданнымъ превращеніемъ. Извергая всевозможную ругань и дѣйствуя кулаками, онъ въ три мига очищалъ свой кабакъ отъ *сволочи*, успѣвшей ему над[illegible], и въ эти минуты онъ воображалъ себя библейскимъ Самсономъ, справляющимся съ филистимлянами.

Шмуль всегда особенно терпѣливо переносилъ шутки и обиды сапожника Шила, потому что такъ презиралъ этого

стараго пьянчужку и лгунишку, что считалъ ниже своего достоинства обижаться ими; но когда сапожникъ заикнулся объ изгнаніи евреевъ изъ края, терпѣніе Шмуля лопнуло.

Сапожникъ былъ такъ ошеломленъ неожиданнымъ превращеніемъ, происшедшимъ съ шинкаремъ, что нѣкоторое время думалъ, не рехнулся-ли послѣдній; но, припомнивъ все, что сейчасъ отъ него слышалъ, онъ перемѣнилъ свое мнѣніе и сталъ побаиваться тщедушнаго шинкаря, который не прочь былъ поколтить его, его, собирающагося быть полковникомъ. Чтобы выйдти съ честью изъ затѣяннаго имъ самимъ спора, онъ рѣшился на дипломатическую хитрость.

— Ну, Шмуль,—началъ онъ, придавъ своему лицу самое добродушное выраженіе, — я вижу, что ты погорячился; чтожъ, это бываетъ съ каждымъ человѣкомъ. Попроси прощенія, я все забуду, и мы опять останемся друзьями.

— Просить прощенія? — спросилъ Шмуль, горько улыбнувшись, — у васъ? Вы меня обидѣли, и я долженъ просить у васъ прощенія? Ха, ха, ха! Послушайте, panie majstru, перво-на-перво, вы должны знать, что Шмуль не дуракъ и не трусъ, въ обиду себя никогда не давалъ и не дастъ. Шутку я понимаю и принимаю за шутку, но ваши слова были уже не шутки. Счастье ваше, что вы съ вашими сжатыми кулаками оставались на мѣстѣ, не то вы хорошенько поплатились бы: я бы вамъ далъ попробовать моихъ кулаковъ, а потомъ связалъ-бы васъ, какъ барана, и понесъ въ полицію.

— Стало быть, ты хочешь ссориться?

— Нѣтъ, panie majstru, я ссориться съ вами не хочу; на-что мнѣ это? Хочу, чтобы вы заплатили, сколько забрали, и ко мнѣ уже больше не ходили.

— Такимъ манеромъ ты разгонишь всѣхъ твоихъ шабровъ, — проговорилъ сапожникъ, желая тронуть шинкаря съ меркантильной стороны.

— Ничего, — отвѣтилъ Шмуль, — кабы только болото, а черти будутъ. Не вы, такъ другой сапожникъ будетъ пить у меня. У меня напитки хорошіе, безъ примѣси, не люблю обманывать покупателей. Это всѣ знаютъ. А потому, я никогда не лишусь гостей — знатоковъ, а въ обиду себя не дамъ. Шутить — шутите, при хорошемъ стаканѣ липцу, отчего не

пошутить? Но обижать не смѣете, потому... потому, что шинкарь Шмуль не дуракъ и не трусъ, вотъ что!

— Ну, Богъ съ тобой, — сказалъ сапожникъ, вставъ и вынувъ изъ кармана свой толстый бумажникъ, — съ тобой не сговоришься, я въ тебѣ ошибся. Дай сдачу.

Шмуль отсчиталъ ему сдачу.

— Но помни, Шмуль, — сказалъ сапожникъ, уходя, — ты не хорошо кончишь. Ты будешь раскаиваться, а будетъ поздно. Мнѣ жаль не тебя, а твоей жены и дѣтей.

— Ужь это мое дѣло, не безпокойтесь.

— Помни, Шмуль, сказалъ сапожникъ, стоя уже на улицѣ и держась за ручку дверей, — черезъ годъ....

— Будетъ 1863-й годъ, — перебилъ его шинкарь, — помню, помню.

Сапожникъ не докончилъ фразы и отправился домой, пожимая плечами и бормоча себѣ подъ-носъ разныя ругательства и проклятія. Отъ времени до времени онъ останавливался, какъ-бы обдумывая, не возвратиться-ли ему назадъ, чтобы проучить *пся-крева* — т. е. Шмуля; но припоминая рѣшительную, вызывающую мину послѣдняго, удвоилъ шаги, робко озираясь кругомъ, какъ бы спасаясь отъ погони. «Постой, — голубчикъ, постой, — утѣшалъ онъ себя, — przyjdzie koza do woza».

XII.

Мэри Тидманъ писала къ Софіи Аронсонъ слѣдующее:

«Ты не можешь себѣ представить, chére Sophie, какъ я рада, что наши взаимныя отношенія нисколько не измѣнились и, надѣюсь, не измѣнятся отъ того, что мы, стеченіемъ неожиданныхъ обстоятельствъ, очутились въ двухъ враждебныхъ другъ другу лагеряхъ. Ты бредишь Польшею, такъ называемою ойчизною, а я... я вращаюсь въ кругу, симпатіи котораго принадлежатъ преимущественно Россіи. Не смотря на то, что эти двѣ враждебныя силы въ скоромъ времени сойдутся для отчаянной борьбы на жизнь и смерть, мы, надѣюсь, тѣмъ не менѣе останемся друзьями по прежнему, потому что, въ сущности, ты столько же полька, сколько я рус-

ская, т. е. очень мало, такъ какъ мы объ не имѣемъ пока никакого основанія проникнуться вдругъ особенною любовью къ Польшѣ или къ Россіи. Ни та, ни другая не можетъ еще считаться нашимъ отечествомъ. Мы пока русскіе подданные, живущіе на территоріи преимущественно польской. Если для подданнаго, раба, возможно отечество, то намъ нечего долго думать голову, гдѣ наше отечество? Сегодня отечество наше — Россія, потому что власть въ ея рукахъ, а завтра, когда власть перейдетъ къ Польшѣ, отечествомъ нашимъ будетъ Польша. Но если отечествомъ человѣка должна считаться не та сила, которой онъ подвластенъ изъ страха, а та сила, которую онъ любитъ сердцемъ и которой онъ преданъ душой, то нашимъ отечествомъ можетъ сдѣлаться только та страна, которая усыновитъ насъ, какъ слѣдуетъ. Кто насъ усыновитъ, Польша или Россія, покажетъ время. Стало быть, намъ пока нечего записываться въ польскія или русскія патріотки. Ты производишь опыты надъ Польшею, а я надъ Россіею. И мнѣ кажется, что затѣи здѣшняго кружка и вашего кружка, съ Сарицымъ, Адольфомъ и Мозырскимъ во главѣ, есть тоже опыты, только въ большихъ размѣрахъ. До фанатизма же Полины намъ всѣмъ еще очень далеко, потому что она — натура исключительная.

«Кстати о Полинѣ. Наши отношенія теперь очень натянуты. Она пишетъ ко мнѣ рѣдко и не охотно. Не успѣвъ завербовать меня подъ польское знамя, она сердится на меня. Она, кажется, совсѣмъ разлюбила меня; иначе впрочемъ и не можетъ быть, потому что она теперь безъ памяти влюблена въ Польшу. Я не дѣлаю ей никакихъ упрековъ, потому что знаю, что это не поможетъ.

«Возвращаюсь къ тебѣ, chère Sophie. Ты остаешься и останешься мнѣ вѣрною. Наша дружба такъ крѣпка что ей нечего бояться напора текущихъ событій въ краѣ. Будемъ же продолжать дѣлиться нашими впечатлѣніями и наблюденіями. Ты слѣди за польскимъ движеніемъ, а я за русскимъ. Намъ обѣимъ будетъ много работы, и намъ обѣимъ не будетъ скучно.

«Съ легкой руки г. Сарина, мои занятія по русскому языку идутъ весьма успѣшно. Я уже понимаю все, что читаю а читаю я очень много. Я просто глотаю книги и, благодаря этому

глотанію, въ скоромъ времени буду имѣть притязаніе думать, что я уже знакома съ русскою литературою. Съ ея корифеями я уже знакома; вотъ имена ихъ: Крыловъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ, Гончаровъ и Островскій.

«Хотя ни одного изъ этой плеяды русскихъ *классиковъ* нельзя считать свѣтиломъ первой величины, однакожъ, всѣхъ ихъ можно читать съ удовольствіемъ и даже съ пользою. Они пришлись мнѣ по вкусу. Ужъ за одно то я ихъ люблю, что они не сантиментальны, а относятся къ жизни скептически, сатирически, пессимистически, а жизнь другихъ къ себѣ отношеній и не заслуживаетъ. Я, какъ знаешь, пессимистка, и очень благодарна г. Сарину, что онъ ввелъ меня въ этотъ кружокъ единомышленниковъ. Въ знакъ благодарности, я собираюсь сдѣлать ему сюрпризъ: напишу къ нему письмо *по-русски*! Это, я знаю, его обрадуетъ: ему вѣдь такъ хочется, чтобы евреи говорили, писали и думали по-русски! Отчего не польстить его idée fixe! За грамматическія ошибки онъ меня извинитъ: неужели у него не хватитъ настолько великодушія?

«Кстати о Саринѣ. Его отсутствіе здѣсь очень чувствительно. Нашъ кружокъ началъ часто страдать отъ разноголосицы своихъ членовъ. Дѣло въ томъ, что каждому хочется первенствовать, отсюда препирательства, игра страстей, безпорядокъ. При Саринѣ этого не было: всѣ ему подчинялись и никто не чувствовалъ, что подчиняется, потому что онъ не давалъ этого чувствовать. У его же товарищей не хватаетъ этого такта, который такъ необходимъ для управленія такою разноколиберною толпою, какую составляетъ нашъ кружокъ. У г-жи Липманъ теперь только и дѣла, что улаживать ссоры, мирить поссорившихся, предупреждать скандалы. Она одна и поддерживаетъ порядокъ; не будь ея—отъ кружка осталось бы только одно воспоминаніе.

«Я чуть не забыла увѣдомить тебя, что кружокъ нашъ недавно увеличился еще однимъ членомъ... изъ христіанъ, изъ русскихъ. Новый членъ этотъ—поручикъ Дубовъ, офицеръ заквартировавшаго здѣсь полка. Попалъ онъ въ нашъ кружокъ случайнымъ образомъ. Познакомившись съ нѣкоторыми изъ нашихъ въ кандитерской, за бильярдомъ, онъ почему-то такъ

заинтересовался ими, что выразилъ желаніе ближе сойтись съ еврейскою молодежью. Его ввели въ нашъ кружокъ. Онъ былъ восхищенъ его направленіемъ и цѣлью, что какъ милости просилъ позволенія также присоединиться къ нему; его записали въ члены и теперь онъ весь нашъ. Онъ откровенно намъ признался, что до сего времени зналъ евреевъ только по наслышкѣ, т. е. по общественному мнѣнію, которое о насъ господствуетъ въ христіянскомъ мірѣ, а это мнѣніе, какъ извѣстно, не въ нашу пользу; но теперь онъ убѣдился, что это мнѣніе есть предубѣжденіе, противъ котораго ратовать онъ считаетъ долгомъ каждаго честнаго человѣка.

«Г. Дубовъ, не смотря на то, что онъ военный,—человѣкъ мыслящій, много читающій и большой патріотъ. Его гуманные, просвѣщенные взгляды на вещи приводятъ насъ въ удивленіе. Не вѣрить его искренности мы не имѣемъ никакого основанія: онъ человѣкъ прямой и благородный, что на душѣ, то и на языкѣ. Онъ теперь бредитъ обрусеніемъ евреевъ и работаетъ для этого съ большою энергіею. Онъ бьетъ о насъ тревогу по всей Россіи. У него большія связи въ Петербургѣ и Москвѣ. «Мы васъ полякамъ не уступимъ!—кричитъ онъ,—не уступимъ, какъ не уступимъ и западнаго края. Вы должны принадлежать намъ, Россіи!... Вы народъ хорошій и толковый; а русскій человѣкъ добръ, мы съ вами сладимъ». Какъ тебѣ нравятся комплименты, расточаемые намъ съ одной стороны поляками, а съ другой русскими? Ну, кто-бы могъ ожидать, что мы, которыхъ всегда топтали ногами, вдругъ сдѣлаемся яблокомъ раздора между двумя народами!... Одно изъ двухъ: или поляки вмѣстѣ съ русскими съ-ума сошли, или мы сами до сихъ поръ не знали себѣ цѣны. Какъ-бы то ни было, нельзя не сказать, что мы живемъ въ очень интересное время, богатое пріятными сюрпризами и неожиданными перемѣнами. Уже одно то, что мы возжелали быть чѣмъ нибудь, кто русскимъ, а кто полякомъ, есть сюрпризъ, о которомъ отцы наши и не мечтали и который обѣщаетъ много хорошаго въ будущемъ... Но будемъ говорить лучше о настоящемъ...

«Стараніемъ г-на Дубова, двѣ недѣли тому назадъ, въ нашемъ городѣ открылась, такъ называемая, читальня, чуть не

клубъ, на самыхъ либеральныхъ началахъ. Наши единовѣрцы не только не устранены отъ участія, въ качествѣ членовъ, но нѣкоторые изъ нихъ даже назначены директорами этого клуба. Здѣшніе высшіе сановники сдѣлали въ пользу читальни щедрыя пожертвованія деньгами и книгами. Русскіе редакторы и литераторы, по первому призыву, прислали намъ безвозмездно свои изданія, такъ что русскихъ книгъ теперь у насъ вдоволь, была-бы только охота читать. Впрочемъ, на недостатокъ охоты тоже нельзя пока жаловаться: г. Дубовъ говоритъ, что съ утра до вечера залы читальни наполнены евреями разнаго возраста. Онъ внѣ себя отъ удовольствія, и не мудрено: все это дѣло его рукъ. Ему одному мы, можетъ быть, и обязаны будемъ сближеніемъ съ христіанскою средою, о которомъ наши передовые люди позволяютъ себѣ только мечтать, отчасти и проповѣдывать. Въ читальнѣ не только читаютъ, но и знакомятся, сближаются; предупредительность со стороны христіанъ замѣчательная. Чудеса, да и только.

«Г. Дубовъ намѣренъ побывать на дняхъ и у васъ. Съ кружкомъ вашимъ онъ уже переписывается и хочетъ познакомиться съ нимъ поближе и, кстати, содѣйствовать открытію у васъ читальни, подобной нашей. Дла этой цѣли онъ запасается теперь рекомендательными письмами къ высшей администраціи края. Можно надѣяться, что онъ въ своемъ дѣлѣ успѣетъ, потому что онъ неутомимъ и горячо преданъ идеѣ, осуществленіе которой поставилъ себѣ цѣлью. Вашъ кружокъ, какъ мнѣ извѣстно изъ писемъ Сарина къ г-жѣ Липманъ, ожидаетъ Дубова съ нетерпѣніемъ и распростертыми объятіями. Онъ теперь вашему кружку почему-то очень нуженъ..

«Кажется, довольно. Если будешь медлить отвѣтомъ, то я накажу тебя еще болѣе длиннымъ письмомъ. Въ матеріалѣ недостатка не будетъ: каждый день приноситъ теперь много новостей. На однообразіе нельзя жаловаться. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ нескучно. И возможно-ли теперь скучать? Время такое горячее!...»

Книга третья.

Графъ Тенчинскій.

I.

Въ одно апрѣльское утро 1862 года, графъ Болеславъ Тенчинскій, бывшій губернскій предводитель дворянства, а нынѣ камергеръ, мужчина лѣтъ сорока пяти, съ необыкновенно энергичнымъ лицомъ, съ нѣсколько подстриженными черными курчавыми волосами и съ очень длинными усами съ просѣдью, ходилъ въ своемъ кабинетѣ взадъ и впередъ, покуривая изъ массивной серебряной трубки съ очень длиннымъ и толстымъ черешневымъ чубукомъ. На немъ были чамарка изъ черпаго бархату и таковые же камзолъ и шаровары, опущенныя въ высокія голенища его непромокаемыхъ сапоговъ съ серебряными шпорами. Поверхъ камзола вилась блестящею змѣею довольно массивная стальная цѣпь, которая не совсѣмъ-то шла къ его изящному и дорогому хронометру почти миніатюрныхъ размѣровъ. Онъ самъ сознавалъ, что стальная цѣпь и почти дамскіе часы совсѣмъ не пара, но онъ съ этими часами никогда не разставался, потому что получилъ ихъ въ подарокъ отъ принцессы Матильды, двоюродной сестры императора французовъ, во время своего путешествія по Швейцаріи. Такъ онъ, по крайней мѣрѣ, разсказывалъ о своемъ изящномъ хронометрѣ, который, вмѣстѣ со многими другими изящными бездѣлушками и антиками, привезъ съ собою изъ-за границы.

Графъ Болеславъ Тенчинскій, отецъ котораго почему то вышелъ цѣлъ и невредимъ послѣ возстанія 1831 года, въ ко-

торомъ онъ принималъ даже очень дѣятельное участіе, служилъ въ молодости своей въ гусарахъ, и дослужился до маіорскаго чина. Двадцати-пяти лѣтъ отъ роду, онъ женился на очень богатой наслѣдницѣ, что еще больше увеличило его и безъ того громадное состояніе, вышелъ въ отставку, поставилъ домъ свой на магнатскую ногу и сталъ жить на удивленіе и зависть всей околодочной шляхты, которая только что начинала оправляться отъ погрома тридцать перваго года. Его рысаки, этипажи, гайдуки, балы, охота, картежная игра, раззорительныя причуды и пожертвованія на костелы и другія общественныя учрежденія сдѣлались предметомъ разговора и даже гордости не только всей губерніи, но даже всего края. На него стали смотрѣть, какъ на воскресителя временъ Радзивилловъ, Потоцкихъ, Сапѣгъ, Огинскихъ и прочихъ польскихъ магнатовъ, съ ихъ несмѣтными богатствами и баснословною роскошью, доходившею до сумасшествія; и онъ, зная это, ничего больше не хотѣлъ, какъ оправдать лестное о немъ мнѣніе своихъ собратовъ. Одно празднество смѣнялось другимъ, зимою въ его городскомъ дворцѣ, а лѣтомъ въ его загородномъ волшебномъ замкѣ. На этихъ празднествахъ заграничныя вина и родная *старушка* *) истреблялись цѣлыми бочками, потому что гости, какъ истые славяне, любили преимущественно пображничать. Одно время, однакоже, графъ Тенчинскій чуть не лишился всѣхъ своихъ родовыхъ имѣній. Дѣло въ томъ, что въ началѣ сороковыхъ годовъ онъ былъ сильно компрометированъ въ неудавшемся заговорѣ Канарскаго. Но какимъ-то чудомъ онъ, подобно отцу своему, вышелъ цѣлъ и невредимъ изъ этой передряги, послѣ чего нашелъ нужнымъ оставить на-время край, чтобы попутешествовать по Европѣ. Пожуировавъ вдоволь и потершись между польскими эмигрантами, которыхъ встрѣчалъ почти на каждомъ шагу, онъ, въ началѣ пятидесятыхъ годовъ возвратился въ край безъ жены, которую похоронилъ въ Римѣ, безъ большей половины своего состоянія, которую частью прокутилъ въ Парижѣ, а частью проигралъ въ Висбаденѣ и Гомбургѣ, но за то съ большимъ запасомъ патріо-

*) Старая водка.

тизма и многими планами для «взбудованія ойчизны». Его выбрали предводителемъ дворянства, что доставило ему возможность изучать виды, стремленія и средства своего сословія и приготовляться къ роли, которую онъ намѣренъ былъ играть въ будущемъ. Когда ему дали знать, откуда слѣдуетъ, что *плодъ уже созрѣлъ*, онъ поспѣшилъ сложить съ себя званіе предводителя, чтобы имѣть руки совершенно свободными.

Въ эпоху, въ которую происходятъ описываемыя нами событія, графъ Болеславъ Тенчинскій есть одинъ изъ главныхъ столбовъ, такъ называемаго, народнаго жонда, naczelnik miasta, держащій въ рукахъ своихъ всѣ нити польскаго движенія въ западномъ краѣ. Его всѣ боятся, ему всѣ повинуются, какъ силѣ, могущей карать и миловать, по своему усмотрѣнію, во имя ойчизны. Какъ одинъ изъ богатѣйшихъ помѣщиковъ, онъ имѣетъ большой вѣсъ въ шляхетской средѣ, и, какъ бывшій предводитель, у него большія связи въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, съ которыми продолжаетъ поддерживать знакомство, необходимое для успѣшнаго веденія дѣла. И, надобно отдать ему справедливость, онъ ведетъ свое дѣло умно, осторожно и твердо. Отъ времени до времени, онъ дѣлаетъ визиты мѣстнымъ властямъ и принимаетъ ихъ у себя, какъ-бы въ доказательство того, что онъ не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что̂ происходитъ теперь въ краѣ. Мѣстныя власти смотрятъ на него, какъ на мирнаго, благоразумнаго, благонадежнаго поляка, достаточно преданнаго русскому правительству, которое осыпало его чинами и орденами. Графъ Болеславъ Тенчинскій — дѣйствительный статскій совѣтникъ, камергеръ и разныхъ орденовъ кавалеръ, стало быть, онъ высокій сановникъ, связанный съ Россіею больше, чѣмъ съ несуществующею Польшею. Это ему и на руку; онъ достигаетъ этимъ двоякой цѣли: съ одной стороны, онъ властямъ отводитъ глаза отъ своей тайной дѣятельности; а съ другой, онъ заставляетъ тѣже власти дѣлать то, что можетъ споспѣшествовать этой дѣятельности. Нашептываніемъ и ловкой интригой ему нерѣдко удается насолить тѣмъ, которые вредны, и дать ходъ тѣмъ, которые полезны польскому дѣлу. Состоящіе на русской службѣ по-

же русскіе, почуявъ изощреннымѣ чиновничьимъ чутьемъ, откуда дуетъ вѣтеръ, ни къ чему больше не стремятся, какъ угождать всемогущему графу, отъ котораго главнѣе и зависитъ какъ ихъ возвышеніе, такъ равно и ихъ паденіе. Такимъ образомъ, все выходитъ шито и крыто.

Но, чтобы еще больше обезпечить свою игру отъ разныхъ непріятныхъ случайностей, графъ Болеславъ Тенчинскій, какъ человѣкъ осторожный и дальновидный, выписалъ изъ Петербурга своего племянника Николая и свою племянницу Юлію Крутицкихъ, которыхъ нашелъ вполнѣ соотвѣтствующими ролямъ, имъ для нихъ придуманнымъ. Николая, какъ юношу смѣтливаго и чрезвычайно ловкаго, онъ опредѣлилъ адъютантомъ къ *генералу* и такимъ образомъ, что называется, влѣзъ въ душу первенствующаго сановника въ краѣ, а Юлія, какъ дѣвушка высокаго образованія, необыкновеннаго ума и ослѣпительной красоты, должна была состоять при немъ, какъ сила вдохновляющая для польскихъ юношей и какъ сила притягательная и *ублажающая* для русскихъ стариковъ, въ покровительствѣ и защитѣ которыхъ будутъ нуждаться не сегодня, такъ завтра. Къ такимъ ролямъ польскія женщины, какъ извѣстно, привыкли уже съ давнихъ временъ и онѣ всегда разъигрывали ее съ бо̀льшимъ или меньшимъ успѣхомъ. Это графу Болеславу было извѣстно болѣе, чѣмъ кому либо. Весь край удивлялся, какимъ образомъ отецъ его, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, а онъ самъ, въ началѣ сороковыхъ, спасся отъ конфискаціи и ссылки; всѣ приписывали это какому нибудь чуду, чуть не заступничеству святыхъ польскихъ патроновъ, но для него не было тайною, что отецъ его и онъ были пощажены... pour les beaux yeux — въ первомъ случаѣ его красавицы матери, а во-второмъ — его красавицы жены. Такимъ талисманомъ, на всякій случай, должна была служить ему теперь его племянница, потому что семейнымъ правиломъ графовъ Тенчинскихъ было *жить* для ойчизны, но не умирать за нее; а графъ Болеславъ строго держался преданій своего знаменитаго рода.

Какъ только часы пробили одиннадцать, графъ Болеславъ Тенчинскій, продолжая курить совю трубку, подошелъ къ своему письменному столу и пожалъ пружину отъ сонетки. Въ дверяхъ появился лакей.

— Прондкевича! — пробасилъ графъ, выпустивъ цѣлое облако дыму изо рта.

Лакей поклонился и исчезъ. Черезъ двѣ минуты въ кабинетъ вошелъ кругленькій и приземистый мужчина средихъ лѣтъ, въ чамаркѣ изъ сѣраго сукна, съ синими очками на горбатомъ носу, съ большою лысиною на большой головѣ и съ чернымъ портфелемъ подъ мышкою. Это былъ панъ Прондкевичъ, секретарь народнаго жонда, креатура графа Тенчинскаго, который его вывелъ въ люди. Панъ Прондкевичъ былъ трудолюбивъ, смѣтливъ, молчаливъ и послушенъ — качества, которыми графъ особенно дорожилъ въ подчиненномъ. Отвѣсивъ графу глубокій поклонъ, панъ Прондкевичъ спросилъ:

— Писать?

— Писать, — отвѣтилъ графъ.

— На бланкахъ?

— На бланкахъ.

Панъ Прондкевичъ, собравъ всѣ нужные матеріалы, сѣлъ къ письменному столу и проговорилъ:

— Готово, ваше сіятельство.

Графъ Болеславъ отставилъ трубку въ уголъ, скрестилъ руки на груди, снова зашагалъ по комнатѣ и началъ диктовать:

«Начальнику В — скаго повіата. Жондъ народный уполнимочиваетъ васъ поступать съ измѣнниками ойчизны по вашему усмотрѣнію, причемъ вы должны, однакоже, руководствоваться строгой справедливостью. Ихъ личностямъ и имуществамъ быть внѣ покровительства законовъ, впередь до изъявленія ими безусловной покорности поставленнымъ властямъ».

— Поставленнымъ властямъ,—проговорилъ панъ Прондкевичъ, дописавъ эти слова.

— Дальше. «Военнымъ экзерциціямъ быть почаще. Пороха не жалѣть. Разъ въ мѣсяцъ дѣлать смотры и маневры въ лѣсахъ, подальше отъ почтовыхъ и сельскихъ трактовъ. Исправникъ будетъ смѣненъ. Предложеніе молодыхъ помѣ-

щиковъ вашего уѣзда принимается съ благодарностью. На дняхъ будетъ сдѣлано объ этомъ надлежащее распоряжніе. Номинаціи будутъ вамъ доставлены немедлеменно по полученіи ихъ изъ центральнаго комитета. Донесенія адресовать на мое имя». Написано?

— Написано, — сказалъ панъ Прондкевичъ.

— Возьмите другой бланкъ и пишите:

«Ксендзу пробощу Д. въ К. Мы съ прискорбіемъ узнали, что общество трезвости въ вашей парафіи совершенно разстроилось и мужики, забывъ свой зарокъ, опять наполняютъ кабаки и пропиваютъ тамъ свой достатокъ и энергію, необходимые для освобожденія ойчизны. Приписывая этотъ прискорбный фактъ столько же интригамъ акцизныхъ чиновъ и жидовъ, сколько и вашему слабому дѣйствію, мы, съ дозволенія его эминенціи, *строжайше* (подчеркните это слово) приказываемъ вамъ, принять энергическія мѣры для прекращенія этихъ безчинствъ, гибельныхъ для нашей святой справы! Разъ навсегда сказано, что вы должны пріучать мужиковъ къ строгому повиновенію костелу и костельнымъ властямъ. Стращайте ихъ отлучіемъ отъ церкви, папскимъ проклятіемъ и т. п. Если мужики выйдутъ изъ повиновенія вамъ, они неминуемо поступятъ въ повиновеніе москалямъ, за что жондъ строго съ васъ взыщетъ». Готово?

— Готово, ваше сіятельство.

— Теперь на почтовой бумагѣ, безъ исходящаго нумера. Г-ну инженеру путей сообщенія, капитану В. въ Г.

«По полученіи вами отставки, имѣете немедленно прибыть въ городъ N. Явиться вамъ къ корнету Николаю Крутицкому, Дворянская улица, № 7, во флигелѣ. Haslo: albo teraz, albo nigdy».

— Готово, — проговорилъ панъ Прондкевичъ.

— Пишите теперь шифрами на бланкѣ:

«Въ центральный комитетъ народнаго жонда. Съ здѣшними банкирами я ничего не могъ сдѣлать: за переводъ денегъ они берутся, но отъ ввоза оружія рѣшительно отказываются, говоря, что это дѣло слишкомъ для нихъ рискованное. Отъ жидовъ другого отвѣта нельзя было и ожидать. Придется прибѣгнуть къ посредничеству N — скаго посольства. Сне-

ситесь съ Парижемъ и скорѣе, дабы не было остановки. Имя Мѣрославскаго уже очень популярно въ краѣ. Его примутъ съ восторгомъ. Какъ идетъ вербовка офицеровъ? — С. превосходно дурачилъ здѣшнихъ. Они его на рукахъ носили и принимали нарасхватъ. Въ послѣдній проѣздъ онъ не успѣлъ ни разу у меня обѣдать.» Готово?

— Готово.

— Стало быть, вы уже свободны, — сказалъ графъ, взявшись снова за свою трубку.

Секретарь сложилъ бумаги, отвѣсилъ низкій поклонъ и вышелъ.

II.

По уходѣ Прондкевича, графъ подобралъ изготовленныя бумаги, сѣлъ на диванъ и сталъ ихъ читать. Окончивъ чтеніе, онъ подошелъ къ стѣнѣ, казавшейся совершенно глухою, нажалъ большимъ пальцемъ на извѣстномъ пунктѣ, отчего изъ стѣны выскочили дверцы довольно большаго шкафа о четырехъ полкахъ. На верхей полкѣ, между разными вещами, находилась небольшая шкатулка, обитая черною кожею. Эту шкатулку графъ Болеславъ снялъ съ полки и поставилъ на свой письменный столъ. Въ этой шкатулкѣ хранилась печать народнаго жонда со всѣми къ тому принадлежностями: разныя краски, кожанная подушечка и т. д. Приложивъ печать къ изготовленнымъ бумагамъ, графъ Болеславъ поставилъ шкатулку на свое мѣсто и захлопнулъ дверцы. Онъ опять закурилъ трубку и кликнулъ лакея.

— Панъ Андрей еще не приходилъ? — спросилъ онъ у появившагося въ дверяхъ лакея.

— Онъ сейчасъ здѣсь былъ и прошелъ къ барышнѣ, — сказалъ лакей.

— Попроси его сюда.

— Слушаю, ваше сіятельство.

Черезъ нѣсколько минутъ, въ кабинетъ вошелъ панъ Андрей, кланяясь графу довольно развязно, но съ оттѣнкомъ подобострастія. Графъ протянулъ ему два пальца своей лѣвой руки.

— Вы за мною изволили посылать?—спросилъ панъ Андрей сладко улыбаясь.

— Да, — отвѣтилъ графъ почти сердито, — я за тобою послалъ, чтобы дать тебѣ выговоръ.

Панъ Андрей пересталъ улыбаться.

— Чѣмъ я провинился? — спросилъ онъ.

— Да тѣмъ, — отвѣтилъ графъ, — что твои дозорцы—олухи, которымъ даромъ мы платимъ жалованье. Чего они смотрятъ, что они знаютъ? — ничего!

— Я, кажется, каждый день рапортую вашему сіятельству о всемъ, происходящемъ въ городѣ, — проговорилъ панъ Андрей въ свое оправданіе.

— Рапортуешь?! — воскликнулъ графъ, иронически улыбнувшись, — т. е. докладываешь, что въ такомъ-то домѣ играли въ преферансъ, а въ такомъ происходила ссора; тотъ уѣхалъ, а тотъ пріѣхалъ; тотъ заказалъ себѣ чамарку, а тотъ выписалъ себѣ изъ Петербурга англійскую трубу *). Развѣ это намъ нужно знать? Развѣ изъ-за этого мы должны держать цѣлый штатъ шпіоновъ, которые обходятся намъ далеко не дешево?

Панъ Андрей понурилъ голову и краснѣлъ, какъ школьникъ, распекаемый учителемъ за незнаніе урока.

— А за тѣмъ, за чѣмъ *слѣдуетъ* наблюдать, они не наблюдаютъ, — продолжалъ графъ, возвысивъ голосъ. — Ну скажи, ты вѣдь начальникъ дозорцевъ, знаешь-ли, что дѣлается въ городѣ, конечно, поважнѣе кухонныхъ новостей? А что, не знаешь? Ну, такъ слушай-же, что до меня дошло помимо твоихъ дозорцевъ.

Графъ сѣлъ на диванъ, вытянулъ ноги, скрестилъ руки и началъ:

— Въ городѣ образовалась шайка бездѣльниковъ, которая задумала, ни больше, ни меньше, какъ москализировать жидовъ! Понимаешь? Мало того, что они не съ нами, они прямо *противъ* насъ, они заодно съ врагомъ. Ты объ этомъ слышалъ?

---

*) Шляпу.

— Нѣтъ,—тихо проговорилъ панъ Андрей, не смѣя поднять глазъ на своего обвинителя.

— То-то-же,—пробасилъ графъ, торжествуя.—Твои дозорцы большіе хваты на глупости, но дѣла, настоящаго дѣла, не понимаютъ. Поэтому, подъ самымъ нашимъ носомъ, москализаторы открыли субботнія школы, въ которыхъ сотни жидовъ разнаго возраста учатся *по-русски*, разослали циркуляры по всѣмъ еврейскимъ обществамъ, чтобы раввины произносили свои проповѣди въ синагогахъ *по-русски*, подали прошеніе о разрѣшеніи имъ издавать *русскую* газету и хлопочутъ теперь объ открытіи *русской* читальни. И все это дѣлается здѣсь, въ центрѣ нашей патріотической дѣятельности, гдѣ намъ удалось ополячить не только нѣмцевъ, но даже русскихъ! Всѣ ополячены, а жиды вздумали русѣть, и именно теперь, когда и духа русскаго не должно быть здѣсь! И все это потому, что ваши дозорцы, чортъ знаетъ, за чѣмъ смотрятъ. Тьфу!

Графъ вскочилъ съ дивана и сталъ въ волненіи ходить взадъ и впередъ, бросая на Андрея взгляды, полные гнѣва.

— Знай мы, что здѣсь затѣвается что-то въ этомъ родѣ,—продолжалъ онъ въ томъ же тонѣ,—мы бы знали, что дѣлать. Средствъ у насъ развѣ мало? Одно слово—и шайка потеряла бы всякую охоту дѣлать мерзости.

— А теперь развѣ нельзя? — осмѣлился спросить панъ Андрей.

— Теперь,—отвѣчалъ графъ,—словомъ уже ничего не сдѣлаешь. Теперь нужно дѣйствовать и притомъ весьма осторожно. Ты не забудь, что мы имѣемъ дѣло съ жидами. Чуть-что не такъ, они поднимутъ такой гвалтъ, что вся Европа сбѣжится имъ на помощь. Они народъ тертый и съ большими связями. Во Франціи и Англіи они имѣютъ министровъ, членовъ парламента изъ своихъ. Вся европейская пресса въ ихъ рукахъ. Словомъ, они наварятъ намъ такую кашу, что станетъ она намъ поперегъ горла. А потому, намъ нужно съ ними политиковать, понимаешь? Политиковать съ жидами! И все это потому, что мы такіе олухи, что ничего не умѣемъ дѣлать во-время и какъ слѣдуетъ.

Панъ Андрей еще больше покраснѣлъ, понявъ, что графъ

употребилъ слово *олухъ* во множественномъ числѣ съ мѣстоименіемъ *мы* только изъ вѣжливости, но что это слово относится, собственно, къ нему одному, Андрею. Онъ крякнулъ и началъ покручивать свои усики, но молчалъ, сознавая, что въ самомъ дѣлѣ виноватъ тѣмъ, что не наблюдалъ, какъ слѣдуетъ, за подвѣдомственными ему дозорцами и не давалъ имъ надлежащихъ инструкцій. Онъ молчалъ еще и потому, чтобы еще больше не раздразнить расходившагося начальника, который могъ лишить его должности, приносившей ему нѣсколько тысячъ рублей въ годъ, не говоря уже о чести принадлежать къ главнымъ дѣятелямъ всемогущаго жонда. Хотя онъ отъ графини Сташицкой, своей *покровительницы*, получалъ все, что ему нужно было, и даже больше, но онъ былъ такой мотъ, что его довольно порядочнаго годоваго дохода было для него мало, и онъ всегда по уши былъ въ долгахъ.

Графъ нѣсколько минутъ помолчалъ, погладилъ усы и потомъ скомандовалъ:

— Садись и пиши! Я дамъ тебѣ инструкцію.

Панъ Андрей сѣлъ и вынулъ изъ кармана свою записную книжку и карандашъ.

— Адольфъ Кранцъ,—началъ было графъ.—Впрочемъ,—спохватился онъ,—за нимъ уже наблюдаютъ. Пиши! Аркадій Саринъ, Францисканская улица, № 15.—Морицъ Мозырскій, Варшавская улица № 3—имѣть за этими лицами строжайшій надзоръ, въ особенности же за Саринымъ.—Знать, что дѣлаютъ, гдѣ они бываютъ и кто у нихъ бываетъ.—У Сарина служитъ лакеемъ отставной солдатъ Ѳома, т. е. Томашъ, католикъ. Дозорцу Францисканской улицы свести съ нимъ знакомство и даже дружбу. Записалъ?

— Записалъ—отвѣтилъ панъ Андрей.

— Послѣзавтра, въ десять часовъ вечера, доставить Сарина въ малый кабинетъ народнаго жонда.

— Какъ?—спросилъ панъ Андрей, взглянувъ вопросительно на графа,—доставить Сарина?

— Да, доставить Сарина,—спокойно отвѣтилъ графъ.

— А что, если онъ не захочетъ идти?

— Онъ захочетъ, нужно такъ сдѣлать, чтобы захотѣлъ.

Я поручаю это дѣло тебѣ, чтобы испытать, способенъ ли ты исполнять порученія жонда. Во всякомъ случаѣ, ты можешь дать ему честное слово, что ему ничего худого не сдѣлають, что съ нимъ хотятъ только переговорить.

Панъ Андрей, волей-неволей, долженъ былъ согласиться на это трудное, а, можетъ быть, и опасное порученіе.

На третій день, около половины десятаго вечера, къ дому подъ № 15, на Францисканской улицѣ, подъѣхала карета съ опущенными шторами. Когда карета остановилась, кучеръ, оглянувшись кругомъ, какъ будто ища кого нибудь глазами, свиснулъ. На свистъ, словно изъ земли, выросла темная фигура, вся закутанная въ непромокаемый плащъ съ капюшономъ. Она подошла къ каретѣ и отворила дверцы.

— Дома?—послышался голосъ изъ кареты.

— Дома,—отвѣтила фигура.

— Никого у него нѣтъ?

— Никого.

— А человѣкъ?

— Должно быть, спитъ уже, потому что я его ввечеру порядочно накачалъ.

— Хорошо, Стась, веди меня къ нему.

Изъ кареты выскочилъ молодой человѣкъ высокаго роста, въ гусаркѣ, оттороченной крымскими смушками, и въ кепи изъ черпаго бархата. Это былъ панъ Андрей; но его нельзя было узнать, потому что онъ былъ гримированъ. Приказавъ кучеру, чтобы онъ отъѣхалъ къ паперти стоявшаго на краю улицы францисканскаго костела, онъ въ сопровожденіи Стася направился къ квартирѣ Сарина, находившейся въ третьемъ этажѣ. Въ корридорѣ Стась зажегъ маленькій складной фонарикъ, который онъ всегда имѣлъ при себѣ.

— Здѣсь,—сказалъ Стась, указывая на дверь, на которой приклеена была визитная карточка: «Аркадій Саринъ».

Сердце у пана Андрея екнуло, потому что онъ, при всей своей молодецкой и даже вызывающей наружности, былъ, въ сущности, большой трусъ, боявшійся и тѣни опасности; а свое нынѣшнее посольство онъ считалъ даже очень опаснымъ.

Съ минуту онъ стоялъ у дверей въ раздумьи, не рѣшаясь отворять ихъ.

— Смѣлѣе, вельможный панъ, — ободрялъ его Стась,— онъ человѣкъ тихій и смирный, а въ случаѣ чего, такъ я здѣсь. Свисните, такъ я войду и на рукахъ его понесу.

Панъ Андрей, погладивъ свои искусственные баки и бородку и ощупавъ въ карманѣ своей гусарки пистолетъ (онъ почему-то счелъ нужнымъ взять съ собою пистолетъ), крякнулъ и отворилъ дверь.

Саринъ сидѣлъ въ эту минуту въ своемъ кабинетѣ за письменнымъ столомъ и что-то писалъ, а человѣкъ его храпѣлъ на топчанѣ въ прихожей. Больше въ квартирѣ не было ни одной живой души, за исключеніемъ канарейки въ клѣткѣ, висѣвшей въ смѣжной съ кабинетомъ комнатѣ, служившей гостиной и заломъ. Услыша скрипъ отворившейся двери и шорохъ въ прихожей, Саринъ перестал писать и спросилъ:

— Кто тамъ?

— Свой,—отвѣтилъ панъ Андрей, тихонько направляясь въ гостинную, которая не была освѣщена.

Услышавъ незнакомый голосъ, Саринъ взялъ со стола одну изъ свѣчей и вышелъ въ гостиную.

— Bonsoir, citoyen,—привѣтствовалъ его панъ Андрей, добродушно улыбаясь и протягивая Сарину руку,—excusez, que je vous dérange un peu... Mais que faire? Mon devoir... la patrie... et enfin... vous comprenez...

— Mais je ne comprends rien, monsieur,—перебилъ его Саринъ сурово и твердо, бросивъ взглядъ въ прихожую на храпѣвшаго Ѳому, какъ будто призывая его на помощь противъ таинственнаго гостя, начинавшаго внушать ему страхъ.

Панъ Андрей понялъ этотъ взглядъ и поспѣшилъ успокоивать Сарина.

— Oh, soyez tranquille, mon cher monsieur Sarine, je suis venu... Mon intention est... mais je puis vous assurer, monsieur, que vous vous trouvez dans une tres honnéte compagnie.

— Je le veux croire, quoique... mais enfin votre nom, monsieur?

— На что вамъ мое имя? — отвѣтилъ панъ Андрей уже по-польски,—мое имя къ дѣлу не относится.

— Очень можетъ быть, но скажите, наконецъ, что вамъ отъ меня угодно въ такую необыкновенную пору?

— Мнѣ угодно, чтобы вы подрудились отправиться со мною въ одно мѣсто, гдѣ васъ ожидаютъ.

— Что это за мѣсто?

— Не могу сказать: это секретъ.

Саринъ подумалъ съ минуту, оглянулъ Андрея съ головы до ногъ и сказалъ:

— Скажите прямо, вы изъ, такъ называемаго, жонда народоваго?

— Можетъ быть.

— Полина, — подумалъ про себя Саринъ. Онъ пожалъ плечами и опять спросилъ:

— Что-же будетъ, если я не пойду?

— Зачѣмъ вамъ не идти? Вамъ ничего худого не сдѣлаютъ, даю вамъ честное слово дворянина. Съ вами поговорятъ и отпустятъ съ миромъ. Черезъ часъ, много черезъ полтора часа, я васъ доставлю въ сохранности назадъ.

Саринъ опять задумался, потомъ, взявъ пана Андрея за руку, повелъ его въ прихожую и, указавъ на образъ Божіей Матери, висѣвшей въ углу надъ изголовьемъ Ѳоминой постели, проговорилъ:

— Поклянитесь мнѣ этимъ священнымъ для христіанъ изображеніемъ, что будетъ такъ, какъ вы говорите, и я вамъ повѣрю.

Панъ Андрей чуть не ахнулъ отъ удивленія. Онъ быстро преклонилъ одно колѣно, три раза перекрестился и, поднявъ свою правую руку къ образу, произнесъ громко и съ чувствомъ:

— Клянусь!

Потомъ онъ всталъ и, предавшись охватившему его чувству, бросился обнимать и цѣловать удивлённаго, почти испуганнаго Сарина.

— Послушайте, г. Саринъ, — началъ онъ растроганнымъ и взволнованнымъ голосомъ, — вы... мое имя Андрей Грушевичъ. Съ такимъ человѣкомъ, какъ вы, нечего секретничать. Вы не предадите и не измѣните. Вы христіанинъ.

— Я еврей.

— Когда вы можете относиться съ такимъ уваженіемъ къ нашей религіи, то вы христіанинъ, вы нашъ, назовитесь хоть тысячу разъ евреемъ! Въ васъ душа христіанская.

— Человѣческая, — замѣтилъ Саринъ.

— Вы только по ошибкѣ судьбы очутились между евреями, но вы христіанинъ. Soyons amis! отнынѣ вы — братъ мой!

— Какъ ближній — вы всегда были моимъ братомъ.

— Такъ не скажетъ ни одинъ еврей.

— Такъ думаютъ и чувствуютъ всѣ образованные евреи.

— Если это такъ, то отчего-же мы такъ глубоко ненавидимъ другъ друга?

Саринъ хотѣлъ было что-то отвѣчать, но въ эту минуту Ѳома сталъ просыпаться и открылъ глаза, а потому разговоръ долженъ былъ прекратиться.

— Ѣдемъ, — сказалъ панъ Андрей, пряча свое загримированное лицо отъ отставного солдата, который началъ бросать на своего барина недоумѣвающіе взгляды, такъ какъ не могъ понять, что они дѣлаютъ въ такую пору около его постели. Онъ хотѣлъ было зѣвнуть, но воздержался, ограничившись только моментальнымъ искривленіемъ рта.

— Я только переодѣнусь немного; затѣмъ я къ вашимъ услугамъ, - проговорилъ Саринъ, удаляясь въ свой кабинетъ. Черезъ нѣсколько минутъ, они уже спускались съ лѣстницы предшествуемые Стасемъ, который въ одной рукѣ держалъ фонарь, а другою надвигалъ капюшонъ по самый подбородокъ, дабы Саринъ не могъ подмѣтить ни одной черты его лица.

Когда панъ Андрей и Саринъ сѣли въ ожидавшую ихъ у костела карету и дверцы за ними захлопнулись, Стась вскочилъ на козлы, сказалъ кучеру что-то на ухо, и карета помчалась.

III.

Графъ Болеславъ и Юлія Крутицкая сидѣли въ «маломъ кабинетѣ» народнаго жонда, находившемся въ одной изъ отдаленнѣйшихъ комнатъ обширнаго графскаго дворца. Этотъ «малый кабинетъ», называвшійся также президентскою камерою, сообщался посредствомъ потаенныхъ дверей и лѣстницъ

съ «большимъ кабинетомъ», находившимся *подъ* нимъ, и тайною типографіею, находившеюся *надъ* нимъ. Кромѣ того, изъ этого же кабинета проведены были внизъ и на-верхъ слуховыя трубы, черезъ которыя графъ, въ случаѣ надобности, отдавалъ мелкія приказанія и получалъ отвѣты. По ночамъ, во время занятій въ кабинетахъ и типографіи, дежурили, въ качествѣ прислуги, дозорцы, пользовавшіеся особеннымъ довѣріемъ жонда. Для пущей важности они вооружались тогда кинжалами и заряженными пистолетами.

— Все не то, — сказалъ графъ, окончивъ читать лежавшую передъ нимъ бумагу;—для перваго нумера нужна статья живая, огнемъ дышащая, а онъ разсуждаетъ, проповѣдь читаетъ. Исписался нашъ любезный поэтъ.

— Не исписался, а затосковался, — замѣтила тихо, какъ бы про себя, панна Юлія, продолжая чертить что то на бумагѣ.

Графъ, однакоже, услышалъ это слово.

— Затосковался? По комъ? — спросилъ онъ, поднявъ голову и взглянувъ на сидѣвшую въ углу, за своимъ рабочимъ столикомъ, панну Юлію.

— По водкѣ — отвѣтила послѣдняя нѣсколько громче, но все таки не отрывая глазъ отъ работы, которая, какъ видно, очень занимала ее. — Его держатъ теперь на строгой діэтѣ, ему не даютъ даже понюхать водки: доктора строго запретили, поэтому онъ такъ вялъ и скученъ. Но дайте ему хорошій стаканъ пуншу, такъ онъ и накатаетъ вамъ такую статью или поэму, что волосы встанутъ дыбомъ.

— Чтожъ я прикажу, чтобъ ему дали.

— Но это его убьетъ.

— Ему вѣдь и такъ не долго жить. Не все-ли равно ему умереть мѣсяцемъ раньше или позже?

Панна Юлія затряслась отъ этихъ словъ. Она строго взглянула на своего дядю и сказала:

— За одинъ лишній мѣсяцъ его жизни я готова отдать годъ и даже два моей собственной. Я смотрю на него, какъ на послѣднюю искорьку нашей славной, но угасающей поэзіи. Въ каждомъ новомъ его стихотвореніи слышится мнѣ лебединая пѣснь нашего народнаго генія. Не знаю почему, но я

предчувствую, что вмѣстѣ съ нимъ мы похоронимъ и нашу поэзію, нашу литературу.

— Юлія!—крикнулъ строго графъ, вскочивъ съ своего мѣста,—не люблю я этихъ предчувствій и предсказаній! Ты хочешь разъигрывать роль Кассандры?

— О, совсѣмъ не того я хочу, дядюшка, проговорила Юлія, горько улыбнувшись, — я хотѣла только сказать то, что я чувствую. А чувствую я, — сердитесь или не сердитесь, — что съ Тадеушемъ Шарачкевичемъ умретъ все, что въ насъ есть лучшаго, т. е. духъ нашъ, поэзія наша.

— Ты мечтательница, а потому принимаешь болѣзненное предчувствіе за что нибдь существенное.

— Нѣтъ, дядюшка,—отвѣтила Юлія со вздохомъ,—я не мечтательница, я только женщина, а женщина чувствуетъ глубже и видитъ яснѣе, хоть вы, мужчины, и не признаете этого. Я васъ только спрошу, отчего лира нашего народнаго вѣщуна съ нѣкотораго времени стала издавать такіе заунывные, сердце раздирающіе звуки? Отчего онъ, желая, повидимому, смѣяться, плачетъ горючими, кровавыми слезами?

— Отчего? — переспросилъ графъ,—оттого, что ему не весело. И какъ быть ему веселымъ? Любимая женщина измѣнила ему, жена якшается съ молодежью, критика хлещетъ въ два бича, издатели скупо платятъ, кредиторы покою не даютъ, а тутъ еще болѣзнь запрещеніе пить и — и мало ли еще другихъ домашнихъ дрязгъ, отравляющихъ его жизнь. Какъ же ему не плакать?

— Нѣтъ, дядюшка, —возразила Юлія,—я съ вами не согласна. Не исчисленными вами житейскими дрязгамя объясняется невыразимая тоска нашего народнаго поэта. Поэтъ —натура высшая; если бы онъ вдохновлялся только своимъ личнымъ горемъ и радостью, онъ не былъ бы поэтомъ, онъ не могъ бы на насъ дѣйствовать. Мы оставались бы равнодушными къ его пѣсни, потому что намъ нѣтъ никакого дѣла до его домашнихъ обстоятельствъ. Его тоска имѣетъ болѣе возвышенный, болѣе чистый источникъ. Сердце его болитъ за насъ всѣхъ, потому-что зоркій глазъ его проникаетъ черезъ завѣсу будущаго и духъ его ясно видитъ то, что для насъ, простыхъ смертныхъ, еще сокрыто. Древніе пророки

были тоже поэтами; они предвидѣли и предсказывали паденіе Израиля, народъ осмѣивалъ ихъ, какъ мечтателей, но ихъ пророчества, тѣмъ не менѣе, сбылись... Но оставимъ этотъ разговоръ,—прибавила она, вставъ съ своего мѣста и подошедъ къ графу съ своею работою.

— Какъ вамъ нравится эта виньетка?

Рисунокъ изображалъ повстанца въ полномъ вооруженіи и съ знаменемъ въ рукахъ; надъ повстанцемъ парилъ въ облакахъ польскій орелъ съ короною на головѣ и съ перунами въ когтяхъ.

— Хорошо,—похвалилъ графъ, разсмотрѣвъ рисунокъ,—это будетъ очень подходящею виньеткою для нашей газеты Chorągiew swobody. Когда этотъ рисунокъ будетъ утвержденъ комитетомъ, то я прикажу вырѣзать его на деревѣ. Хорошо, Юлинька,—прибавилъ онъ, поцѣловавъ ее въ лобъ,—ты истинный художникъ. Но что мы поставимъ въ заголовкѣ крестьянской газеты Batkouszyzna?

— Я и для Batkouszyzny что нибудь придумаю и нарисую,—отвѣтила Юлія.

Часы пробили десять и вслѣдъ за тѣмъ, въ кабинетъ вошелъ Андрей Грушевичъ.

— Привезъ? спросилъ его графъ.

— Привезъ ваше сіятельство,—отвѣтилъ панъ Андрей.

— Молодецъ!—похвалилъ его графъ,—пропусти его сюда черезъ двѣ минуты.

Графъ и Юлія надѣли полумаски и растрепали свои волосы.

Черезъ двѣ минуты предъ ними предсталъ Саринъ, блѣдный, взволнованный, испуганный. Онъ еще больше изпугался, когда увидѣлъ передъ собою замаскированныя лица. Онъ невольно оглянулся назадъ, какъ-бы прося помощи и защиты у своего новаго друга, Андрея Грушевича; но этого друга въ кабинетѣ не было.

— Не пугайтесь, г. Саринъ,—проговорилъ графъ, замѣтивъ волненіе молодаго человѣка,—не забывайте, что вы гость подъ кровлей славянина, стало быть, вы можете быть спокойны.

Эти слова успокоительно подѣйствовали на Сарина.

— Садитесь, Саринъ,—сказалъ графъ, указавъ на близь

стоявшее кресло —Я хочу потолковать съ вами. Надѣюсь, что мы съ вами не будемъ ссориться, потому-что, откровенно вамъ скажу, ваша физіономія мнѣ очень нравится. Я васъ не знаю, но я чувствую, что вы человѣкъ умный, прямой и честный.

Саринъ покраснѣлъ и поклонился.

— Не угодно-ли вамъ покурить?—сказалъ графъ, подавая ему сигару.

Саринъ поблагодарилъ и взялъ сигару.

— Вотъ еще одинъ поводъ любить васъ,—проговорилъ графъ, рѣшившійся окончательно отуманить молодаго человѣка своею любезностью. У васъ настоящій польскій акцентъ, съ чѣмъ я васъ отъ души поздравляю.

И онъ крѣпко пожалъ руку Сарина. Панна Юлія встала, зажгла спичку и поднесла ее Сарину, при чемъ глаза их блестящіе, проницательные, встрѣтились. Молодые люди невольно задрожали и потупили глаза.

— Знаете ли, г. Саринъ, зачѣмъ мы васъ побезпокоили? —началъ графъ, закуривъ сигару.

— Надѣюсь теперь узнать,—отвѣтилъ Саринъ.

— А вотъ зачѣмъ,—продолжалъ графъ.—До нашего свѣдѣнія дошло, что вы, т. е. не вы одни, а нѣкоторые изъ вашей молодежи, рѣшились систематически мѣшать намъ, вредить нашему дѣлу.

— Чѣмъ мы это вредимъ вашему дѣлу?

— Тѣмъ, что вы москализируете вашихъ единовѣрцевъ которые должны быть поляками.

— Должны быть! Но не угодно ли вамъ объяснить мнѣ, отчего они уже не сдѣлались поляками? Мы столько вѣковъ живемъ между вами и подъ вашею опекою, а вы теперь только рѣшили, что мы должны быть поляками! А мы вотъ какъ рѣшили: такъ какъ мы до сихъ поръ не сдѣлались поляками, стало быть, мы ими не можемъ быть, а потому мы должны быть русскими.

— Но это неблагодарно!—воскликнулъ графъ, зашевелившись на своемъ креслѣ.—мы разъ навсегда васъ пріютили въ то время, когда васъ отовсюду гнали.

— За пріютъ мы вамъ отплатили тѣмъ, что создали у

съ торговлю, промышленность, третье сословіе, безъ которыхъ Польша не могла бы просуществовать даже столько, сколько она просуществовала. Стало быть, мы въ этомъ отношеніи квиты. Услуга за услугу. А что мы не сдѣлались поляками, то ужь пеняйте на себя. Поляки всегда имѣли неблагоразуміе смотрѣть на насъ, какъ на толпу цыганъ. мы не толпа цыганъ, мы—нар[illegible]ивилизованный въ своемъ родѣ и способны ко всякой культурѣ. Если-бы вы захотѣли только, то вы, меньше, чѣмъ въ полвѣка, могли-бы превратить насъ въ истыхъ поляковъ, которые съ самоотверженіемъ пошли-бы теперь сражаться за ойчизну.

— Мы развѣ не хотимъ этого?—спросилъ графъ,—мы же васъ просимъ, умоляемъ.

— Теперь уже поздно, отвѣтилъ Саринъ.—Было время, когда мы и безъ вашего приглашенія предлагали вамъ наше состояніе, нашу жизнь для спасенія ойчизны. Это было тридцать лѣтъ тому назадъ. Что же вы намъ тогда отвѣчали? Вы, ваши предводители, даже ваши люди науки, Лелевель, напримѣръ, съ презрѣніемъ отвергли патріотическіе порывы варшавскихъ евреевъ, говоря, что они не хотятъ, чтобы Польша обязана была своимъ спасеніемъ между, прочимъ, и помощи жидовъ.

— Я это слышу въ первый разъ,—замѣтилъ графъ, пожавъ плечами и переглянувшись съ Юліей.

— Стало быть, вамъ не совсѣмъ знакома исторія польскаго восстанія тридцать-перваго года, а намъ она знакома во всѣхъ ея подробностяхъ. Я могу назвать вамъ имена польскихъ патріотовъ изъ евреевъ, тогда юношей, а теперь стариковъ, живущихъ за-границей въ изгнаніи и мечтающихъ о возрожденіи своей неблагодарной ойчизны, предпочитая скитальчество амнистіи русскаго правительства, потому-что идея, которой они разъ предались для нихъ дороже всего, потому что народъ нашъ одинъ только и способенъ жить, страдать и умирать за идею.

Графъ и Юлія слушали его съ возрастающимъ любопытствомъ. Саринъ продолжалъ:

— Если-бы вы дѣйствовали благоразумнѣе, вы имѣли бы теперь не дюжину патріотовъ изъ евреевъ, а цѣлыхъ два миль-

она, и дѣло Польши, можетъ быть, имѣло бы совсѣмъ иные шансы.

— Оно и теперь будетъ выиграно,—замѣтилъ графъ.

— Нѣтъ, милостивый государь,—возразилъ Саринъ,—оно проиграно, навѣрно проиграно, и это потому, что для успѣха вашего дѣла, кромѣ патріотизма, нуженъ умъ и тактъ, а вы, между тѣмъ, и теперь дѣлаете ошибки за ошибками, несообразность за несообразностью, и дѣло ваше уже неполравимо.

— Будто бы,—замѣтилъ графъ, иронически улыбнувшись и переглянувшись съ Юлей, которая тихонько вздохнула.

— Это ясно, какъ день, въ осбенности для насъ, стоящихъ издали и наблюдающихъ безстрастно за ходомъ дѣла. Со временемъ это будетъ ясно и для васъ. Изъ всѣхъ польскихъ дѣятелей которыхъ мы знаемъ, одинъ только понимаетъ дѣло, какъ слѣдуетъ, и ведетъ его съ замѣчательнымъ искусствомъ и довелъ бы его до цѣли, если бы ему не мѣшали.

— Кто этотъ замѣчательный дѣятель? спросилъ графъ.

— Маркизъ Велепольскій.

— Этотъ измѣнникъ? Этотъ московскій шпіонъ и лакей?—воскликнулъ графъ, расхохотавшись.

— Онъ не измѣнникъ и не шпіонъ, а великій патріотъ и одинъ изъ умнѣйшихъ государственныхъ людей, которыхъ вы когда либо имѣли. Не военные таланты Костюшки но государственный умъ Велепольскаго воскресилъ бы Польшу. Онъ для современной Польши могъ бы быть тѣмъ, чѣмъ графъ Кавуръ былъ для Италіи. Но вы его не понимаете, и за это непониманіе вы дорого поплатитесь.

— Nonsens!—замѣтилъ графъ, махнувъ рукой. Саринъ однакожъ продолжалъ:

— Партія красныхъ—одна изъ опаснѣйшихъ политическихъ партій въ каждой странѣ. Злѣйшій врагъ не нанесетъ столько вреда странѣ, сколько эта партія своимъ изступленнымъ патріотизмомъ, потому что она обыкновенно составляется изъ головъ горячихъ, но пустыхъ.

— Что?! —воскликнулъ графъ, какъ бы внезапно ужаленный змѣей, покраснѣвъ подъ маской и заскрежетавъ зубами, — вы смѣете читать намъ нотацію? Мы не нуждаемся въ вашей апробаціи. Мы не для этого пригласили васъ, понимаете?

Саринъ не растерялся отъ этой графской вспышки. Онъ только всталъ, бросилъ недокуренную сигару въ уголъ и, нахмуривъ брови, произнесъ:

— Милостивый государь! Мнѣ все равно, для чего бы вы меня ни приглашали; я всегда буду говорить правду, потому что я, какъ вы сами прочли на моемъ лицѣ, человѣкъ честный и прямой. Если вамъ не угодно слушать, то отпустите меня. Прикажите проводить меня, или... я не подъ кровлей славянина?...

IV.

Эти слова, въ особенности же спокойствіе, съ которымъ они были произнесены, обезоружили графа. Онъ устыдился своей неумѣстной вспышки, увидѣвъ, что имѣетъ дѣло съ чудакомъ, искренность и честность котораго внушали ему уваженіе. Онъ теперь только сообразилъ, что такіе оригиналы, какъ Саринъ, не имѣютъ ни малѣйшаго намѣренія сказать кому либо грубость или дерзость, а предаются беззаботно теченію своихъ мыслей, развитію взлелѣянныхъ ими въ кабинетѣ идей, теорій. Съ какой-же стати онъ принялъ отзывъ Сарина о партіи красныхъ на свой счетъ и разсердился? Развѣ Саринъ зналъ, что говоритъ съ однимъ изъ предводителей этой партіи?.... Сознавая, что онъ сдѣлалъ большую глупость, графъ поспѣшилъ исправить ее.

— Вашу руку, г. Саринъ, —проговорилъ онъ, вставъ и протянувъ молодому человѣку руку.—Извините, что я такъ некстати прервалъ васъ. Продолжайте, мы васъ слушаемъ съ удовольствіемъ.

Саринъ сѣлъ и опять началъ:

— Впрочемъ, васъ нельзя даже обвинять, что вы поступаете такъ, а не иначе. Народъ слѣпо дѣлаетъ то, что ему предопредѣльно тою еще неизвѣданною силою, которая можетъ быть названа историческою судьбою. Эта то неумолимая судьба и заставляетъ васъ дѣлать такія политическія ошибки, которыя тѣмъ скорѣе приближаютъ васъ къ развязкѣ, къ сожалѣнію, весьма печальной.

— Что?—воскликнулъ графъ, поблѣднѣвъ подъ маскою.— Нѣтъ, милостивый государь, мы живемъ, и будемъ жить! Jeszce Polska nie zginela!

— Это *вы* такъ думаете,—возразилъ Саринъ, —а *мы* думаемъ иначе. Поэтому, нѣтъ ничего удивительнаго, что мы, по чувству самосохраненія, не хотимъ имѣть съ вами ничего общаго. Польша свою миссію исполнила: она познакомила человѣчество съ представительнымъ образомъ правленія, стало быть, она просуществовала не даромъ, потому что внесла въ общую сокровищницу и свою лепту, за которую имя ея будетъ благословляемо въ дальнѣйшемъ потомствѣ. Но, сыгравъ свою роль, хорошо-ли худо-ли, она, по общему закону, должна была отойдти въ вѣчность—и отошла или отходитъ, и намъ остается только желать, чтобы ея агонія не продолжалась слишкомъ долго, потому что очень грустно присутствовать при агоніи какого нибудь человѣка, а тѣмъ болѣе еще цѣлаго народа. Мы отъ всего сердца сочувствуемъ вашему горю, вашимъ предсмертнымъ мукамъ; но лечь съ вами въ могилу мы не должны, потому что вы не дали намъ на то права. Вы водили съ нами только знакомство, но не дружбу, вы не позволяли намъ быть братьями, а потому, въ послѣдній часъ вашей ойчизны, мы, какъ чуждые другъ другу, должны разойтись въ разныя стороны.

Изъ груди панны Юліи, слѣдившей за словами молодаго человѣка съ напряженнымъ вниманіемъ, вырвался долго подавленный вздохъ, почти крикъ.

Саринъ продолжалъ:

— Вредить вамъ было-бы съ нашей стороны неслыханною низостью. Мы на такую низость не способны. Головою ручаюсь вамъ за всю нашу образованную молодежь, что она не повредитъ вамъ ни малѣйшимъ дѣломъ. Что бы ни происходило передъ нашими глазами,—а передъ нашими глазами происходитъ очень многое и, замѣтьте, намъ совсѣмъ не трудно узнать всю *суть* происходящаго,—мы будемъ молчать, какъ могила, потому что, поймите, мы *желаемъ*, собираемся быть русскими, но мы еще не русскіе, а тѣмъ меньше еще русскіе патріоты. Но фактической помощи вы отъ насъ не ждите, потому что вы не заслужили. Въ предстоящей борьбѣ, мы, т. е. молодежь или интеллигенція наша, будемъ соблюдать строжайшій нейтралитетъ; за толпу же, за чернь, мы не ручаемся: она будетъ служить и вамъ, и русскимъ, смотря

потому, откуда ей почудится матеріальная выгода. Сегодня она будетъ служить вамъ, а завтра врагамъ вашимъ. Ужъ такова послѣдовательность всякой черни... Я кончилъ.

— Вы кончили?—спросилъ графъ, погладивъ свои усы.

— Да.

— Теперь я начну. Мы вамъ очень благодарны, что вы такъ откровенно изложили намъ ваше мнѣніе или, справедливѣе, вашу теорію: еще болѣе мы вамъ благодарны, что вы такъ хорошо усвоили себѣ языкъ нашъ. Кто такъ хорошо владѣетъ польскимъ языкомъ, тотъ только по недоразумѣнію не можетъ быть полякомъ. А вы положительно ошибаетесь, потому-что вамъ недостаетъ многихъ свѣдѣній.

— Можетъ быть,—замѣтилъ Саринъ.

— Вы Польшу уже похоронили и отпѣли, а между тѣмъ она никогда не жила такою полною жизнью, какъ теперь. Вы не знаете, какими громадными средствами, матеріальными и нравственными, мы теперь владѣемъ. Вы не знаете, до какихъ исполинскихъ размѣровъ выросъ патріотизмъ нашъ. Все дышетъ теперь ойчизною, отъ сѣдаго старика и до груднаго младенца. Съ тридцатьперваго года мы то и дѣлали, что приготовляли себя къ освобожденію ойчизны. Но мы были-бы глупы, если бы мы теперь затѣвали борьбу съ Россіею, разсчитывая на однѣ наши собственныя силы. Мы имѣемъ союзниковъ. За насъ, во первыхъ, Франція. Вы знаете, что говорилъ принцъ Наполеонъ въ засѣданіи сената?

— Знаю, — отвѣчалъ Саринъ, — онъ довольно хорошій ораторъ.

— Но, г. Саринъ, дѣло не въ его искусствѣ говорить, а въ томъ, что его устами говорила вся Франція.

— Позволяю себѣ сомнѣваться въ этомъ.

— Но мы въ этомъ не сомнѣваемся. За насъ, во вторыхъ, Англія, Италія, Испанія, словомъ, большая половина Европы. Противъ Россіи составляется теперь коалиція, какъ въ 1854-мъ году... Не смотря, однакоже, на все это, мы хотимъ, чтобы и евреи были на нашей сторонѣ. Почему? Это *мы* знаемъ, хотя, откровенно говоря, мы въ ихъ помощи нисколько не нуждаемся. Евреи въ крулевствѣ уже присоединились къ нашему знамени; евреи здѣшняго края тоже стали склоняться

на нашу сторону, но вы пришли и стали тянуть ихъ на сторону Россіи. Вотъ почему я счелъ нужнымъ предупредить васъ, чтобы вы бросили эту неблагодарную затѣю. Вы дѣлаете большую ошибку; вы ставите на карту судьбу всего вашего племени и вѣрно проиграете.

— Это еще неизвѣстно,—замѣтилъ Саринъ.

— Не извѣстно вамъ, потому что вы приступили къ дѣлу съ предвзятою теоріею. Вы слишкомъ много разсчитываете на Россію, на русскихъ, но вы не знаете ни Россіи, ни русскихъ. Отъ Россіи вамъ нечего ожидать. Ей совсѣмъ не до васъ. Вы у нея, повѣрьте, послѣдняя спица въ колесницѣ. При томъ, гдѣ ей теперь и думать о васъ, когда она по уши въ хлопотахъ по затѣянной ею, чортъ знаетъ, изъ какихъ видовъ, крестьянской кутерьмѣ, изъ которой она врядъ-ли благополучно выпутается. До васъ-ли ей теперь!...

— Мы знаемъ, что̀ дѣлаемъ,—отозвался Саринъ.

— А я говорю, что не знаете. Вы губите народъ свой. Россія и спасибо вамъ не скажетъ за труды ваши на ея пользу. Мы, правда, не уважали васъ, но Россія положительно васъ презираетъ. Вамъ, можетъ быть, неизвѣстно, но мнѣ очень хорошо извѣстно, что̀ о васъ думаютъ въ Россіи, въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Васъ вводитъ въ заблужденіе русская пресса, такъ называемые, русскіе либералы. Но вы знаете-ли, что̀ такое русскій либералъ? Это африканскій негръ, вымазавшійся мѣломъ. Grattez le Russe,—сказалъ Наполеонъ,—et vous trouverez un tartare pur sang. И это не острота, а правда. Мы сознаемъ, что мы нѣсколько виноваты передъ вами; но дайте намъ покончить съ москалями, такъ мы исправимъ нашу ошибку. Вы до сихъ поръ были нашими знакомыми, теперь вы будете нашими братьями. Ищите вашего счастія въ Польшѣ.

— Мы рѣшились искать его въ Россіи.

— Вы его тамъ не найдете.

— А мы надѣемся, что найдемъ.

— И это ваше послѣднее слово?

— Послѣднее.

— Стало быть, бесѣда наша кончена,—сказалъ графъ, вставъ съ своего мѣста.—Ученаго учить только время тра-

тить,—прибавилъ онъ съ досадою.—Ваша предвзятая теорія погубитъ васъ и вашихъ единовѣрцевъ. Вы не хорошо кончите, молодой человѣкъ.

— Мы всѣ подъ Богомъ ходимъ,—проговорилъ Саринъ, взявъ свои перчатки.

— Прощайте, г. Саринъ, или, справедливѣе, до свиданія,—сказалъ графъ, дернувъ три раза за сонетку.—Сердце мнѣ говоритъ, что вы къ намъ еще возвратитесь съ повинною. Мы вамъ, впрочемъ, всегда будемъ рады. Помните это.

— Буду помнить,—сказалъ Саринъ, поклонившись графу и паннѣ Юліи. Онъ направился къ двери, гдѣ уже стоялъ панъ Андрей Грушевичъ.

— Ахъ да, г. Саринъ,—припомнилъ графъ,—вашъ нынѣшній визитъ—секретъ, который долженъ остаться между нами.

— Само собою разумѣется,—отвѣтилъ Саринъ, обернувшись къ говорившему,—сказано, что мы будемъ безмолвны, какъ могила. Мы умѣемъ уважать чужія мнѣнія и чужія тайны.

Онъ еще разъ поклонился и вышелъ въ сопровожденіи пана Андрея.

По уходѣ Сарина, графъ и его племянница сбросили съ себя маски. Они нѣсколько минутъ молча сидѣли другъ противъ друга, погруженные въ свои думы. Графъ былъ сердитъ; это видно было по его раскраснѣвшемуся лицу и опущеннымъ долу глазамъ. Панна Юлія была блѣдна и разсѣянна; по временамъ она испускала тихіе, но глубокіе вздохи. Графъ закурилъ трубку и сталъ большими шагами ходить взадъ и впередъ по кабинету. Каблуки его громко стучали по паркету; это означало, что онъ очень взволнованъ.

— Какъ тебѣ нравится эта жидовская фанаберія? — началъ графъ, вдругъ остановившись передъ своею задумавшеюся племянницею.

Послѣдняя вздрогнула и покраснѣла.

— Какая гордость! какая самоувѣренность!—продолжалъ графъ, незамѣтивъ перемѣны въ лицѣ своей племянницы.— И жиды стали заниматься политикой! Откуда эта прыть? уму непостижимо! Ну, кто бы этого ожидалъ, что я, графъ Бо-

леславъ Тенчинскій, naczelnik miasta, долженъ буду трактовать съ жидомъ, какъ-бы съ дипломатомъ какой нибудь державы! Одно изъ двухъ: или мы окончательно изъума выжили, или жиды далеко ушли впередъ, чего мы никакъ не ожидали. Бывало, полякъ топнетъ ногой такъ весь жидовскій кагалъ дрожитъ. А теперь какой нибудь жидовскій молокососъ говоритъ мнѣ дерзости, а я молчу, точно со мною говоритъ посланникъ какой нибудь великой державы. Это чортъ знаетъ что такое!

И онъ, еще болѣе тяжелыми шагами, сталъ ходить взадъ и впередъ, такъ что стѣны почти дрожали. Во время одного поворота, онъ носкомъ сапога задѣлъ угловой столикъ, отчего стоявшая на немъ гипсовая фигура Костюшки слетѣла на полъ, и у нея отломилась рука и два кончика конфедератки.

Панна Юлія вскрикнула отъ испуга и подскочила къ упавшей фигурѣ.

— Но я ихъ проучу!—почти кричалъ графъ на ходу, не обращая вниманія на упавшую фигуру.— Положу конецъ ихъ москализаторскимъ затѣямъ! Ихъ школы закрою, журнала имъ не разрѣшу, читальни не допущу и говорить проповѣди порусски запрещу. Или графъ Болеславъ Тенчинскій уже потерялъ всякое вліяніе на мѣстную администрацію?!...

Онъ подошелъ къ слуховой трубѣ и что-то крикнулъ.

Черезъ нѣсколько минутъ, четыре четыре-угольника паркета по самой срединѣ кабинета поднялись, въ видѣ потаенной двери, и изъ отверстія высунулась сперва лысина, а потомъ угреватый носъ пана Прондкевича.

— Завтра къ 12 часамъ,—гласилъ приказъ графа,—пригласить ко мнѣ правителя училищной канцеляріи, правителя канцеляріи градоначальника, секретаря цензурнаго вѣдомства и секретаря православной духовной консисторіи, слышите?

— Слушаю, ваше сіятельство,—проговорилъ графскій секретарь, и исчезъ съ своею лысиною въ отверстіе, захлопнувъ за собою дверь.

Отдавъ этотъ приказъ, графъ нѣсколько успокоился. Черезъ нѣсколько минутъ его душевное волненіе совсѣмъ улеглось. Онъ выпилъ стаканъ воды, сѣлъ на софу, притянувъ къ себѣ свою племянницу.

— А ты, моя умница, что думаешь обо всемъ этомъ?— спросилъ онъ, сладко улыбаясь и лаская ея великолѣпные, густые и длинные волосы.

— Я вамъ, дядюшка, въ другое время скажу, что я объ этомъ думаю,—отвѣтила она, глядя въ уголъ, чтобы не встрѣтиться съ проницательными глазами графа.—У меня теперь голова болитъ. Пойду спать.

— Ну, съ Богомъ,—сказалъ графъ, перекрестивъ ее и поцѣловавъ въ лобъ.

— Этотъ молодой человѣкъ, — думала панна Юлія, пробираясь къ своему будуару, черезъ цѣлый лабиринтъ великолѣпно меблированныхъ, но нежилыхъ комнатъ, въ сопровожденіи дежурнаго дозорца, несшаго передъ нею фонарь,— этотъ молодой человѣкъ почему-то живо заинтересовалъ меня. На его лицѣ столько ума и благородства!... Наши юноши куклы, автоматы въ сравненіи съ нимъ... Онъ умнѣе даже дядюшки. Дядюшка спасовалъ передъ нимъ... Какъ онъ былъ хорошъ, когда дядюшка вспылилъ!... Онъ однимъ взглядомъ и нѣсколькими словами осадилъ дядюшку и заставилъ его просить прощенія... И какіе чудные у него глаза!... Неужели я уже больше не увижу его? Нѣтъ, не можетъ быть. Онъ намъ необходимъ. Онъ долженъ быть за насъ. Онъ долженъ быть нашимъ... моимъ. Или я не Юлія Крутицкая?!..

Она покраснѣла и ускорила свои шаги, какъ-бы спасаясь отъ страшной мысли, что она, Юлія Крутицкая, племянница графа Тенчинскаго, можетъ быть, влюбилась въ *жида*!?... Но неужели это любовь?—спрашивала она.—Нѣтъ,—утѣшала она себя,—это не любовь. Я заинтересовалась только его мыслями, его оригинальными взглядами. Ты правъ, поэтъ:

... Maja rozum zydzi,
Zdaje sie, ze prostak, a jak rzeczy widzi!... *)

V.

Джонъ Беркович уже нѣсколько мѣсяцевъ боролся съ нуждою. Лишившись всѣхъ своихъ уроковъ, т. е. единствен-

*) Евреи умны. Кажись простякъ, а какъ смотритъ на вещи!

наго источника своего существованія, онъ нѣкоторое время; жилъ въ проголодь сбереженіями отъ прежнихъ временъ, потомъ, когда эти сбереженія истощились, а истощились они очень скоро, онъ сталъ сбывать букинистамъ, разумѣется, за безцѣнокъ, свои книги, за которыя когда то заплатилъ очень хорошія деньги. Наконецъ, когда всѣ книги уже были проданы, онъ сталъ сбывать ветошникамъ свое личное платье, оставивъ себѣ только то которое было на немъ. Не смотря на эти отчаянные рессурсы, онъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1862 года очутился лицомъ къ лицу съ голодомъ, потому что значительная часть этихъ рессурсовъ уходила на содержаніе матери и сестры, которыя очень мало зарабатывали своими бѣлошвейными работами. Онъ сталъ обѣдать разъ въ три дня, топить печку разъ въ недѣлю, но въ перспективѣ предстояла невозможность и этой роскоши.

«Что дѣлать?» —спрашивалъ онъ самъ себя, ходя по цѣлымъ часамъ по своей маленькой квартиркѣ или лежа на своей жесткой постели и подергивая свою рыжую бородку. «Что дѣлать?»—Правда, его бывшій товарищъ, Жюль Перецъ, жившій теперь при графинѣ Сташицкой въ довольствѣ и получавшій, кромѣ того, хорошее жалованье, съ удовольствіемъ предлагалъ ему дѣлиться своими доходами, и со слезами на глазахъ умолялъ его не отказываться отъ товарищеской помощи; но противъ *милостыни*, какъ онъ называлъ эту помощь, возмущалась вся его *британская* гордость, и разъ, когда Жюль Перецъ вздумалъ насильно навязать ему какую-то *ссуду*, онъ его хорошенько обругалъ, угрожая, что окончательно съ нимъ поссорится.

«Служить? Пойти въ прикащики, въ бухгалтеры?» Онъ это сдѣлалъ бы съ удовольствіемъ. Почеркъ онъ имѣлъ хорошій, счетоводство тоже зналъ недурно. Но вопросъ: гдѣ достать службу? Во всемъ городѣ N, кишѣвшемъ тысячами лавокъ, не было торговли, а процвѣтало торгашество, не нуждавшееся ни въ прикащикахъ, ни въ бухгалтерахъ, должность которыхъ исправляли женщины, дѣвы, дѣвушки и дѣвочки, довольствовавшіяся копѣечнымъ жалованьемъ. Въ десяткѣ же магазиновъ, позволявшихъ себѣ роскошь держать дешевыхъ прикащиковъ и бухгалтеровъ, всѣ мѣста были

заняты дешевыми нѣмцами изъ за границы, т. е. изъ Эйдкунена, имѣвшими съ настоящими нѣмцами толькото общее, что тоже не знали мѣстныхъ нарѣчій.

«Взяться за ремесло? Это было бы, — разсуждалъ Берковичъ, — лучше всего. Но, спрашивается, за какое ремесло взяться? За сапожное, портняжное, плотничье? Но ему это уже не позволяли лѣта: ему уже было за тридцать лѣтъ. Такого ученика никто не принялъ бы въ ученіе. За переплетное? Но N—скіе переплетчики сами умирали съ голоду и уже давно перестали принимать учениковъ.

Одно время однакоже Берковичу казалось что ему возможно будетъ сдѣлаться ремесленникомъ, а именно кузнецомъ. На эту мысль навела его кузница, находившаяся на предмѣстьѣ, по близости отъ его квартиры до которой очень часто, въ особенности по ночамъ, когда дневной шумъ утихалъ, доносился риѳмическій стукъ работавшихъ молотовъ. За эту мысль онъ ухватился, какъ за якорь спасенія. «Это мастерство, — разсуждалъ онъ, — для меня еще достижимо. Мускулы у меня еще здоровые, дѣйствовать молотомъ съумѣю. Мастерство не головоломное. Рѣшено! я буду кузнецомъ». И въ этой рѣшимости онъ въ одно апрѣльское утро отправился въ кузницу и коротко и ясно объявилъ о своемъ намѣреніи. Кузнецъ и его мастеровые сперва взглянули на него, какъ на рехнувшагося, ибо не могли понять, какъ можетъ прилично одѣтый человѣкъ по всѣмъ признакамъ бѣлоручка, желать сдѣлаться кузнецомъ? Ясно, что въ головѣ его что то не ладно. А что этотъ прилично одѣтый господинъ умираетъ съ голоду—имъ и на мысль не приходило. Потомъ его заподозрили въ шпіонствѣ Дѣло въ томъ что кузнецъ былъ полякъ и въ послѣднее время сталъ изъ извѣстнаго мѣста получать заказы не совсѣмъ обыкновеннаго свойства, требовавшіе глубочайшей тайны. Ясно, что этотъ человѣкъ—шпіонъ. Ему подъ благовиднымъ предлогомъ, но на отрѣзъ, отказали. Онъ просилъ, умолялъ,—«дайте работу, хочу работать»—не помогло; его попросили выдти и не мѣшать.

На этотъ отказъ онъ почему-то взглянулъ, какъ на свой смертный приговоръ, не сообразивъ, что если не этотъ, такъ другой кузнецъ, можетъ быть, согласится на его пред-

ложеніе. Въ головѣ его стало мутиться. Онъ добрелъ до своей квартиры машинально, инстинктивно. При входѣ въ ворота, вѣтеръ сорвалъ съ его головы шапку, но онъ этого и не замѣтилъ.

Мы застаемъ его въ эту минуту отчаянія. Лицо его блѣдно, разстроено. Три дня онъ уже не обѣдалъ, а со вчерашняго дня онъ и куска не имѣлъ во рту. Его знобитъ. Съ опущенною головою и скрещенными на груди руками стоитъ онъ у дверей, а ему кажется, что онъ ходитъ взадъ и впередъ по комнатѣ. Онъ за минуту о чемъ-то думалъ, и даже о чемъ-то очень важномъ, но вдругъ какъ-то потерялъ нить своихъ размышленій. Ему очень досадно, точно онъ потерялъ что нибудь. Куда *оно* запропастилось? Какъ бы мнѣ найти его?

— Ахъ да,—припомнилъ онъ, обрадовавшись.—Вотъ оно! Смерть? Да, смерть. Она единственное для меня спасеніе. Она сразу поправитъ мои обстоятельства... Обстоятельства Какія обстоятельства? Смерть—это значитъ небытіе, прекращеніе всѣхъ обстоятельствъ... «Человѣкъ самъ созидаетъ себѣ обстоятельства». Кто это сказалъ?... Жизнь—плюсъ, нѣтъ не такъ. Жизнь — два минуса, смерть — минусъ. Это проще, и ѣсть не нужно, и работы искать не нужно, словомъ: нуль, безъ ничего. Вся жизнь ведетъ къ первобытному нулю. Одинъ приходитъ къ цѣли раньше, другой позже, а когда уже находишься у цѣли, то все равно, пришелъ ли ты раньше или позже. Никто не взыщетъ, да съ кого взыскать? Что взять съ нуля? И лежитъ себѣ этотъ нуль спокойно, никѣмъ не тревожимый, никому ненужный и ни въ комъ не нуждающійся, отдыхая отъ тревогъ, которыя причиняли ему навязанныя единицы, дѣлавшія его на нѣкоторое время воображаемою величиною...

Дверь пріотворилась немножко и съ шумомъ захлопнулась отъ ворвавшагося въ сѣни вѣтра. Этотъ стукъ разбудилъ его; онъ теперь только замѣтилъ, что стоитъ у дверей, изъ щелей которыхъ несло холодомъ на него и на всю комнату. Онъ почувствовалъ, что озябъ, кисти рукъ окоченѣли, а голова горѣла. Онъ нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ, потомъ бросился на свою койку и закрылъ глаза.

Отъ изнеможенія, усталости, голода и холода онъ вскорѣ заснулъ или забылся,

Но едва онъ забылся, какъ вдругъ услышалъ, что дверь съ шумомъ отворилась и кто-то вошелъ въ комнату и приближается къ его койкѣ. Онъ открываетъ глаза: передъ нимъ стоялъ Жюль Перецъ.

— Ну, я такъ и зналъ, что найду тебя въ постели,— началъ Перецъ, съ своею обычною развязностью и веселостью,—встань, байбакъ, и поѣдемъ.

— Куда?

— Это секретъ, сюрпризъ.

— Не люблю я секретовъ и сюрпризовъ, — проговорилъ Берковичъ съ досадой,—говори дѣло.

— Ну, Богъ съ тобой. Скажу прямо: мы назначены шаферами.

— Шаферами? — переспросилъ Берковичъ, — у кого свадьба?

— У m-lle Кранцъ.

— У m-lle Кранцъ?—переспросилъ Берковичъ, вскочивъ съ койки и поблѣднѣвъ.—Онъ съ минуту молчалъ и потомъ спросилъ:—за кого она выходитъ?

— За Сарина.

— За Сарина? — переспросилъ Берковичъ, не вѣря своимъ ушамъ.

— Чудеса да и только. Они, кажется, не ладили между собою.

— Развѣ не знаешь, что милые бранятся, только тѣшатся? Намъ казалось, что они не ладятъ. Оказывается, что они влюблены другъ въ друга съ первой встрѣчи. Сказано, что женщины хитры, ихъ не разгадаешь.

Берковичъ понурилъ голову и задумался. «Чаша, значитъ, полна», думалось ему. «Когда судьба рѣшилась доконать человѣка, то она добирается до самыхъ тайныхъ уголковъ его существа, о которыхъ она, кажется, не знала и не могла знать. Откуда она, напримѣръ, узнала, что Полина такъ дорога моему сердцу? Ей завидно стало даже этого крошечнаго счастія, этой невинной мечты, въ которую я самъ не вѣрилъ... Судьбу называютъ жестокою, безжалостною... Нѣтъ! Она просто подла. А впрочемъ..., что мнѣ до судьбы и ея подлости? Не приди Жюль, я былъ бы уже *тамъ*... Ну, ни-

чего, такъ нѣсколькими часами позже. Жюль и не подозрѣваетъ, что у меня теперь на умѣ. Тѣмъ лучше. Буду обманывать его до конца. Соглашусь на шаферство, хотя мнѣ теперь совсѣмъ не до этихъ глупыхъ житейскихъ обстоятельствъ.

— Ѣдемъ, Жюль! — сказалъ онъ съ отчаянною рѣшимостью, застегивая свое пальто.—Но,—прибавилъ онъ вслѣдъ за тѣмъ,—у меня, знаешь, нѣтъ фрачной пары, шляпы...

— Все будетъ, — отвѣтилъ Жюль,—я уже распорядился. Мы заѣдемъ ко мнѣ, я уже все приготовилъ для нашего туалета. Да мы, кстати, и отобѣдаемъ. До вѣнца еще добрыхъ три часа.

— Это хорошо,—проговорилъ Берковичъ, порѣшивъ, что въ послѣдній день жизни не мѣшаетъ побаловаться немножко.—Вино у тебя есть?

— Превосходнѣйшій лафитъ; впрочемъ, дѣло не станетъ и за редереромъ.

— Very well, ѣдемъ!....

На квартирѣ Жюля, уютной и богато-меблированной, столъ былъ уже накрытъ. Въ углу, на столикѣ, графинчикъ старой водки и свѣжая семга такъ и манили къ себѣ. У Берковича слюнки потекли.

— Я пойду распорядиться,—сказалъ Жюль,—а ты между тѣмъ закуси. Вотъ семга, а въ шкафикѣ найдешь сардинки, сыръ и еще кое-что.

Берковичъ съ жадностью накинулся на закуску и сталъ утолять голодъ, который, казалось, все увеличивался, и словно заревѣлъ отъ пропущенной имъ рюмки забористой старушки—водки. Онъ не ѣлъ, не жевалъ, а глоталъ куски, самъ стыдясь своего волчьяго аппетита и неприличнаго образа его утоленія. И, замѣчательно, чѣмъ больше онъ ѣлъ, тѣмъ аппетитъ его больше возрасталъ. Онъ съѣлъ семгу, съѣлъ сардинки и почти фунтъ сыру, а аппетитъ все тотъ же.

— Что за оказія? - удивлялся онъ самъ себѣ, — неужели нѣсколько дней голода превращаютъ человѣческій желудокъ въ бездонную бочку?

Жюль возвратился и, вслѣдъ за тѣмъ, начали подавать обѣдъ.

Подали превосходнѣйшій бульонъ съ горячими пирожками. Берковичъ улыбнулся этой delicatesse, какъ бы говоря: неужели этимъ госпитальнымъ блюдомъ можно утолить аппетитъ здороваго человѣка? Въ два пріема онъ осушилъ свою чашку.

— Нѣтъ ли каши? — спросилъ онъ, рѣшившись не стѣсняться.

Жюль подозвалъ лакея и сказалъ ему что-то на ухо. Чрезъ нѣсколько минутъ предъ Берковичемъ уже стояла большая миска съ кашею. Каша ему больше понравилась, но... но аппетитъ все тотъ же. Подали бифштексъ. «Вотъ это,—думалъ Берковичъ, — окончательно успокоитъ меня». Но не тутъ-то было. Бифштексъ былъ истребленъ, а аппетитъ все тотъ же. Берковичъ разсердился на свой чертовскій желудокъ и отказался отъ десерта.

— Но отъ вина ты, надѣюсь, не откажешься?—спросилъ его Жюль, наливая ему бокалъ шампанскаго.

— Валяй,—проговорилъ Берковичъ, съ отчаянною рѣшимостью протягивая руку за бокаломъ.

— Постой, дружокъ, — пріостановилъ его Жюль,—не торопись! Будемъ пить здоровье жениха и невѣсты.

— Это мы успѣемъ и на свадьбѣ.

— На свадьбѣ мы будемъ пить здоровье Сарина и m-lle Кранцъ, а здѣсь за другую пару молодыхъ.

— Кто они такіе?

— Славные малые. Женихъ—Жюль Перецъ, а невѣста—m-lle Берковичъ.

— Моя сестра?—воскликнулъ Берковичъ, не то обрадовавшись, не то испугавшись.

— Именно. Мы уже давно любимъ другъ друга, но ты этого не замѣчалъ. Тѣмъ лучше для насъ. На дняхъ мы объяснились и порѣшили: послѣ пятидесятницы женюсь и....

— Пойдешь въ повстанье?

— Нѣтъ, другъ мой,—возвращусь къ мирнымъ занятіямъ. Послѣ пятидесятницы у меня будетъ нѣсколько сотъ талеровъ. Махну за границу и поселюсь въ какомъ нибудь нѣмецкомъ городѣ; буду давать уроки, писать корреспонденціи во французскія газеты, словомъ, съ голоду не умремъ. Мы

кстати и тебя захватимъ съ собою. И для тебя найдется занятіе. Мы только здѣсь лишніе, а тамъ мы не будемъ лишними. Каждая отрасль человѣческой дѣятельности находитъ тамъ свое надлежащее примѣненіе. Мы не пропадемъ. Да здравствуетъ просвѣщенный и дѣятельный западъ! Чокнемся.

Они чокнулись и выпили свои бокалы.

Берковичъ повеселѣлъ, не столько отъ бокала шампанскаго, сколько отъ плана Жюля, который онъ находилъ довольно практичнымъ и удобоисполнимымъ.

Послѣ обѣда, пріятели немножко отдохнули и взялись за туалетъ. Въ шесть часовъ, они, напомаженные, надушенные, одѣтые по-бальному, мчались на извощикѣ къ жениху, къ Сарину. Они нашли его уже одѣтымъ и ихъ ожидающимъ.

— Извините меня, г. Берковичъ,—извинялся Саринъ,—извините, я не успѣлъ сдѣлать вамъ визита и лично просить васъ взять на себя труды шафера. Столько хлопотъ!... Чувствительно благодарю васъ. Я никогда не забуду вашей услуги. Ѣдемъ, господа, насъ ожидаютъ.

Они сѣли въ ожидавшую ихъ карету и поѣхали къ невѣстѣ. Тамъ все уже было приготовлено и съ нетерпѣніемъ ожидали гостей, которые вскорѣ и начали съѣзжаться Берковичъ сталъ исправлять должность шафера съ необыкновенною развязностью, стараясь все время не глядѣть на Полину, потому что чувствовалъ, что когда онъ взглянетъ на нее, то растеряется и будетъ очень смѣшенъ. Онъ теперь только убѣдился, что любитъ Полину гораздо серьезнѣе, чѣмъ самъ думалъ до сихъ поръ. Поэтому онъ очень радъ былъ свадебному шуму и суетѣ, которые не давали ему задумываться о своемъ горѣ.

Пріѣхалъ раввинъ въ сопровожденіи своего помощника, кантора, пѣвчихъ и всего синагогическаго причта и, по данному старымъ Кранцомъ знаку, стали приготовляться къ обряду вѣнчанія. Музыка заиграла что-то торжественное и гости вереницею потекли въ открывшіяся двери большой великолѣпно освѣщенной залы, гдѣ долженъ былъ совершаться обрядъ. Свадебный балдахинъ изъ краснаго бархата съ золотою бахрамой былъ уже тамъ, поддерживаемый по угламъ четырьмя синагогальными служками. Берковичу, какъ шаферу,

вручили серебряное блюдечко, на которомъ прикрѣплена была восковая плетеная свѣча, и онъ занялъ указанное ему мѣсто подъ балдахиномъ.

Подъ балдахинъ подвели сперва жениха, а потомъ невѣсту, и церемонія началась.

Пѣвчіе запѣли и невѣста, поддерживаемая посаженнымъ отцомъ и матерью, стала совершать кабалистическіе круги около жениха. Все это время Берковичъ упорно смотрѣлъ на свою свѣчу и ни разу не взглянулъ на Полину. Но въ срединѣ обряда, когда Саринъ надѣлъ Полинѣ кольцо и произнесъ вѣнчальную формулу: «Будь моею женою по закону Моисея и Израиля», онъ нечаянно — невольно взглянулъ на Полину. Едва онъ взглянулъ на нее, какъ вдругъ въ глазахъ его потемнѣло, голова его закружилась, и онъ, потерявъ равновѣсіе, упалъ и... проснулся...

— Гдѣ я?—воскликнулъ онъ, открывъ глаза и соскочивъ съ койки. Онъ хотѣлъ извиняться; но, озираясь кругомъ и пришедъ въ себя, онъ убѣдился, что все это былъ сонъ и что онъ не на свадьбѣ, а въ своей нетопленной избѣ.

На дворѣ уже стемнѣло, стало быть, онъ проспалъ нѣсколько часовъ. Это нѣсколько подкрѣпило его силы; голова его прояснилась, отчего безвыходность его положенія стала ему еще яснѣе.

— Нужно покончить сегодня же, — сказалъ онъ себѣ,— и чѣмъ скорѣе... Но, Боже мой, мнѣ ѣсть хочется, ѣсть! Не могу же я умереть не поѣвши!

Его щекотали яства, которыя онъ видѣлъ во снѣ; во рту его оставался еще ихъ вкусъ, ихъ запахъ, въ особенности запахъ старой водки и душистой каши.

— Ѣсть! ѣсть!—кричалъ онъ, бѣгая по комнатѣ, какъ изступленный.—Не могу умирать, не поѣвши, не утоливши голода!... Болѣе ѣдкой ироніи судьба не могла и придумать. Завтра меня уже не будетъ совсѣмъ, а сегодня не могу не отдать дани глупому желудку... Но на зло ей, я поѣмъ, сегодня же, сейчасъ. Я кого нибудь ограблю, убью, украду, а поѣмъ, на зло ей, поѣмъ!...

Но онъ никого не ограбилъ, не убилъ, и не укралъ, а сбѣгалъ къ хозяйкѣ и занялъ четвертакъ.

Онъ купилъ фунтъ хлѣба, на нѣсколько копѣекъ крупы, масла и водки. «Если кутить, такъ кутить!» шутилъ онъ самъ съ собою. Отъ покупки еще осталось нѣсколько копѣекъ.

— Что мнѣ дѣлать съ этими *деньгами*?—спрашивалъ онъ себя, возвращаясь съ своею покупкою домой.—Нищаго! подайте мнѣ сюда нищаго, и я осчастливлю его: отдамъ ему весь капиталъ свой!

Онъ расхохотался и со всего размаху швырнулъ деньги далеко отъ себя.

Мѣдяки зазвенѣли на мостовой.

VI.

Возвратившись въ свою комнату, Берковичъ вынулъ доски изъ своей койки, положилъ ихъ въ печь, развелъ огонь и присѣлъ къ нему на табуретѣ.

Изъ печи повалилъ дымъ, густой, черный: онъ забылъ открыть трубу.

— А! дымъ!—проговорилъ Берковичъ, заскрежетавъ зубами.—И для тебя, ничтожнаго, положены въ прир
коны! И ты физикѣ учился, ха, ха, ха!... Не
дыхайся! Тебѣ тяги, воздуха нужно? Не дамъ. Из
какъ знаешь....

Дымъ сталъ наполнять собою всю комнату.

— Ну, Богъ съ тобой,—проговорилъ онъ, смягчившись,—ты вѣдь неумолимъ и упоренъ, какъ вся природа. Дѣлать нечего, дамъ, чего тебѣ нужно.

И онъ открылъ трубу. Огонь быстро охватилъ сухія доски, которыя весело затрещали, точно кость подъ зубами голоднаго пса.

Берковичъ взялъ нѣсколько глотковъ водки и, закусивъ хлѣбомъ, сталъ варить себѣ кашу. Когда она была готова, онъ сталъ расхлебывать ее съ весьма понятнымъ аппетитомъ.

— Ну, будетъ,—сказалъ онъ, окончивъ свою трапезу.—Я сытъ. Теперь возьмемся за дѣло.

На дворѣ уже совсѣмъ стемнѣло: было восемь часовъ вечера. Онъ зажегъ свѣчу.

Но, вмѣсто того, чтобы взяться за дѣло, онъ подсѣлъ столу и, подперши обѣими руками голову, крѣпко задумался

«Для кого не поставленъ приборъ, тотъ долженъ убираться со стола жизни», — припомнился ему афоризмъ Мальтуса. Это жестоко, но справедливо... Справедливо? Какая тутъ справедливость? Отчего поставленъ приборъ для другаго, а для меня нѣтъ? Чѣмъ я провинился? Гдѣ мой приборъ? Или на меня не расчитывали? Но почему расчитывали на другихъ?... Но, можетъ быть, ни на кого не расчитывали, а владѣетъ приборомъ тотъ, кому онъ достанется съ бою?... Да, это такъ. Это у Дарвина и называется борьбою за существованіе. Я не боролся... Нѣтъ, я боролся, насколько у меня хватало силъ; но эти силы были ничтожны, я ослабѣлъ; я долженъ спасовать передъ сильнѣйшими и удалиться туда, гдѣ нѣтъ борьбы. Это vae victis люди называютъ самоубійствомъ, преступленіемъ. Развѣ я убиваю себя? Мнѣ не даютъ возможности существовать, меня спихиваютъ со скамьи жизни, а я преступникъ, трусъ... А впрочемъ, что мнѣ до людей и ихъ превратныхъ понятій?... Я не могу существовать, такъ не долженъ существовать. Я долженъ казнить въ себѣ природу, которая не надѣлила меня силами, достаточными для борьбы за существованіе. Да, казнить ее, казнить! — почти заревѣлъ онъ, ударивъ кулакомъ объ столъ и вскочивъ со стула.

Онъ съ бѣшенствомъ сталъ бѣгать по комнатѣ взадъ и впередъ, размахивая кулаками.

— Казнить! казнить! — кричалъ онъ, задыхаясь отъ волненія. — Веревку! Гдѣ мнѣ взять веревку?

Онъ вспомнилъ, что на чердакѣ видѣлъ веревку, на которую хозяйка развѣшивала бѣлье.

Онъ досталъ эту веревку, заперъ дверь на ключъ и сталъ прилаживать веревку къ потолку. Руки его тряслись, въ глазахъ рябило, а потому работа не давалась ему. Онъ подставилъ стулъ, взлѣзъ на него, чтобы ловчѣе было перекинуть веревку, но веревка не перекидывалась.

Въ это время кто то постучился въ дверь; но Берковичъ, занятый своимъ дѣломъ, не слышалъ этого стука и продолжалъ свое.

Веревка была, наконецъ, перекинута и Берковичъ спрыгнулъ со стула, довольный, что дѣло идетъ на ладъ.

Стукъ въ дверь возобновился.

Берковичъ, ничего не слыша, сталъ дѣлать петлю, которая вскорѣ и была готова.

— Хорошо, — сказалъ онъ, рѣшивъ глазомѣромъ, что будетъ ладно.

Стукъ въ дверь еще болѣе увеличился и на этотъ разъ былъ сопровожденъ криками: «Отвори! Джонъ! Ради Бога, отвори! Ты вѣдь не спишь, отвори!»

Эти крики вывели Берковича изъ забытья. Онъ взглянулъ на дверь, на петлю и рѣшился не отворять, но инстинктиво, машинально подошелъ къ двери и отворилъ ее.

Въ комнату влетѣлъ, какъ бомба, чуть не опрокинувъ Берковича, Жюль Перецъ.

Бросивъ вздлядъ на Берковича, на комнату, на веревку, молодой человѣкъ, догадавшись, въ чемъ дѣло, чуть не обезумѣлъ и схватился за голову.

— Джонъ, другъ мой, — воскликнулъ онъ, подскочивъ къ Берковичу, стоявшему какъ вкопанный, — что это?... Неужели?... Или я ошибаюсь?...

Берковичъ молчалъ, упорно глядя въ уголъ.

— Говори! — тормошилъ его Перецъ, — что ты хотѣлъ сдѣлать?... Неужели? О, Боже, Боже!

И онъ упалъ на грудь, стоявшаго какъ статуя, Берковича и громко зарыдалъ.

— Другъ! извергъ! — кричалъ Перецъ, впившись глазами въ разстроенное лицо Берковича, говори, что, — нужда, голодъ?...

— Голодъ. — прогворилъ, наконецъ, Берковичъ, опустившись на близъ стоявшій табуретъ.

— Это все глупая гордость, — упрекалъ его Жюль, сорвавъ веревку и бросивъ ее въ топившуюся печку. Кто отказывается отъ помощи друга? Только эгоистъ, извергъ, дуракъ, гордецъ, подлецъ!

— Не ругайся, Жюль.

— Да какъ тебя не ругать, когда ты изъ-за своей глупости чуть не свелъ съ ума друга и не пустилъ по міру матери и сестры!.. Но тебѣ, гордецу, нѣтъ дѣла ни до друга, ни до родныхъ... Ты порисоваться хотѣлъ! Вотъ, человѣкъ съ голо-

ду умиралъ, повѣсился, а не принялъ помощи. Когда же ты, наконецъ, поймешь, что ты не англійскій лордъ, и что прибѣгать къ помощи добрыхъ людей совсѣмъ не стыдно?

Жюль еще долго ругалъ и упрекалъ своего друга, но наконецъ успокоился.

— Теперь, братъ,—сказалъ онъ, понизивъ голосъ, — ужь я тебя не отупщу. Я за шиворотъ тебя потащу вмѣстѣ со мною. Отговариватья опаснотью ты уже не можешь. Ты вѣдь жизнь ни во что не ставишь. Прійди я четвертью часа позже, ты бы уже висѣлъ на глупой веревкѣ. Стало быть, участвовать въ польской справѣ для тебя теперь бездѣлица. Такъ вѣдь?

— Такъ, — согласился Берковичъ, рѣшивъ, что для него теперь, въ самомъ дѣлѣ, все равно.

— Вотъ ужь сколько мѣсяцевъ вращаюсь въ жондѣ, а все еще не повѣшенъ. Впрочемъ, если даже случится такой грѣхъ, такъ я, покрайней-мѣрѣ, умру, такъ сказать, за политическую идею. Это все таки почетнѣе, чѣмъ умереть изъза того, что не хватило фунтика хлѣба для безсмысленнаго желудка. Согласенъ?

— Согласенъ,—машинально отвѣтилъ Берковичъ.

— Дай-же руку — на жизнь и смерть!

Берковичъ протянулъ Жюлю руку.

— Отнынѣ, — провозгласилъ послѣдній торжественно,— мы и судьбы наши неразлучны. Гдѣ я, тамъ и ты... Мы, впрочемъ, канцелярскими занятіями недолго будемъ пробавляться; черезъ полгода, много — черезъ годъ, возстаніе вспыхнетъ фактически, тогда мы, конечно, не будемъ лишними въ рядахъ повстанцевъ, а будемъ сражаться за хорошее дѣло: за fraternité, égalité!

— Поляки объ этомъ только говорятъ,—замѣтилъ Берковичъ скептически.

— Русскіе же даже не говорятъ, стало быть, отъ нихъ намъ нечего ожидать. На Польшу-же мы можемъ хоть нѣсколько надѣяться, имѣть претензію,—потому что она дала обѣщаніе передъ лицомъ всего міра. Впрочемъ, что касается насъ лично, то наши шансы не могутъ не быть лучшими. Если Польша выиграетъ свою справу и мы будемъ живы, то не можетъ быть,

чтобы она оказалась неблагодарною въ отношеніи такихъ людей, которые сражались за нее грудью. Это было бы съ ея стороны въ высшей степени бестактно и неблаговидно.

— Вотъ, станетъ она съ нами, жидками, церемониться, замѣтилъ Берковичъ, горько улыбнувшись.

— Непремѣнно станетъ! — почти сердито воскликнулъ Перецъ, — я въ томъ убѣжденъ. Волей-неволей, а станетъ. Ты, братъ, пойми хоть ту немудреную мысль, что Польша, даже по обрѣтеніи ею независимости, еще долго, а можетъ быть и всегда, будетъ чувствовать себя, какъ только что выздоравливающая, несамостоятельною, малолѣтнею, зависимою отъ общественнаго мнѣнія западной Европы, на которую она еще долго будетъ смотрѣть, какъ на свою опекуншу, покровительницу, похвалой которой она должна дорожить. Повѣрь, что Польша возстановленная даже въ своихъ любимыхъ предѣлахъ, «отъ моря и до моря», будетъ долго похожа на тѣхъ слабосильныхъ, которые безъ надежной опоры не осмѣливаются ступить и шагу. Стало быть, она еще долго будетъ ходить на помочахъ. Это намъ и на руку, этимъ мы и должны воспользоваться. Чего бы ни затѣяли поляки въ своемъ воскресшемъ государствѣ, они прежде всего и главнѣе всего хорошенько подумаютъ и поразмыслятъ: que dira le monde? И что этотъ monde скажетъ, то и сдѣлаютъ. Волей или неволей, а сдѣлаютъ. Ужъ это вѣрно.

— А вѣрно-ли то, что этотъ monde будетъ за насъ?

— А ты развѣ сомнѣваешься въ этомъ? спросилъ Перецъ. — Европа за насъ, т. е. собственно не за насъ, евреевъ, а за всѣхъ угнетенныхъ, кто-бы они ни были, греки, славяне, итальянцы, или негры. Чѣмъ мы хуже другихъ угнетенныхъ племенъ? Стало быть, есть сочувствіе и къ намъ.

— Въ принципѣ, пожалуй, — согласился скептикъ Берковичъ.

— А принципъ въ наше время сила, воскликнулъ торжествующій сангвиникъ Перецъ. — Все теперь выѣзжаетъ на принципѣ, все предъ нимъ преклоняется. Наполеонъ и французовъ своихъ не выводитъ изъ Чивита-Векіа по папскому принципу, которому онъ въ душѣ, можетъ быть, и не сочувствуетъ. Зачѣмъ намъ залѣзать въ душу исповѣдующаго ка-

кой нибудь подходящій для насъ принципъ, исповѣдуетъ-ли онъ его искренно или притворно, — довольно того, что онъ его исповѣдуетъ и публично говоритъ: credo. Европа исповѣдуетъ теперь либерализмъ, терпимость,—ну и довольно съ насъ. Польша, глядя на Европу, не посмѣетъ не исповѣдывать этихъ же принциповъ. Понятно?

— А Россія развѣ не смотритъ на Европу?

— Да, и она смотритъ, но Европа для нея не законъ, потому что Россія—держава сильная, стоящая на собственныхъ ногахъ. Хочетъ—принимаетъ, не хочетъ не принимаетъ выставляемыхъ Европою принциповъ. Она можетъ дѣйствовать самостоятельно, а потому она намъ не рука. Понялъ?

— Понялъ,—проговорилъ Берковичъ.

— Ну, хорошо, теперь ляжемъ спать.

— Какъ, ты хочешь здѣсь ночевать? спросилъ Берковичъ.

— Ахъ да, я забылъ тебѣ сказать, что затѣмъ и пришелъ, чтобы переночевать у тебя сегодня. На моей квартирѣ нельзя: сегодня ночью у насъ будетъ обыскъ.

— Обыскъ?—спросилъ Берковичъ испуганно.

— Ты чего испугался? Ну, будетъ обыскъ, но ничего не найдутъ. Мы еще вчера знали, что сегодня будетъ обыскъ.

— Неужели вы знали?

— Еще бы! Мы все знаемъ Чуть что, намъ сейчасъ даютъ знать. Мы вездѣ имѣемъ нашихъ людей. Одно наше довѣренное лицо состоитъ при самомъ генералѣ, а потому мы знаемъ о каждомъ шагѣ администраціи. Врасплохъ она насъ никогда не застанетъ. Я совсѣмъ не ожидалъ отъ поляковъ такого благоразумія, право. Единственною подозрительною вещью, которую жандармы нашли бы у графини Стащицкой, былъ бы я. Ибо—что я тамъ дѣлаю? Это показалось бы подозрительнымъ, а потому я долженъ былъ искать ночлега.

— Ну, переночуй, — сказалъ Берковичъ, — только не взыщи, постель будетъ не очень комфортабельная...

— Эка важность! я вѣдь не нѣженка какой нибудь. Притомъ, на бивуакахъ развѣ комфортабельнѣе будетъ?

— Стало быть, ты взаправду думаешь пойти въ повстанье?—спросилъ Берковичъ.

— А ты думаешь, что я шучу? Нѣтъ, братъ, мнѣ совсѣмъ

не до шутокъ. Говорю тебѣ, какъ нельзя болѣе серьезнѣе: я твердо рѣшился быть, что называется, или полковникомъ или покойникомъ. Мѣтко говорятъ русскіе: двухъ смертей не бывать, одной не миновать. А смерть, по моему, совсѣмъ не страшна; страшенъ только страхъ смерти. А въ голодухѣ ты этотъ страхъ только и видишь предъ собою. То-ли дѣло война, сраженіе! Живешь за пятерыхъ, и чувствуешь, что живешь всѣми жилами и поджилками, а умираешь, не замѣтивъ даже: пуля бацъ въ лобъ или въ грудь, и конченъ балъ. И скоро, и не обидно, и даже, такъ сказать, почетно: на полѣ брани умеръ, а не въ собачьей конурѣ отъ недостатка корма. Чего-же больше? Я, по крайней мѣрѣ, больше для себя не требую.

Перецъ еще долго и съ возраставшимъ жаромъ ораторствовалъ на эту тему, пока не замѣтилъ, что единственный его слушатель, Берковичъ, облокотившись на комодъ, уже спитъ.

VII

Было 17-е апрѣля, т. е. высокоторжественный день рожденія Государя Императора. Въ 1862-мъ году день этотъ, празднуемый во всей Россійской Имперіи съ весьма понятною радостью, въ городѣ N ничѣмъ не отличался отъ обыкновенныхъ будничныхъ дней. При тогдашнемъ настроеніи умовъ въ западномъ краю,—праздновать этотъ день считался какъ-бы анахронизмомъ и чуть не измѣной, а потому почти все населеніе показывало видъ, что оно или забыло, или ничего не знаетъ и знать не хочетъ объ этомъ днѣ. Магазины и лавки были отперты; чиновники расхаживали въ партикулярныхъ костюмахъ, дамы щеголяли въ архи-траурныхъ туалетахъ; оффиціальныхъ пріемовъ ни у кого изъ сановниковъ не было. *Генералъ*, схватившій наканунѣ насморкъ, тоже никого не принималъ: парадный подъѣздъ былъ запертъ. Одни только квартировавшія въ городѣ войска да полицейскіе чины, бывшіе въ нарядѣ, нѣсколько напоминали собою, что день этотъ не совсѣмъ обыкновенный: они были въ парадной формѣ.

Въ главномъ католическомъ костелѣ, одинъ изъ заштат-

ныхъ ксендзовъ, въ сослуженіи съ какимъ-то оборваннымъ и растрепаннымъ мальчуганомъ, державшимъ колокольчикъ, чтобы давать сигналы къ колѣнопреклоненіямъ, скороговоркой, какъ-бы стыдясь самаго себя, гнусилъ мшу при стеченіи... пяти-шести нищенствующихъ бабъ съ ихъ ребятишками. Въ православномъ же соборѣ шла архіерейская служба въ присутствіи многихъ военныхъ и немногихъ статскихъ чиновъ; изъ дамъ не было ни одной. Тѣмъ не менѣе однакоже, соборная площадь кишѣла отъ уличныхъ гаменовъ, расчитывавшихъ на церковный парадъ. Но церковнаго парада, къ ихъ крайнему сожалѣнію, не было: по выходѣ изъ церкви, солдаты, построившись повзводно, въ предшествіи неигравшихъ музыкантовъ, отправились въ казарму, сопутствуемые тѣми же гаменами, которые всетаки не теряли надежды, что музыка нѣтъ-нѣтъ, а заиграетъ. *Генералъ* слушалъ молебствіе въ своей домовой церкви, въ средѣ приближенныхъ, т. е. адъютантовъ, ординарцевъ, чиновниковъ особыхъ порученій и графа Тенчинскаго! Графъ тоже считался приближеннымъ. Онъ былъ въ полной камергерской формѣ и при всѣхъ орденахъ, стало быть, его преданность Россіи не подлежала ни малѣйшему сомнѣнію...

Послѣ молебствія, генералъ пригласилъ всѣхъ къ завтраку.

Въ то время, какъ въ генеральской столовой пили тосты и весело бесѣдовали, у малаго подъѣзда генеральской квартиры происходило слѣдующее:

Вѣстовой, въ праздничной формѣ и съ нафабренными усами, такъ урезонивалъ стоявшаго передъ нимъ еврея:

— Ну ты пойми, сказано, не принимать, потому праздникъ. Сегодня никакихъ прошеніевъ не принимаютъ.

— Мнѣ оценъ нузно,—отвѣчаетъ еврей.

— Придешь завтра, коли нужно, а сегодня нельзя, потому праздникъ, царскій день. Понялъ?

— Понялъ.

— Ну и проваливай, коли понялъ.

— Але мнѣ оценъ нузно, безпремѣнно севодня. Енаралъ будетъ сердиться, сцо меня не пусцаютъ.

— Какъ же тебя пущать, когда велѣно не пущать?— спрашиваетъ вѣстовой, приходя уже въ гнѣвъ.

Дверь изъ прихожей отворяется и съ лѣстницы спускается, тяжело ступая и лѣниво побрякивая шпорами, жандармскій унтеръ-офицеръ.

— О чемъ вы тутъ?—спрашиваетъ жандармъ, зѣвнувъ на весь корридоръ и взглянувъ на стоявшаго у дверей еврея.

— Вотъ я цѣлый часъ ему толкую,—говоритъ вѣстовой,—что сегодня никакъ нельзя, а онъ не понимаетъ, дуракъ. Растолкуйте вы ему, васъ онъ можетъ пойметъ.

— Ты откуда?—обращается жандармъ къ еврею.

— Я здѣсный обыватель.

— Тебѣ что нужно?

— Къ енаралу.

— Прошеніе?

— Нѣтъ, словесно. Дѣло оцень вазное.

— Что за важное?

— Политицное.

Жандармъ задумывается, осматриваетъ свои каблуки, поправляетъ свои шерстяные эполеты и, кивнувъ еврею, говоритъ:

— Ступай за мною.

Еврей, подобравъ фалды своего длиннаго балахона, идетъ по лѣстницѣ за жандармомъ.

— Ты стой здѣсь, я пойду доложить,—говоритъ послѣдній, оставивъ еврея въ прихожей.

Нѣсколько минутъ спустя, возвратившійся жандармъ пропускаетъ еврея въ пріемный залъ. Къ нему подходитъ молоденькій офицеръ, ординарецъ, и начинаетъ его допрашивать; но еврей стоитъ на одномъ, что никому не скажетъ, какъ только генералу лично. Ординарецъ даетъ ему щелчекъ въ носъ, дѣлаетъ антрша, скользитъ по гладкому паркету, и исчезаетъ за тяжелой портьерой дежурной комнаты.

Черезъ нѣсколько минутъ въ портьерѣ появился дежурный адъютантъ Николай Крутицкій. Онъ знакомъ подозвалъ къ себѣ еврея.

— Генералъ нездоровъ и никого не принимаетъ,—сказалъ Крутицкій,—а потому, если имѣешь сообщить что нибудь по секрету, то можешь сообщить мнѣ, а я доложу генералу. Я адъютантъ.

— Извините, г. адъютантъ,—возразилъ еврей,—мое дѣло очень секретное. Мнѣ нужно видѣть генерала.

— Ты мнѣ не вѣришь?—спросилъ Крутицкій строго.

— Какъ я смѣю не вѣрить вашему благородію? Но то, что имѣю сказать, я долженъ сказать генералу самому.

Крутицкій вспыхнулъ и закусилъ губы.

— Ну, какъ хочешь,—сказалъ онъ, по видимому, весьма хладнокровно.

— Прощайте, ваше благородіе,—проговорилъ еврей, отвѣсивъ низкій поклонъ.

— Ты уходишь?

— Точно такъ, ваше благородіе, я завтра прійду.

— Нѣтъ, братъ, эдакъ нельзя,—сказалъ Крутицкій.—Я тебя отправлю къ полиціймейстеру.

— Къ полиціймейстеру?—спросилъ еврей, оторопѣвъ,—зачѣмъ къ полиціймейстеру, развѣ я что нибудь укралъ?

— Укралъ или не укралъ, а тебя арестовать нужно. Законъ, законъ такой. А завтра полиціймейстеръ уже отъ себя препроводитъ тебя сюда для допроса.

— Вотъ тебѣ и здравствуй,—проговорилъ про себя еврей, почесавъ свой високъ и обругавъ себя за то, что ввязался въ такое дѣло.—Ваше благородіе,—взмолился онъ,—сжальтесь надо мною. Не отсылайте меня въ полицію. Я человѣкъ занятой. Мнѣ некогда таскаться по канцеляріямъ. Я ради пользы казны сюда пришелъ, ей-богу. За что же меня въ полицію?

— Говори же, зачѣмъ пришелъ?

— Это секретъ. Могу сказать только генералу.

— Генералъ и я—одно и тоже. Ты говори мнѣ, а я скажу генералу. Я адъютантъ.

Еврей подумалъ, подумалъ и, наконецъ, рѣшился.

— Ну, нехай будетъ по вашему,—сказалъ онъ.

Крутицкій заперъ дверь, сѣлъ на софу, закинулъ ногу на ногу и сказалъ:

— Ну, говори, что знаешь, только не врать и не плутовать, потому что...

— Какъ передъ Богомъ, буду говорить всю правду.

— Ну-съ.

— Я шинкарь. Ко мнѣ ходятъ пить разные люди, особливо поляки. Отъ этихъ поляковъ я узналъ, что они хотятъ сдѣлать бунтъ.

— Какъ же ты это узналъ?—спросилъ Крутицкій, улыбнувшись.

— Какъ я это узналъ? У меня развѣ ушей нѣтъ? Они говорили, а я слушалъ.

— Мало ли, о чемъ люди говорятъ въ пьяномъ видѣ.

— Что у трезваго человѣка на умѣ, то у пьянаго на языкѣ. А впрочемъ, что мнѣ за дѣло? Я разскажу то, что своими ушами слышалъ.

— Что ты слышалъ?

— Здѣсь есть одинъ сапожникъ. Его зовутъ Шило. Такъ этотъ сапожникъ шьетъ сапоги для повстанья. Ваше благородіе запишутъ этого сапожника?

— Запишу,—сказалъ Крутицкій, вынувъ записную книжечку и дѣлая видъ, что пишетъ.—Что еще знаешь?

— На Успенскомъ предмѣстьѣ есть кузнецъ.

— Какъ его зовутъ?

— Броничь или Кроничь, хорошенько не знаю, а чего не знаю, того не скажу. Такъ этотъ кузнецъ дѣлаетъ косы и пики для повстанцевъ. Онъ держитъ ихъ въ подвалѣ, а завтра ночью придутъ повозки изъ имѣнія какой то графини и вывезутъ ихъ изъ города.

— Хорошо; больше?—спросилъ Крутицкій.

— На филипповской недѣлѣ всѣ здѣшніе польскіе ремесленники отпустятъ своихъ челядниковъ на кальварію; но они не пойдутъ на кальварію для набоженства, а въ фольваркъ графа Тенчинскаго. Тамъ, говорятъ, есть складъ ружей. Такъ челядники придутъ и будутъ учиться стрѣлять, потому что они всѣ пойдутъ въ повстанье.

Крутицкій, почертивъ въ книжкѣ, спросилъ:

— Что еще знаешь?

— Больше ничего, а когда что нибудь узнаю, такъ приду и разскажу.

— Хорошо, голубчикъ, — сказалъ Крутицкій, потрепавъ еврея по плечу. — Я доложу генералу и ты получишь награду. Только никому объ этомъ не разсказывай.

— Сохрани Боже.

— Какъ тебя зовутъ?

— Шмуль Флаксъ.

Крутицкій, записавъ это имя, спросилъ:

— Гдѣ ты живешь?

— На Болотной улицѣ въ собственномъ домѣ, въ шинку. Шинкаря Шмуля всякій знаетъ.

— Ну, съ Богомъ, — сказалъ Крутицкій, отворивъ дверь и пропустивъ Шмуля.—Когда нужно будетъ, такъ за тобою пошлютъ.

— Такъ вы все это доложете генералу?—спросилъ Шмуль, уходя.

— Разумѣется,—отвѣтилъ Крутицкій, едва удержавшись отъ улыбки.

По уходѣ Шмуля, Крутицкій возвратился въ столовую, гдѣ бесѣда была еще въ полномъ разгарѣ. Графъ Тенчинскій только что провозгласилъ тостъ «за благоденствіе Россіи» и всѣ присутствовавшіе подходили къ нему съ своими бокалами и чокались. Генералъ же, неудовольствовавшись чоканіемъ, заключилъ графа въ свои объятія.

— Однимъ только я не доволенъ вами, графъ, — сказалъ онъ, держа его руку.

— Чѣмъ это, ваше превосходительство?

— Тѣмъ, что вы оставили службу въ такую пору, когда ваша служба была-бы всего полезнѣе престолу и отечеству. Вашимъ просвѣщеннымъ умомъ, вашимъ личнымъ вліяніемъ, вашимъ лояльнымъ направленіемъ, вы бы отрезвили сословіе, во главѣ котораго вы до сихъ поръ стояли. Я противъ нынѣшняго предводителя ничего не имѣю, но... но... Vous comprenez, cher comte, однимъ словомъ, было бы лучше если бы *вы* теперь были предводителемъ... Здѣшнее дворянство, la noblesse du pays s'obstine d'oublier le mot, la parole de l'empereur: «point des reveries!» C'était un grand mot, digne d'un grand monarque, n'est-ce-pas, mon cher comte?

— Oui, mon général,—согласился графъ.

— Но дворянство, — продолжалъ генералъ, вздохнувъ, — все таки предается мечтамъ; это-то, entre nous, и безпокоитъ

меня... Вы знаете, графъ, какъ я не люблю крутыхъ мѣръ, я врагъ военнаго положенія, ибо чѣмъ виноваты мирные граждане? Страдаетъ торговля, страдаетъ промышленность, благосостояніе края подкапывается; но что прикажете дѣлать? Я же долженъ пещись о поддержаніи порядка. Я прошу, умоляю, хоть я имѣю власть приказывать — не выходите изъ границъ приличія, имѣйте вѣру въ милость нашего добраго монарха, онъ все для васъ сдѣлаетъ, я самъ буду ходатайствовать у подножія его престола; но ваши соплеменники злоупотребляютъ моимъ терпѣніемъ... Что же будетъ, если это терпѣніе лопнетъ? Вѣдь я же долженъ буду усмирять непокорныхъ оружіемъ... Прольется кровь, между прочимъ, можетъ быть, и невинныхъ. Одинъ Богъ знаетъ, какъ я люблю этотъ край, люблю его, повѣрьте, не меньше моей родины. Я всегда старался быть ему отцомъ, а не начальникомъ; бываю счастливъ только тогда, когда мнѣ удается выхлопотать для него какую нибудь царскую милость, — и вотъ отплата за любовь мою!..

Генералъ прослезился, и, передавъ свой бокалъ близь стоявшему адъютанту, прошелся въ волненіи нѣсколько разъ по столовой. Присутствовавшіе раступались передъ нимъ, поглядывая другъ на друга съ недоумѣніемъ. Веселіе исчезло съ ихъ физіономій. Графъ Тенчинскій и Николай Крутицкій опустили головы и прикидывались тоже растроганными.

— Послушайте, графъ,—сказалъ генералъ, остановившись передъ Тенчинскимъ и положивъ руку на его плечо,—прошу васъ, или нѣтъ, приказываю вамъ, какъ начальникъ, да... какъ начальникъ, ибо я вижу, что уже пора употреблять въ дѣло ввѣренную мнѣ власть. И такъ, приказываю вамъ растолковать, объяснить всѣмъ вашимъ, что они затѣяли опасную безумную, игру, что заигрывать съ Россіею не весьма удобно. Пусть не воображаютъ, что мы въ крымской кампаніи спустили всѣ наши трумфы... Россія сильна, сильнѣе, чѣмъ даже думаютъ сами русскіе. Говорю вамъ, какъ старый русскій генералъ и администраторъ. При томъ, изъ-за клочка земли, называвшагося когда-то польскимъ королевствомъ, Европа не пойдетъ на насъ съ коалиціею, а если пойдетъ, такъ мы противупоставимъ ей не менѣе сильную коалицію: съ на-

ми будетъ Пруссія и Австрія. Стало быть, мы польскія мечты разобьемъ въ пухъ и прахъ, и, разбивая мечты, разобьемъ и мечтателей. Это—польскіе агитаторы пусть и имѣютъ въ виду. Растолкуйте имъ, пожалуйста.

— Слушаю, ваше превосходительство,—проговорилъ графъ, покорно преклонив голову.

— Шампанскаго!—крикнулъ генералъ, опять повеселѣвъ и возвратившись къ своему обычному добродушію и хлѣбосольству.—Налейте бокалы, господа! Провозглашу тостъ... за здравіе графа Болеслава Казиміровича Тенчинскаго и всѣхъ мирныхъ граждапъ здѣшняго края—ура!

— Ура!!—восторженно подхватили всѣ присутствовавшіе.

Улучивъ удобную минуту, Николай Крутицкій отвелъ своего дядю въ диванную и въ короткихъ словахъ сообщилъ ему доносъ шинкаря, при чемъ передалъ и адресъ доносчика: графъ Тенчинскій даже не перемѣнился въ лицѣ.

— Dobrze,—проговорилъ онъ, всунувъ адресъ въ карманъ, и возвратился въ столовую, съ тѣмъ же невозмутимымъ спокойствіемъ, съ которымъ за минуту изъ нея вышелъ.

Четыре дня спустя, т. е. въ ночь съ 21 на 22 апрѣля, на Болотной улицѣ случился пожаръ: загорѣлся, горѣлъ и сгорѣлъ почти до тла, еще до прибытія пожарныхъ, деревянный домикъ шинкаря Шмуля Флакса. Погорѣльцы едва успѣли спасти свой животъ да что нибудь изъ домашней рухляди.

По многимъ признакамъ, пожаръ произошелъ отъ поджога. Это признавали всѣ, — оставалось только разслѣдовать, кто поджигалъ. Первое подозрѣніе, какъ водится, пало на самаго домовладѣльца, Шмуля Флакса. Его и заарестовали; но когда открылось, что домикъ его не былъ застрахованъ, его выпустили и стали производить формальное слѣдствіе. Формальное же слѣдствіе поджигателей не открыло, но за то нашло, что пожаръ произошелъ отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ. На это остроумное открытіе слѣдователь попалъ не сразу, а только послѣ того, какъ панъ Андрей Грушевичъ сдѣлалъ ему два визита, во время производства слѣдствія. Отъ этихъ визитовъ слѣдователь вдругъ прозрѣлъ и, понявъ въ чемъ дѣло, повелъ его, какъ слѣдуетъ...

Шмуль Флаксъ остался безъ домика, но съ убѣжденіемъ,

что иногда весьма опасно мѣшаться не въ свое дѣло. Тѣмъ не менѣе, однакоже, онъ рѣшился свое вмѣшательство не въ свое дѣло продолжать еще съ большимъ усердіемъ. Къ этому обязывала его почувствованная имъ потребность—мстить виновникамъ своего раззоренія. Этихъ виновниковъ онъ зналъ; но власти, къ которымъ онъ обращался за правосудіемъ, почему то и знать объ нихъ не хотѣли. Онѣ требовали отъ него фактическихъ доказательствъ, а гдѣ ихъ взять? Онъ рѣшился молчать и мстить своимъ раззорителямъ, чѣмъ только можно.

— За каждую щепку моей хатки я съ нихъ взыщу сторицею,—сказалъ онъ себѣ и далъ клятву быть твердымъ въ своемъ намѣреніи.

VII.

Тетушка Пракседа, у которой, если читатели помнятъ, горничная Кранцовъ, Марциша, назначила свиданіе своему возлюбленному Стасю, дозорцу народнаго жонда, принадлежала къ тѣмъ тетушкамъ, у которыхъ племянницъ—цѣлый легіонъ. Каждая скомпрометированная и вытолкнутая изъ общества дѣвушка, нуждавшаяся въ пріютѣ, совѣтѣ и покровительствѣ, поступала племянницей къ тетушкѣ Пракседѣ, которая, благодаря большой фалангѣ своихъ *племянниковъ*, не только изъ мелюзги, но и изъ jeunesse dorée города N, всегда имѣла возможность кое-какъ пристроить прибѣгавшую къ ея помощи дѣвушку. А потому тетушка Пракседа пользовалась большою популярностью въ средѣ польской молодежи города N, служа, съ одной стороны, благодѣтельною феею, сыпавшею на тороватыхъ юношей всевозможныя удовольствія и наслажденія, а, съ другой, — якоремъ спасенія для милыхъ, но погибшихъ созданій.

Въ молодости своей, тетушка Пракседа, круглая сирота, но быстроглазая, разбитная и очень красивая дѣвушка, сама состояла племянницей у какой то тетушки, и въ этомъ званіи она не только весело, роскошно и шумно проводила время, но разъ чуть не сдѣлалась ясновельможней паней, захвативъ въ свои сѣти одного очень богатаго барченка, который врѣзался въ нее по уши и уже собирался на ней жениться. Только богатый выкупъ и космополитическое сердце самой

Пракседы, возмущавшееся при мысли принадлежать только одному, спасли вельможную фамилію барченка отъ ничѣмъ не поправимаго позора. Барченка увезли подальше отъ соблазна, а Пракседа осталась свободною и продолжала быть племянницей съ еще большимъ шикомъ, на раззореніе разныхъ племянниковъ и дядюшекъ. Но, годъ за годомъ, когда молодость, красота и поклонники стали ей измѣнять, она, поплакавъ надъ ничѣмъ не возвратимымъ блестящимъ прошедшимъ, рѣшилась не оставаться на бобахъ въ будущемъ. Изъ племянницъ, она произвела себя въ тетки, роль которыхъ она стала разыгривать съ замѣчательною ловкостью и успѣхомъ. Она зажила своимъ домомъ, самосостоятельно, солидно, расчетливо, какъ подобаетъ настоящей теткѣ, зажила — на удовольствіе другихъ и на пользу себѣ.

Въ эпоху, въ которую происходятъ описываемыя нами событія, Пракседа уже сорокалѣтняя матрона, высокая, дородная, съ лицомъ, дышащимъ довольствомъ и увѣренностью въ своемъ умѣньи вести дѣла самыя щекотливыя. Правда, на этомъ солидномъ, почти дѣловомъ лицѣ появляются иногда сальная улыбка и безобразныя ужимки старой кокотки; но это бываетъ очень рѣдко, только тогда, когда она передъ уже очень скупымъ пелмянникомъ бываетъ принуждена представлять, такъ сказать, въ лицахъ, невыразимыя достоинства какой нибудь племянницы, безъ чего она боится лишиться богатаго кліента, стало быть, и хорошаго куртажа. Вообще же она держитъ себя съ тактомъ, можно почти сказать—съ достоинствомъ, имѣя слабость корчить изъ себя солидную зажиточную барыню весьма строгихъ правилъ. И, надобно отдать ей справедливость, она такъ хорошо разыгриваетъ роль солидной женщины, что видящіе и говорящіе съ нею въ первый разъ очень легко принимаютъ ее за какую нибудь мелкопомѣстную помѣщицу, или, по краней мѣрѣ, за средней руки чиновницу.

Она занимаетъ на предмѣстьѣ большой деревяный домъ съ мезонинами, съ огородомъ и съ фруктовымъ садомъ, въ которомъ она уже сама подѣлала бесѣдки, гроты и дерновыя скамейки. Она любитъ порядокъ и комфортъ и всѣми силами старается поддерживать ихъ въ своей домашней обста-

новкѣ. Сама она занимаетъ только одну, но довольно обширную комнату, хорошо меблированную, служащую ей гостиной, столовой, спальней, кабинетомъ или конторой, въ которой она принимаетъ своихъ кліентовъ и рѣшаетъ всѣ дѣла. Прочія же комнаты и мезонины нанимаемаго ею большаго дома она держитъ для своихъ гостей, иногда нуждающихся въ отдѣльныхъ chambres garnies.

Если читатель подумаетъ, что тетя Пракседа есть простая содержательница, то онъ этимъ очень обидитъ ее: она, видите-ли, лишь устраиваетъ у себя свиданіе любящихъ сердецъ, которыя не хотятъ компрометировать себя, облегчаетъ знакомство между тѣми, которые чувствуютъ другъ къ другу непреодолимое влеченіе, занимается уходомъ за родильницами, нуждающимися въ вящщей тишинѣ и спокойствіи, пристраиваетъ къ мѣстамъ племянницъ, лишенныхъ всякой опеки, кого въ служанки къ домовитому холостяку, а кого въ няньки къ чадолюбивому вдовцу, обремененному малолѣтними дѣтьми, даетъ хорошіе совѣты и наставленія молодымъ особамъ, не привыкшимъ еще жить своимъ собственнымъ умомъ; словомъ, старается быть полезной, чѣмъ только можетъ. Лишившаяся мѣста племянница имѣетъ право *погостить* у нея съ недѣльку, но, по истеченіи этого срока, она должна идти куда хочетъ, куда глаза глядятъ, хоть топиться, ибо ея домъ не *заведеніе*.

Это она повторяетъ своимъ кліентамъ и кліенткамъ при всякомъ удобномъ случаѣ, дабы они не забывали, что имѣютъ дѣло съ благородною женщиною, а не съ какою нибудь...

Въ одинъ прекрасный, теплый, но темный іюльскій вечеръ 1862 года, въ одной изъ бесѣдокъ фруктоваго сада тетушки Пракседы, сидѣла какая то парочка и тихо, почти шопотомъ, разговаривала между собою.

— Повѣрьте, ясневельможная пани,—слышался умоляющій голосъ мужчины,—все это клевета, на которую ясневельможная пани не должна обращать вниманія.

— Ясневельможная пани, ясневельможная пани! — передразнивалъ тонкій женскій голосъ, — сколько разъ я тебѣ говорила, что здѣсь я для тебя не ясновельможная пани, а просто Ядвига?

— Не смѣю такъ называть васъ, не смѣю вѣрить въ мое счастіе, когда вы сомнѣваетесь въ моей искренности, когда вы не вѣрите моимъ словамъ.

— Почему я должна вѣрить тебѣ больше, чѣмъ другимъ, которые говорятъ, что ты меня обманываешь?

— Другіе говорятъ, потому-что хотятъ повредить мнѣ въ вашихъ глазахъ. Имъ завидно, что вы изволите меня протежировать.

— Протежировать?

— Или.. любить,—прибавилъ мужчина робко и еще тише.

Шелковое платье зашелестило: Ядвига обратилась спиною къ своему собесѣднику.

— Вотъ и люби простолюдина,—проговорила она съ досадой,—для него протежировать и любить—одно и тоже.

—Ядвига!—почти воскликнулъ мужчина, упавъ на колѣни,— ради Бога, не думай такъ обо мнѣ. По рожденію, по обстоятельствамъ, я точно простолюдинъ, но сердце у меня шляхетское. Умѣю любить пламенно, бѣшенно.

— Кого?—строго спросила она.

— Развѣ не знаешь, развѣ не видишь?—тебя, мой ангелъ, моя королева!...

— Врешь, безсовѣстный! Я знаю, у тебя есть, помимо меня, другая любовница, простая дѣвка. Фи!

— Была, ясневельможная пани, а теперь нѣтъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я имѣлъ счастіе узнать васъ, я о ней и не думаю. И какъ могу о ней думать, когда сердце мое занято вами? Думаю о васъ ночью, думаю днемъ; я съ ума схожу, а вы мнѣ не вѣрите. Что-же мнѣ дѣлать? Берите ножъ и разрѣжьте мое сердце, тогда увидите, правду-ли я говорю или нѣтъ. Спросите у тети Пракседы.

— Вотъ нашелъ особу, которой я повѣрю.

— Какихъ-же доказательствъ вы отъ меня хотите?... Впрочемъ, я вамъ дамъ доказательство,—прибавилъ онъ послѣ нѣкоторой паузы.—Послушайте, ясневельможная пани....

— Опять этотъ титулъ?

— Я не перестану титуловать васъ до тѣхъ поръ, пока вы мнѣ не повѣрите. И такъ, ясневельможная пани, если вы мнѣ теперь не докажете, что вы мнѣ вѣрите, что вы пони-

маете, какъ пламенно я люблю васъ, то да убьетъ меня громъ, да сверну себѣ шею на возвратномъ пути, или позволю вамъ называть меня подлецомъ, негодяемъ, мошенникомъ, если вы завтра не увидите меня висящимъ на фонаронмъ столбѣ противъ вашего дома. Сгинь душа моя въ пеклѣ,—если не сдержу слова. Прощайте!..

Онъ всталъ и направился къ двери бесѣдки.

— Стась!—воскликнула она, вскочивъ съ своего мѣста и загородивъ ему дорогу,—куда ты хочешь идти, что ты хочешь дѣлать?

— Хочу покончить съ собою, потому что безъ вашей любви не могу жить на свѣтѣ. Отъ одного вашего слова зависитъ жизнь моя или смерть.

— Тебѣ очень нужно это слово?

— Какъ сама жизнь.

— Люблю тебя!—Ты доволенъ?

— И будете мнѣ вѣрить?

— Буду.

— И не будете меня ревновать къ какой нибудь дѣвкѣ, нестоющей вашего мизинца?

— Не буду.

— Такъ zgoda?

— Zgoda.

Они бросились другъ другу въ объятія и замерли на минуту въ одномъ долгомъ, тихомъ, страстномъ поцалуѣ... Потомъ они сѣли на диванъ и нѣкоторое время молчали, погруженные въ забытьи невыразимаго блаженства

— Послушай, Стась,—начала Ядвига фонъ-деръ-Горстъ—(это была она),—я полюбила тебя, не смотря на то, что ты дозорецъ, я полюбила тебя съ перваго взгляда; но, не смотря на то, что я люблю тебя, каковъ ты есть, я не хочу, однако-же, чтобы ты всегда оставался дозорцемъ.

— Дѣлай изъ меня, что тебѣ угодно, я на все готовъ.

— Я стороной начала хлопотать, чтобы жондъ далъ тебѣ другое, болѣе благородное назначеніе.

— И будь увѣрена, что я окажусь достойнымъ этого назначенія. Я еще не успѣлъ тебѣ сказать, что я не совсѣмъ безъ науки. Я окончилъ пять классовъ гимназіи. Мои роди-

тели были довольно зажиточные ремесленники и ничего не жалѣли для моего воспитанія. Они хотѣли вывести меня въ люди. Не умри они въ послѣднюю холеру, я-бы окончилъ университетъ.

Ядвига съ восторгомъ пожала руку говорившаго юноши: ея аристократизмъ почувствовалъ себя удовлетвореннымъ мыслью, что ея Стась не совсѣмъ простой человѣкъ.

— Я учился хорошо, учителя были мною довольны. Но, со смертью моихъ родителей, кончилось мое ученіе и стремленіе быть порядочнымъ человѣкомъ. Я попалъ въ нехорошую компанію, которая помогла мнѣ прокутить отцовское достояніе. Въ два года, изъ довольно порядочнаго наслѣдства у меня не осталось ни копѣйки. Я сталъ голодать.

— Бѣдный Стась!—пожалѣла Ядвига.

— Я сдѣлался шулеромъ.

— Шулеромъ!—воскликнула Ядвига, заломавъ руки.

— Да, и самаго послѣдняго разбора. Кромѣ того, я началъ сильно пить съ горя, видя, что мои товарищи по гимназіи вышли въ люди, служатъ столоначальниками, поженились на шляхтянкахъ, словомъ, живутъ по-пански, а я долженъ шляться по кабакамъ, обыгрывать мужиковъ, прятаться отъ полиціи, не имѣть своего угла, быть гдѣ день, гдѣ ночь, брататься съ разными мошенниками, получать подачки отъ павшихъ женщинъ, которыя надоѣдали мнѣ своею гадкою любовью и, словомъ, я погрязъ по уши и чуть не сдѣлался воромъ.

— Воромъ?—воскликнула Ядвига, быстро отодвинувшись отъ своего собесѣдника, котораго чуть не разлюбила въ эту минуту.

— Да,—отвѣтилъ Стась, который съ какимъ-то наслажденіемъ разсказывалъ о своемъ паденіи,—воромъ и даже убійцей, если-бы нужно было, потому что мнѣ хотѣлось ѣсть, я былъ голоденъ. Вы понимаете, сударыня, что такое значитъ голодать по цѣлымъ суткамъ, не имѣть во рту куска хлѣба, красть овесъ изъ яслей и жевать его до тошноты, жевать пробку, гутта-перчу и тому подобную дрянь? О, вы, богачи, и понятія объ этомъ не имѣете, а я это испыталъ.

— Бѣдный Стась!—проговорила Ядвига со слезами на глазахъ.

— Не опредѣли меня панъ Андрей въ дозорцы, я-бы сдѣлался воромъ, хоть бы для того, чтобы попасть въ тюрьму, гдѣ кормятъ даже болѣе тяжкихъ преступниковъ.

— Ядвига, растроганная этимъ разсказомъ, обвила руками шею Стася, склонила голову на его грудь и тихо заплакала.

— Но,—продолжалъ Стась, поцѣловавъ нѣсколько разъ волосы плакавшей на груди его аристократки,—при всѣхъ моихъ скверныхъ поступкахъ, я въ душѣ оставался честнымъ человѣкомъ, совѣсть меня всегда мучила и я бы давно повѣсился, если бы не надежда, что мои обстоятельства перемѣнятся. И они, дѣйствительно, перемѣнились. Судьба вознаградила меня за всѣ мои страданія. Обладая такимъ сокровищемъ, какъ ты, моя Ядвига, я забываю свое прошлое и не забочусь о будущемъ. Я счастливъ и знать ничего не хочу.

И онъ быстро схватилъ голову Ядвиги и сталъ осыпать ея лицо страстными поцѣлуями.

— Твоя любовь облагораживатъ меня,—продолжалъ онъ,—я чувствую себя перерожденнымъ и теперь уже не сомнѣваюсь, что опять сдѣлаюсь порядочнымъ человѣкомъ. Знаешь, гдѣ и какъ провожу теперь время, когда не занятъ службою? Сижу дома, читаю, учусь.

— Неужели?—воскликнула Ядвига въ восторгѣ. О, какъ я рада!

— Никогда я не чувствовалъ такого рвенія въ ученіи какъ теперь. Учусь и по-французски.

— Неужели?

— Да. Я когда-то зналъ этотъ языкъ, но забылъ, теперь освѣжаю мои прежнія незнанія. Беру уроки у пана Переца, онъ хорошій учитель, а главное—онъ обучаетъ меня даромъ. Я этой услуги никогда не забуду. Онъ хоть и жидъ, но порядочный человѣкъ. Я его очень уважаю. Современемъ, онъ вѣроятно, сдѣлается католикомъ.

Часы на городской башнѣ пробили десять.

— Десять!—воскликнула Ядвига, встрепенувшись,—мнѣ уже пора. Папа пріѣзжаетъ изъ клуба въ половину двѣнадцатаго,

Она поднялась съ дивана и стала приводить въ порядокъ свой нѣсколько помятый туалетъ.

— Послушай, Стась,—сказала она, поспѣшно натягивая перчатки,—ты очень хорошо дѣлаешь, что учишься. Тебѣ это пригодится. Я не Ядвига фон-деръ-Горстъ, если не выхлопочу для тебя хорошей должности. Ожидаю только пріѣзда пана Вацлава. Черезъ него мнѣ ловчѣе будетъ дѣйствовать. Графъ мнѣ самой не отказалъ бы, но, понимаешь, мнѣ неловко просить за тебя.

— Разумѣется, я этого и не желаю.

— До свиданія, Стась. Проводи меня до угла. Тамъ ожидаетъ меня лакей.

Они обнялись, поцѣловались и вышли изъ сада.

— Гдѣ Стась?—спросила Марцина, влетѣвъ, какъ бомба, ни жива, ни мертва, въ кабинетъ тетушки Пракседы, въ то время, когда любовникъ ея объяснялся въ бесѣдкѣ съ панной Ядвигой.—Гдѣ Стась?

— Это что за манера?—осадила ее тетушка, никогда не терявшая присутствія духа, окинувъ Марцишу строгимъ, полнымъ достоинства, взглядомъ.—Ты забываешь, гдѣ ты и съ кѣмъ говоришь. Точно въ кабакъ ворвалась!...

Марциша, блѣдная, запыхавшаяся, едва державшаяся на ногахъ, опустилась на близь стоявшее кресло и чуть не упала въ обморокъ отъ усталости и волненія.

— Извините, тетушка,—проговорила она прерывающимся голосомъ, держась за грудь,—я бѣжала... пѣшкомъ... двѣ версты... я устала... Отдохну... разскажу.

— Ну, отдохни,—сказала тетушка нѣсколько мягче,—приляг на диванъ, тамъ тебѣ будетъ удобнѣе.

Марциша поплелась къ дивану, легла и закрыла лицо руками.

— Пойду принесу лимонадъ,—сказала тетушка, зазвенѣвъ ключами, и вышла въ сѣни.

Она вызвала изъ кухни разсыльную дѣвушку, шепнула ей что-то на ухо, отперла шкафъ, вынула полубутылку лимонаду и возвратилась въ комнату.

Пракседа нашла Марцишу рыдающею. Она присѣла къ ней на диванъ и, какъ будто проникнувшись участіемъ, взяла ее за руки и стала разспрашивать.

— О чемъ ты плачешь?

— Какъ мнѣ не плакать, тетя? Мнѣ такъ больно! Сердце разрывается... Онъ обманываетъ меня.

— Откуда ты знаешь, что онъ тебя обманываетъ?

— О, я знаю! Онъ избѣгаетъ меня. Онъ назначаетъ мнѣ свиданія и не приходитъ. Онъ уже измучилъ меня. Вечеромъ мнѣ показалось, какъ будто онъ шелъ сюда. Я все бросила и, сломя голову, летѣла сюда, а его нѣтъ... О, онъ меня обманываетъ! Онъ вѣрно добылъ себѣ другую коханку, а меня бросилъ.

— Такъ брось и ты его! совѣтовала Пракседа,—это самое лучшее наказаніе для мужчины. Слезами ты на нихъ не подѣйствуешь: они вѣдь тираны, мучить насъ—составляетъ для нихъ удовольствіе. Такъ самое лучшее плевать на нихъ, показать имъ, что можемъ обойтись и безъ нихъ. Право.

— Я не могу... Я люблю его!

— И онъ знаетъ, что ты его любишь?

— Еще бы не знать ему! Онъ очень хорошо знаетъ, что я жизни своей не пожалѣла-бы для него.

— Вотъ это-то и не хорошо,—сказала Пракседа наставительно.—Мужчинѣ никогда не нужно показывать виду, что любишь его. Какъ только онъ узналъ, что ты его любишь, такъ онъ для тебя уже пропалъ. Онъ до тѣхъ поръ только будетъ ухаживать за тобою, пока не добьется отъ тебя признанія, а какъ только добился, такъ ты больше ему не нужна. О, я ихъ знаю! Съ ними нужно хитрить, и какъ еще!.. Они у ногъ моихъ валялись, на рукахъ меня носили, а признанія не добивались.

Пракседа вздохнула, вспомнивъ свое прошлое, и потомъ продолжала:

— Да, моя милая. Я *ихъ* мучила, а не они меня. Я имъ такъ кружила головы, что было любо-дорогѣ смотрѣть. Я любила одного, а показывала видъ, что люблю совсѣмъ другаго, и тѣмъ держала моего любовника на заднихъ лапкахъ.

Не польстись я на деньги, я бы была теперь ясневельможною паней... Да, прибрать къ рукамъ мужчину совсѣмъ не трудно, нужно только умѣть держаться, а ты, моя милая, какъ вижу, не умѣешь.

— Да, тетенька, я въ самомъ дѣлѣ не умѣю. О, дайте мнѣ совѣтъ, научите меня, какъ опять приворожить къ себѣ Стася?

— Если приворожить, такъ зачѣмъ же Стася? Онъ голышъ, что проку въ немъ? Можно найти лучшаго.

— Мнѣ лучшаго не надо. Хочу Стася, и только Стася!..

— Глупа ты, моя милая,—вотъ что я тебѣ скажу. Зачѣмъ держаться одного? это не выгодно. Знаешь, какъ поется въ пѣснѣ? Dzisiaj Stas, jutro Ias... Такъ и слѣдуетъ.

— Нѣтъ, тетушка, — сказала Марциша, вставъ съ дивана,—я этого не могу. У меня уже характеръ такой. Люблю Стася, и только Стася. Я безъ него жить не могу.

— Ну что, если онъ любитъ другую?

— Другую?—воскликнула Марциша, не своимъ голосомъ, хватаясь за голову.— Вы говорите, онъ любитъ другую? О я несчастная!.. Вы что нибудь знаете? О, говорите, ради Бога, говорите всю правду! Я должна это знать! О, не мучьте, не губите меня. Тетушка, матушка, голубушка, умоляю васъ, заклинаю васъ, говорите правду, всю правду!

И она, плача и рыдая, бросилась къ ногамъ старой кокотки, которую надѣялась растрогать своими мольбами и своимъ изступленнымъ отчаяніемъ. Но зачерствѣлое сердце Пракседы не измѣнило себѣ; оно не было тронуто слезами и воплями валявшейся у ногъ ея бѣдной дѣвушки.

— Чего ты отъ меня хочешь, глупая ты?—сказала Пракседа, принявъ сердитую мину,—я ничего не знаю. Я высказала только предположеніе. Мнѣ почемъ знать, что дѣлается въ сердцѣ твоего Стася?

— О, вы знаете,—плакала Марциша, ломая руки, — вы все знаете. Вы меня обманываете. Вы Стасю подсунули другую коханку. О, сжальтесь надо мною! Чѣмъ я предъ вами провинилась? За что такое наказаніе?

— Отстань отъ меня!—крикнула на нее Пракседа. —Ты говоришь глупости, мнѣ надоѣло тебя слушать.

— Но мнѣ больно, охъ, какъ больно! Вы не можете этого чувствовать, потому что вы никогда не любили.

— Не твое дѣло, любила ли я или нѣтъ.

— Войдите въ мое положеніе. Сжальтесь надо мною! Отдайте мнѣ Стася! Я безъ него жить не могу! Я повѣшусь, я... беременна, слышите?

— А мнѣ какое дѣло?

— Зачѣмъ же вамъ было сводить его съ другою!

— Марциша! — грозно крикнула Пракседа, топнувъ ногой.—Ты не забывай, съ кѣмъ говоришь. Я тебя отошлю въ кварталъ!...

— Въ кварталъ?—воскликнула дѣвушка, подскочивъ, какъ разъяренная тигрица, къ Пракседѣ.—Вы смѣете мнѣ угрожать? Вы, старая, безсовѣстная сводница!

— Да, я, старая, безсовѣстная сводница, — проговорила Пракседа, даже не моргнувъ, — отправлю тебя въ кварталъ, въ комитетъ, а Стася тебѣ уже не видать, какъ ушей своихъ.

— Врешь, колдунья!—кричала Марциша, не помнившая себя отъ ярости.— Я его увижу, я его найду, хоть бы онъ сквозь землю провалился, я его найду, его и его коханку! Ей смерть и мнѣ смерть! Я ее задушу, зарѣжу, а его взведу на эшафотъ. Да, онъ въ моихъ рукахъ. Я знаю о немъ то, чего никто не знаетъ. Знаю, гдѣ и за что онъ получаетъ жалованье; знаю, у кого онъ на службѣ. Скажу начальству только одно слово, такъ его сошлютъ въ Сибирь, въ каторгу. Я себя въ обиду не дамъ. Я не такъ глупа, какъ онъ обо мнѣ думаетъ. Я ему отмщу! мнѣ смерть и ему смерть!

— Туда вамъ и дорога, — сказала Пракседа, отворяя дверь.

— Онъ такъ дешево со мною не раздѣлается. Вы это ему и скажите.

— Скажи ему сама, я отъ служанокъ приказаній не принимаю. Я сама барыня. Убирайся!

— А съ вами я разсчитаюсь другимъ маneромъ.

— Очень хорошо; Пракседа ни у кого въ долгу не остается. Убирайся же, говорю тебѣ!—крикнула Пракседа уже въ сердцахъ, указывая на дверь,—не то позову людей!

— Людей? Какая важная барыня! — проговорила Марциша, уходя и саркастически улыбаясь.

Пракседа заперла за ушедшей дверь, сѣла на диванъ и, скрестивъ на груги руки, крѣпко задумалась.

IX.

На другой день чуть свѣтъ, тетушка Пракседа, понимавшая сразу, чѣмъ пахнетъ угроза отчаянной дѣвушки, послала за Стасемъ и разсказала ему всю вчерашнюю сцену съ Марцишей.

— Неужели она такъ и сказала? — воскликнулъ Стась, схватившись за голову.—О, я несчастный! что я надѣлалъ?...

— Ты глупостей надѣлалъ, вотъ что! — отвѣтила Пракседа.—Нашелъ кому довѣрять тайну, ха, ха, ха! Ты теперь на себя и пеняй.

— Но я ее убью! — воскликнулъ онъ, сжавъ кулаки.

— Дѣлай съ нею, что хочешь. Только смотри, чтобы скорѣе покончить съ этой дѣвкой. Не то, ты наживешь бѣды себѣ, паннѣ Ядвигѣ и твоимъ принципаламъ.

— Что же мнѣ дѣлать? — спросилъ онъ, ломая руки.

— Помирись съ нею, — посовѣтовала Пракседа иронически улыбнувшись, — приголубь ее. Она вѣдь только этого и хочетъ. Помирись.

— Помириться съ нею?—никогда! Я ее терпѣть не могу,

— Вы, мужчины, всѣ на одинъ покрой: сперва па стѣны лѣзутъ, жить безъ коханки не могутъ, а потомъ, когда натѣшатся вдоволь, такъ бросаютъ, какъ ненужную вещь. Я всегда знала, что мужчинамъ нельзя вѣрить; ихъ клятвы — пустыя слова, не больше. О, если бы всѣ женщины имѣли мой умъ!... Но гдѣ имъ до моей опытности! Го, го! я мужчинамъ потачки не давала. Я ихъ бросала, а не они меня. Вотъ какъ нужно съ вами поступать, а не то, что вѣшаться вамъ на шею. Вы этого не стоите, вы тираны, мерзавцы, подлецы, дураки! Вы любите только ту, которая и смотрѣть на васъ не хочетъ, а которая къ вамъ ласкается, такъ ту отъ себя гоняете. О, задала бы я вамъ феферу!... Имѣй я власть, я бы васъ всѣхъ въ сумасшедшій домъ упрятала, по-

тому что вы всѣ сумасшедшіе, звѣри лютые и только! Искусать, растерзать невинную дѣвушку для васъ ничего. Я бы васъ безъ намордниковъ на улицу не пускала. Вотъ что!...

Старая кокотка такъ увлеклась защитою слабаго, обижаемаго пола, что, въ пылу гнѣва, чуть не вцѣпилась въ стоявшаго передъ нею, съ поникшею головою, молодаго человѣка. Послѣдній, будучи погруженъ въ свои думы, ничего не слышалъ, что протараторила Пракседа, и только когда наступила пауза, онъ, какъ бы очнувшись отъ сна, опять спросилъ:

— Что же мнѣ дѣлать?

— Помирись! — повторила совѣтъ свой Пракседа.

— А панна Ядвига?

— Ага! Такъ ты за двумя зайцами хочешь гнаться? Слишкомъ жирно будетъ. Нѣтъ, братъ, отъ панны Ядвиги ты долженъ отказаться.

— Отказаться? Отъ панны Ядвиги?—воскликнулъ Стась вперивъ въ Пракседу взглядъ, полный гнѣва и презрѣнія.— Нѣтъ, любезная тетушка, я скорѣе откажусь отъ жизни, чѣмъ отъ панны Ядвиги. Ее я люблю искренно, бѣшенно. Отъ нея не откажусь ни за какія блага въ мірѣ.

— Ну, дѣлай, какъ знаешь. Я тебѣ не совѣтница,—проговорила Пракседа, снявъ со стѣны свою гитару, къ которой она прибѣгала каждый разъ, когда бывала не въ духѣ или слишкомъ взволнована.

Наступила пауза. Стась съ поникшею головою и скрещенными на груди руками сталъ ходить по комнатѣ взадъ и впередъ, а Пракседа, наклонившись надъ своимъ любимымъ инструментомъ, взяла нѣсколько густыхъ аккордовъ и заиграла сперва какую то пѣсенку, а потомъ гимнъ: «Boze cos Polskę». Окончивъ гимнъ, она немного отдохнула, настроила гитару и опять стала играть что-то, а Стась все еще продолжалъ ходить по комнатѣ. Лицо его было блѣдно, разстроенно. Видно было, что онъ думаетъ, и тяжкую думу думаетъ.

— Такъ,—говорилъ онъ самъ съ собою. — Такъ... А то, какъ же? Нельзя... Пустяки! Вздоръ! Эва важность!.. Мигъ,— и кончено... таки лучше, чѣмъ... Вѣдь ойчизна... Графъ... Ядвига...

Праведа продолжала играть, изъ подлобья поглядывая на разсѣянного и думавшаго вслухъ Стася.

— Не повѣритъ? Повѣритъ, — продолжалъ онъ свой несвязный монологъ, — я такъ сдѣлаю, что повѣритъ. Ишь, погубить насъ всѣхъ вздумала! Врешь, не погубишь! Сама сгинешь, а не погубишь! Прощайте! проговорилъ онъ, схвативъ фуражку и направляясь къ двери.

— Куда ты бѣжишь? На чемъ ты порѣшилъ? — спросила Праведа, вскочивъ съ кресла и вперивъ въ разстроенное лицо Статя испытующій и испуганный взглядъ.

— Порѣшилъ... порѣшилъ, — пробормоталъ Стась, непріятно улыбнувшись, и выбѣжалъ изъ комнаты, оставивъ Праксeду въ страшномъ недоумѣніи.

Онъ бѣжалъ, бѣжалъ долго, безъ оглядки, какъ будто спасаясь отъ погони. Онъ очень удивился, когда вдругъ увидѣлъ себя въ своей квартирѣ. Какимъ образомъ онъ до нея добрался, какими улицами онъ шелъ, кто подалъ ему ключь, хозяйка или Елжбета, хозяйская служанка? — онъ ничего не помнилъ. Онъ даже не зналъ, что теперь: день или ночь, и давно ли онъ сидитъ у себя на кровати. И зачѣмъ онъ сидитъ на кровати, а не на стулѣ? Онъ спалъ? Можетъ быть да, можетъ быть и нѣтъ. Онъ ничего не помнилъ. Въ головѣ его мутилось. Онъ только помнилъ, что ему зачѣмъ то нужно было навѣдаться къ ксендзу Квецинскому, но за чѣмъ? — не помнилъ. — Зналъ и забылъ. Чортъ возьми, пойду къ ксендзу Квецинскому, — порѣшилъ онъ. — Вѣдь нужно, крайне нужно!...

И онъ побѣжалъ къ ксендзу Квецинскому. Но вмѣсто воспитательнаго дома, гдѣ жилъ ксендзъ Квецинскій, онъ очутился на набережной, въ совершенно другомъ концѣ города, между тѣмъ какъ воспитательный домъ находился въ самомъ центрѣ. Онъ даже этому не удивился: онъ думалъ, что такъ и слѣдуетъ.

— Что это за б дки на рѣкѣ? — спросилъ онъ у дряхлаго инвалида сидѣвшаго на берегу и покуривавшаго трубку.

— Это купальни, — флегматически отвѣтилъ инвалидъ, не взглянувъ даже на вопрошавшаго.

— Можно купаться?

— Отчего не можно! За три копейки можно. Я на это и поставленъ.

Стась бросилъ инвалиду мѣдную монету и быстро опустился по лѣстницѣ, ведущей къ купальнямъ, какъ будто онъ и изъ дому вышелъ съ единственнымъ намѣреніемъ—купаться.

Холодное купанье освѣжительно на него подѣйствовало. Къ нему возвратилось сознаніе. Онъ вдругъ припомнилъ свой разговоръ съ Праксседой, угрозу Марцишы, свое намѣреніе и за чѣмъ ему нужно къ ксендзу Квецинскому. Ему только казалось, что все это происходило не сегодня, а уже давно, по крайней мѣрѣ, нѣсколько дней тому назадъ. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ онъ такъ много передумалъ и перечувствовалъ, что утренній разговоръ съ Праксседой показался ему чѣмъ-то давнопрошедшимъ. Но то онъ ясно сознавалъ, что ему, паннѣ Ядвигѣ и даже жонду грозитъ опасность, отъ которой слѣдуетъ скорѣе освободиться.

Намѣреніе его было твердо, непоколебимо. Эта-то твердость и непоколебимость, внушенныя ему необходимостью задуманнаго имъ дѣла, и пугали его. Онъ дорого бы далъ, чтобы это дѣло не было столь необходимо, неотразимо. А виноватъ всему онъ самъ. Зачѣмъ онъ повѣрилъ такую важную тайну постороннему лицу, дѣвкѣ?

И чѣмъ виновнѣе себя чувствовалъ, тѣмъ онъ проникался все большею злобою къ существу, совершенно невинному, къ Марцишѣ, повѣрившей его клятвамъ, отдавшейся ему всѣмъ сердцемъ, а потому не могшей равнодушно переносить его измѣну... Марциша права, но чѣмъ болѣе она права, тѣмъ она болѣе виновна въ его глазахъ, потому что она глаза ему колетъ своею правотою.

Нужно, чтобы она ему не колола глазъ, нужна жертва, и этой жертвой долженъ быть другой, всякій другой, но не онъ самъ. Онъ, правда, виноватъ, кругомъ виноватъ, но за его вину долженъ поплатиться другой. Инстинктъ самосохраненія другой логики не знаетъ, кромѣ той, которую руководствуется ребенокъ, когда бьетъ столъ, о который, шаля, ударился. Но кто же другой? Панна Ядвига? Но неужели ей можетъ быть поставлено въ вину то, что, пренебрегая пред-

разсудками своего сословія, она влюбилась въ простолюдина? Да это заслуга, она просто святая! При томъ, онъ ею жертвовать не можетъ, онъ ее любитъ искренно, пламенно. Эта любовь облагораживаетъ его, перерождаетъ его въ другаго, лучшаго, порядочнаго человѣка. Эта любовь сдѣлаетъ его героемъ, спасителемъ ойчизны. Онъ это чувствуетъ, онъ въ томъ убѣжденъ. Ясно, что жертвою должна пасть Марциша, мѣшающая этой любви, мѣшающая ему сдѣлаться героемъ, спасителемъ родины. Она измѣнница, а потому должна понести кару.

Такъ порѣшилъ его разсудокъ, отуманенный страстью и страхомъ. Его замыселъ сталъ казаться ему даже добрымъ, благороднымъ, патріотическимъ дѣломъ. Ему стало казаться, что онъ хочетъ спасти не себя, а ойчизну, для которой никакая жертва не можетъ быть слишкомъ дорога. Онъ сталъ убаюкивать себя мыслію, что ему предстоитъ совершить *подвигъ*, а не преступленіе, и подвигъ, который такъ возвыситъ его въ глазахъ Ядвиги, что она смѣло, открыто, въ присутствіи своего гордаго отца, подастъ ему руку и торжественно произнесетъ: «Вотъ мужъ, котораго избрало мое сердце; вы видите, что оно неошиблось. Ведите насъ къ алтарю и благословите бракъ нашъ, который предъ лицомъ Бога уже давно былъ совершенъ».

Но совѣсть? Вотъ тутъ то и была вся закобычка, потому что онъ еще не былъ испорченъ до такой степени, чтобы не чувствовать, что онъ самъ кругомъ виноватъ, и что онъ рѣшается на преступленіе, а не на подвигъ: совѣсть не любитъ софизмовъ.

И вотъ, для успокоенія совѣсти, ему нужно было повидаться, поговорить съ ксендзомъ Квецинскимъ, законоучителемъ воспитательнаго дома, съ которымъ онъ очень хорошо былъ знакомъ по жонду. Ксендзовская снисходительность была ему знакома: какъ человѣкъ набожный, онъ очень часто, передъ каждымъ постомъ и большимъ праздникомъ, стоялъ на колѣнях въ конфессіоналѣ и всегда получалъ утѣшеніе и разрѣшеніе отъ грѣховъ, повидимому, самыхъ тяжкихъ: ксендзовская казуистика какъ то умѣла прощать все. На эту-то знакомую ему казуистику Стась возложилъ теперь всю

свою надежду. Для приведенія въ исполненіе своего замысла или *подвига*, какъ онъ рѣшился думать, ему нужна была духовная помощь, такъ сказать, освященіе религіи, зная, что безъ этого у него рука не поднимется, хотя онъ въ своемъ намѣреніи и былъ очень твердъ. Ему нужно было, чтобы какое нибудь духовное лицо благословило его на предстоявшій ему *подвигъ*.

И онъ отправился къ ксендзу Квецинскому.

X.

Онъ нашелъ ксендза Квецинскаго занятымъ очень важнымъ дѣломъ.—дрессированіемъ двухъ десятковъ мальчугановъ къ ожидаемому визиту самаго бискупа, который обыкновенно разъ въ годъ, а именно въ Ивановъ день, удостоивалъ воспитательный домъ своимъ посѣщеніемъ.

Къ этому-то посѣщенію ксендзъ Квецинскій приготовлялъ сюрпризъ, долженствовавшій состоять въ томъ, что мальчики пропоютъ передъ бискупомъ сорокъ-шестой псаломъ по-латыни. И такъ какъ мальчики не знали ни нотъ, ни латинскаго языка, поэтому ксендзу Квецинскому очень много труда стоило вдолбить имъ такія слова, смысла которыхъ они и не подозрѣвали. Они только знали, что эти слова очень мудренныя и когда они благополучно пропоютъ ихъ передъ паномъ бискупомъ, послѣдній раздастъ имъ въ награду мѣдные крестики на шелковыхъ шнуркахъ. Крестиками же изъ рукъ самаго бискупа питомцы воспитательнаго дома весьма дорожили. Разъ получивъ ихъ, и всегда при какомъ нибудь торжественномъ случаѣ, они уже не разставались съ ними во всю жизнь. Эти крестики считались реликвіею, приносящею счастье ихъ носившему. Это преданіе преемственно жило въ стѣнахъ воспитательнаго дома, находившагося подъ исключительнымъ вліяніемъ духовенства: ксендзовъ и сестеръ милосердія. Замѣчательно, однакоже, что, не смотря на строго-религіозное воспитаніе, не смотря на исключительное общеніе съ ксендзами и монахинями, питомцы воспитательнаго дома, по выходѣ изъ заведенія, принимались обыкновенно за родъ жизни, не имѣвшій ничего общаго съ полученнымъ ими

воспитаніемъ. Мужчины дѣлались лакеями, извощиками или писарями у квартальныхъ надзирателей, а женщины принимались за профессію горничныхъ, бѣлошвеекъ, модистокъ или хористокъ въ городскомъ театрѣ. Не малый процентъ изъ воспитательнаго дома опредѣлялся «племянницами» къ тетушкѣ Праксedѣ, которая съ племянницами воспитательнаго дома больше всего и любила имѣть дѣло, какъ съ субъектами, которыхъ всего удобнѣе можно было эксплоатировать, ибо кто заступится за найденыша?

Марциша, скажемъ кстати, тоже была найденышемъ и питомицей воспитательнаго дома. Подъ опеку Праксeды она попала въ первый же годъ послѣ выхода изъ заведенія. Много поработала она для своей нареченной тетушки, которою она была законтрактована за два ситцевыхъ платья и пару ботинокъ, казавшихся ей драгоцѣнностью. Но когда, съ теченіемъ времени, она поумнѣла, то пошла въ горничныя и стала жить для себя. Она уже сдѣлалась было порядочною дѣвушкою, но знакомство со Стасемъ опять помутило мирный потокъ ея трудовой жизни и она начала страдать, мучиться, тревожиться, постоянно опасаясь лишиться мѣста за свою неисправность и несвоевременныя отлучки въ городъ, или своего любовника, за неаккуратность при назначенныхъ ей свиданіяхъ. Стась же, съ деспотизмомъ мужчины, сознающаго, что онъ горячо любимъ, не входилъ въ положеніе своей возлюбленной и назначалъ ей свиданія, не соображаясь съ ея обстоятельствами. «Я такъ хочу!» было обыкновенно отвѣтомъ на всѣ ея доводы, и она повиновалась, рискуя каждый разъ лишиться честнаго куска хлѣба. Читатель уже знаетъ, какъ мало это повиновеніе смягчало сердце развратнаго молодаго человѣка.

При первомъ представившемся случаѣ, онъ забылъ ея пламенную любовь, ея самоотверженіе, бросилъ ее, какъ ненужную тряпку, и теперь помышлялъ даже совсѣмъ покончить съ нею, какъ съ существомъ, будто бы мѣшающимъ ему сдѣлаться героемъ, спасителемъ отчизны.

Когда Стась вошелъ къ ксендзу Квециньскому, онъ сначала оглушенъ былъ доносившимися къ нему въ прихожую криками двухъ десятковъ здоровыхъ молодыхъ голосовъ; но, ра-

зобразъ потомъ, что это костельное пѣніе, онъ, набожный, вдругъ проникся благоговѣніемъ, опустился въ прихожей на колѣни, сложилъ руки и сталъ слушать.

— Psallite Deo nostro, psallite, — пѣлъ десятокъ сопрано.

— Psallite Regi nostro, psallite, — заключалъ десятокъ дискантовъ.

— Quoniam Rex omnis terrae Deus.

— Psallite sapienter.

— Regnabit Deus super genites.

— Gentes, ослы! — поправилъ ксендзъ, топнувъ ногой.

— Gen-tes, — протянули сопрано покорно, удивляясь только капризу своего учителя, которому gentes почему-то больше нравилось, чѣмъ genites.

— Deus sedet super siedem.

— Sedem! опять поправилъ ксендзъ, заскрежетавъ зубами. — Siedm по-польски и означаетъ извѣстное число, напр имѣръ: siedm bekartów*) — поглумился онъ надъ бѣдными сиротами, думая, что сострилъ.

Сироты замѣтили поправку и пропѣли:

— Sedem sanctam suam. И т. д.

Мальчики уже едва держались на ногахъ отъ усталости, жары и жажды, которымъ подвергались въ теченіе нѣсколькихъ часовъ.

Наконецъ, пробило семь часовъ, и по всему двору раздался звонокъ, призывавшій дѣтей къ вечерней трапезѣ. Они поплелись въ столовую, гдѣ ихъ ожидали: кусокъ хлѣба и какая-то мутная мучная похлебка.

— Что скажешь? — обратился ксендзъ къ встрѣтившемуся ему въ прихожей Стасю.

Стась сконфузился и не зналъ, что отвѣчать.

— Я пришелъ къ вамъ за совѣтомъ, — пролепеталъ онъ потомъ.

— За совѣтомъ? Изволь! сказалъ ксендзъ, пригласивъ Стася къ себѣ въ кабинетъ. — Ну что, не собираешься-ли ты жениться? — спросилъ онъ, усѣвшись на диванѣ и закуривъ трубку.

*) Незаконнорожденныхъ.

— Почему, przewielebny ojcze, изволите такъ думать?

— Потому, вижу, что ты конфузишься, краснѣешь.

— Неужели я конфужусь?—спросилъ Стась, негодуя на себя, что онъ конфузится.—А впрочемъ, все равно. При исповѣди я всегда конфужусь.

— При исповѣди? — спросилъ ксендзъ, окинувъ Стася недоумѣвающимъ взглядомъ. — Неужели ты пришелъ исповѣдаться?

— Почти что такъ.

— Но, мой сынъ,—возразилъ ксендзъ,—ты развѣ не знаешь, что на дому священникъ не принимаетъ исповѣди? Если хочешь исповѣдаться, то приходи завтра къ ранней обѣднѣ и стань у конфессіонала.

Стась понурилъ голову и молчалъ, не зная, какъ приступить къ дѣлу.

— Стась!—воскликнулъ ксендзъ, подошедъ къ нему близко и вглядѣвшись въ его лицо.—Я не узнаю тебя. Ты разстроенъ. Что случилось? Жондъ уволилъ тебя!

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Стась, вздохнувъ,—совсѣмъ не въ томъ дѣло.

— Въ чемъ же дѣло?

Стась опять понурилъ голову и задумался.

— Въ чемъ же дѣло? —повторилъ ксендзъ вопросъ свой. Стась поднялъ голову, окинулъ ксендза разсѣяннымъ взглядомъ, взъерошилъ свои волосы и сказалъ:

— Вы спрашиваете, въ чемъ дѣло? А вотъ въ чемъ... Скажите мнѣ: что Богу дороже, человѣкъ или ойчизна?

— Ойчизна,—отвѣтилъ ксендзъ.

— И это вѣрно?

— Съ тобою говоритъ ксендзъ Крецинскій.

— Хорошо. Теперь скажите, какой грѣхъ больше, убійство или измѣна ойчизнѣ?

— Нѣтъ большаго грѣха, чѣмъ измѣна ойчизнѣ.

— Стало быть, убійца можетъ еще надѣяться на прощеніе?

— Милосердіе Бога неизмѣримо; чистосердечное раскаяніе смываетъ кровь и съ убійцы.

— Неужели! воскликнулъ Стась, обрадовавшись. О, какъ

я вамъ благодаренъ! Вы просто вдохнули въ меня новую жизнь. О, дайте мнѣ поцѣловать вашу руку.

Ксендзъ спряталъ руку въ карманъ своей сутаны.

— Говори прямо, ты кого нибудь убилъ?—спросилъ онъ строго.

— Нѣтъ przewielebny ojcze!

— Зачѣмъ же ты меня экзаменуешь?

— О, я знаю зачѣмъ!.. Мнѣ нужно знать еще вотъ что. Что, если, для отвращенія отъ ойчизны большой опасности, я долженъ убить кого нибудь, убить измѣнника, дабы онъ не совершилъ своей измѣны, могу ли?

— Я не знаю,—отвѣтилъ ксендзъ уклончиво, понявъ, наконецъ, въ чемъ дѣло,—церковь можетъ имѣть дѣло только съ преступленіемъ уже совершеннымъ.

— Но могу ли его совершать?

— Церковь отпускаетъ грѣхи, но не разрѣшаетъ ихъ.

— Стало быть, нельзя?

— Церковь отпускаетъ грѣхи, но не разрѣшаетъ ихъ,— повторилъ ксендзъ, удивляясь недогадливости Стася.—Я тебя спрашиваю, ты кого нибудь убилъ или нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Такъ изъ-за чего же ты тутъ хлопочешь?

— Я же вамъ сказалъ изъ-за чего. Ксендзъ Квецинскій счелъ нужнымъ прикидываться непонимающимъ.

— Ты, Стась, не во гнѣвъ тебѣ будь сказано, очень глупъ,—сказалъ онъ, добродушно улыбаясь,—съ тобою трудно столковаться. Я тебя спросилъ, совершилъ ли ты преступленіе? Ты мнѣ отвѣчалъ что нѣтъ, такъ вѣдь?

— Такъ, вельможный пане.

— Ну, вотъ и все, что ты мнѣ сказалъ и что я знаю. Больше я ничего не знаю и знать не хочу. Прощай! Мнѣ пора къ вечернѣ.

— Но, przewielebny ojcze! воскликнулъ Стась рѣшительно, упавъ передъ ксендзомъ на колѣни.—Благословите меня, по крайней мѣрѣ.

— Это другое дѣло,—отвѣтилъ ксендзъ. Въ своемъ благословеніи не могу тебѣ отказывать. Ты вѣдь не преступникъ?

— Нѣтъ еще,—невольно проговорился Стась.

Ксендзъ, прикидываясь, что недослышалъ словечка «еще», поднялъ правую руку и, осѣняя голову преклоненнаго предъ нимъ Стася крестнымъ знаменіемъ, произнесъ:

— Во имя Отца, и Сына, и Духа Святаго, будь благословенъ, сынъ мой.

Стась, поцѣловавъ полу ксендзовской сутаны, всталъ, низко поклонился и ушелъ.

Ксендзъ постоялъ нѣсколько минутъ въ глубокой задумчивости, потомъ щелкнулъ пальцами, произнесъ слово «патріотъ», — и отправился къ вечернѣ.

Нѣсколько дней спустя, въ мѣстной газетѣ, между городскими происшествіями было напечатано слѣдующее:

«Вчерашняго числа, между седьмымъ и осьмымъ часомъ вечера, въ трехъ верстахъ отъ города, въ рощѣ, называемой Чертовымъ боромъ, здѣшній мѣщанинъ Станиславъ Подгура, 26-ти лѣтъ, въ припадкѣ бѣшенства, застрѣлилъ изъ пистолета находившуюся съ нимъ въ любовной связи дѣвицу Марту Невѣдомскую, 19-ти лѣтъ. Преступникъ самъ объявилъ полиціи о совершенномъ имъ преступленіи и находится теперь на излеченіи въ домѣ умалишенныхъ. Объ этомъ происшествіи производится слѣдствіе».

XI.

Это происшествіе ужасно встревожило всѣхъ членовъ жонда. Они встревожились не потому, что въ ихъ средѣ оказался убійца, а потому, что этотъ убійца на допросѣ можетъ сдѣлать такія признанія, которыя могутъ имѣть очень печальныя для нихъ послѣдствія. По вопросамъ: кто онъ? чѣмъ занимается? гдѣ бывалъ? съ кѣмъ видался? думали они, легко будетъ добраться до самаго жонда. Хотя уже извѣстно было, что убійца лишился разсудка, но это обстоятельство еще больше пугало ихъ, потому что съумасшедшій въ горячечномъ бреду, думали они, можетъ разболтать то, чего не добились бы отъ него, если бы онъ былъ при здравомъ умѣ. А потому, весь день, слѣдовавшій за происшествіемъ, о которомъ гово-

ридъ, весь городъ, члены жонда провели въ неописанномъ страхѣ и тревогѣ: каждый сидѣлъ дома, заперщись, отдавъ предварительно приказъ прислугѣ: если кто нибудь придетъ, то сказать, что нѣтъ въ городѣ.

Самъ графъ тоже порядочно струсилъ; но, преодолѣвъ себя, велѣлъ заложить карету и поѣхалъ къ генералу, будто за дѣломъ. Но единственное намѣреніе было, пронюхать, что въ высшемъ административномъ кругу говорятъ и думаютъ о вчерашнемъ происшествіи.

Къ своему неописанному удовольствію и успокоенію, графъ узналъ отъ безсмѣннаго дежурнаго адъютанта, Николая Крутицкаго, находившагося въ генеральскомъ кабинетѣ, когда полиціймейстеръ рапортовалъ о городскихъ происшествіяхъ истекшаго дня, что администрація смотритъ на убійство Невѣдомской, какъ на обыкновенный случай, и что убійца признался только въ своемъ преступленіи, но ни въ чемъ больше.

Съ этимъ радостнымъ извѣстіемъ графъ поспѣшилъ домой успокоить свою племянницу, которая, находясь съ нѣкотораго времени подъ болѣзненнымъ впечатлѣніемъ какихъ-то тревожныхъ предчувствій, была убѣждена, что ея предчувствія начинаютъ сбываться, что случай съ Стасемъ поведетъ къ тѣмъ катастрофамъ, о которыхъ ей постоянно мерещилось.

— Слава Богу!—воскликнула она, сложивъ руки въ молитвѣ, когда выслушала разсказъ дяди.—Однако,—прибавила она потомъ,—за этимъ дѣломъ нужно зорко слѣдить.

— Само собою разумѣется,—согласился графъ,—я уже объ этомъ подумалъ. Примемъ мѣры, примемъ. Иначе нельзя.

Вечеромъ того же дня, жондъ народовый, въ своемъ полномъ составѣ, держалъ совѣтъ въ «большомъ кабинетѣ».

На первой очереди стоялъ поступокъ дозорца Стася. Каждый выражалъ свое мнѣніе и свои догадки объ этомъ поступкѣ. Когда дебаты казались близкими къ концу, ксендзъ Квецинскій, который до тѣхъ поръ совсѣмъ молчалъ, всталъ, крякнулъ и началъ:

— Панове! Я вижу, что настоящаго смысла поступка дозорца Стася никто изъ нашего почтеннаго собранія не знаетъ. И это не мудрено, потому что почтенному собранію не-

достаетъ одного свѣдѣнія, которое бросаетъ настоящій свѣтъ на все это дѣло

И онъ, съ свойственнымъ его званію ораторствомъ, разсказалъ о посѣщеніи Стася, при чемъ счелъ однако нужнымъ умолчать о данномъ имъ Стасю отвѣтѣ: «церковь отпускаетъ грѣхи, но не разрѣшаетъ ихъ», до смысла котораго недогадливый Стась, наконецъ, самъ додумался и принялъ къ свѣдѣнію.

Собраніе взглянуло теперь на поступокъ Стася, какъ на политическое убійство, прониклось глубокимъ уваженіемъ къ «великому патріоту», какъ стали величать теперь весьма обыкновеннаго преступника, и живѣйшимъ сочувствіемъ къ печальному положенію, въ которомъ онъ теперь находился.

Въ этомъ засѣданіи, по предложенію предсѣдателя и ксендза Квецинскаго, было декретировано:

Во-1-хъ, политическое убійство,—съ оговоркою, однакоже: что оно, за исключеніемъ чрезвычайныхъ случаевъ, можетъ быть совершаемо не иначе, какъ по приговору и порученію народнаго жонда; во 2-хъ, принятіе дозорца № 8 подъ особое покровительство и попеченіе народнаго жонда.

Покровительствомъ имѣлось въ виду выпутать Стася изъ бѣды, когда онъ, въ случаѣ выздоровленія, долженъ будетъ предстать передъ лице правосудія, а *попеченіе* имѣло цѣлью не только облегченіе теперешней участи несчастнаго, но и предупрежденіе, чтобы нескромный бредъ сумасшедшаго не имѣлъ какихъ либо худыхъ послѣдствій для справы ойчизны... Поэтому, декретировалось:

Въ 3-хъ, Начальнику дозорцевъ поручается имѣть бдительный надзоръ за своимъ бывшимъ подчиненнымъ № 8, для чего войти ему въ *интимныя* сношенія съ докторомъ и съ смотрителемъ дома умалишенныхъ.

— Кто докторомъ и кто смотрителемъ въ этомъ заведеніи?—спросили нѣкоторые.

— Люди благонадежные,—отвѣтилъ ксендзъ,—они моей парафіи, мои духовныя чада. Я за нихъ ручаюсь.

На другой день, въ 10-мъ часу утра, Андрей Грушевичъ,

съ большимъ запасомъ съѣстныхъ припасовъ и лакомствъ, отправился въ каретѣ графини Сташицкой въ домъ умалишенныхъ, помѣщавшійся въ поіезуитскомъ зданіи, граничавшемъ съ таковымъ же зданіемъ воспитательнаго дома.

Поговоривъ интимно съ смотрителемъ, оказавшимся, въ самомъ дѣлѣ, благонадежнымъ человѣкомъ, Андрей былъ впущенъ къ Стасю.

Онъ нашелъ «великаго патріота» въ отдѣленіи бѣшенныхъ, прикованнымъ къ желѣзной койкѣ, на которой онъ метался и ревѣлъ, какъ разъяренный звѣрь. Стась до того измѣнился, что панъ Андрей хотя и видѣлъ его всего пять дней назадъ, съ трудомъ узналъ его. Онъ окликнулъ его, но Стась, блуждающимъ и мутнымъ взглядомъ, взглянулъ на стоявшаго передъ нимъ человѣка, котораго, по всѣмъ вѣроятіямъ, онъ не узнавалъ, и продолжалъ ревѣть, отъ времени до времени прерывая свой ревъ болѣе тихимъ бредомъ.

Панъ Андрей сталъ прислушиваться къ этому бреду, и чѣмъ болѣе слушалъ, тѣмъ болѣе заинтересовался имъ, потому что, при всей своей безсвязности и отрывочности, бредъ этотъ имѣлъ смыслъ, непонятный для посторонняго, но очень понятный для пана Андрея, знавшаго весь фонъ картины, превратно отражавшейся въ помутившемся мозгу больнаго. Постоявъ съ четверть часа, онъ узналъ и въ чемъ дѣло, узналъ настоящій смыслъ поступка «великаго патріота»...

Панъ Андрей былъ сильно изумленъ тѣмъ, что узналъ. Онъ серьезно задумался и въ его головѣ сталъ созрѣвать планъ, который, судя по отражавшейся на его лицѣ радостной улыбкѣ, обѣщалъ ему много хорошаго.

Оставляя домъ умалишенныхъ, панъ Андрей крѣпко на крѣпко приказалъ смотрителю не допускать до съумасшедшаго безъ пароля: «zgoda». Вышедши на улицу, онъ велѣлъ кучеру ѣхать домой и сказать графинѣ, что онъ черезъ часъ будетъ.

Кучеръ уѣхалъ, а панъ Андрей дошелъ пѣшкомъ до угла улицы, и тамъ взялъ извощика.

— Кафедральный проспектъ, домъ фонъ-деръ-Горста—приказалъ онъ извощику.

— Вы къ папа? — спросила Ядвига фонъ-деръ Горстъ, встрѣчая пана Андрея въ гостиной,—папа вчера уѣхалъ въ деревню.

— Знаю,—отвѣтилъ спрошенный, окинувъ стоявшую передъ нимъ дѣвушку какимъ-то страннымъ взглядомъ, ею, впрочемъ, незамѣченнымъ.—Я пришелъ къ вамъ, ясневельможная пани.

— Ко мнѣ? Очень рада. Прошу садиться. Панъ Андрей сѣлъ.

— Что скажете, — спросила панна Ядвига, сѣвъ на диванъ и кутаясь въ свою кашемировую шаль, потому что чувствовала себя нездоровою отъ тревогъ и адскихъ мукъ, которыя перенесла въ послѣдніе дни.—Какъ теперь на дворѣ, холодно?

— Напротивъ, очень тепло.

— А меня знобитъ, — проговорила Ядвига, еще больше кутаясь въ свою шаль.

— Вѣроятно, вы не совсѣмъ здоровы, — замѣтилъ панъ Андрей, еще разъ бросивъ на нее странный, разсѣянный взглядъ, котораго Ядвига опять не замѣтила.

— И я такъ думаю, сказала Ядвига, ежась:—Боюсь, однако, чтобы я не заболѣла лихорадкой.

— Ничего,—утѣшалъ ее панъ Андрей,—пройдитесь часикъ на солнцѣ, отогрѣетесь.

И онъ опять взглянулъ на Ядвигу, и на этотъ разъ взоръ его остановился на ея красивой русой головкѣ, отъ которой онъ, казалось, не могъ оторваться.

— Ну, что скажите, панъ Андрей? Ба, ба, ба! Да вы никакъ разсѣянны! — воскликнула Ядвига, только теперь замѣтившая странное выраженіе на лицѣ молодаго человѣка.— Говорите, что случилось? Вчера было засѣданіе?

— Было, ясневельможная пани,—отвѣтилъ онъ, сдѣлавъ надъ собою усиліе, чтобы быть спокойнѣе. — Но дѣло не во вчерашнемъ засѣданіи.

— Въ чемъ же?

Панъ Андрей съ минуту колебался, не зная, какъ повести разговоръ.

— Въ чемъ же дѣло? Говорите же скорѣе, — приставала къ нему Ядвига.

— Я привезъ вамъ поклонъ, — проговорилъ Андрей, почти задыхаясь отъ волненія и впившись глазами въ блѣдное, но въ высшей степени интересное лицо Ядвиги.

— Отъ кого? — спросила послѣдняя совершенно хладнокровно.

— Отъ человѣка, имѣвшаго счастіе заинтересовать васъ собою.

Ядвига слегка покраснѣла.

— Я васъ не понимаю, — проговорила она тихо, чтобы не выдавать себя голосомъ, который начиналъ дрожать.

— Но если я назову этого человѣка по имени, вы меня поймете? — спросилъ панъ Андрей, нахально и торжествуя заглядывая ей въ глаза.

— Назовите, — проговорила она, все еще надѣясь, что онъ не знаетъ ея страшной тайны.

— Такъ и быть. Вы этого хотите? Извольте: я привезъ вамъ поклонъ отъ Стася!

— Отъ Стася! — воскликнула Ядвига, всплеснувъ руками и закрывъ свое, вспыхнувшее отъ стыда и страха, лицо въ подушку дивана.

— Да, отъ Стася, отъ дезорца Стася, который имѣлъ счастіе и дерзость завладѣть сердцемъ первой красавицы нашего города, и который отъ избытка счастія убилъ свою любовницу, вашу соперницу, и тѣмъ ввелъ насъ всѣхъ въ бѣду, изъ которой дай Богъ намъ благополучно выпутаться.

— О, я несчастная! — плакала Ядвига, ломая руки. — Что я надѣлала? Гдѣ былъ умъ мой?

— Я сейчасъ былъ у Стася, — продолжалъ панъ Андрей, находя удовольствіе мучить дѣвицу, — и онъ, въ горячешномъ бреду, разболталъ всю вашу тайну. Поздравляю васъ, панна Ядвига, съ такимъ пріятнымъ знакомствомъ.

— О, пощадите меня, — умоляла Ядвига, простирая къ нему руки, — не говорите мнѣ объ этомъ дѣлѣ. Я съ ума сойду. Я увлеклась. Я преступница, виновата и Богъ караетъ меня за мое безумное увлеченіе. О, вы не знаете, сколько я

выстрадала въ эти дни. Совѣсть, стыдъ, страхъ терзаютъ мое сердце и не даютъ мнѣ покою.

— Не слѣдовало забывать свое положеніе въ обществѣ,— наставительно продолжалъ панъ Андрей, — не нужно было связываться съ человѣкомъ, который не принадлежитъ къ нашей средѣ. Аристократка должна знаться только съ аристократами. Даже въ любви нужно остерегаться mésalliance'a. mésalliance всегда ведетъ къ скандалу.

— О, я это знаю, я это чувствую, но пощадите меня, ради Бога, пощадите меня! Не дѣлайте мнѣ упрековъ: мнѣ довольно моихъ собственныхъ угрызеній совѣсти. Будьте великодушны, будьте снисходительны! Не губите меня, не разглашайте моей тайны!

— Но что, если вашу тайну уже знаютъ другіе?

— Знаютъ другіе!!—воскликнула Ядвига, ухватившись за голову, и, вскочивъ съ своего мѣста, она стала въ изступленномъ отчаяніи бѣгать по комнатѣ.—Ножа! Дайде мнѣ ножа! — кричала она, задыхаясь отъ волненія. Я не переживу этого срама!.. Папа не долженъ видѣть меня осрамленной!.. Пусть лучше видитъ меня мертвой, но не осрамленной! Смерти хочу смерти!

И она, какъ снопъ, упала на диванъ, закрывъ лицо свою шалью. Она тяжело дышала и отъ изнеможенія не могла уже произнести ни одного слова.

Панъ Андрей, увидѣвъ, что онъ зашелъ уже слишкомъ далеко, сталъ успокоивать отчаявашвуюся дѣвушку.

— Успокойтесь, панна Ядвига, — сказалъ онъ, подошедъ къ дивану Вашей тайны никто еще не знаетъ.

— Что вы говорите?—воскликнула Ядвига, сдернувъ шаль съ своего лица и не вѣря своимъ ушамъ.

— Вашей тайны никто, кромѣ меня, не знаетъ, – повторилъ онъ,—и я сдѣлалъ распоряженіе, чтобы никто ее и не узналъ. Мнѣ васъ жаль, панна Ядвига!

— О, благодарю васъ,—проговорила она, протянувъ ему свою дрожащую руку, — вы добрый, благородный человѣкъ. Вы возвращаете мнѣ жизнь, спокойствіе.

— Ваша тайна находится въ очень надежныхъ рукахъ, будьте увѣрены. Никто объ ней не знаетъ. Употреблю всѣ

зависящія отъ меня средства, чтобы ваша тайна оставалась тайною. Для жонда, отрядившаго меня къ Стасю, я что нибудь сочиню, но васъ не выдамъ.

— О благодарю, тысячу разъ благодарю васъ,—сказала нѣсколько успокоенная Ядвига, крѣпко сжимая руку молодаго человѣка,—я никогда не забуду вашей услуги.

— Но, панна Ядвига, — вкрадчиво сказалъ панъ Андрей, замѣтивъ, что Ядвига уже вполнѣ успокоилась, — услуга за услугу.

— Прикажите, требуйте, я все для васъ готова сдѣлать,— вызвалась дѣвушка

— Неужели все?—спросилъ панъ Андрей, и на лицѣ его показалась двусмысленная улыбка.

— Все, что только въ моихъ силахъ.

— Невозможнаго я и самъ не буду требовать,—замѣтилъ Андрей все съ тою же двусмысленною улыбкою на лицѣ.

— Въ такомъ случаѣ, вы заранѣе можете быть увѣрены, что я вамъ не откажу. Послушаемъ, въ чемъ состоитъ ваша просьба?

Панъ Андрей съ минуту колебался, но потомъ, призвавъ на помощь всю свою смѣлость и дерзость, сказалъ:

— Моя просьба состоитъ въ томъ, чтобы вы назначили мнѣ свиданіе.

— Что? — спросила Ядвига, уставивъ на него недоумѣвающій взглядъ,—я васъ не поняла; о чемъ вы просите?

— Улыбка съ лица пана Андрея исчезла. Онъ, слегка покраснѣвъ, всталъ, выпрямился, подбоченился и, глядя въ уголъ, произнесъ:

— Такъ и быть! Объяснюсь яснѣе. Я хочу, чтобы вы назначили мнѣ свиданіе у тетушки Пракседы, поняли?

Изъ груди ошеломленной дѣвушки вырвался рѣзкій крикъ, не то отчаянія, не то испуга. Она пошатнулась и схватилась за голову.

— Гдѣ я?—спросила она, окинувъ комнату блуждающимъ взглядомъ.—Или это сонъ?... А, это вы, панъ Андрей? спросила она потомъ, возвышая голосъ и дрожа всѣмъ тѣломъ.— И вы смѣете дѣлать мнѣ такое предложеніе, мнѣ, Ядвигѣ фонъ-деръ-Горстъ?!

— Я дѣлаю это предложеніе не паннѣ Ядвигѣ фонъ-деръ-Горстъ, а коханкѣ дозорца Стася, понимаете? — безжалостно произнесъ панъ Андрей, рѣшившійся дерзостью добиться капитуляціи дѣвушки, на которую уже давно имѣлъ виды.

Ядвига, блѣдная, почти посинѣлая, всплеснула руками и разразилась тѣмъ страшнымъ, истерическимъ хохотомъ, который леденитъ кровь его слушающаго. Она хохотала долго, громко, безъ перерыва, держась то за бока, то за грудь, то за горло. Она то вставала, то садилась, перемѣняя позы, держась руками то за мраморный столъ, то за спинку дивана, а хохотъ не унимался. Она хохотала до тѣхъ поръ, пока ея хохотъ вдругъ, неожиданно, точно перемѣна валика въ шарманкѣ, не перешелъ въ плачъ, рыданіе, страшное, тоже истерическое.

Во время этого нервнаго пароксизма, панъ Андрей, со сложенными на груди руками, стоялъ и равнодушно смотрѣлъ на страданія дѣвушки, какъ на розыгрываемую передъ нимъ комедію: онъ въ эти страданія не вѣрилъ. Когда пароксизмъ прошелъ, и Ядвига стала нѣсколько успокоиваться, онъ опять началъ:

— И такъ, панна Ядвига, рѣшайтесь: или свиданіе, или ваша тайна перестанетъ быть тайною. Клянусь вамъ Богомъ, я отъ своего условія не откажусь. Выбирайте! И чѣмъ я, наконецъ, хуже какого нибудь Стася? Я тоже васъ люблю... Повѣрьте, что только безпредѣльная любовь, которую питаю къ вамъ уже съ давнихъ поръ, заставляетъ меня быть дерзкимъ, грубымъ. Рѣшайтесь, панна Ядвига! Ожидаю рѣшительнаго отвѣта.

— Дайте мнѣ опомниться, — проговорила тихо, тяжело дыша, панна Ядвига, - вы получите отвѣтъ, рѣшительный, весьма рѣшительный.

Панъ Андрей согласился ждать и, отъ нечего дѣлать, сталъ ходить по комнатѣ взадъ и впередъ. Когда панна Ядвига нѣсколько отдохнула, она поправила свои волосы, закуталась въ шаль и начала:

— Послушайте, панъ Андрей. Благодарю васъ за кровную обиду, которую вы сейчасъ мнѣ нанесли. Смотрю на эту обиду, какъ на искупленіе моего тяжкаго грѣха. По крайней

мѣрѣ, совѣсть моя не будетъ теперь столь обременена. Я согрѣшила, но и пострадала. Грѣшники въ аду не могутъ больше страдать, чѣмъ я отъ вашего дерзкаго, безчестнаго и безчеловѣчнаго предложенія.

— Отъ котораго я, однакоже, не откажусь, — замѣтилъ панъ Андрей.

— Я не прошу васъ отказаться. Дѣлайте изъ выкраденной у несчастнаго больного тайны что вамъ угодно. — Разглашенія моей тайны я теперь нисколько не боюсь.

— Неужели?—спросилъ панъ Андрей, сомнительно качая головой.

— Конецъ концовъ, что я такое сдѣлала? Я любила!

— Дозорца, подхватилъ Андрей, желая этимъ уколоть дѣвушку.

— Такъ что жъ? Если графинѣ Сташицкой прилично любить васъ, сына эконома, человѣка безъ чести, безъ совѣсти...

— Что? - воскликнулъ панъ Андрей, покраснѣвъ отъ злости.

— То отчего же мнѣ не прилично любить сына ремесленника, который, во всякомъ случаѣ, честнѣе и благороднѣе васъ?—окончила Ядвига свою фразу.

Панъ Андрей затрясся отъ возраставшей злобы и сжалъ кулаки.

— Стало быть, вы хотите ссориться со мною?—заревѣлъ онъ съ пѣною у рта.—Берегитесь же, панна Ядвига! Не забывайте, что я могу васъ уничтожить.

— Ошибаетесь, другъ мой,—возразила Ядвига съ саркастическою улыбкою, - вы уничтожать меня не можете, но что я могу погубить *васъ*, такъ это вѣрно, какъ дважды два.

Андрей принужденно разсмѣялся.

— Послушаемъ, чѣмъ вы можете погубить меня?—спросилъ онъ.

— Я теперь только припомнила, что шансы у насъ равные.

— Будто равные?

— Совершенно равные. Вы сейчасъ увидите. Дѣло вотъ въ чемъ: вы знаете *мою* тайну, но *ваша* тайна и для меня не секретъ.

— Моя тайна?—спросилъ панъ Андрей,—у меня нѣтъ никакихъ тайнъ, которыя могли бы компрометировать меня.

— Дѣлать нечего,—сказала Ядвига,—если память у васъ такъ слаба, то я постараюсь придти ей на помощь.

Она съ минуту молчала, потомъ, прищурившись, продолжала:

— Что вы, напримѣръ, скажете на счетъ видовъ, которые вы имѣли на панну Полину Кранцъ, или, справедливѣе, на карманы ея отца?

Панъ Андрей пошатнулся и поблѣднѣлъ.

— А что, вы припомнили?—спросила Ядвига, торжествуя.—Стась мнѣ все разсказалъ. Какъ вы сначала хотѣли было увезти Полину, Богъ знаетъ куда, и въ тоже время подобранными ключами опорожнить кассу стараго богача. Стась и Марциша имѣли быть вашими пособниками, потомъ имъ стало совѣстно и они отказались отъ этого воровскаго предпріятія. Такъ вѣдь, панъ Андрей?

Панъ Андрей, не могши отъ волненія держаться на ногахъ, присѣлъ, понуривъ голову, и молчалъ. Обвинитель вдругъ превратился въ подсудимаго.

— Стась и Марциша отъ своего замысла отказались,—продолжала Ядвига свое обвиненіе,—но вы рѣшились привести его въ исполненіе другимъ путемъ. Узнавъ, что старый Кранцъ готовъ дать жонду нѣсколько тысячъ рублей, чтобы жондъ освободилъ дочь его отъ участія въ нашей справѣ, вы стали подсылать Кранцу анонимныя письма, въ которыхъ предлагали ему, чтобы онъ положилъ 6000 рублей на извѣстное мѣсто, за что вы обязываетесь сдѣлать то, что Полина будетъ избѣгать жонда и нашей справы, «какъ огня, какъ заразы». Вы помните эти выраженія?

Панъ Андрей изнемогалъ подъ тяжестью этихъ вѣскихъ обвиненій. Ядвига продолжала:

— Соображаете ли вы, какимъ скандаломъ это пахнетъ не только для васъ, но и для жонда, терпящаго въ своей средѣ такого изверга, такого измѣнника? Что вы, напримѣръ, приведете жонду въ свое оправданіе?

— Жондъ вамъ не повѣритъ,—пробасилъ панъ Андрей, не смѣя взглянуть на свою обвинительницу.

— Даже когда я ему представлю письменныя доказательства?

— Вы ихъ не имѣете.

— Я ихъ имѣю! Ваши письма въ моихъ рукахъ. Стась передавалъ ихъ мнѣ, а не Кранцу, и хорошо сдѣлалъ. Онъ этимъ спасъ насъ всѣхъ отъ скандала, а васъ онъ передалъ въ мои руки. Смѣйте только пикнуть обо мнѣ одно слово, и я васъ передамъ суду народнаго жонда!...

Она встала и, окинувъ своего собесѣдника взглядомъ, полнымъ презрѣнія, проговорила, направляясь къ смежной комнатѣ.

— Я васъ не задерживаю. Можете идти и—сохрани васъ Богъ перешагнуть когда либо порогъ сей!...

Панъ Андрей, пристыженный, униженный, сконфуженный и выгнанный, съ трудомъ нашелъ дверь, черезъ которую онъ, часъ тому назадъ, вошелъ веселый, торжествующій и увѣренный въ успѣхѣ задуманнаго грязнаго дѣла.

XII.

Между тѣмъ, какъ происходили событія, разсказанныя въ послѣднихъ главахъ, въ Прачечномъ переулкѣ, въ нижнемъ этажѣ очень стараго каменнаго дома, тихо, но рѣшительно догорала честная, трудовая, но грустная жизнь поэта Шарачкевича, одного изъ сверхштатныхъ или почетныхъ членовъ народнаго жонда.

Тадеушъ Шарачкевичъ былъ одинъ изъ тѣхъ оригинальныхъ поэтовъ, которыхъ провидѣніе обыкновенно посылаетъ народамъ во время ихъ нравственнаго и политическаго упадка, которые своимъ тонкимъ чутьемъ чуютъ приближеніе смерти дорогой имъ родины и которые, все-таки, не хотятъ вѣрить въ неминуемость роковой развязки, надѣясь своимъ могучимъ, вселюбящимъ духомъ вдохнуть новую жизнь, новыя силы въ изболѣвшее тѣло, обреченное разложенію. Какой изъ приближавшихся къ гробу народовъ не имѣлъ своего Іереміи, съ растерзаннымъ сердцемъ, съ кровавыми слезами на глазахъ, пѣвшаго ему отходную? Поляки нашли своего Іеремію въ Тадеушѣ Шарачкевичѣ.

Какъ честный человѣкъ, какъ умный политикъ и какъ глубокій знатокъ исторіи своего народа, онъ былъ убѣжденъ,

что Польша приближается къ своему концу; но, какъ пламенный патріотъ и увлекающійся поэтъ, онъ вѣрилъ въ чудеса, вѣрилъ и надѣялся на возрожденіе горячо любимой имъ отчизны, вѣрилъ, потому что желалъ этого всѣми силами благородной души своей.

«Народъ,—разсуждалъ онъ самъ съ собою,—проживъ опредѣленное ему провидѣніемъ время, долженъ умереть, я это знаю; противъ этого неумолимаго закона природы спорить нечего. Но польскій народъ еще не жилъ, еще не начиналъ жить. Жила магнатерія, жило шляхетство, жило ксендзовство, но *народъ* еще не жилъ и не пробовалъ жить Почему-же ему умереть? Развѣ магнатскія попойки, драки, буйства, конфедераціи, сеймики и интриги, которыми изобилуютъ страницы нашей исторіи, могутъ считаться жизнью? Народъ не желалъ и не вызывалъ этихъ уродливыхъ явленій; онъ въ нихъ не участвовалъ, ибо пассивное участіе не можетъ быть названо участіемъ. Народъ, во все это время панской неурядицы, прозябалъ, можно даже сказать, совсѣмъ не существовалъ... Только разъ народъ заявилъ о своемъ существованіи и заявилъ очень громко,—галиційской рѣзней».

Тадеушъ Шарачкевичъ этой рѣзни не одобрялъ, но сознавалъ ея историческую неизбѣжность. Съ этого времени, *народъ* сдѣлался его идоломъ, его господиномъ, которому онъ далъ обѣтъ служить до послѣдней минуты своей жизни. Онъ въ немъ сталъ открывать новыя, свѣжія, непочатыя силы, обѣщающія жизнь новую, разумную, здоровую и долгую. Онъ могучимъ голосомъ сталъ будить эти, спавшія подъ ярмомъ паньщизны, силы вызывать на свѣтъ Божій, ставить ихъ въ параллель съ безсиліемъ изолгавшейся и пережившей самое себя шляхты, думая, что голосъ его дойдетъ до того, къ кому онъ обращенъ. Въ вдохновенныхъ строфахъ воспѣвалъ онъ плугъ, сельскую хату, подъ соломенной крышей которой живутъ трудъ, честность, добродѣтель, дружба, и... незаслуженныя слезы, взывающія къ Богу о мести утопающимъ въ нѣгѣ дармоѣдамъ, погубившимъ дорогую родину... Утопавшіе въ нѣгѣ дармоѣды восхищались прекрасными, плавными строфами восторженнаго народолюбца, превозносили его до небесъ, но его мыслей, желаній и стремленій не

раздѣляли. Ихъ плантаторская совѣсть, по временамъ, даже сильно возмущалась противъ *неприличнаго* содержанія, выраженнаго въ такой обольстительной формѣ.

Неудивительно поэтому, что, въ то время, когда портреты, бюсты, медальоны и статуэтки Шарачкевича украшали гостинныя, будуары, письменные столы и шифоньерки вельможныхъ и ясневельможныхъ пановъ и пань,—нога его никогда не перешагала ихъ порога. Онъ ихъ избѣгалъ, какъ своихъ личныхъ враговъ, какъ зачумленныхъ. Онъ не принадлежалъ ни къ партіи красныхъ, ни къ партіи бѣлыхъ: онъ самъ былъ партіею, *ультра-демократическою*, потому что не вѣрилъ въ quasi-демократизмъ пановъ, съ Лелевелемъ и Мѣрославскимъ во главѣ. Въ этихъ либеральничающихъ панахъ онъ видѣлъ тѣхъ же заядлыхъ, неисправимыхъ аристократовъ, стремящихся къ узурпаціи, къ абсолютизму, къ возстановленію все той-же шляхетской Польши. Но, «безъ польскаго *народа* немыслима и Польша»—было его твердое убѣжденіе.

Такимъ образомъ, онъ стоялъ одинъ среди своихъ родаковъ, краевыхъ и заграничныхъ, и это одиночество наполняло его душу горечью, которая еще больше увеличивалась отъ грустнаго убѣжденія, что *народъ*, который онъ такъ любитъ, за который онъ такъ ратуетъ, не понимаетъ его. И какого пониманія онъ могъ ожидать отъ рабовъ, отъ *быдла*?...

Онъ сталъ то волноваться, то грустить, то бѣситься, то хандрить.

Och, gdyby tylko jeden dar Bozy—
Spokojnosc duszy!...

восклицалъ онъ; но душевнаго спокойствія онъ не находилъ ни въ своемъ растерзанномъ сердцѣ, ни въ средѣ, его окружавшей.

Онъ сталъ искать его сперва въ любви, а потомъ въ винѣ. Но въ любви онъ нашелъ измѣну; а въ винѣ—ядъ, отравившій его нѣжный организмъ.

Онъ сталъ хворать.

Крестьянская реформа просто ошеломила его. Онъ ей обрадовался, какъ торжеству долго лелѣяннаго имъ принципа;

но, какъ патріотъ, онъ ее проклялъ, какъ послѣдній смертельный ударъ, нанесенный могучею рукою дѣлу ойчизны.

— Stalo się!—воскликнулъ онъ, рвавъ на себѣ волосы,—*народъ* воскреснетъ къ новой жизни, но это будетъ жизнь *русская*, а не *польская*. О, будьте вы прокляты, магнаты, шляхта, ксендзы! Вѣковое ярмо снимаетъ съ народа Россія, слышите, Россія, а не вы, выродившіеся сыны Польши! Баста! Teraz Polska juz zginela, zginela na zawsze! Och, biada nam, biada!..

И, въ припадкѣ бѣшенства, онъ сталъ ломать, уничтожать все, что тогда подвертывалось подъ его руку. Онъ сломалъ бюсты Костюшки, Мицкевича, Петра Скарги и другихъ польскихъ знаменитостей, находившихся въ его кабинетѣ. Онъ рвалъ и бросалъ на полъ книги своей библіотеки, польскихъ историковъ и поэтовъ, и свои собственныя сочиненія. Словомъ, онъ чуть съ ума не сошелъ отъ мысли, что для Польши уже все кончено.

Въ этомъ возбужденномъ состояніи, онъ, въ отвѣтъ манифесту 19-го февраля, написалъ стихотвореніе «Finis Poloniae», изъ каждой строфы котораго слышался отчаянный, предсмертный крикъ разбитаго сердца.

Это стихотвореніе, въ которомъ геній поэта высказался въ полной своей силѣ, какъ и слѣдовало ожидать, произвело необычайный фуроръ въ польскихъ салонахъ города N. Его читали, перечитывали, плакали, падали въ омборокъ при его чтеніи. Въ этомъ стихотвореніи, какъ въ чистомъ зеркалѣ, польское общество, можетъ быть, въ первый разъ увидѣло себя въ своемъ настоящемъ видѣ, а потому невольно ужаснулось отъ этого вида. Но, подобно обезьянѣ въ баснѣ, оно потомъ стало жечь, уничтожать это стихотвореніе, въ которомъ ему сподручнѣе было видѣть только бредъ рехнувшагося ума, черную клевету, безсильную злобу, завистливый скрежетъ голоднаго пролетарія, плебея, на котораго нечего обращать вниманія и котораго нечего щадить, какъ измѣнника, какъ опаснаго человѣка...

Его и не щадили. Изъ польскихъ салоновъ Finis Poloniae какими-то путями дошло до администраціи, которая нашла

въ этомъ стихотвореніи довольно поводовъ, чтобы продержать автора нѣсколько мѣсяцевъ въ заключеніи.

Изъ каземата Тадеушъ Шарачкевичъ вышелъ душевно успокоенный, почти преображенный, покорный судьбѣ, примиренный съ обстоятельствами, и — съ явными признаками близкой смерти.

Поляки спохватились, что очень несправедливо, даже жестоко поступили съ человѣкомъ, вина котораго состояла лишь въ томъ, что онъ слишкомъ горячо любилъ ойчизну. Они увидѣли въ немъ мученика за *святую справу* и поспѣшили загладить теперь свою вину всѣми знаками искренняго сочувствія и неподдѣльнаго участія. Въ первые дни его освобожденія, его квартира была буквально наполнена магнатами, пріѣзжавшими къ нему съ визитомъ. Онъ ихъ принималъ вѣжливо, но сухо, говорилъ очень мало и большею частью стихами, импровизацiей.

Стали безпокоиться о его здоровьѣ и жизни, сдѣлавшейся полякамъ вдругъ очень нужной. Къ нему прислали цѣлый факультетъ медиковъ, которые предписали ему очень мудреную діэту, другой образъ жизни. Онъ грустно улыбнулся и сказалъ:

Nad kim juz ciezy grobowe przykrycie,
Pozno mu nowe rozpoczynac zycie *).

Доктора требовали, по крайней мѣрѣ, чтобы онъ пересталъ писать. На это онъ имъ отвѣчалъ:

Kiedy serce sie rozmacha,
Czy je skryé pod lawe? *).

Его оставили въ покоѣ, но не на долго. Когда сталъ организоваться жондъ народовый, графъ Тенчинскій, зная, что безъ пера Тадеуша Шарачкевича ему трудно будетъ обойтись, заманилъ его къ себѣ и сталъ уговаривать, чтобы онъ сдѣлался членомъ жонда. Шарачкевичъ слушалъ, слушалъ и молчалъ.

---

*) Надъ кѣмъ уже виситъ гробовая покрышка, тому не время начинать новую жизнь.

*) Когда сердце разгуляется, то развѣ можно упрятать его подъ лавку?



— Что же вы ничего не отвѣчаете—спросилъ графъ, озадаченный апатическимъ безмолвіемъ поэта.

— У васъ есть Библія?—спросилъ послѣдній.

— Есть. Принести ее вамъ?

— Будьте такъ добры.

Графъ принесъ изъ своей библіотеки польскую библію въ богатомъ переплетѣ. Шарачкевичъ сталъ ее перелистывать.

— Слушайте, графъ, что я вамъ сейчасъ буду читать,—проговорилъ онъ торжественно и сталъ читать:

«И послалъ царь Седекія и взялъ пророка Іеремію къ себѣ въ третій входъ, что въ домѣ Господнемъ. И сказалъ царь Іереміи: спрошу тебя о чемъ-то, только неутаивай отъ меня ничего. И сказалъ Іеремія Седекіи: если скажу тебѣ, то ты меня умертвишь, а если посовѣтую тебѣ, то ты меня не послушаешься. И поклялся царь Седекіи Іереміи... И сказалъ Іеремія Седекіи: такъ говоритъ Господь, Богъ Саваоѳъ, Богъ Израилевъ: если выйдешь на встрѣчу князьямъ царя вавилонскаго, то ты будешь жить и сей градъ не будетъ сожженъ въ огнѣ; будешь жить ты и домъ твой. А если не выйдешь къ князьямъ царя вавилонскаго, то сей градъ будетъ преданъ въ руки халдеевъ, которые сожгутъ его огнемъ, и ты не уйдешь отъ ихъ рукъ».

— Это къ намъ не относится, не про насъ писано, сказалъ графъ, бросивъ на поэта сердитый взглядъ,—мы не іудеи, а Москва не Вавилонъ.

— Такъ, такъ,—пробомортàлъ поэтъ, задумчиво покачивая головою,—но извольте выслушать еще одно мѣсто, которое тоже не про насъ писано. И онъ сталъ быстро перелистывать Библію и сталъ читать изъ Паралипоменона:

«И посылалъ къ нимъ Господь, Богъ отцовъ ихъ, посланниковъ Своихъ отъ ранняго утра, потому что онъ жалѣлъ свой народъ и свое жилище. Но они издѣвались надъ посланными отъ Бога и пренебрегали словами Его, и ругались надъ пророками Его, доколѣ не сошелъ гнѣвъ Господа на народъ Его, такъ что не было ему спасенія. И онъ навелъ на нихъ царя халдейскаго, и тотъ умертвилъ ихъ мечемъ въ домѣ святыни ихъ, и не пощадилъ ни юноши, ни дѣвицы, ни старца, ни сѣдовласаго: все предалъ въ руку его».

— И это не про насъ писано, ясновельможный графъ?— спросилъ поэтъ, закрывъ Библію и саркастически улыбаясь.

— Я и въ этомъ не вижу вашего отвѣта на наше предложеніе,—отвѣчалъ графъ, притворяясь непонимающимъ намековъ Шарачкевича,—я бы васъ просилъ, любезный панъ Тадеушъ, объясниться яснѣе, категорически.

— Хорошо, объяснюсь яснѣе, категорически, — сказалъ Шарачкевичъ,—ваша затѣя безумная Польша погибла навсегда. *Народъ* будетъ *противъ* насъ, а не *за* насъ. Его будущность отнынѣ уже не въ рукахъ Польши. Я убѣжденъ въ этомъ, какъ въ томъ, что мнѣ уже не долго остается жить на свѣтѣ. Но, какъ добрый полякъ, хочу раздѣлить участь моихъ родаковъ. Вы лѣзете въ петлю, и я съ вами полѣзу. Вы хотите ознаменовать нашу кончину кровавою борьбою?— И я отъ этого не прочь. Мы считали себя народомъ рыцарскимъ, — это, пожалуй, даже обязываетъ насъ безполезно драться до послѣдней капли крови. Будемъ же драться, будемъ драться, если не за Польшу, ибо это ей впрокъ ей не пойдетъ, такъ, по крайней мѣрѣ, для свѣта, для исторіи... да, для исторіи.

— Стало быть могу записать васъ членомъ?

— Зачѣмъ членомъ? Что я буду дѣлать въ жондѣ? Я слабъ и раздражителенъ. Я вамъ только буду мѣшать. Могу и буду служить вамъ перомъ, на сколько у меня силъ хватитъ. Буду будить засыпающій духъ нашего народнаго генія, буду будить... пока самъ не засну. Прощайте.

Въ августѣ 1862 года, Тадеушъ Шарашкевичъ сталъ шибко приближаться къ гробу. Онъ уже не сходилъ съ кровати, ожидая со дня на день окончательной развязки своей грустной жизни...

Въ качествѣ сидѣлокъ у него дежурировали, чередуясь, Юлія Крутицкая, княжна Мильфоръ и Полина Кранцъ, восторженныя патріотки и еще болѣе восторженныя почитательницы таланта умирающаго поэта. Кромѣ ухода за дорогимъ имъ больнымъ, онѣ исправляли при немъ должность секретарей: онѣ вели его обширную литературную корреспон-

денцію и,—чѣмъ онѣ особенно дорожили—записывали подъ его диктовку его импровизаціи, предсмертныя изліянія его сердца. Тѣло его съ каждымъ днемъ ослабѣвало, умирало, но духъ его бодрствовалъ, былъ свѣжъ. Онъ диктовалъ пѣсню за пѣсней, стихотвореніе за стихотвореніемъ, какъ бы спѣша отдать міру мірское, отдѣлаться отъ волновавшихъ, мучившихъ его думъ, дабы перейти въ вѣчность свободнымъ облегченнымъ...

Въ одну ночь, когда никого при немъ не было, онъ вдругъ проснулся, почувствовалъ сильную жажду. Онъ протянулъ руку за стаканомъ, стоявшимъ на столикѣ у его кровати, и однимъ залпомъ опорожнилъ находившійся въ стаканѣ уксусъ.

Онъ вскрикнулъ, схватился за грудь и испустилъ духъ.

На завтра, слухъ о смерти Тадеуша Шарашкевича облетѣлъ городъ съ быстротою молніи. Съ самаго ранняго утра, Прачечный переулокъ сдѣлался притягательнымъ центромъ для разнообразнѣйшихъ слоевъ населенія города N.

Прежде всѣхъ прилетѣли въ попыхахъ и съ вытянувшимися лицами кредиторы съ своими векселями, заемными письмами, сохранными и прочими документами, точно ихъ должникъ своею смертью большой кушъ выигралъ и расквитается съ ними до полушки. Потомъ прикатили рисовальщики, фотографы и скульпторы съ своими аппаратами для снимки маски популярнаго поэта, дабы нѣсколько поживиться на счетъ этого *событія*. Нѣсколько позже подоспѣли корреспонденты столичныхъ газетъ для собранія біографическихъ свѣдѣній и подробностей о послѣднихъ минутахъ жизни и кончинѣ знаменитаго человѣка. По пятамъ корреспондентовъ приплелись книгопродавцы и издатели, — для пріобрѣтенія права на посмертныя стихотворенія и полное изданіе сочиненій любимаго публикою писателя. Съ этою цѣлью они захватили съ собою свои бумажники, на случай требуемаго съ нихъ задатка. Часу въ одинадцатомъ пріѣхала расфранченная молодежь для засвидѣтельствованія своего искренняго сочувствія неутѣшной вдовѣ, еще молодой и очень красивой, а

часу въ двѣнадцатомъ пожаловала гордая и богатая знать, чтобы розыгрывать роль просвѣщенныхъ меценатовъ, чего покойникъ при жизни никогда не позволялъ имъ.

Неутѣшная вдова стояла и удивлялась, не зная, чему приписать такую предупредительность, такое вниманіе къ ея особѣ со стороны такихъ лицъ, которыя прежде не удостоивали ее даже поклона. Какъ женщина пустая и весьма ограниченная, она меньше всѣхъ понимала и цѣнила своего мужа. Она только знала, что мужъ ея что-то пишетъ по цѣлымъ днямъ, иногда и по цѣлымъ ночамъ, но это писаніе не доставляетъ ей ни модныхъ нарядовъ, ни вообще приличной обстановки. Стало быть, — порѣшила она,—мужъ ея дуракъ, занимается пустяками и цѣнить его не-за-что. Она и не цѣнила его, она всегда злобствовала на него, какъ на поденщика, недобросовѣстно исполняющаго свою обязанность, и всячески отравляла его и безъ того нерадостную жизнь. Она бы и совсѣмъ бросила его, если бы только представился удобный случай; но удобнаго случая, къ ея сожалѣнію, не представлялось: съ такою ограниченною женщиною никто не хотѣлъ серьезно связываться, хотя она была молода и хороша. Связался же съ нею Шарачкевичъ по свойственнымъ поэтамъ и художникамъ непрактичности и недальновидности въ дѣлахъ общежитія, которыми они пренебрегаютъ, какъ предметами, не достойнымя ихъ вниманія. Онъ увлекся ея наружностью и дорого поплатился за свое поэтическое увлеченіе.

Увидѣвъ себя вдругъ окруженной такимъ вниманіемъ, пани Шарачкевичева пожимала плечами, но инстинктивно сообразила, что нужно ковать желѣзо, пока горячо. Она поэтому, недолго думая, вошла въ сдѣлки съ фотографами, скульпторами, издателями и книгопродавцами, брала задатки, подписывала контракты, не отказывалась отъ предложеній меценатовъ, словомъ—старалась наверстать съ лихвою то, что было упущено ея *нерадивымъ* мужемъ, который хоть разъ сдѣлалъ умное дѣло тѣмъ, что умеръ. Она такъ была занята своимъ сѣнокосомъ, что забыла даже проронить слезинку хоть бы изъ приличія: люди приписывади это обстоятельство ея глубокой грусти и невыразимому отчаянію и были очень довольны своимъ глубокимъ пониманіемъ человѣческаго сердца...

Жондъ народный тоже не дремалъ. Онъ рѣшился воспользоваться похоронами Шарачкевича, какъ благовиднымъ предлогомъ для устройства политической демонстраціи въ большихъ размѣрахъ.

Съ этою цѣлью онъ поднялъ на ноги своихъ агентовъ и началъ дѣлать надлежащія приготовленія. Все уже шло на ладъ, какъ вдругъ онъ наткнулся на препятствія, на которыя вовсе не разсчитывалъ. Препятствіе это было — духовенство. Дѣло въ томъ, что духовенство, которое покойникъ безпощадно бичевалъ въ рукописныхъ сатирахъ, уже давно острило зубы на *еретика* и теперь хотѣло отказать ему въ колокольномъ звонѣ и другихъ церковныхъ почестяхъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ умеръ безъ исповѣди. Между жондомъ и духовенствомъ завязалась перепалка, въ которой порядочно доставалось обоимъ, но жондъ получилъ, наконецъ, перевѣсъ и духовенство уступило: съ колоколенъ N-скихъ костеловъ сталъ раздаваться протяжный, унылый, густой звонъ, возвѣщавшій городу о кончинѣ знаменитаго лица. На многихъ башняхъ появились траурные флаги, а въ кафедральномъ костелѣ соорудили величественный катафалкъ.

Вечеромъ послѣдовалъ выносъ при зажженныхъ факелахъ, колокольномъ звонѣ и громадномъ стеченіи народа. Въ кортежѣ принимали участіе всѣ монашествующіе ордена, учебныя заведенія и городскіе цѣхи съ своими значками.

Въ густой же толпѣ, слѣдовавшей за гробомъ, сновали какія-то личности, распускавшія подъ рукою слухъ, что покойникъ замученъ былъ московскимъ жондомъ, что онъ умеръ за справу ойчизны. Толпа повѣрила и заскрежетала зубами. Проходя мимо одного присутственнаго мѣста, она хотѣла было сорвать гербъ, но тѣже личности удержали ее отъ этого, объясняя, что Москвѣ готовится месть поважнѣе.

Похороны были такія же блестящія, такія же шумныя. Надгробныхъ словъ произнесено было множество и всѣ — зажигательнаго свойства, такъ что едва гробъ опущенъ былъ въ землю, наэлектризованная толпа, какъ будто по чьему нибудь волшебному мановенію, громко и энергически запѣла: Zdymem pozarow.

Наблюдавшая издали полиція, услышавъ звуки запрещен-

наго гимна, зашевелилась было; но, встрѣтивъ отчаянные, вызывающіе взгляды десятитысячной толпы, сробѣла и почла нужнымъ прикидываться неслушащей, что поетъ толпа.

На завтра, въ мѣстной газетѣ появилось подробное описаніе похоронъ Тадеуша Шарачкевича, причемъ, между прочимъ, выставлено было на видъ, что въ этихъ похоронахъ принимали дѣятельное участіе *евреи* и тѣмъ доказали, что они чувствуютъ себя *поляками*, съ чѣмъ ихъ отъ души поздравляетъ край, которато они, по всѣмъ соображеніямъ, не могутъ не считать своимъ *отечествомъ* и потому должны любить всѣмъ сердцемъ, всею душею...

Дѣятельное же участіе евреевъ выражалось въ томъ, что они, изъ любопытства, стояли на улицахъ и глазѣли на блестящіе похороны какого-то пана, о значеніи котораго они и понятія не имѣли. Но поляки, видѣвшіе все въ розовомъ свѣтѣ, смотрѣли на праздное любопытство еврейской толпы, какъ на осмысленное участіе, и поспѣшили протрубить объ этомъ, не безъ задней, впрочемъ, мысли...

Графъ же Тенчинскій блисталъ на похоронахъ своимъ—отсутствіемъ. Онъ въ это время пилъ чай у генерала и поддерживалъ бесѣду о все болѣе и болѣе запутывающихся дѣлахъ въ Царствѣ Польскомъ, причемъ, неоднократно выражалъ свое глубокое сожалѣніе объ ослѣпленіи и заблужденіи своихъ родаковъ, съ которыми онъ, впрочемъ, не хочетъ имѣть ничего общаго.

Генералъ крѣпко пожималъ ему руку, а генеральша сладко ему улыбалась.

Книга четвертая.

Не вывезло.

I.

Поручикъ Петръ Аѳанасьевичъ Дубовъ, о которомъ Мэри Тидманъ писала Софіи Аронсонъ, попалъ въ воины по совершенно независѣвшимъ отъ него обстоятельствамъ. Онъ не только не имѣлъ въ себѣ ничего воинственнаго, но обладалъ такими инстинктами, которые прямо противорѣчили званію военнаго человѣка. Онъ всегда мечталъ о какой нибудь ученой или юридической карьерѣ, чувствовалъ непреодолимое влеченіе къ кабинетнымъ занятіямъ, находился уже на третьемъ курсѣ, собиралъ уже матерьялы для будущей магистерской диссертаціи, какъ вдругъ его опекунъ и дядя, выжившій изъ ума генералъ въ отставкѣ, отъ котораго онъ всецѣло зависѣлъ въ матерьяльномъ отношеніи, объявилъ ему въ видѣ ультиматума, что если онъ, Петя, не опредѣлится немедленно въ военную службу, «какъ подобаетъ столбовому дворянину», то онъ, генералъ, лишитъ его не только наслѣдства, но и мѣсячнаго содержанія.

Дѣлать было нечего: Петя взялъ и опредѣлился въ военную службу, такъ какъ ему, «какъ подобаетъ столбовому дворянину», казалось, что самостоятельно зарабатывать кусокъ хлѣба въ тысячу разъ труднѣе, чѣмъ написать магистерскую диссертацію, стало быть ссориться съ своимъ благодѣтелемъ — вещь невозможная. Само собою разумѣется, что Дубовъ не могъ не тяготиться навязанною ему карьерою, къ которой онъ не чувствовалъ ни малѣйшей склонности, такъ какъ шляться всю зиму по кофейнямъ и кондитерскимъ, ухаживать за уѣздными барышнями или просиживать ночи за зеленымъ столомъ, а лѣтомъ обучать взрослыхъ людей стоять

и ходить—совсѣмъ не подходящія занятія для человѣка, готовившаго себя въ ученые, мечтавшаго о какой нибудь общественной дѣятельности. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что нашъ молодой военный страшно скучалъ, по временамъ даже хандрилъ, запирался въ своей квартирѣ, чтобы безпрепятственно предаваться ученымъ занятіямъ, отчего онъ въ офицерскомъ кружкѣ прослылъ чудакомъ, чернокнижникомъ. Чтобы избѣжать непріятныхъ столкновеній съ товарищами, которые стали преслѣдовать его насмѣшками, онъ часто бралъ отпуски, командировки, переводился изъ полка въ полкъ, но все это мало удовлетворяло его жаждѣ дѣятельности, дѣла, настоящаго, кипучаго, патріотическаго дѣла. Но гдѣ взять его въ полку, въ тѣсныхъ предѣлахъ дисциплины, субординаціи и прочихъ параграфовъ Воинскаго устава?... Правда, онъ состоялъ членомъ возникшаго тогда комитета грамотности; но что онъ могъ сдѣлать для просвѣщенія темнаго народа, будучи офицеромъ, отъ котораго «темный народъ» сторонится, какъ отъ становаго?...

Въ 1862 году, Дубовъ съ своимъ полкомъ попалъ въ Западный край. Отъ нечего дѣлать онъ уже собирался было, по примѣру своихъ товарищей, ухаживать за миловидными и кокетливыми польками, какъ вдругъ онъ въ городѣ Г. неожиданно натknулся на еврейскій кружокъ, и жизнь его потекла иначе.

«Эврика!» — воскликнулъ онъ, не шутя обрадовавшись своей неожиданной находкѣ· «Вотъ оно, настоящее дѣло-то! Теперь мы скучать не будемъ!»

Въ головѣ его блеснула мысль о возможности совершенія великаго гражданскаго, патріотическаго подвига: пріобрѣсть для Россіи два милльона полезныхъ гражданъ, и онъ предался этой мысли со всѣмъ жаромъ своей, долго алкавшей полезной дѣятельности, души. Какъ человѣкъ мыслящій и наблюдательный, онъ сразу сообразилъ, что передъ нимъ открылось обширное поле, уже достаточно разрыхленное и очень воспріимчивое для хорошихъ сѣмянъ, и что труды его на этомъ полѣ не пропадутъ даромъ. Какъ русскій патріотъ, онъ оцѣнилъ по достоинству то обстоятельство, что изъ всѣхъ населяющихъ Россію инородцевъ евреи, не смотря на то,

что ихъ положеніе въ странѣ самое незавидное, всетаки больше другихъ склонны къ русской гражданственности, въ пользу которой и происходитъ теперь у нихъ сильное броженіе, которымъ пренебрегать и неразсчетливо, и грѣшно.

И онъ рѣшился воспользоваться этимъ «броженіемъ», эксплоатировать его, на сколько у него хватитъ силъ и способностей.

«На нашей ненадежной западной окраинѣ,—занесъ онъ въ свою памятную книжку,—мы должны и можемъ создать себѣ изъ еврейской массы довольно порядочный контингентъ, который могъ бы служить противувѣсомъ нѣмецкимъ иллюзіямъ и польскимъ притязаніямъ; такой противувѣсъ стòитъ трехъ крѣпостей, а такимъ противувѣсомъ евреи сдѣлаются тогда, когда они почувствуютъ себя русскими. Это чувство мы и должны будить въ нихъ неослабно, послѣдовательно».

Вотъ почему онъ такъ плотно примкнулъ къ еврейскому кружку города Г, въ которомъ онъ нашелъ это чувство уже въ зародышѣ, на поддержаніе котораго онъ сталъ смотрѣть, какъ на дѣло въ высшей степени патріотическое, въ особенности въ данный моментъ, когда поляки, чему онъ былъ очевидцемъ, пустили въ ходъ всю свою ловкость, чтобы привлечь евреевъ на свою сторону. И, сознавая всю серьезность представившейся ему патріотической задачи, онъ, въ видахъ болѣе успѣшнаго ея разрѣшенія, счелъ нужнымъ заинтересовать ею отечественную печать, на просвѣщенное содѣйствіе которой онъ, повидимому, имѣлъ полное право разсчитывать. Но отечественная печать и вниманія не обратила на реляціи какого-то армейскаго офицера. Эти реляціи показались ей пристрастными и лишенными основательности тѣмъ болѣе, что ей въ эту минуту казалось, что она, относительно евреевъ, имѣетъ другія убѣжденія: отечественный горизонтъ, какъ читатели, можетъ быть, припомнятъ, сталъ тогда заволакиваться густымъ туманомъ ребяческаго украйнофильства съ одной стороны и безцѣльнаго славянофильства, съ другой, а флюгеръ показывалъ, что дуетъ вѣтеръ сѣверо-восточный, а не юго-западный; какъ-же легковѣснымъ листкамъ носиться противъ вѣтра?...

Но это обстоятельство не обезкуражило нашего смѣлаго

поручика, взявшагося за патріотическое дѣло не по предписанію начальства, а по собственному побужденію. Онъ еще плотнѣе примкнулъ къ еврейскому кружку, сдѣлался его душою, работалъ неутомимо и съ любовью.

Недовольствуясь своею дѣятельностью въ Г, онъ съѣздилъ въ N.

Здѣсь онъ нашелъ кружокъ болѣе обширный, съ задачами и цѣлями болѣе опредѣленными, болѣе серьезными, которымъ онъ не могъ не сочувствовать отъ всей души. Городъ N, съ своимъ громаднымъ еврейскимъ населеніемъ, съ своимъ большимъ контигентомъ еврейскихъ ученыхъ и обучающагося юношества, съ своимъ вѣковымъ авторитетомъ въ средѣ еврейскихъ общинъ всего края, показался ему тѣмъ естественнымъ центромъ, откуда всего удобнѣе было вести задуманную имъ патріотическую пропаганду и онъ рѣшился оставаться въ этомъ центрѣ какъ можно долѣе, тѣмъ болѣе, что кружокъ, съ которымъ онъ легко сошелся, убѣдительно просилъ его объ этомъ.

Онъ отправилъ, куда слѣдуетъ, прошеніе, вслѣдствіе чего былъ прикомандированъ къ корпусному штабу, находившемуся въ N. Такимъ образомъ поручикъ Дубовъ поселился въ N и сталъ дѣлить съ кружкомъ всѣ его труды, заботы, хлопоты, опасенія и надежды.

Отзывъ мѣстной газеты о «дѣятельномъ» участіи евреевъ въ похоронахъ Тадеуша Шарачкевича взволновалъ, возмутилъ всѣхъ членовъ кружка.

«Обманъ! Ложь! Дерзость! кричали они въ чрезвычайномъ засѣданіи, созванномъ по этому случаю.—Евреи участвовали въ похоронахъ изъ празднаго любопытства, а не изъ сочувствія къ польской справѣ... Кто изъ евреевъ знаетъ, кто такой былъ Тадеушъ Шарачкевичъ? Можетъ быть, одинъ изъ тысячи. Они за шиворотъ насъ тащутъ? Это ужь слишкомъ! Нужно протестовать! Протестовать!»

Протестъ короткій, но энергическій былъ тутъ же составленъ, подписанъ и отправленъ въ редакцію мѣстной газеты.

На завтра, въ отвѣтахъ редакціи, протестующіе прочли,

17*

что статья ихъ не можетъ быть напечатана... «по извѣстнымъ редакціи причинамъ».

Кружокъ просто ахнулъ отъ такой несправедливости.

— Но протестъ долженъ быть напечатанъ во что бы то ни стало!—воскликнулъ Дубовъ, трясясь отъ гнѣва.

— Развѣ въ другой, столичной газетѣ?—спросилъ кто-то.

— Нѣтъ, въ мѣстной, непремѣнно въ мѣстной, — отвѣтилъ Дубовъ. Преступника наказываютъ на мѣстѣ совершеннаго имъ преступленія. Вы, господа, позволите мнѣ взять это дѣло на себя?

— Съ удовольствіемъ,—отвѣтили члены.

— Въ такомъ случаѣ, я не Петръ Аѳанасьевичъ Дубовъ, если вашъ протестъ не будетъ напечатанъ въ ближайшемъ же нумерѣ,—черезъ часъ или два вы получите отвѣтъ. Ѣду къ редактору сейчасъ же. Не нужно мѣшкать! До свиданія.

Онъ пристегнулъ свою саблю, распростился и вышелъ.

Былъ ровно полдень, когда Петръ Аѳанасьевичъ вошелъ въ пріемную редакціи мѣстной газеты.

— Къ редактору? — спросилъ его находившійся въ то время въ пріемной секретарь редакціи.

— Къ редактору.

— Онъ сегодня не принимаетъ.

— Знаю, потрудитесь однакоже доложить: поручикъ Дубовъ, членъ слѣдственной коммисіи по политическимъ дѣламъ.

Секретарь, бросивъ испытующій, почти пугливый взглядъ на стоявшаго передъ нимъ офицера, отправился доложить. Черезъ минуту онъ возвратился въ пріемную и почтительнымъ жестомъ попросилъ Дубова въ отворившуюся дверь редакторскаго кабинета.

Кабинетъ редактора мѣстной газеты не мало поразилъ Дубова своею богатою, въ особенности же своею тенденціозною обстановкою. У противуположной отъ дверей стѣны стояли дыбомъ двѣ пары чугунныхъ львовъ, держа въ своихъ когтяхъ—первая пара—генеральную карту древней Литвы, а вторая—такую же карту Рѣчи Посполитой. Изъ за этихъ картъ возвышались на высокомъ пьедесталѣ двѣ гипсовыя фигуры въ человѣческій ростъ Ягелло и Ядвиги, изображавшія собою соединеніе Литвы съ Польшей. Какъ бы въ до-

полненіе къ этому рельефу, на противоположной стѣнѣ красовалась большая картина, писанная масляными красками и изображавшая брестскую унію. Углы этого обширнаго кабинета были тоже заняты историческими фигурами. Въ одномъ углу стояли фигуры Лжедимитрія и Марины Мнишекъ, въ другомъ — Костюшки и Станислава Понятовскаго, въ третьемъ — Іосафата Кунцевича и Адама Мицкевича, а въ четвертомъ — о, верхъ тенденціозности! — косматыя фигуры Стеньки Разина и Емельки Пугачева, этихъ Спартаковъ земли русской. Всѣ же стѣны были завѣшены портретами польскихъ знаменитостей всѣхъ эпохъ, до самаго послѣдняго времени. Болѣе назидательной обстановки, кажется, нельзя было и придумать.

Когда Дубовъ вошелъ въ кабинетъ, изъ за большаго письменнаго стола, заваленнаго бумагами, газетами, только что вышедшими брошюрами, книгами и статуэтками, медленно поднимался къ нему на встрѣчу человѣкъ лѣтъ пятидесяти, средняго роста съ округленными формами, съ тщательно выбритымъ лицомъ и съ огромною лысиною, тянувшеюся съ высокаго чела по самую макушку, на которой покоились, въ видѣ рогатки, пара синихъ очковъ, служившихъ не столько для регулированія зрѣнія, сколько для замаскированія выраженія глазъ ихъ носившаго.

Дубовъ отрекомендовался.

— Что скажете хорошаго? — спросилъ редакторъ послѣ того, какъ онъ опять усѣлся на своемъ мѣстѣ, предварительно указавъ гостю на близь-стоявшее кресло. Дубовъ сѣлъ.

— Я къ вамъ въ качествѣ уполномоченнаго отъ лицъ, приславшихъ вамъ на дняхъ протестъ для напечатанія, отвѣтилъ онъ.

— А, отъ евреевъ!—проговорилъ редакторъ, слегка покраснѣвъ, и синія очки вдругъ съѣхали съ макушки на переносицу.

— Да, отъ русскихъ Моисеева исповѣданія, — сказалъ Дубовъ, не безъ намѣренія перефразировавъ слова редактора.

— Развѣ есть уже и такіе?—спросилъ послѣдній, впиривъ въ сидѣвшаго передъ нимъ офицера свой замаскированный взглядъ.

— Если есть поляки Моисеева исповѣданія, то отчего не быть и русскимъ этого исповѣданія?

— Это очень любопытно, — замѣтилъ редакторъ, саркастически улыбнувшись.—Мы вотъ, живя на мѣстѣ, что-то не слыхали о такихъ субъектахъ.

— Очень жаль, что не слыхали, но такіе субъекты существуютъ здѣсь же. Они то и поручили мнѣ ходатайствовать передъ вами о напечатаніи ихъ протеста.

Редакторъ пожалъ плечами.

— Это невозможно,—сказалъ онъ послѣ недолгой паузы.

— Почему?

— Потому... потому, что онъ неоснователенъ!

— Такъ что-жъ? Если онъ неоснователенъ, такъ найдутся такіе, которые печатно же докажутъ его неосновательность. На то вѣдь гласность. Вы же за это не отвѣчаете. Дайте свободно высказываться общественному мнѣнію.

— Оно уже высказалось.

— Въ редакціонной статьѣ, противъ которой протестуютъ.

— Протестуетъ только нѣсколько единицъ.

— Но эти единицы протестуютъ отъ имени всей заинтересованной стороны.

— Сомнѣваюсь, чтобы эти единицы имѣли такія обширныя полномочія.

— Такъ вы хотите всеобщей подачи голосовъ?

— Всеобщая подача голосовъ прямо высказалась противъ тенденціи присланнаго мнѣ протеста: на похоронахъ Шарачкевича присутствовало болѣе десяти тысячъ евреевъ. Развѣ послѣ этого нужно другихъ доказательствъ о настоящемъ настроеніи еврейскаго общества? Мы фактовъ не выдумываемъ, а описываемъ ихъ, какъ они совершались.

— О, если бы такъ было, то я теперь не имѣлъ бы удовольствія бесѣдовать съ вами. Но вы, милостивый государь, какъ я вижу, не ограничиваетесь простымъ изложеніемъ фактовъ, а любите сопровождать это изложеніе произвольными толкованіями, противъ которыхъ можно, я думаю, поспорить.

— Поспорить?—переспросилъ редакторъ,—съ большимъ удовольствіемъ. Я даже очень люблю полемику. Это мой ко-

некъ. Du choc des opinions jaillit la vérité. Въ свободное время я готовъ полемизировать съ вами о чемъ угодно, даже о предметѣ, доставившемъ мнѣ пріятный случай познакомиться съ вами. Но напечатать присланный мнѣ протестъ—не могу, ей Богу—не могу.

Дубова возмутило это безстыдное фразерство редактора мѣстной газеты, любящаго полемику ради полемики, т. е. безцѣльное переливанье изъ пустаго въ порожнее. Онъ всталъ, выпрямился и, принявъ рѣшительную мину, спросилъ съ нѣкоторымъ оттѣнкомъ гнѣва:

— И это ваше послѣднее слово?

— Вѣрьте мнѣ, не могу,—отвѣчалъ редакторъ, положивъ руку на сердце. Мнѣ очень непріятно отказать вамъ въ вашей просьбѣ, но что-же дѣлать?

— Въ такомъ случаѣ,—проговорилъ Дубовъ, хладнокровно натягивая свои перчатки, — я долженъ буду довести все это дѣло до свѣдѣнія начальства.

— Что?—воскликнулъ редакторъ, подскочивъ на своемъ мѣстѣ и слегка поблѣднѣвъ.

— Я доложу объ этомъ начальству,—повторилъ Дубовъ.

— Но вы этого не сдѣлаете, — проговорилъ редакторъ, какъ бы въ утѣшеніе себѣ и въ назиданіе Дубову;—вы человѣкъ просвѣщенный, вы, какъ я подозрѣваю, сами литераторъ, а потому, надѣюсь, вы не допустите, чтобы нашъ литературный споръ былъ рѣшенъ властью начальства, совсѣмъ не компетентнаго въ литературныхъ дѣлахъ. Мы, литераторы, имѣемъ наши собственные суды и высшія инстанціи, мы тоже аппеллируемъ, но не къ бюрократамъ, comprenez-vous?—не къ бюрократамъ...

Онъ, поверхъ своихъ очковъ, взглянулъ на Дубова, чтобы уловить впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на него своею рѣчью, показавшеюся ему верхомъ дипломатической ловкости; но, къ своему сожалѣнію, онъ на лицѣ стоявшаго передъ нимъ молодаго офицера не условилъ никакого особеннаго впечатлѣнія. Оно было грозно, сердито по прежнему.

— Извините, г. редакторъ, — сказалъ Дубовъ, — нашъ споръ совсѣмъ не литературный, а политическій. Вы навязываете евреямъ такія чувства, которыхъ они совсѣмъ не

питаютъ, и этимъ вы вводите въ заблужденіе общественное мнѣніе. Если бы сами евреи не протестовали, то мы бы должны были протестовать за нихъ, мы, русскіе. Мы были бы плохими русскими, еслибъ мы не знали, кто наши друзья и кто наши враги.

Безпокойство редактора, чувствовавшаго себя виновнымъ, нечистымъ, стало возрастать.

— Стало быть, вы и меня считаете врагомъ Россіи? — спросилъ редакторъ взволнованнымъ голосомъ.—О, вы изволите ошибаться, молодой человѣкъ. Хоть я и полякъ, однакожъ я русскихъ очень люблю. Я, знаете, не изъ тѣхъ... Имѣю между русскими самыхъ закадычныхъ друзей. Хотите доказательствъ?

Не дожидаясь отвѣта, онъ всталъ, взялъ Дубова подъ руку и ввелъ его въ смежную съ кабинетомъ небольшую комнату, стѣны которой увѣшаны были литографированными портретами русскихъ знаменитостей, государственныхъ людей, редакторовъ, ученыхъ, литераторовъ и художниковъ, снабженными собственноручными надписями и посвященіями.

— А что, молодой человѣкъ, — спросилъ редакторъ съ добродушною фамилярностью, обвивъ одною рукою станъ своего собесѣдника, а другою указывая на портреты, — я вашъ другъ или врагъ?... Я этими дорогими для меня знакомствами не хвастаюсь, я хотѣлъ только показать вамъ, что съ Россіею меня связываютъ самыя дорогія воспоминанія и что если я не соглашаюсь напечатать покровительствуемую вами статью, то это не по причинѣ какой-либо враждебности къ интересамъ нашего общаго отечества, а вслѣдствіе моего положенія, какъ редактора, находящагося иногда между двухъ огней, понимаете?

— Нѣтъ,—прямодушно отвѣтилъ Дубовъ заискивающему въ немъ хитрому редактору,—удивляюсь, что̀ вамъ за охота стоять между двухъ огней? Если вы другъ Россіи, то и дѣйствуйте въ этомъ духѣ. Это вѣрнѣе и безопаснѣе.

— Это еще вопросъ, позвольте вамъ доложить,—сказалъ редакторъ съ худо скрываемою досадою на то, что ему не удалось обворожить, отуманить молодаго человѣка; а онъ



считалъ себя большимъ мастеромъ въ такихъ дѣлахъ. — Это еще вопросъ,—повторилъ онъ.

— Впрочемъ, это меня не касается, — отвѣчалъ Дубовъ, твердо рѣшившись положить конецъ безцѣльному препирательству съ хитрымъ полякомъ.—Мое дѣло только объявить вамъ, что если вы въ ближайшемъ номерѣ вашей газеты не напечатаете присланнаго вамъ протеста, то я почту своимъ долгомъ довести объ этомъ до свѣдѣнія начальства. Прошу не забывать, что я русскій; интересы моего отечества мнѣ столь же дороги, какъ полякамъ—интересы ихъ ойчизны. Эти интересы я буду защищать гдѣ-бы и предъ кѣмъ-бы то ни было. На еврейскій протестъ смотрю, какъ на дѣло, касающееся моего отечества, а потому буду настаивать на его напечатаніи всѣми зависящими отъ меня средствами.. Затѣмъ, честь имѣю кланяться...

Редакторъ оторопѣлъ. Онъ увидѣлъ, что имѣетъ дѣло не просто съ русскимъ, котораго легко ублажать добрымъ словомъ, красивою фразою, а съ русскимъ гражданиномъ, съ русскимъ патріотомъ и притомъ человѣкомъ умнымъ и мыслящимъ, понимающимъ все политическое значеніе евреевъ въ краѣ. Это-то и внушало ему серьезныя опасенія: онъ боялся, чтобы этотъ неугомонный офицерикъ не взбудоражилъ благодушествующихъ властей и не заставилъ ихъ внимательнѣе слѣдить за тѣмъ, что пишется въ его газетѣ, въ строкахъ и между строками, что̀ могло-бы имѣть совсѣмъ не хорошія послѣдствія для него, его газеты и всей справы. А потому, онъ, какъ человѣкъ, имѣвшій привычку встрѣчать опасность спиною, а не грудью, предпочелъ лучше сдаться на капитуляцію, чѣмъ затѣять открытую борьбу, исходъ которой былъ довольно сомнителенъ.

— Постойте, молодой человѣкъ,—сказалъ онъ, схвативъ руку Дубова и крѣпко держа ее въ своихъ обѣихъ рукахъ,— не горячитесь. Откровенно говоря, вы такъ мнѣ понравились, что мнѣ просто совѣстно отпустить васъ ни съ чѣмъ. Имѣю слабость къ русскимъ. Какъ ни крѣплюсь, сердце беретъ свое... Такъ и быть, протестъ будетъ напечатанъ, если вамъ уже такъ хочется.

— Благодарю, — проговорилъ Дубовъ, заставивъ себя мягко улыбнуться низкой лести редактора.

— Но вотъ какое обстоятельство,—прибавилъ послѣдній,— по дѣйствующимъ въ краѣ цензурнымъ постановленіямъ, я не имѣю права печатать письмо съ нѣсколькими подписями. Какъ же быть?

— Ужъ это я устрою,—отвѣтилъ Дубовъ, протестъ будетъ имѣть только одну подпись...

Въ тотъ же день, протестъ былъ подписанъ только однимъ Саринымъ и на завтра онъ появился въ мѣстной газетѣ, въ отдѣлѣ разныхъ извѣстій, печатавшихся очень мелкимъ шрифтомъ и занимавшихъ въ этомъ нумерѣ три большихъ столбца, дабы онъ не слишкомъ бросался въ глаза.

Кружокъ понялъ этотъ маневръ, но рѣшился молчать.

II.

Три дня спустя по появленіи протеста въ мѣстной газетѣ, Саринъ получилъ анонимную записку на французскомъ языкѣ слѣдующаго содержанія:

«Особа, имѣющая сообщить вамъ очень важное для васъ извѣстіе, проситъ васъ пожаловать сегодня, между 4-мъ и 5-мъ часомъ вечера, въ загородный садъ гг. Струменскихъ. Ждать подъ колоннадой въ липовой аллеѣ, насупротивъ статуи Цереры».

Почеркъ былъ женскій и незнакомый.

Это обстоятельство сильно озадачило расчетливаго и неувлекающагося Сарина. Другой молодой человѣкъ на его мѣстѣ обрадовался бы этой запискѣ, какъ неожиданной любовной интригѣ и съ нетерпѣніемъ ожидалъ-бы назначеннаго часа. Но Саринъ не былъ фатомъ, а потому онъ во всепобѣждающую силу своей особы, таинственныя свиданія, неожиданныя любовныя интриги и прочія интересныя случайности французскихъ романовъ не вѣрилъ. Онъ понялъ, что назначенное ему свиданіе есть дѣловое, а можетъ быть и очень серьезное.

— Идти или не идти?—разсуждалъ онъ самъ съ собою.— Не засада-ли это? Въ безпокойное время, въ которое мы

живемъ, нужно всего опасаться... Если эта особа имѣетъ сообщить мнѣ важное извѣстіе, то отчего она не сообщила мнѣ теперь же, въ запискѣ? Къ чему это свиданіе за городомъ, въ заброшенномъ саду, куда никто не ходитъ?

Онъ сталъ ходить по комнатѣ взадъ и впередъ, обдумывая, на что онъ долженъ рѣшиться.

— Ѳома! — крикнулъ онъ своего человѣка, — сходи къ Петру Аѳанасьевичу и скажи ему, что я его прошу, чтобы онъ сейчасъ пришелъ сюда.

Черезъ полчаса, Петръ Аѳанасьевичъ пришелъ. Саринъ показалъ ему записку, изложилъ свои догадки, сомнѣнія и опасенія и требовалъ совѣта.

— Мнѣ кажется,—сказалъ Дубовъ,—что если вы опасаетесь,—а ваши опасенія имѣютъ нѣкоторое основаніе,—то вамъ совсѣмъ не слѣдуетъ идти.

— А важное извѣстіе?—спросилъ Саринъ.

— Если эта особа въ самомъ дѣлѣ намѣрена сообщить вамъ важное извѣстіе, то она найдетъ другой способъ для сообщенія. Она вамъ напишетъ.

— А что, если не напишетъ? — Нѣтъ, Петръ Аѳанасьевичъ, я идти долженъ. Во первыхъ, изъ любопытства. Мнѣ ужасно хочется знать, кто эта особа. Я терпѣть не могу анонимныхъ писемъ и таинственныхъ незнакомокъ. Во вторыхъ... во вторыхъ, — смѣйтесь или нѣтъ, мнѣ сердце говоритъ, что я долженъ идти. Да, сердце. Умъ говоритъ— не иди, а сердце—иди. Я уже давно не испытывалъ такого безпокойства. Предчувствіе-ли это чего-то роковаго? Но я знаю, что если я не пойду, то буду еще болѣе тревожиться.

— Въ такомъ случаѣ, если вамъ угодно, я съ вами пойду. Припрячусь гдѣ нибудь въ саду и буду ждать отъ васъ сигнала.

— И этого нельзя.

— Почему?

— Потому, что это будетъ похоже на засаду съ моей стороны.

— Какъ же быть?

— А вотъ какъ,—сказалъ Саринъ, положивъ свою руку на плечо Дубова,—я поѣду на свиданіе одинъ, но въ шесть

часовъ вы придете сюда, и если не найдете меня дома, то вы, немедля, отправитесь туда, по адресу, на мѣсто происшествія.

Онъ подчеркнулъ это слово и горько улыбнулся.

— Согласны?

— Согласенъ.

По уходѣ Дубова, Саринъ началъ приготовляться къ свиданію. Приготовленія эти состояли въ приведеніи въ порядокъ своихъ бумагъ, наличныхъ денегъ, долгозъ и т. п., точно онъ куда нибудь уѣзжаетъ надолго или навсегда. Для чего онъ все это дѣлаетъ, — онъ самъ не зналъ, но онъ чувствовалъ, что долженъ такъ дѣлать, а въ свои чувства онъ вѣрилъ не менѣе, иногда и болѣе, чѣмъ въ умъ свой. Наскоро пообѣдавъ и переодѣвшись, онъ въ четыре часа по-полудни поѣхалъ на свиданіе. Въ половину пятаго онъ уже сидѣлъ на скамейкѣ, подъ колоннадой, насупротивъ статуи Цереры, которая одна сохранилась изъ множества миѳологическихъ фигуръ, нѣкогда украшавшихъ большой, великолѣпный, но теперь запущенный садъ гг. Струменскихъ. Болѣе укромнаго уголка для тайныхъ свиданій нельзя было и придумать.

Чтобы нѣсколько разсѣяться и въ ожиданіи прибытія особы, Саринъ вынулъ изъ своего кармана миніатюрное изданіе «Фауста», съ которымъ онъ почти никогда не разставался и изъ котораго онъ привыкъ черпать скептицизмъ, житейскую мудрость и душевное успокоеніе особаго рода, и сталъ читать. Но на этотъ разъ блуждающая мысль его напрасно старалась сосредоточиться на столь знакомыхъ ему страницахъ великаго германскаго поэта и философа, и онъ читалъ машинально, по привычкѣ, не вникая въ смыслъ демоновской діалектики поучающаго Мефистофеля. Онъ сталъ читать въ разбивку, перелистывая книжку и останавливаясь то на той, то на другой страницѣ.

По прошествіи получаса такого скучнаго, безцѣльнаго чтенія, онъ услышалъ вдали шорохъ чьихъ-то шаговъ. Онъ закрылъ книжку и сталъ прислушиваться.

На концѣ липовой аллеи появилась человѣческая фигура, которую изъ за вѣтвей нельзя было хорошенько разглядѣть.

Саринъ всталъ, оправился и, прислонившись къ одной изъ колоннъ, сталъ ждать. Фигура пошла по аллеѣ, по направленію къ колоннадѣ. «Стало быть, это она!» —подумалъ Саринъ.

Минуту спустя, онъ увидѣлъ передъ собою женщину высокую, стройную, всю въ черномъ и съ густою креповою вуалью на лицѣ. Фигура показалась ему знакомою. «Не ее-ли я видѣлъ на вечерѣ у жондиста? — подумалось ему. — А впрочемъ, кто ее знаетъ? Можетъ быть, это другая.

Когда фигура поровнялась съ нимъ, онъ снялъ шляпу и поклонился. На этотъ поклонъ фигура отвѣтила легкимъ киваньемъ головы и, опираясь на свой зонтикъ, молча прошла къ скамейкѣ и сѣла.

Сариномъ овладѣло недоумѣніе. «Можетъ быть, это совсѣмъ не та особа, которая назначила мнѣ свиданіе?—подумалось ему и онъ уже рѣшился было оставить колоннаду.

— Куда же вы?—остановила его незнакомка.

Саринъ вздрогнулъ и обернулся: голосъ показался ему тоже знакомымъ. Гдѣ онъ слышалъ этотъ голосъ?

— Такъ это вы изволили писать ко мнѣ? спросилъ онъ, робко приближаясь къ незнакомой.

— Да,—отвѣтила послѣдняя, еще болѣе закутывая свое лицо въ вуаль.—Благодарю васъ за вашу аккуратность.

— Чтобы выслушать важное извѣстіе,—замѣтилъ Саринъ, намекая на содержаніе записки,—нельзя не быть аккуратнымъ.

— Садитесь же и слушайте,—сказала незнакомка, указывая зонтикомъ на скамью, стоявшую vis-à-vis отъ скамейки, на которой она сама сидѣла.

Саринъ сѣлъ и снялъ шляпу.

— Подумали-ли вы, г. Саринъ,—начала незнакомка,— подумали-ли вы, подписывая вашъ протестъ, какой опасности вы себя подвергаете?

— Я думалъ только о своемъ долгѣ.

— Но благоразумный человѣкъ сперва точно опредѣляетъ себѣ долгъ свой и свои средства для его исполненія, и не бросается въ опасность, очертя голову.

— Позволяю себѣ думать, что я знаю и долгъ свой и свои средства,—замѣтилъ Саринъ съ едва замѣтною улыбкою.

— Кто вамъ сказалъ, что плыть противъ теченія—долгъ вашъ?—спросила незнакомка гордо, почти грозно.

— Всѣ умные люди нашего города,—отвѣтилъ Саринъ тоже грозно и гордо.

— Смотрите же! берегитесь, чтобы бурный потокъ не поглотилъ всѣхъ васъ!...

— Поглотитъ,—значитъ туда намъ и дорога, но мнѣ кажется, что мы вамъ поперегъ горла станемъ. Насъ, евреевъ, не такъ легко проглотить. Вы, христіане, то и дѣло насъ глотаете, а не проглотили, потому что не приказано. Проглотить можетъ сильный слабаго, а мы силы — равныя: вы количествомъ, а мы качествомъ. Вы этого не признаете, но намъ что за дѣло? Со временемъ вы, можетъ быть, признаете.

Послѣдовала пауза, во время которой незнакомка смотрѣла въ одинъ уголъ, а Саринъ въ другой.

— Послушайте, г. Саринъ, — прервала незнакомка молчаніе,— я не вызвала васъ для того, чтобы полемизировать съ вами. Я въ діалектикѣ слаба. Я пришла только сообщить вамъ, что за вашъ протестъ въ мѣстной газетѣ васъ осудили.

— Кто?

— Люди, которые съумѣютъ привести въ исполненіе свой приговоръ.

— Такъ меня осудили? —спросилъ Саринъ, бросивъ разсѣянный взглядъ на свою собесѣдницу.

— Къ сожалѣнію, да,—отвѣтила послѣдняя съ едва слышимымъ вздохомъ. — Ваше имя уже внесено въ красный списокъ.

— Что означаетъ красный списокъ?

— Смерть.

— Но что, если я вамъ скажу, что я не боюсь смерти, что жизнь мнѣ не дорога, что она мнѣ опротивѣла?

— Не можетъ быть! Вы молоды, вы хотите жить и должны жить, а потому....

— А потому—что? перебилъ ее Саринъ.

— А потому я вамъ совѣтую одно изъ двухъ: или перемѣнить вашъ образъ дѣйствія или оставить городъ, край.

— Я не оставлю ни города, ни края.

— Въ такомъ случаѣ вы погибнете. Вы будете одною

изъ первыхъ жертвъ, которыя будутъ принесены на алтарь ойчизны. Это рѣшено, рѣшено почти единогласно. Противъ васъ возмущены всѣ. За вами слѣдятъ зорко, неослабно. Каждый шагъ вашъ извѣстенъ... Я не должна этого говорить, но не могу воздержаться. Мнѣ васъ очень, очень жаль. Вы меня не знаете, но я васъ знаю и... цѣню, хотя я должна ненавидѣть васъ, какъ врага моей ойчизны.

— Я не врагъ вашей ойчизнѣ, а другъ моему племени.

— Все равно, вы дѣйствуете, какъ врагъ, а потому съ вами будетъ поступлено, какъ съ врагомъ. О, будьте благоразумны, не губите себя, живите, прошу васъ, умоляю васъ...

Она встала и, приближаясь къ Сарину, отдернула свою вуаль. Но едва онъ взглянулъ на лицо незнакомки, какъ вдругъ вскочилъ съ своего мѣста, поблѣднѣлъ, пошатнулся и чуть не упалъ.

— Что съ вами, г. Саринъ? - спросила она, испугавшись внезапной перемѣны въ лицѣ молодаго человѣка.—Вы такъ поблѣднѣли. Вамъ дурно?

Онъ ничего не отвѣчалъ, а продолжалъ смотрѣть испуганными глазами въ лицо стоявшей передъ нимъ дѣвушки.

— Вы меня испугались? - спросила она, бросая съ своей стороны недоумѣвающіе взгляды на ошеломленнаго молодаго человѣка.

— Да... нѣтъ,—забормоталъ Саринъ, едва переводя дыханіе.—Извините, сударыня. Это сейчасъ пройдетъ... Я очень нервный... Вашъ образъ пробудилъ въ моей памяти одно старое воспоминаніе, о которомъ я уже сталъ забывать.

— И это воспоминаніе такъ страшно?

— Оно и страшно, и пріятно; но извольте продолжать, сударыня. Я уже оправился и могу васъ слушать.

— Но я не буду продолжать, пока вы не объясните мнѣ причины вашего внезапнаго испуга. Въ противномъ случаѣ, я буду думать, что мое лицо такъ перепугало васъ. Неужели я такъ страшна?

— Такое сходство! Такое поразительное сходство!—проговорилъ про себя Саринъ, какъ бы въ отвѣтъ на предложенный ему вопросъ. — А впрочемъ, кто знаетъ, можетъ

быть... Послушайте, сударыня,—началъ онъ твердо и рѣшительно,—вы въ 1856-мъ году были въ городѣ Г?

— Я тамъ прогостила весь зимній сезонъ.

— А въ театрѣ вы бывали?

— Разумѣется.

— Вы помните спектакль, въ которомъ шла драма Duch matki rodu Dobratynskich?

— Когда театральная занавѣсь загорѣлась? помню.

— Свадьбу пана Ксаверія Голембко помните?

— Я на ней была.

— А полонезъ въ національныхъ польскихъ костюмахъ вы помните?

— Еще-бы. Я шла въ первой парѣ со старымъ маршалкомъ.

— Стало быть, вы панна Юлія Крутицкая?

— Откуда вы меня знаете?—спросила панна Юлія, озадаченная въ свою очередь.

— Откуда я васъ знаю?—переспросилъ Саринъ, горько улыбнувшись. — О, если-бы вы знали, сколько здоровья, сколько безсонныхъ ночей вы мнѣ стоили и... стóите, то вы-бы не задавали мнѣ такого вопроса.

Онъ тяжко вздохнулъ и, опустившись на скамью, прибавилъ:

— Коротко вамъ скажу, ясневельможная пани, съ того вечера, въ который я васъ увидѣлъ въ первый разъ, я разстался съ своимъ душевнымъ спокойствіемъ навсегда, чувствую, что навсегда.

Панна Юлія покраснѣла и потупила глаза.

— Стало быть, мы съ вами старые знакомые?—спросила она въ намѣреніи перенести разговоръ на другой предметъ.

— Да, ясневельможная пани, старые, очень старые. Хотя нашему знакомству всего шесть лѣтъ, но мнѣ кажется, что въ это время я прожилъ не шесть, а много лѣтъ, такъ что мнѣ уже надоѣло жить. Сердце мое перегорѣло, высохло, испепелилось, какая же пріятность въ жизни безъ сердца?... Но не въ томъ дѣло. Вы хотѣли знать причину моего внезапнаго испуга, когда я увидѣлъ ваше лицо?—Извольте. Послѣ масляницы столь памятнаго для меня зимняго

сезона, я вдругъ пересталъ васъ встрѣчать. Я искалъ васъ по костеламъ, по концертамъ, въ домахъ, гдѣ вы бывали,— васъ нѣтъ какъ нѣтъ.

— Я уѣхала въ Варшаву.

— Я впалъ въ уныніе. Я чувствовалъ, что мнѣ недостаетъ чего-то, безъ чего мнѣ жить невозможно, тошно. Видѣть васъ хоть разъ въ недѣлю, хоть издали, мелькомъ, сдѣлалось для меня необходимостью. Я потерялъ охоту къ труду, бросилъ занятія, которыя прежде такъ привлекали меня. По цѣлымъ днямъ я бродилъ по городу и за городомъ безъ цѣли, безъ плана, а ночи я просиживалъ за книгою, которой я совсѣмъ не читалъ. Я машинально перелистывалъ страницы, передъ моими глазами мелькали строки, но что говорили эти страницы и строки,— мнѣ не было извѣстно, да мнѣ и не хотѣлось знать. Меня не узнавали, потому что я скорѣе похожъ былъ на мертвеца, чѣмъ на живого человѣка. Такъ я промучился два года.

— Два года!—воскликнула панна Юлія удивленно.—Это страшно.

— На третій годъ я сталъ поправляться. Я почувствовалъ нѣкоторый позывъ къ жизни и труду, хотя мучившая меня мысль не покидала меня ни на одну минуту. Въ одно утро, когда я зашелъ къ вновь прибывшему въ нашъ городъ фотографу, чтобы купить у него нѣсколько карточекъ для моей коллекціи портретовъ европейскихъ знаменитостей, я перелистывая лежавшіе на столѣ альбомы, вдругъ увидѣлъ васъ, т. е. вашу карточку! Я чуть не обезумѣлъ отъ радости «Гдѣ вы снимали эту карточку?»—спрашиваю у фотографа.— Въ Варшавѣ,—отвѣчаетъ онъ.—«Вы знаете эту особу?»—Я ее зналъ.—«Что значитъ, что вы ее знали?»—спрашиваю.— Это значитъ,—отвѣчаетъ онъ,—что она умерла. «Не можетъ быть!»—воскликнулъ я, чуть не кинувшись на него.—Я самъ былъ на ея похоронахъ, отвѣчаетъ онъ.

— Странно,—замѣтила панна Юлія,—я точно снималась въ Варшавѣ. Фотографъ, должно быть, пошутилъ или совралъ, но для какой цѣли?

— Богъ его знаетъ. Я оставилъ его заведеніе съ невыразимымъ отчаяніемъ въ груди. Мнѣ хотѣлось плакать... На

улицѣ я наткнулся на толпу зѣвакъ, глазѣвшихъ на окна какого-то заѣзжаго дома. Разспрашиваю и узнаю, что въ этомъ домѣ остановилась какая-то кавказская княжна или царевна, ясновидящая, знающая все прошедшее человѣка и предсказывающая будущее. Дай-ка, думаю себѣ, посмотрю, что тамъ такое.

— Вы, стало-быть, суевѣрны? — спросила панна Юлія, улыбнувшись.

— Если вѣра въ таинственныя силы природы можетъ быть названа суевѣріемъ, да, — отвѣчалъ Саринъ серьезно. Если эти силы будутъ когда нибудь изслѣдованы и объяснены, то многое, что теперь заклеймено именемъ суевѣрія, получитъ названіе науки. Я вѣрю въ процессъ ясновидѣнія, какъ въ законы электричества. Вы находите это смѣшнымъ?

— По крайней мѣрѣ, страннымъ, — объяснила панна Юлія свою улыбку.

— Не буду спорить, а буду продолжать свой разсказъ. Я очутился въ обществѣ нѣсколькихъ горцевъ, сидѣвшихъ на полу на коврахъ и покуривавшихъ трубки. Въ комнатѣ былъ такой дымъ, что только нѣсколько минутъ спустя я замѣтилъ въ этой группѣ лежавшую на полу же, на красныхъ подушкахъ, молодую женщину ослѣпительной, снѣжной, почти противной бѣлизны. «Здѣсь ясновидящая?» — спросилъ я. Горцы загоготали по своему, указывая своими чубуками на женщину. Послѣдняя, окинувъ меня съ головы до ногъ быстрымъ, пронзительнымъ, пожирающимъ взглядомъ, спросила меня по французски: Vous voulez savoir votre destinée? — Oui madame. — Le passé ou le futur? — Dite moi, s'il vous plait, seulement le présent. — Tout de suite, monsieur. Она вынула изъ подъ подушки колоду картъ и стала ихъ раскладывать на скамеечкѣ, не спуская съ меня глазъ. Я былъ очень недоволенъ, что вмѣсто ясновидящей, которую я надѣялся здѣсь найдти, имѣю дѣло съ обыкновенной гадальщицей, т. е. шарлатанкой; но ретироваться было уже поздно, и я долженъ былъ выслушать ея сентенцію, гласившую, что я получилъ извѣстіе о смерти дорогой для меня особы и это извѣстіе вѣрно.

— Эта сентенція, — замѣтила панна Юлія, — была ясно

изображена на вашемъ лицѣ, а потому черкешенка такъ легко прочла ее.

— Я это зналъ, но въ возбужденномъ состояніи, въ которомъ я тогда находился, я не могъ не видѣть въ этой сентенціи подтвержденія словъ фотографа. Такимъ образомъ я считалъ васъ умершей. Съ этой мыслью я срыкся пять лѣтъ. Вотъ почему я такъ испугался, когда я увидѣлъ ваши столь знакомыя мнѣ черты.

— Но теперь, г. Саринъ, вы меня уже не пугаетесь?— спросила панна Юлія съ обворожительною улыбкою на устахъ.

— Не пугаюсь,—отвѣчалъ Саринъ, легко вздохнувъ,— но проклинаю судьбу за то, что она опять насъ свела. Для какой цѣли?

— Можетъ быть, для того, чтобы спасти вамъ жизнь.

— Но вы уже знаете, что моего образа дѣйствій не перемѣню и края не оставлю, стало быть вы жизни мнѣ не спасете. И, откровенно говоря, хотя жизнь мнѣ въ тягость, однакожъ мнѣ все-таки хотѣлось бы пожить еще нѣсколько лѣтъ, чтобы довершить начатое нами дѣло, отъ котораго, какъ мнѣ кажется, зависитъ судьба всего нашего племени. Да, ясневельможная пани, нѣсколько лѣтъ я жить долженъ.

— И будете,—сказала Юлія твердо и увѣренно.

— Чѣмъ вы можете мнѣ гарантировать.

— Вотъ этимъ!—сказала панна Юлія, вынувъ изъ своего кармана сложенную бумагу и передавъ ее Сарину.

— Что это такое?—спросилъ послѣдній, глядя удивленно на стоящую передъ нимъ дѣвушку.

— List zelazny,—отвѣтила панна Юлія торжественно.— Держите эту грамоту всегда при себѣ. Въ бурное время, въ которое мы живемъ, она защититъ васъ лучше вооруженной стражи. Этою грамотою личность ваша неприкосновенна. Рука убійцы васъ не тронетъ. Стало быть, вы не должны проклинать, а должны благословлять судьбу за нашу встрѣчу. Безъ этой встрѣчи жизнь ваша висѣла бы на волоскѣ, а я этого не хочу.

— Почему? Чѣмъ я заслужилъ такое лестное вниманіе?

— Потому,—процѣдила панна Юлія, закрывая свое лицо вуалью,—потому... что я васъ люблю...

— О...! — воскликнулъ Саринъ, упавъ на колѣни и лишившись на минуту чувствъ.

Когда онъ пришелъ въ себя, панны Юліи уже не было ни подъ колоннадой, ни въ саду.

— Гдѣ она? — спрашивалъ онъ себя, ища ее глазами.— Неужели это былъ сонъ?—Нѣтъ, не сонъ, а правда!

Онъ, какъ сумасшедшій, выбѣжалъ изъ сада, вскочилъ на ожидавшаго его у воротъ извощика.

— Пошелъ!—крикнулъ онъ неистово.

— Куда прикажете?

— Направо! — крикнулъ онъ еще неистовѣе, хотя ему слѣдовало скомандовать: налѣво, т. е. въ городъ.

Извощикъ направился съ своимъ сѣдокомъ за городъ.

III.

Согласно уговору, Петръ Аѳанасьевичъ въ шесть часовъ вечера зашелъ къ Сарину. Не нашедъ его дома, онъ воротился на свою квартиру, захватилъ свой карманный револьверъ и полетѣлъ на мѣсто свиданія. Не заставъ никого подъ колоннадой, онъ обошелъ весь садъ, обыскалъ всѣ кусты, гроты и бесѣдки, обшарилъ оранжерею, заглянулъ въ находившійся въ саду швейцарскій домикъ и, не нашедъ ничего подозрительнаго, возвратился въ городъ въ предположеніи, что Саринъ теперь уже дома. Но Сарина дома еще не было.

Петръ Аѳанасьевичъ задумался.

— Неужели онъ забылъ нашъ уговоръ?—спрашивалъ онъ себя, сидя въ кабинетѣ Сарина и поминутно справляясь съ часами.

Было уже половина восьмаго. Небо стало заволакиваться тучами. Петръ Аѳанасьевичъ всталъ и поѣхалъ отыскивать Сарина по его знакомымъ. Онъ справлялся у Кранцовъ, у Мозырскаго и еще въ двухъ-трехъ домахъ: никто Сарина не видалъ.

Петръ Аѳанасьевичъ сталъ безпокоиться.

— Не у Арансоновъ ли онъ? — подумалъ онъ, зная, что Саринъ иногда посѣщаетъ и этотъ домъ. И онъ завернулъ къ Арансонамъ, хотя было уже нѣсколько поздно.

M-lle Софія поблѣднѣла, когда она узнала, что Петръ Аѳанасьевичъ уже нѣсколько часовъ ищетъ и не находитъ своего друга. Эта перемѣна въ лицѣ m-lle Софіи не ускользнула отъ зоркаго взгляда Петра Аѳанасьевича.

— Вы что нибудь знаете о г. Саринѣ? — спросилъ онъ, впившись глазами въ лицо блѣднѣвшей и дрожавшей дѣвушки.

— Н-нѣтъ,—отвѣтила она, едва переводя дыханье.

— Я вамъ не вѣрю, сударыня,—почти крикнулъ онъ въ азартѣ.

M-lle Софія молчала, стараясь не глядѣть на Дубова.

— Послушайте, сударыня,—началъ онъ нѣсколько мягче, вы Сарину другъ или нѣтъ?

— А вы?—спросила она, устремивъ на Дубова умоляющій взглядъ.

— Я ему не другъ, а братъ. Я жизнь свою отдалъ бы за него.

— Въ такомъ случаѣ вы должны знать все, что я знаю... То-есть, я собственно ничего не знаю, я только догадываюсь...

— Все равно,—сказалъ Дубовъ,—сообщите ваши догадки, авось мы по нимъ доберемся и до самаго дѣла.

M-lle Софія съ минуту колебалась, какъ бы не рѣшаясь говорить, потомъ начала:

— Такъ и быть... Но, г. Дубовъ, дайте мнѣ честное слово, что вы меня не выдадите.

— Кому?

— Кому бы то ни было.

— Parole d'honneur!—проговорилъ Петръ Аѳанасьевичъ, протянувъ руку m-lle Софіи.

— Благодарю и вѣрю, что сдержите ваше слово, сказала она, пожавъ протянутую ей руку.—Дѣло вотъ въ чемъ: одна особа, близко стоящая къ польскимъ дѣятелямъ, проболтнулась мнѣ на дняхъ, что въ скоромъ времени Саринъ перестанетъ быть вреднымъ польской справѣ.

— Кто эта особа?

— Не могу сказать.

— Больше она вамъ ничего не сказала?

— Ничего, но я опасаюсь...

— Я тоже опасаюсь, перебилъ ее Дубовъ, быстро, вскочивъ съ своего стула.—Прощайте, m-lle Аронсонъ.

— Куда же вы?—спросила m-lle Софія, схвативъ Дубова за руку и задрожавъ всѣмъ тѣломъ.

— Не задерживайте меня! не нужно теперь терять ни одной минуты. Если Саринъ до полуночи не будетъ дома, то онъ... въ когтяхъ жонда!

— О, Боже!—крикнула дѣвушка и упала безъ чувствъ.

Дубовъ былъ такъ занятъ мыслью о грозившей Сарину опасности, что не замѣтилъ даже обморока m-lle Софіи. Сказавъ ей еще разъ: — прощайте, онъ быстро оставилъ квартиру Аронсоновъ, вскочилъ на извощика, велѣлъ ему гнать лошадь, что будетъ мочи.

Безпокойство Дубова расло съ каждою минутою: послѣ сообщенія, сдѣланнаго ему m-lle Софіей, мысль, что Саринъ попалъ въ разставленную для него западню, стала пріобрѣтать у него все больше вѣроятія, тѣмъ болѣе, что случаи исчезновенія людей безъ вѣсти сдѣлались въ послѣднее время частыми. Всѣ приписывали эти случаи дѣятельности такъ называемаго жонда, но кто этотъ жондъ, гдѣ онъ — никто не зналъ. Знали только, что нужно бояться этой таинственной и страшной силы, въ существованіи которой уже нельзя было сомнѣваться. Это-то обстоятельство и бѣсило Дубова, который не могъ простить администраціи ея оплошности, вслѣдствіе которой, какъ онъ думалъ, и возникла эта подпольная власть, терроризирующая все населеніе края.

Онъ долго разъѣзжалъ по городу безъ цѣли, безъ плана, останавливаясь то у полицейскаго управленія, то у квартиры своего начальника, въ намѣреніи сообщить о сдѣлавшемся ему извѣстнымъ случаѣ, но каждый разъ намѣреніе это почему-то казалось ему преждевременнымъ; надежда, что Саринъ возвратится, еще не покидала его.

Дождь лилъ, какъ изъ ведра. Было уже девять часовъ вечера, когда Дубовъ слѣзъ съ извощика и пошелъ въ квартиру Сарина съ твердымъ намѣреніемъ просидѣть тамъ до полуночи, а если къ этому времени Саринъ не возвратится, онъ подниметъ на ноги всю полицію, всю администрацію, которая «должна же, наконецъ, показать міру, что она въ краѣ

хозяинъ, а не какіе нибудь головорѣзы; въ противномъ случаѣ... это чортъ знаетъ что такое!»

Онъ сбросилъ съ себя сюртукъ, который промокъ на немъ, и легъ на софу, чтобы отдохнуть, но волновавшія его мысли и чувства не давали ему лежать спокойно ни одной минуты. Онъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ взадъ и впередъ, обдумывая, что ему дѣлать, если Саринъ не возвратится къ полуночи.

Четверть часа спустя, онъ подсѣлъ къ письменному столу, взялъ листъ бумаги и началъ писать донесеніе о происшествіи со всѣми извѣстными ему подробностями. Онъ писалъ и перечеркивалъ и опять начиналъ, находя, что написанное или слишкомъ сухо, или слишкомъ дерзко. Наконецъ, попавъ въ надлежащій тонъ, онъ пошелъ писать плавно, шибко, безъ перемарокъ и, исписавъ одинъ листъ, взялся за другой. Онъ былъ такъ углубленъ въ свою работу, что не слышалъ, какъ Ѳома влетѣлъ, какъ бомба, въ комнату, остановившись въ дверяхъ кабинета.

— Ваше благородіе,—рѣшился старый служивый разбудить наклоненнаго надъ бумагою Петра Аѳанасьевича.

— Кто тутъ?—спросилъ послѣдній, быстро обернувшись къ дверямъ.

— Баринъ пріѣхалъ, доложилъ Ѳома, почти шепотомъ.

— Гдѣ онъ?—спросилъ Петръ Аѳанасьевичъ, вскочивъ съ своего мѣста и выбѣжавъ изъ кабинета.

— На лѣстницѣ, ваше благородіе, расчитываетъ извощика.

Минуту спустя, Петръ Аѳанасьевичъ держалъ разстроеннаго и промокшаго до костей Сарина въ своихъ объятіяхъ.

— Гдѣ это вы пропадали? Откуда вы? Цѣлы ли вы?— сталъ онъ осыпать Сарина вопросами.

— Я цѣлъ и невредимъ,—отвѣтилъ Саринъ, сбрасывая съ себя мокрую одежду.—Я вамъ все разскажу... Ѳома, подбирай все это!.. Ну, погодка!... Ѳома, халатъ и туфли!.. Я только недавно спохватился, что сверху льетъ, какъ изъ ведра...

— Уфъ, какъ усталъ!—проговорилъ Саринъ, потягиваясь

на диванѣ уже въ халатѣ и туфляхъ.—Дайте мнѣ отдохнуть минуточку, потомъ я вамъ все разскажу. Садитесь вотъ здѣсь. Ѳома, самоваръ и бутылку рому!

— Слушаю.

— Меня знобитъ, отъ пуншу можетъ быть это пройдетъ. Какъ выполагаете, Петръ Аѳанасьевичъ?

— И я такъ думаю.

Наступила пауза, во время которой Саринъ усиливался вздремнуть немножко, а Дубовъ не спускалъ глазъ съ блѣднаго, разстроеннаго лица своего друга: онъ въ первый разъ видѣлъ его въ такомъ возбужденномъ состояніи и сгоралъ отъ нетерпѣнія поскорѣе узнать причину такого состоянія.

— Представьте себѣ, Петръ Аѳанасьевичъ,—началъ вдругъ Саринъ, открывъ глаза,—вѣдь мое предчувствіе сбылось.

— Какъ такъ?—спросилъ Дубовъ недоумѣвая.

— Вѣдь это была она!

— Кто такая?

— Ахъ, виноватъ. Я совсѣмъ забылъ, что вы ничего не знаете. Я вамъ ничего еще не разсказалъ?

— Ничего.

— Такъ слушайте.

И онъ началъ разсказывать, кто это она, когда, какъ и гдѣ онъ съ нею познакомился, свои мученія и свою послѣднюю встрѣчу съ нею. Онъ разсказывалъ живо, увлекательно, анализировалъ свои чувства съ тонкостью психолога и большаго знатока въ дѣлѣ любви, а Дубовъ слушалъ его съ напряженнымъ вниманіемъ и любопытствомъ.

— Признаться,—замѣтилъ послѣдній, когда Саринъ окончилъ разсказъ свой, я совсѣмъ не считалъ васъ способнымъ къ такой восторженной любви: вы человѣкъ такой ровный, разсудительный, флегматическій!

— Нѣтъ, Петръ Аѳанасьевичъ, — возразилъ Саринъ, отодвинувъ отъ себя выпитый имъ стаканъ пуншу и закуривая папиросу,—я не флегматикъ, а только человѣкъ сосредоточенный. Мое положеніе, какъ еврея, пріучило меня держать свои чувства на привязи, казаться апатичнымъ въ то время, когда въ душѣ цѣлый адъ. Но не въ томъ дѣло.

О чемъ мы сейчасъ говорили?—спросилъ Саринъ, потирая себѣ лобъ.

— О вашей восторженной любви.

— Ахъ, да. И вопросъ теперь въ томъ, что мнѣ дѣлать? Повѣрите ли, Петръ Аѳанасьевичъ, я почти не радъ нашей встрѣчѣ. Ея признаніе въ сущности не столько обрадовало, сколько поразило меня. Предаться этой любви я не могу и не долженъ. Не могу, потому что сердце мое отъ продолжительной тоски перегорѣло, испепелилось, умерло; не долженъ, потому что лежащія на мнѣ обязанности указываютъ мнѣ путь, совершенно противоположный тому, по которому идетъ панна Юлія. Наши убѣжденія и стремленія раздѣляютъ насъ на вѣки. Компромиса между нами быть не можетъ. На измѣну своимъ убѣжденіямъ не рѣшится ни она, ни я. Все, что я могу сдѣлать, это—бездѣйствовать, остаться нейтральнымъ; но и это для меня невозможно—я жажду общественной дѣятельности, и бездѣйствіе для меня равносильно смерти. Я и теперь едва живу, потому что кругъ дѣйствія, въ которомъ я вращаюсь, слишкомъ тѣсенъ для меня, я въ немъ задыхаюсь. Односторонность моей дѣятельности убиваетъ меня. Я чувствую въ себѣ силы для болѣе обширныхъ предпріятій. Вы, Петръ Аѳанасьевичъ, вѣроятно полагаете, что я еврейскій патріотъ?

— А то какъ-же?—спросилъ Дубовъ, бросивъ на Сарина недоумѣвающій взглядъ.

— Въ томъ то и дѣло,—отвѣтилъ Саринъ,—что я уже давно пересталъ чувствовать себя исключительно евреемъ; чувствую себя гражданиномъ, и въ этомъ качествѣ моя нынѣшняя дѣятельность удовлетворяетъ меня только отчасти. Если же отказаться и отъ этой дѣятельности, то значитъ совсѣмъ отказаться отъ жизни. Притомъ...

Но въ эту минуту въ дверяхъ кабинета появился Ѳома съ таинственнымъ выраженіемъ на лицѣ.

— Что скажешь?—спросилъ его Саринъ.

— Какая то барышня васъ спрашиваетъ.

— Гдѣ она?—спросилъ Саринъ, вскочивъ съ дивана.

— Въ передней.

Саринъ бросился въ переднюю, но никого тамъ не засталъ.

— Не померещилось ли тебѣ?—спросилъ онъ Ѳому, вглядываясь въ его лицо, чтобы удостовѣриться, не пьянъ ли онъ.

— Какое померещилось,—возразилъ Ѳома сердито, понявъ испытующій взглядъ своего барина.—Я развѣ слѣпъ, али пьянъ? Карай меня Богъ, если она сію минуту не стояла вонъ на этомъ мѣстѣ.

— Какого она роста?

— Я не мѣрилъ.

— Однакожь, все таки, примѣрно?

— Извѣстно, какъ барышня: маленькая, худенькая быстроглазая.

— Не она,—подумалъ про себя Саринъ.—Что она говорила?

— Спрашивала, дома ли вы, когда пріѣхали и здоровы ли вы, я пошелъ только докладывать, она и была такова. Чортъ возьми, не воровка-ли она, не стащила-ли чего?

И онъ бросился осматривать свою *скрыню*, въ которой хранилось все его движимое имущество, состоявшее изъ нѣсколькихъ паръ старыхъ подошвъ, голенищъ, перержавѣлаго замка, двухъ сорочекъ, мотка дратвы, оловянной ложки и прочей рухляди.

Саринъ возвратился въ кабинетъ и разсказалъ Дубову объ этомъ странномъ визитѣ...

— Я знаю, кто здѣсь была—отозвался Дубовъ.

— Кто?

— M-lle Аронсонъ.

— Неужели? Съ какой стати?

— Она очень безпокоилась о вашемъ отсутствіи. Мы уже считали васъ пропавшимъ навсегда. Кстати, разскажите, гдѣ же вы были до сихъ поръ? Васъ не было ни въ саду, ни въ городѣ.

— Я долгое время самъ не зналъ, гдѣ я. Я ѣхалъ все прямо, прямо, воображая себѣ, что догоняю панну Юлію. Мнѣ почему-то хотѣлось узнать ея адресъ. Потомъ оказалось, что я все болѣе и болѣе отдаляюсь отъ города. На пятой

верстѣ извощикъ остановился у какой-то корчемки, чтобы покормить свою лошадь и самому перехватить что нибудь. Тѣмъ временемъ полилъ дождь. Мы ждали часъ, потомъ, когда мы убѣдились, что дождь сегодня не перестанетъ, мы рѣшились возвратиться въ городъ.

Около полуночи, Петръ Аѳанасьевичъ ушелъ, а Саринъ, утомленный, едва держась на ногахъ отъ слабости и отъ двухъ стакановъ пуншу, къ которому онъ не привыкъ, легъ спать раньше обыкновеннаго. Ѳома-же, который почему-то расчитывалъ но вторичное посѣщеніе *воровки*, тщательно заперъ всѣ двери на замокъ и, не довольствуясь этимъ, сдѣлалъ себѣ постель на полу у самыхъ дверей; скрыню же свою онъ обмоталъ большою веревкою, концы которой онъ привязалъ къ своимъ ногамъ, «дабы, въ случаѣ чего, онъ не проспалъ вѣрной оказіи—собственноручно поймать вора».

IV.

Уже было десять часовъ утра, но шторы въ кабинетѣ Сарина все еще были опущены: Саринъ еще спалъ. Старый Ѳома успѣлъ уже два раза побывать въ кабакѣ и въ третій разъ принимался согрѣвать самоваръ, который могъ быть потребованъ каждую минуту. Отъ времени до времени онъ на цыпочкахъ приближался къ полуотворенной двери кабинета и заглядывалъ туда, не проснулся ли баринъ, и каждый разъ возвращался оттуда, многозначительно покачивая головою и бормоча себѣ что то подъ носъ. Его взяло раздумье, отчего это баринъ, который обыкновенно вставалъ въ шесть часовъ утра, сегодня такъ долго спитъ и не думаетъ еще просыпаться. Онъ присѣлъ на своей скрынѣ, служившей ему и кресломъ, и принялся чистить свои медали, въ намѣреніи ждать, пока не услышитъ знакомаго ему звонка. Но едва онъ обмакнулъ свой палецъ въ черепокъ съ толченымъ кирпичемъ, какъ вдругъ услышалъ глухой стукъ въ дверь.

Онъ поднялся и отворилъ дверь. Вошелъ мужчина среднихъ лѣтъ, высокаго роста, съ густою черною бородою и съ открытымъ, энергическимъ, но довольно добродушнымъ лицомъ.

— Что вамъ угодно?—спросилъ его Ѳома, любившій озадачивать незнакомцевъ строгостью стараго служаки.

— Ахъ ты, старая бестія!—отвѣтилъ ему вошедшій, добродушно улыбаясь,—ты развѣ не узнаешь меня?

— Пане капитане!—воскликнулъ Ѳома, обрадовавшись и бросившись цѣловать руки пана капитана. — Съ пріѣздомъ, ваше благородіе, съ пріѣздомъ! То-то баринъ обрадуется!

И онъ бросился снимать съ капитана плащъ и большіе калоши, на которыхъ лежалъ густой слой мокрой грязи.

— Ну что дзѣцякъ? *) спросилъ капитанъ, протянувъ Ѳомѣ свою правую ногу.

— Еще спятъ,—отвѣтилъ Ѳома.

— Эге, дружочки! Такъ вы здѣсь облѣнились?

— Какое облѣнились? — защищался Ѳома; — мы завсегда чуть свѣтъ, только сегодня случай такой вышелъ.

— Что, подкутили?

— Оборони Боже! Какое подкутили? Мы вчера точно немножечко шпунту съ Филимономъ, но кутить не кутили, ей Богу!

— Ужъ я ему задамъ! Пьянствовать вздумалъ!—проговорилъ капитанъ шутливо, высвободивъ свою вторую ногу изъ калошъ и выпрямляясь.

— А знаете, пане капитане,—началъ Ѳома съ хитрымъ намѣреніемъ перемѣнить непріятный для него разговоръ, — насъ вчера чуть не обокрали!

— Какъ-такъ?—спросилъ капитанъ уже серьезно.

— Да такъ. Пришла какая-то шалопайка будто освѣдомляться о здоровьѣ барина, и вдругъ провалилась какъ бы сквозь землю. Я цѣлехонькую ночь на часахъ простоялъ, ее поджидалъ, но она больше не приходила, побоялась значитъ, а могла, бестія, обобрать насъ до нитки.

Объ этомъ казусѣ Ѳома, любившій привирать, разсказывалъ сегодня каждому, кого онъ только встрѣчалъ, и всякій разъ на другой ладъ. Дворнику, напримѣръ, онъ разсказалъ, что *она* вырвалась изъ его рукъ и выскочила въ трубу, стало быть, это была или сама вѣдьма, или ея кума; а въ

*) Парнишка.

кабакѣ разсказъ шелъ о томъ, какъ онъ погнался за *нею* до городской заставы, гдѣ онъ наткнулся на цѣлую шайку грабителей, которые разсыпались въ разныя стороны, какъ только увидѣли его солдатскую шинель. За таковую храбрость баринъ подарилъ ему цѣлковый, который онъ сегодня и пропьетъ съ добрыми пріятелями.

— Ну, веди меня къ нему—сказалъ капитанъ, охорашиваясь.—Гдѣ онъ спитъ?

— Въ габинетѣ, на право,—сказалъ Ѳома, отворивъ дверь въ гостиную и пропустивъ мимо себя капитана.

Сдѣлавъ четыре шага, капитанъ очутился у кровати Сарина. Съ минуту стоялъ онъ и смотрѣлъ на спящаго, молча, любовно, но потомъ началъ будить его.

— Дзѣцякъ, а дзѣцякъ! — кричалъ капитанъ, тормоша спящаго,—будетъ тебѣ лѣниться, уже одиннадцатый часъ!

Саринъ открылъ глаза и присѣлъ въ кровати. Онъ еще заспанными и испуганными глазами смотрѣлъ на стоявшаго передъ нимъ человѣка, не узнавая его.

— Wujaszek! *)—воскликнулъ онъ, узнавъ его наконецъ и бросившись въ его объятія. На глазахъ капитана показались слезы.

Не смотря на разницу въ лѣтахъ, вѣрѣ и общественномъ положеніи, между инженеръ-капитаномъ Вольскимъ и Саринымъ уже съ давнихъ поръ существовала дружба, самая нѣжная, почти родственная. Дѣло въ томъ, что иждивеніемъ Вольскаго, которому родители Сарина когда то оказали важную услугу, сирота Саринъ учился въ школѣ и на дому у самыхъ лучшихъ учителей. Вольскій ничего не жалѣлъ для воспитанія и образованія еврейскаго мальчика, котораго онъ полюбилъ, какъ сына, за его отличныя способности, прилежаніе и понятливость не по лѣтамъ. Онъ имъ гордился, и, за всѣ свои благодѣянія, требовалъ только, чтобы д з ѣ ц я к ъ, т. е. Саринъ, называлъ его дядюшкой и относился къ нему, какъ къ родственнику, что для Сарина было тѣмъ легче и пріятнѣе, потому что онъ въ самомъ дѣлѣ питалъ къ своему благодѣтелю и его семейству самыя нѣжныя, самыя родст-

*) Дядюшка.

венныя чувства. Въ тиши Вольскій и его жена питали надежду, что со временемъ обстоятельства сложатся такъ, что имъ возможно будетъ выдать за Сарина свою Людвисю: лучшаго мужа для своей дочери они не желали, тѣмъ болѣе, что Людвися, какъ они замѣчали, только живетъ и дышетъ своимъ бывшимъ гувернеромъ, т. е. Саринымъ, хотя она и тщательно скрываетъ это. О главномъ препятствіи — религіи—они не много заботились: время, почему-то думали они, устранитъ и это препятствіе; имъ не вѣрилось, чтобы Аркадій могъ вѣчно оставаться евреемъ. Они никогда не затрогивали этого щекотливаго вопроса, въ полной надеждѣ, что онъ самъ собою разрѣшится въ ихъ пользу, или, справедливѣе, въ пользу ихъ Людвиси, къ которой Аркадій, какъ имъ казалось, былъ не совсѣмъ равнодушенъ. На перемѣщеніе Сарина въ N они смотрѣли, какъ на обстоятельство, долженствующее ускорить осуществленіе лелѣяннаго имъ плана: разлука, — думали они, — выяснитъ Аркадію его отношенія, его чувства къ Людвисѣ и заставитъ его сдѣлать шагъ энергическій, рѣшительный... Какъ фальшивы были эти соображенія въ самомъ ихъ основаніи, читатели уже знаютъ изъ всего выше разсказаннаго.

— Когда первыя искреннія привѣтствія были въ достаточной мѣрѣ обмѣнены между дядюшкой и дзѣцякомъ, послѣдній, накинувъ на себя халатъ и распорядившись на счетъ чаю, усѣлся насупротивъ своего гостя и, вперивъ въ него испытующій взглядъ, спросилъ:

— А что, примѣрно, означаетъ ваша борода и вашъ штатскій костюмъ?

— Это означаетъ,—отвѣтилъ капитанъ, поглаживая свою густую бороду,—что я уже не чиновникъ, не слуга царскій.

— Какъ такъ? спросилъ Саринъ удивленно.

— Я вышелъ въ отставку.

— А что, служба вамъ надоѣла или вы надоѣли службѣ?

— Ни то, ни другое.

— Такъ что же такое?

— Ойчизна призываетъ,—таинственно проговорилъ капитанъ и вздохнулъ

— Что я слышу!—воскликнулъ Саринъ, всплеснувъ ру-

ками и вскочивъ съ своего мѣста. — Неужели и вы дали увлечь себя этими иллюзіями?.. Нѣтъ, дядюшка,—прибавилъ онъ, подсѣвъ къ капитану и обвивъ руками его шею.— Я вамъ сумасбродничать не позволю. Я напишу тетѣ, Людвисѣ, всѣмъ нашимъ. Они пріѣдутъ, мы васъ свяжемъ, закупоримъ въ ящикъ и домой отвеземъ. Слышите, дядюшка?

Дядюшка испустилъ глубокій вздохъ и сказалъ:

— Слушай, Аркадій, что я тебѣ скажу. Ты только пойми меня хорошенько. Я нисколько не увлекаюсь: дуракъ я или молокососъ, что ли? Я очень хорошо знаю, что изъ этого дѣла ничего хорошаго не выйдетъ. Мало того: я даже убѣжденъ, что мы наживемъ себѣ очень много горя. Силы Россіи громадны, она только дунетъ и насъ не будетъ. Въ тридцать первомъ году мы были гораздо сильнѣе, чѣмъ теперь, а Россія гораздо слабѣе, однакожъ побѣда осталась за нею. Теперь Россія несравненно сильнѣе, а мы несравненно слабѣе, стало быть, на счетъ исхода борьбы нечего сомнѣваться, по крайней мѣрѣ, я нисколько не сомнѣваюсь: мы идемъ на вѣрную погибель. Но...

— Но что?

— Но я долженъ исполнить долгъ, обѣтъ, клятву. Дѣло, видишь ли, въ томъ, что отецъ мой, который, какъ можетъ быть, знаешь, былъ однимъ изъ первыхъ польскихъ патріотовъ, на смертномъ одрѣ взялъ у меня клятву, что я откликнусь на всякій зовъ моей ойчизны, что я буду служить ей, чѣмъ только могу. Предсмертная воля моего отца для меня законъ, понимаешь? И я точно бобръ, который идетъ въ разставленные ему силки, зная, что идетъ на свою вѣрную погибель: онъ плачетъ, а идетъ, потому что такъ ему предопредѣлено судьбою.

— Но вы, дядюшка, не бобръ, вы человѣкъ.

— Но я дворянинъ: данное мною слово свято, и я его исполню, чего бы мнѣ это не стоило.

— А о вашемъ семействѣ, вы подумали?

— Само собою разумѣется.

— Что же вы сдѣлали?

— Я передалъ имѣніе на имя жены, стало быть, если со мною случится что нибудь, жена и дѣти будутъ обезпе-

чены. Я теперь для нихъ все равно, что умеръ. Я всецѣло принадлежу теперь ойчизнѣ или, справедливѣе, жонду, который будетъ распоряжаться мною, какъ пѣшкою. Я ни съ кѣмъ еще не видался, но я знаю, что я буду командированъ для какихъ-то инженерныхъ работъ. Я буду состоять при штабѣ Мѣрославскаго. Я ни къ кому еще не являлся, потому что мнѣ хотѣлось повидаться съ тобою, можетъ быть, въ послѣдній разъ...

На глазахъ капитана и Сарина показались слезы. Они сидѣли съ поникшими головами, не смѣя взглянуть другъ на друга. Пауза длилась нѣсколько минутъ.

— Теперь, дзѣцякъ,—началъ потомъ капитанъ, принимая веселую мину,—поговоримъ о тебѣ.

— Что обо мнѣ говорить?

— Ты долго еще думаешь учительствовать?

— Что же мнѣ дѣлать?

— Ты еще молодъ, поѣзжай въ университетъ.

— Для чего?

— Для чего? Извѣстно—для чего: для карьеры.

— То есть, чтобы быть медикомъ или чиновникомъ?

— А хотя бы и такъ!

— Нѣтъ, дядюшка, къ медицинѣ не чувствую себя способнымъ, быть же чиновникомъ тошно, и развитому человѣку вовсе уже не приходится увеличивать собою фалангу того сословія, которое пользуется въ Россіи такою незавидною репутаціею. Нѣтъ, дядюшка, прибавилъ Саринъ, вставъ и подошедъ къ письменному столу, чтобы взять папироску,—я за тѣмъ, что называется у насъ карьерой, не гоняюсь; мое высшее честолюбіе состоитъ въ посильномъ служеніи обществу и принесеніи ему кой какой пользы, а для этого мнѣ не нужно никакихъ дипломовъ съ приложеніемъ оффиціальныхъ печатей. Я чувствую себя гражданиномъ, и этого званія не промѣняю ни на какой чинъ, ни на какую ученую степень.

— Браво, дзѣцякъ!—воскликнулъ капитанъ восторженно, вставъ и заключивъ Сарина въ свои объятія,—я вполнѣ одобряю твой образъ мыслей, хотя я знаю, что онъ невыгоденъ и неудобенъ въ практическомъ отношеніи. Одно только

скажу тебѣ: если званіе гражданина тебя слишкомъ утомитъ, то ты не забудь, что въ М—скомъ уѣздѣ, въ третьемъ станѣ, въ имѣніи Яблоновкѣ, существуетъ шляхетское семейство Вольскихъ, которое приметъ утомленнаго гражданина съ распростертыми объятіями и доставитъ ему тотъ отдыхъ, котораго онъ заслуживаетъ. Ты мнѣ обѣщаешь?

— Обѣщаю.

— Я прошу тебя объ этомъ еще и потому, что семейство мое останется долго или навсегда безъ покровителя. Сердце мнѣ говоритъ, что судьба заброситъ меня далеко отъ роднаго края, далеко...

Капитанъ не могъ продолжать, потому что онъ чувствовалъ, что готовъ разрыдаться. Онъ схватилъ Сарина за обѣ руки, долго смотрѣлъ ему въ глаза, ничего не говоря и даже не моргая. Потомъ онъ разстегнулъ свой сюртукъ и жилетъ, снялъ съ своей шеи образокъ на тонкой золотой цѣпочкѣ и, передавъ его Сарину, проговорилъ:

— Хочу, чтобы эта семейная реликвія осталась въ моемъ семействѣ. Передашь ее женѣ или Людвисѣ и скажешь, что я ихъ благословляю. Вмѣстѣ съ этою реликвіею передаю тебѣ свою родительскую власть. Бодрствуй надъ ними, люби ихъ, какъ я ихъ люблю, какъ я тебя люблю.

Проговоривъ это, онъ бросился на шею Сарина и разрыдался, какъ ребенокъ.

— Теперь,—началъ капитанъ, переставъ плакать и осушивъ глаза,—прощай, Аркадій. Если возможно будетъ, то мы еще увидимся, а если нѣтъ, то, значитъ, прощай на всегда и помни, о чемъ я тебя просилъ. Будетъ случай написать — напишу; а если не напишу, значитъ, что случая не было. Прощай!

Онъ три раза поцѣловалъ Сарина, вырвался изъ его объятій и почти выбѣжалъ изъ комнаты. Онъ такъ торопился, что Ѳома едва успѣлъ накинуть на него плащъ и напялить калоши. Онъ бросилъ Ѳомѣ рубль, вырвалъ у него свою руку, которою тотъ завладѣлъ было, и вышелъ, не произнося ни одного слова.

Саринъ прошелся по кабинету, потомъ подсѣлъ къ пись-

менному столу и, подперши голову обѣими руками, погрузился въ думу.

V.

Вечеръ. Въ большомъ и роскошномъ будуарѣ графини Сташицкой царствуетъ какой-то таинственный полумракъ, такъ какъ будуаръ освѣщонъ только одною небольшою лампою, стоящею надъ мраморнымъ каминомъ, а оконныя шторы опущены. Торжественная, почти страшная тишина, нѣсколько умѣряемая неутомимымъ тикъ-такомъ бронзовыхъ часовъ на мраморномъ столикѣ подъ зеркаломъ.

Графиня Сташицкая полулежитъ на бархатной кушеткѣ, одною рукою подпирая свою красивую голову, а другою играя цѣпочкою отъ медальона. На ней голубая блуза изъ шелковой матеріи, которая очень идетъ къ ея распущеннымъ каштановымъ волосамъ и къ ея блѣдному, задумчивому, почти озабоченному лицу.

Она то закрываетъ глаза, то открываетъ ихъ, лѣниво блуждая ими въ полумракѣ будуара. Тонкія губы ея сложены въ меланхолическую улыбку. Отъ времени до времени она испускаетъ глубокій, но тихій вздохъ, какъ будто боясь нарушить торжественное безмолвіе будуара.

Бронзовые часы пробили девять. Графиня протянула руку къ серебряному колокольчику и позвонила.

Дверь тихонько отворилась и у портьеры появился ливрейнный лакей.

— Стефанія еще не возвратилась? — спросила графиня слабымъ, почти дрожащимъ голосомъ.

— Никакъ нѣтъ, ясневельможная пани графиня.

Графиня пожала плечами, на лицѣ ея появилась тоска.

— Если тѣмъ временемъ кто нибудь придетъ,—прибавила она тѣмъ же голосомъ,—то не принимать.

— Слушаю,—отвѣтилъ лакей съ глубокимъ поклономъ.

— Когда панъ Андрей зайдетъ, то лампу на лѣстницѣ потушить и подъѣздъ заперсть, понимаешь?

— Понимаю, ясневельможная пани графиня.

Въ эту минуту за полуотворенной дверью будуара по-

слышался шорохъ. Лакей, оглянувшись, увидѣлъ Стефанію.

— А, вотъ и Стефанія,—сказалъ онъ, пропустивъ мимо себя горничную и заперевъ за собою дверь.

Графиня быстро поднялась и почти подпрыгнула къ Стефаніи.

— Ну что?—спросила она, схвативъ ее за руки.

— Сейчасъ придетъ,—отвѣтила горничная.

— Ты никого у него не застала?

— Никого.

— Говори правду!

— Якъ Бога кохамъ, никого, кромѣ Яна.

— Отчего же ты такъ замѣшкалась?

Горничная покраснѣла, но изъ-за полумрака графиня не замѣтила этого.

— Отчего не отвѣчаешь?

— Я шла мимо часовни и завернула на нешпоры *) — отвѣтила горничная, не смѣя смотрѣть прямо въ лицо графини.

— Знаю твои нешпоры,—проговорила графиня, погрозивъ ей пальцемъ.. Но впередъ, моя милая, будь аккуратнѣе. На нешпоры ходи, когда ты свободна, а не когда тебя за чѣмъ нибудь посылаютъ.

— Слушаю, ясневельможная пани графиня,—сказала горничная, поцѣловавъ руку графини, и удалилась.

Графиня подошла къ зеркалу, поправила свои волосы и стала ходить по будуара взадъ и впередъ, съ нетерпѣніемъ поглядывая то на часы, то на дверь.

Четверть часа спустя, въ смѣжной съ будуаромъ комнатѣ послышались скорые, но твердые шаги мужчины. Графиня подскочила къ кушеткѣ и прилегла, принявъ прежнюю лѣнивую, небрежную позу.

Вошелъ панъ Андрей. Онъ былъ въ гусаркѣ, высокихъ сапогахъ и съ саквояжемъ черезъ плечо. Онъ развязно подошелъ къ графинѣ и подсѣлъ къ ней на кушетку.

— Здравствуй, Аврелія, — сказалъ онъ, поцѣловавъ ея руку.—Что скажешь?

---

*) Вечерня.

— Неблагодарный!—отвѣтила она, не глядя на него. — Гдѣ ты пропадалъ эти три дня? Ты хотѣлъ убѣдиться, пошлю ли я за тобою?

Панъ Андрей началъ крутить свой усъ и ничего не отвѣчалъ.

— Скажи прямо, — продолжала графиня — я тебѣ надоѣла? Ты тяготишься моею... дружбою?

— Не ты мнѣ надоѣла, а кредиторы мнѣ надоѣли, — отвѣтилъ панъ Андрей, — я отъ нихъ-то прятался все это время.

— Кредиторы? — воскликнула графиня, — опять долги? Давно ли я выкупила всѣ твои векселя? И ты опять успѣлъ задолжаться? Ты раззорить меня хочешь, и въ такое время, когда ойчизна взываетъ къ намъ о помощи? Есть ли въ тебѣ совѣсть? Христіанинъ ли ты, полякъ ли ты? Теперь ли время кутить, мотать? Ты развѣ забылъ торжественную клятву — служить ойчизнѣ денно и нощно, всѣмъ сердцемъ, всѣми помыслами души своей?... Ты клятвопреступникъ, измѣнникъ, а еще считаешься членомъ жонда!...

Панъ Андрей выслушалъ эти упреки съ невозмутимымъ равнодушіемъ, не моргнувъ даже.

— Послушай, Аврелія, — сказалъ онъ спокойно, играя шнурками своей гусарки,—къ чему эти репримавды? Зачѣмъ намъ ссориться на прощаньи.

— На прощаньи? — воскликнула графиня, вскочивъ съ кушетки и въ первый разъ взглянувъ на пана Андрея.

— Да, на прощаньи, — отвѣтилъ панъ Андрей, вглядываясь въ испуганное лицо графини.—Я сегодня уѣзжаю.

— Куда?

— Въ деревню, къ моему старику.

— Зачѣмъ?

— Просить у него денегъ, чтобы расплатиться съ должниками, которые угрожаютъ мнѣ тюрьмою.

— Что же будетъ, если старикъ не дастъ?

— Надѣюсь, что дастъ, а если не дастъ, то я удеру куда нибудь подальше изъ края.

— Но я этого не хочу! Слышишь, Андрей? Я не хочу!

— А я иначе не могу, потому что не имѣю не малѣйшей охоты сидѣть въ тюрьмѣ.

— Неблагодарный!—упрекала его графиня,—ты рѣшаешься покидать меня въ то время, когда знаешь, что я безъ тебя жить не могу.

— Что же мнѣ дѣлать? Посуди сама.

— О, теперь я вижу, что ты никогда не любилъ меня,— проговорила графиня, опустившись на кресло и закрывъ лицо платкомъ.

Она плакала. Панъ Андрей, посидѣвъ нѣсколько минутъ, всталъ, подошелъ къ графинѣ и, протянувъ ей свою правую руку, проговорилъ:

— Eh bien, дорогая Аврелія, попрощаемся.

— Нѣтъ, — воскликнула графиня, схвативъ Андрея за обѣ руки,—я тебя не пущу. Ты не поѣдешь. Я тебѣ запрещаю.

— Но,—началъ было панъ Андрей.

— Сколько тебѣ нужно?—перебила его графиня.

— По крайней мѣрѣ, тысячи три.

— Три тысячи! Такой суммы теперь у меня нѣтъ: управляющій еще не прислалъ.

— Я это зналъ, а потому я не хотѣлъ у тебя просить.

— Но... постой!—проговорила графиня, задумавшись. — Не уходи... Сейчасъ. Да.

Она быстро подошла къ угловому столику, зажгла свѣчу и выбѣжала съ нею изъ будуара. Черезъ нѣсколько минутъ она возвратилась съ пачкою кредитныхъ билетовъ въ рукѣ.

— Вотъ тебѣ три тысячи,—сказала она, передавая Андрею деньги. Эти деньги скарбовыя, изъ жондовой кассы. Я ихъ беру заимообразно. Ты видишь, что для тебя я не жалѣю никакой жертвы. Будь же теперь разсудительнѣе. Не мотай, не раззоряй меня; мои имѣнія и безъ того уже раззорены. Панщины вскорѣ уже совсѣмъ не будетъ, мужики бунтуютъ, крадутъ и грабятъ, за всякую работу нужно имъ кланяться, а потомъ и платить имъ нужно будетъ, земля же тоже отойдетъ къ нимъ, а домъ нужно держать на прежней ногѣ. Пойми же, что теперь не время бросать деньги въ болото.

— Не буду,—проговорилъ панъ Андрей, поцѣловавъ ея руку.

— Обними меня,—сказала графиня, съежившись и устремивъ на Андрея взглядъ, полный любви и самоотверженія.

Андрей, бывшій двумя головами выше ея, ловко подхватилъ ее и заключилъ въ свои объятія. Она обвила своими руками его шею и уста ихъ встрѣтились... Андрей бережно опустилъ ее на кушетку и присѣлъ самъ тутъ же.

— Я просто съ ума схожу,—тихо проговорила графиня, крѣпко прижимая руку Андрея къ своей груди.—Съ тобою я забываю себя, весь міръ, даже ойчизну,—прости меня Господи!—Я эти три дня совсѣмъ не жила; я чуть не умерла съ тоски. Ты цѣнишь ли это?

— Цѣню ли я? Ты развѣ сомнѣваешься?

— Что-то будетъ,—вздыхала графиня,—когда война начнется! Неужели ты уйдешь въ походъ, а я здѣсь останусь одна?.. Нѣтъ, этого не можетъ быть, я въ походъ тебя не пущу: ты останешься при жондѣ.

— Но графъ сказалъ, что при жондѣ останутся только старики, а молодежь, всѣ до единаго, пойдутъ въ рухавку.

— Такъ и я пойду, весело проговорила графиня, обрадовавшись своей счастливой мысли.—Развѣ война такъ страшна? Я буду твоимъ адъютантомъ. Ты научишь меня стрѣлять, закажу себѣ мужской костюмъ.

— И усы,—подхватилъ панъ Андрей.

— И усы,—согласилась графиня.

— И обрѣжешь свои волосы.

— И об... хотѣла было повторить графиня, но спохватилась:—нѣтъ, я своихъ волосъ трогать не буду. Зачѣмъ? Я ихъ заплету въ косу и спущу подъ мундиръ.

— А ты сама съумѣешь заплетать волосы?

— Такъ я возьму съ собою Стефанію.

— Отчего уже кстати не захватить съ собою и гардеробянку?

— Захвачу и гардеробянку.

— А кто будетъ варить тебѣ шоколадъ?

— Кто? Извѣстно кто,—Текля.

— Ха, ха, ха!—расхохотался панъ Андрей,—то-то будетъ

обозъ! Если всѣ довудцы будутъ имѣть такихъ адъютантовъ съ такимъ штатомъ, то намъ придется танцовать мазурки, а не воевать.

Они еще долго разговаривали на эту тэму полусерьезно, полушутя, прерывая по временамъ свой разговоръ тихими, но страстными поцѣлуями. Наконецъ, панъ Андрей всталъ и началъ прощаться.

— Куда?—спросила графиня почти испуганно.

— Я сегодня же хочу расквитаться съ кредиторами,—отвѣтилъ онъ,—я надѣюсь этимъ выиграть двадцатьпять процентовъ. Я имъ скажу: хотите покончить на семьдесятъ-пять со ста, такъ сейчасъ же вы получите деньги, не то,—извольте processowac.

— И ты меня не обманываешь?

— Аврелія!—крикнулъ панъ Андрей почти грозно.—Не серди меня твоею подозрительностью; я ея не заслужилъ.

— Ну, не буду,—стала ублажать его графиня,—не сердись же, Андрей, улыбнись, вотъ такъ.

Они обнялись, поцѣловались и разстались. Она со свѣчою въ рукѣ проводила его до лѣстницы чернаго хода.

— Уфъ!—проговорилъ онъ, очутившись уже на тротуарѣ и вдыхая въ себя свѣжія, хотя нѣсколько влажныя струи вечерняго сентябрьскаго воздуха.—Наконецъ-то. На силу вырвался. Тьфу!..

VI.

Онъ дошелъ до угла улицы и кликнулъ извощика.

— Куда прикажете?—спросилъ извощикъ.

— Къ Михелю,—отвѣтилъ панъ Андрей.

Было половина одиннадцатаго вечера, когда панъ Андрей вошелъ въ колоніальный магазинъ и ренсковой погребъ 1-й гильдіи купца Михеля Малкеса. Въ это время въ магазинѣ никого, кромѣ самаго хозяина, не было. Онъ сидѣлъ за бухгалтерской конторкой и читалъ Rigasche Zeitung.

Панъ Андрей вошелъ въ магазинъ гордо, шумно, развязно, какъ уже нѣсколько подкутившій баричъ.

— Добрый вечеръ, пане Михель!—прокричалъ онъ, за-

хлопнувъ за собою дверь такъ ухорски, что звонокъ надъ дверьми чуть не оборвался, а стекла въ окнахъ застучали.

Купецъ встрепенулся и поднялъ глаза.

— Вечеръ добрый,—прогнусавилъ онъ, бросивъ на вошедшаго сердитый, почти презрительный взглядъ и погрузившись опять въ чтеніе. Видно было, что онъ совсѣмъ не радъ своему гостю.

— А мы уже давно не видались, пане Михель!—прибавилъ послѣдній, бросивъ на буфетъ свою фуражку.

— Да, давно,—отвѣтилъ купецъ, не удостоивъ даже взглянуть на говорившаго.

— И панъ Михель по мнѣ совсѣмъ не тосковалъ?

Купецъ пожалъ только плечами и продолжалъ читать.

— Ну, Богъ съ вами,—сказалъ панъ Андрей, опустившись на кресло,—я вижу, что панъ Михель сегодня не въ духѣ. Подайте мнѣ счетъ.

При этихъ словахъ купецъ быстро поднялъ глаза и съ какимъ то недоумѣніемъ уставилъ ихъ на пана Андрея.

— Счетъ? — спросилъ онъ, какъ бы не вѣря своимъ ушамъ,—весь счетъ?

— Да, весь счетъ.

— Вы будете платить?

— Чистоганомъ.

— Это хорошо,—проговорилъ купецъ повеселѣвъ. Онъ бросилъ газету и зашевелился. Извольте садиться,—прибавилъ онъ, не замѣтивъ, что гость уже сидитъ. Сейчасъ, сію минуту... Шмуэль! Шмуэль! сталъ онъ кликать бухгалтера. Вотъ напасть! всѣ люди разошлись. Чтобъ ихъ... Сейчасъ, пане. Шмуэль!

Шмуэль, наконецъ, явился.

— Что это васъ докликаться нельзя?..—накинулся купецъ на своего бухгалтера.—Гдѣ это вы пропадали? Ну, живо, напишите счетъ для пана Грушевича. Гдѣ Conto Buch? Не забывайте и прошлогодняго транспорта. Онъ выведенъ?

— Выведенъ,—отвѣтилъ бухгалтеръ, подходя къ конторкѣ. Онъ выдвинулъ ящикъ, вынулъ изъ него двѣ книги и

картонку съ бланками, зажегъ еще одну лампу, приготовилъ счеты и сѣлъ писать.

Панъ Михель вышелъ изъ за буфета, снялъ свою шапку и подсѣлъ къ пану Андрею, чтобы занимать его разговоромъ.

— Что это васъ такъ давно не видать было?—началъ онъ съ подобострастною улыбкою.

— Дѣла, занятія, пане добродзѣю, — отвѣтилъ панъ Андрей, вынимая изъ кармана изящный портъ-сигаръ, — вы думаете, что только у купцовъ есть дѣла? И у насъ есть дѣла.

— Еще бы! — сказалъ купецъ, вынимая изъ за пазухи спичечницу и презентуя ее пану Андрею, —я думаю, что теперь у васъ больше дѣлъ, чѣмъ у насъ. Плохія времена, пане добродзѣю, совсѣмъ плохія времена.

— Ничего, поправятся,—утѣшалъ панъ Андрей.

— Какое поправятся! Идетъ все хуже и хуже. Каждый день банкротство. Торгующіе краснымъ товаромъ, всѣ до единаго, пріостановили платежи. И какъ имъ платить? Вотъ уже годъ, какъ они ничего не торгуютъ, положительно ничего. Никто изъ нихъ въ этомъ году на лейпцигскую ярмарку не ѣздилъ. Для кого покупать, спрашиваю васъ?... Все трауръ да трауръ. Чорный люстринъ — вотъ тебѣ и весь товаръ.

— А вамъ-то что до этого?—спросилъ панъ Андрей, — вы вѣдь краснымъ товаромъ не торгуете?

— Ха, ха, ха! - расхохотался купецъ, — извините меня, вы коммерціи совсѣмъ не понимаете. Коммерція, изволите видѣть, все равно, что машина: остановилось одно колесо, не дѣйствуютъ и прочія. Оттого въ коммерческомъ мірѣ есть поговорка: когда въ Борисовскомъ уѣздѣ у мужика падаетъ волъ, то сахарная фабрика Бранденбурга въ Ригѣ должна обанкрутиться. И это очень вѣрно, потому что всѣ отрасли торговли пригнаны другъ къ дружкѣ, какъ щепы одной бочки: вынимай только одну щепку, такъ уже вся бочка ни куда не годится. Вотъ она что, коммерція-то!

— Ваша правда,—согласился панъ Андрей, вздохнувъ, какъ-будто сочувствуя жалобамъ купца.

— У меня волосы становятся дыбомъ, продолжалъ по-

слѣдній,—я съ ума схожу, когда подумаю о балансѣ. Я буду благодарить Бога, если не будетъ дефицита. О заработкахъ ужъ нечего и думать. И что мудренаго: обыватели начали экономничать, почти скряжничать; нѣтъ ни баловъ, ни вечеринокъ. Кто пилъ рейнвейнъ, пьетъ теперь мадеру, а кто пилъ мадеру, пьетъ теперь полпива. Что же касается шампанскаго, то этого вина и держать не слѣдуетъ: никто, положительно никто, его не требуетъ. Отъ новаго года до сегодня я продалъ двѣ дюжины, слышите? Михель Малкесъ, въ теченіи восьми мѣсяцевъ, продалъ двѣ дюжины шампанскаго! Когда это слыхано было? Вѣдь это просто свѣтопреставленіе!

Онъ вскочилъ со стула и отъ избытка душевнаго волненія сталъ бѣгать по магазину взадъ и впередъ, тяжело сопя и обтирая платкомъ крупный потъ, выступившій на его открытомъ и полномъ лицѣ, окаймленномъ черною, какъ смоль, бородою съ просѣдью.

— Быва ..,—началъ онъ потомъ, нѣсколько успокоившись и сѣвъ на свое прежнее мѣсто,—бывало передъ Рождествомъ или Пасхой рукъ и товара не хватаетъ для удовлетворенія покупателей; въ магазинѣ такая давка, что негдѣ яблоку упасть, а теперь цѣлехонькой день сидишь и видишь покупателя, какъ рѣдкаго гостя. Такая, скажу вамъ, тишина...

— Но, коханый пане Михель, — перебилъ его панъ Андрей,—это тишина передъ бурей.

— Буря?—переспросилъ купецъ, понявъ намекъ, а потому испугавшись,—сохрани насъ Богъ отъ бури! Мы не хотимъ бури. На что она намъ? Начнутся контрибуціи, реквизиціи, штрафы, обыски. Будетъ еще хуже. Неспокойное время для коммерціи—смерть. Когда начнется буря, то я совсѣмъ закрою свой магазинъ. Но не будемъ говорить объ этомъ... Какъ здоровье пани графини?

— Четыреста шестьдесятъ пять рублей сорокъ восемь копѣекъ!—воскликнулъ бухгалтеръ, окончившій теперь счетъ.

Панъ Андрей вынулъ деньги и выложилъ ихъ на буфетѣ.

— Richtig,—проговорилъ бухгалтеръ, сосчитавъ деньги и положивъ ихъ въ ящикъ.

— Благодарю за кредитъ,—сказалъ панъ Андрей, пожавъ

руку обрадовавшагося купца.—Теперь, пане Михель, мнѣ нужно сдѣлать маленькую покупку. Гдѣ это ваши прикащики?

— Мои прикащики? Сейчасъ, пане. Эй, кто тамъ? Борухъ! Хацкель! Лейзеръ!—выкрикивалъ купецъ въ слуховую трубу, проведенную изъ магазина въ винный погребъ.

Изъ погреба выскочили, точно духи изъ подземелья въ сказкѣ, три здоровенныхъ парня, съ раскраснѣвшимися отъ работы лицами, съ засученными рукавами и въ засаленныхъ фартукахъ.

— Что вельможному пану угодно?—спросилъ купецъ, погладивъ свое брюшко.

— Я сперва продиктую реэстръ вещамъ, чтобы чего нибудь не забыть,—отвѣтилъ панъ Андрей, подходя къ буфету.

— Хорошо,—сказалъ купецъ, мигнувъ бухгалтеру.

Бухгалтеръ взялъ перо, а панъ Андрей началъ диктовать.

— Голову сахару, фунтъ чаю.

— Какого?—спросилъ купецъ.

— Пятирублеваго,—отвѣтилъ панъ Андрей. Ящикъ Лафермъ, четыре фунта сыру.

— Какого?

— Швейцарскаго. Ящикъ сардинокъ, четыре фунта икры.

— Я вамъ икры не дамъ,—замѣтилъ купецъ, она не совсѣмъ свѣжа.

— Такъ не надо,—сказалъ панъ Андрей. — Четыре бутылки рому, двѣ бутылки старой водки, полдюжины портеру, полдюжины шампанскаго.

— Какого?

— Редерера, и три бутылки Liebfrauenmilch. Вотъ и все.

— Ребята! за работу!—скомандовалъ купецъ.

Ребята живо исполнили свою работу.

— Хацкель,—сказалъ панъ Андрей, обращаясь къ бѣлобрысому парню съ веснушками, который носилъ это любимое поляками имя,—возьми извощика и отвези эти вещи къ пани Брагинской, знаешь?

— Знаю, вельможный пане,—отвѣтилъ Хацкель, сбросивъ съ себя фартукъ и поправивъ свою физіономію.

— Вотъ тебѣ на извощика,—сказалъ панъ Андрей, бросивъ Хацкелю трехрублевую бумажку. Скажешь пани Бра-

гинской, что я сейчасъ буду. Я только заѣду въ кондитерскую.

Онъ расплатился, поцѣловался съ Михелемъ и уѣхалъ.

Настоящая фамилія пани Брагинской была Свентобжеская; Брагинской называлась она только въ афишахъ и въ газетахъ: она была актрисой, а потому ея родственники запретили ей марать гоноръ древняго герба Свентобжескихъ. Правда, она своего герба не только не марала, но своимъ талантомъ и вдохновеніемъ придала ему тотъ блескъ и славу, которыхъ онъ никогда не имѣлъ: имя ея гремѣло въ краѣ и въ крулевствѣ, ею гордилась польская сцена, отъ нея не разъ зависѣло промѣнять свой темный шляхетскій гербъ сомнительной древности на безукоризненный гербъ графскій или княжескій, но — толкуйте съ феодалами, ихъ не разубѣдишь въ ихъ мѣщанскихъ понятіяхъ о чести;—пани Брагинская подвизается на сценѣ, стало быть она компрометируетъ дворянскій родъ свой.

Въ 1861 году, когда политическое броженіе въ польскомъ обществѣ стало выступать наружу, пани Брагинская, въ подражаніе знаменитой Рашели, приводившей парижанъ въ изступленный восторгъ своимъ геніальнымъ декламированіемъ «Марсельезы», взошла однажды на кафедру главнаго католическаго собора города Н. и оттуда въ первый разъ продекламировала, съ соотвѣтственнымъ жаромъ и вдохновеніемъ, гимнъ: Boze, cos Polske, который съ того дня получилъ свою роковую популярность, переходя изъ костела въ салоны, а оттуда на площади, улицы и въ шарманки. Ее арестовали, но потомъ, благодаря заступничеству вліятельныхъ особъ, освободили. Тѣмъ не менѣе, однакоже, ея артистическая карьера была почти уже кончена, такъ какъ театральныя представленія были запрещены тою невидимою властью, которая наложила на весь край глубокій трауръ... Пани Брагинская была внѣ себя: слава, шумъ, рукоплесканія, оваціи сдѣлались ея стихіей, безъ которой она уже не могла жить. Она однакоже нашлась, что дѣлать: она открыла у себя литературные вечера, которые должны были замѣнять ей театраль-

ныя представленія, безъ которыхъ жизнь не имѣла для нея никакого смысла. Къ ней повалила вся аристократія, вся молодежь и все, что знало толкъ въ литературѣ. На этихъ вечерахъ пани Брагинская, въ краковскомъ костюмѣ, декламировала избранныя мѣста изъ поэмъ Мицкевича, Ходзько, Сырокомли, иногда же и свои собственныя импровизаціи, въ которыхъ она соперничала съ извѣстной варшавской импровизаторкой Деотимой, а панъ Заіончковскій, другой корифей польской сцены, читалъ отрывки изъ сочиненій графа Фредра, Богуславскаго, Корженіевскаго, Крашевскаго, Винцента Поля, Жигмунда Качковскаго и другихъ. Публика апплодировала, вызывала и осыпала артистовъ цвѣтами и подарками. Пани Брагинская была довольна.

Но, мало по малу, вечера эти стали превращаться въ вечеринки, на которыхъ сначала больше бесѣдовали, чѣмъ читали, а потомъ больше пили, чѣмъ бесѣдовали. Дошло наконецъ до того, что эти вечера превратились въ настоящія оргіи. На нихъ стала бывать молодежь обоего пола, искавшая развлеченія, удовольствій, карточной игры, попоекъ и любовныхъ интригъ. Пани Брагинская, сама того не замѣчая, стала тоже втягиваться въ эту жизнь: вмѣсто того, чтобы услаждать слухъ своихъ гостей своими вдохновенными декламаціями, она стала находить удовольствіе въ слушаніи восторженныхъ комплиментовъ и утонченной лести своихъ поклонниковъ и обожателей, видѣвшихъ въ ней, прежде всего, молодую и красивую женщину. Къ числу ея обожателей принадлежалъ и панъ Андрей. Все время, остававшееся ему свободнымъ отъ службы при жондѣ и графинѣ Сташицкой, онъ проводилъ у нея; всѣ деньги, которыя онъ разными хитростями выманивалъ у жонда и графини Сташицкой, онъ употреблялъ на нее. Онъ былъ ея коммиссіонеромъ, повѣреннымъ, метръ-д'отелемъ и главнымъ распорядителемъ на ея вечеринкахъ.

VII.

Полночь. Всѣ комнаты обширной квартиры пани Брагинской ярко освѣщены. Вечеринка въ полномъ разгарѣ. Въ залѣ, на четырехъ столикахъ, идетъ игра. На одномъ изъ

нихъ, стоящемъ въ самой срединѣ залы, панъ Андрей, съ раскраснѣвшимся отъ жары, волненія и пунша лицомъ и съ взъерошенными волосами, мечетъ банкъ. Понтируютъ два улана, одинъ корнетъ, а другой штабсъ-ротмистръ, и одинъ статскій. Корнетъ горячится и проигрываетъ, а статскій, какой то баронъ, проигрываетъ и хохочетъ, точно проигрышъ ужасно смѣшитъ его. При панѣ Андреѣ — стаканъ пунша и куча ассигнацій всевозможныхъ цвѣтовъ. Около игроковъ образовался тѣсный кружокъ изъ мужчинъ и женщинъ, слѣдящихъ за игрою. На прочихъ столикахъ идетъ солидный преферансъ. Во всей залѣ густой дымъ отъ сигаръ и папиросокъ.

Въ гостиной четверо молодыхъ людей и трое хористокъ играютъ въ жмурки. Пискъ, хохотъ и поцѣлуи.

Въ будуарѣ, пани Брагинская, въ черномъ шелковомъ платьѣ и съ перламутровымъ крестикомъ на шеѣ, сидитъ на оттоманкѣ и играетъ съ своею болонкою, лежащею на ея колѣнахъ. Насупротивъ ея, въ большихъ креслахъ, сидитъ панъ Вивюрка, маленькій и тоненькій молодой человѣкъ, съ очень блѣднымъ, но очень выразительнымъ личикомъ, съ необыкновенно свѣтящимися и необыкновенно подвижными зрачками и съ длинными черными волосами, которые онъ зачесывалъ á la-попъ. Онъ о чемъ то ораторствуетъ съ обычнымъ ему жаромъ, причемъ отчаянно гримасничаетъ и жестикулируетъ своими маленькими, почти дѣтскими ручонками.

Панъ Вивюрка былъ сынъ довольно зажиточнаго помѣщика, получилъ довольно хорошее воспитаніе дома, а потомъ слушалъ курсъ въ главной агрономической школѣ; но, изъ любви къ сценѣ и къ ея представительницѣ, пани Брагинской, бросилъ агрономію и сталъ готовить себя въ актеры, дабы идти одною дорогою съ царицею души своей. Онъ уже получилъ было позволеніе дебютировать въ роли Гамлета, какъ вдругъ прекращеніе театральныхъ представленій разбило всѣ его надежды и мечты. Онъ чуть съ ума не сошелъ отъ отчаянія; но потомъ, успокоившись нѣсколько сталъ передъ окнами пани Брагинской дебютировать въ роли Ромео. «Юлія» же, изъ жалости и изъ опасенія, чтобы онъ не при-

шелъ въ исполненіе своей угрозы—повѣситься передъ ея окнами, услышала его: она позволила ему бывать у нея, тѣмъ болѣе, что она, по закрытіи театра, какъ сказано, стала жить открытымъ домомъ.

Панъ Вивюрка былъ доволенъ, былъ счастливъ, такъ какъ пани Брагинская съ ангельскимъ терпѣніемъ всегда выслушивала его бредни, не позволяя себѣ даже зѣвнуть, хотя она всегда имѣла позывъ къ этому. Одно только постоянно безпокоило, даже мучило пана Вивюрку: это—панъ Андрей; въ панѣ Андреѣ онъ особенно чуялъ своего соперника, котораго онъ поэтому ненавидѣлъ всѣми силами души своей. Онъ получалъ судороги каждый разъ, когда панъ Андрей, бывало, притронется къ рукѣ пани Брагинской. Онъ поклялся погубить пана Андрея и уже обдумалъ средство, но медлилъ, вслѣдствіе нерѣшительности.

Въ этотъ вечеръ панъ Вивюрка ораторствовалъ о ревности,—тэмѣ, къ которой онъ очень часто возвращался, такъ какъ она занимала его больше всего.

— Отелло, — говорилъ онъ, искрививъ свою маленькую физіономію,—мнѣ совсѣмъ не нравится.

Пани Брагинская бросила на него строгій, почти презрительный взглядъ.

— То есть, не вся драма, — поспѣшилъ онъ смягчить свой приговоръ,—а только ея развязка. Этою развязкою Шекспиръ сдѣлалъ непростительный промахъ.

Пани Брагинская энергическимъ взглядомъ потребовала объясненія этого тезиса.

— Будь я Отелло,—продолжалъ панъ Вивюрка, — виноватъ, я не то хотѣлъ сказать. Будь я на мѣстѣ Шекспира, я бы заставилъ моего Отелло убить Кассіо, а не Десдемону; и это было бы послѣдовательнѣе, потому что Отелло убилъ бы тогда предметъ своей ревности, а не предметъ своей любви. Съ какой стати ему слѣдовало убивать Десдемону и тѣмъ казнить себя, вмѣсто того, чтобы казнить своего адъютанта, который, какъ онъ думалъ, внесъ безчестіе въ его супружескую жизнь? Я этого рѣшительно не понимаю.

— А это потому,—объясняла ему пани Брагинская, что вы не понимаете человѣческаго сердца. Убіеніемъ Кассіо

Отелло не достигъ бы своей цѣли; онъ не излечился бы отъ терзавшей его ревности, потому что ревность—такое сильное, роковое чувство, которое всегда переживаетъ предметъ, вызвавшій это чувство. Отелло всегда казалось бы, что Десдемона все еще любитъ Кассіо, хотя уже убитаго, устраненнаго,—хранитъ въ своемъ сердцѣ пріятную о немъ память, а потому ему нужно было разбить, уничтожить это сердце, которое уже никогда не будетъ принадлежать ему всецѣло, нераздѣльно. Извергъ Яго зналъ, что онъ дѣлаетъ. Онъ имѣлъ двоякую цѣль: устранить отъ почетной должности Кассіо, которому онъ завидовалъ, и отравить жизнь Отелло, котораго онъ ненавидѣлъ за его прежнія отношенія къ его женѣ Эмиліи. Первой цѣли онъ достигъ, вслѣдствіе доказанной оплошности по службѣ Кассіо, а второй — посредствомъ ревности. Яго очень хорошо зналъ, что ревнивый Отелло убьетъ Десдемону, а не Кассіо, т. е. будетъ казнить себя, а ему только этого и нужно было. А потому, коханый паие Вивюрка, вы мнѣ моего Шекспира не трогайте. Дай Богъ, чтобы наши писатели хоть на половину такъ хорошо знали человѣческое сердце, какъ Шекспиръ его зналъ... Затѣмъ, извините меня, что я васъ оставляю, — проговорила она, вставъ съ оттоманки, — мнѣ нужно по хозяйству: пора распорядиться на счетъ ужина: гости, вѣроятно, уже проголодались.

Пани Брагинская вышла, а панъ Вивюрка остался въ будуарѣ.

— А я все таки остаюсь при своемъ мнѣніи, думалъ онъ про себя, ходя по будуару взадъ и впередъ со скрещенными на груди руками: — устраненіемъ предмета ревности устраняется и сама ревность. Я въ томъ убѣжденъ, я такъ и сдѣлаю. Да, сдѣлаю! Уже пора на что нибудь рѣшиться. Чортъ возьми! Была не была.

Онъ подошелъ къ письменному столу, взялъ листъ почтовой бумаги, написалъ нѣсколько строкъ, сложилъ, запечаталъ, а потомъ вышелъ въ людскую, подозвалъ своего лакея (нѣкоторые изъ гостей присылали на вечеринки своихъ лакеевъ, чтобы прислуживать), отвелъ его въ сторону и, передавая ему письмецо, сказалъ:

— Отнеси это письмо графинѣ Сташицкой. Если она уже

спитъ, то скажи лакею или дворецкому, чтобы ее разбудили, потому что дѣло очень нужное, понимаешь? Только никому не говори, куда ты ходилъ. Скажешь, что я зачѣмъ-то посылалъ тебя на квартиру...

Съ графиней Сташицкой чуть не случился ударъ, когда она прочла полученное ею анонимное письмо. Оно было ей подано въ будуарѣ, когда она уже собиралась идти спать. Она схватилась за голову, за грудь, крикнула и упала на близь стоявшее кресло. Обморокъ длился нѣсколько минутъ. Когда она очнулась, она заломала руки и заплакала. Такъ вотъ гдѣ онъ проводитъ вечера и проматываетъ мои деньги!—плакала она,—онъ меня обманываетъ, насмѣхается надо мною вмѣстѣ съ своею коханкою! О, извергъ! Подлецъ! Низкая тварь!—У холопа и холопская совѣсть... А я ему повѣрила, повѣрила его лжи! О, Боже, Боже! Какъ мы, женщины, слабы, глупы!... «Я хочу расквитаться съ кредиторами!» А я, дура, еще дала ему три тысячи рублей скарбовыхъ денегъ!

Она отъ злости и угрызенія совѣсти стала кусать и рвать свой батистовый платокъ.

— Но я ему отомщу!—кричала она, воспламеняясь, — я его уничтожу, его и его коханку, cette reine de la rampe!... Пора образумиться. Пора мнѣ знать, что я графиня Сташицкая, а онъ mauvais sujet изъ однодворцевъ. Между мною и имъ не должно быть ничего общаго. Я его изъ болота вытащила и въ болото опять погружу. Я ему покажу, что онъ что нибудь значитъ только по моей милости; отниму эту милость и онъ—опять ничтожество.

Гнѣвъ придавалъ ей силы и энергіи. Она вскочила съ кресла, подскочила къ сонеткѣ и зазвонила.

Вошла Стефанія.

— Позвать сюда пана Видру!—скомандовала графиня.

Панъ Видра съ нѣкотораго времени жилъ нахлѣбникомъ у графини Сташицкой, при которой онъ исправлялъ должность «совѣтника» и «тѣлохранителя», въ каковыя званія онъ самъ себя произвелъ. Съ графиней связывали его не только принадлежность къ жонду, но и многія семейныя воспоминанія: онъ ее знавалъ еще ребенкомъ, когда онъ у ея отца служилъ экономомъ, а потому онъ былъ ей преданъ всею

душою, а она постоянно покровительствовала ему, тѣмъ болѣе, что на старости лѣтъ онъ въ этомъ покровительствѣ сильно нуждался. Уличенный не разъ въ забіячествѣ и жестокости, онъ съ трудомъ получалъ кондиціи. Графиня Станицкая, по старому знакомству, поддерживала его, т. е. давала ему милостыню въ большихъ размѣрахъ, но не опредѣляла его къ себѣ на службу, зная крутой нравъ его. Только съ нею одной онъ бывалъ мягокъ, потому что онъ не столько боялся ея, сколько любилъ. Онъ пошелъ бы за нее въ огонь и въ воду, и онъ былъ внѣ себя отъ радости, когда она позволила ему быть ея совѣтникомъ и тѣлохранителемъ.

— Въ безпокойное время, въ которое мы живемъ,—сказалъ онъ ей, когда дѣлалъ свое предложеніе,—вы, ясневельможная пани графиня, не разъ будете нуждаться въ такомъ преданномъ и здоровенномъ слугѣ какъ Игнацъ Видра.

И онъ показалъ при этомъ свои громадные мускулистые кулаки, которые имѣли видъ и достоинство двухъ желѣзныхъ молотовъ. Въ жондѣ онъ не даромъ получилъ прозвище—молотъ.

Водворившись въ домѣ графини, панъ Видра сталъ вести какую-то странную, своеобразную жизнь: отъ отдѣльной комнаты онъ на-отрѣзъ отказался, къ столу онъ не являлся, а ѣлъ стоя въ людской. Чаю не пилъ, а спалъ, не раздѣваясь, то на голой землѣ, то гдѣ нибудь въ корридорѣ, то на чердакѣ, то на конюшнѣ, имѣя всегда при себѣ свою толстую сучковатую палку, съ которою онъ ни на минуту не разлучался. И велъ онъ такую жизнь не изъ одного чудачества, а съ извѣстною цѣлью: какъ будущій повстанецъ и довудца, онъ пріучалъ себя къ бивуачной жизни и всякаго рода лишеніямъ, словомъ, проходилъ практическую сторону военной школы, дабы «быть воиномъ какъ слѣдуетъ».

Когда графиня послала за нимъ, его съ трудомъ отыскали на сѣновалѣ. Онъ предсталъ.

— Бѣда, пане Видра, несчастіе, — привѣтствовала его графиня, когда онъ переступилъ порогъ будуара.

— Что такое случилось? — спросилъ онъ, уставивъ на графиню свои сѣрые, еще заспанные глаза.

— Я сейчасъ узнала, что у Врагинской каждый вечеръ—

оргія. Молодежь тамъ собирается, въ карты играетъ, пьянствуетъ и дебоширничаетъ. Мой Андрей тоже тамъ бываетъ; вы бы этому повѣрили?

— Отчего бы не повѣрить? Я объ этомъ уже давно знаю.

— Отчего же вы мнѣ ничего объ этомъ не говорили?

— А оттого, ясневельможная пани графиня, что я убѣдился, что вамъ непріятно слушать, когда говорятъ о безпутствахъ пана Андрея.

— Но онъ меня раззоряетъ!

— Кто этого не знаетъ?

— Онъ еще сегодня наиподлѣйшимъ образомъ выманилъ у меня три тысячи рублей.

— И теперь спускаетъ ихъ у своей коханки, какъ обыкновенно.

Графиня поблѣднѣла, пошатнулась и чуть не упала. Панъ Видра поспѣшилъ придвинуть ей кресло, въ которое она опустилась, молча и чуть дыша отъ волненія.

— И вы вѣрно знаете, — начала графиня послѣ нѣскольких минутъ паузы слабымъ, прерывающимся голосомъ,—вы, пане Видра, вѣрно знаете, что Брагинская —его коханка?

— Провалиться мнѣ сквозь землю, если говорю вамъ неправду! Неужели я на старости лѣтъ стану лгать передъ моею благодѣтельницею? Игнацъ Видра никогда не лжетъ и не клевещетъ.

— Графиня стала кусатъ свои губы, чтобы не заплакать.

— Между нами теперь все кончено! проговорила она.

— Слава Богу! воскликнулъ старикъ, упавъ на колѣни и воздѣвъ руки къ небу, — я отслужу молебенъ, я поставлю пудовую свѣчку моему св. патрону, когда вы прогоните этого негодяя, который недостоинъ быть вашимъ лакеемъ, который мараетъ вашу честь. который грабитъ васъ среди бѣлаго дня и который поссорилъ васъ со всею вашею свѣтлѣйшею фамиліею. Плюньте на него, моя добрая моя дорогая графиня! Онъ бóльшаго не стóитъ. Вашъ батюшка на небѣ возрадуется, когда увидитъ, что дочь его возвратилась на путь чести и религіи. Именемъ вашей покойной матушки, этой святой женщины, заклинаю васъ — быть твердой, непоколебимой въ вашемъ рѣшеніи.

И онъ припалъ къ ея ногамъ и началъ ихъ цѣловать, проливая слезы умиленія. Графиня тоже заплакала.

— Встаньте, мой добрый Видра,—проговорила она, простирая къ нему свои руки,—не нужно никакихъ заклинаній: я тверда въ своемъ рѣшеніи. Я отъ своей слабости излечилась. Отнынѣ я вся принадлежу Богу и ойчизнѣ. Нога этого человѣка никогда не переступитъ моего порога. Я сегодня же отдамъ приказаніе не пускать его сюда. Но, коханый пане Видра, этого мало. Я оскорблена, какъ женщина. Хочу мстить.

— Прикажите, ясневельможная пани графиня,—проговорилъ старикъ, схватившись за свою палку,—прикажите, и я его выбатожу такъ тенгό, что онъ своихъ не узнаетъ.

— Нѣтъ, — возразила графиня, — скандаловъ не нужно. Хочу, чтобы вы теперь отправились къ Брагинской и накрыли всю эту оргію, а завтра... завтра будетъ расправа другая. Я на нихъ натравлю графа Болеслава, который расправится съ ними по своему.

— Это хорошо,—похвалилъ панъ Видра, потирая руки отъ удовольствія,—ужъ онъ имъ задастъ!

— А потому вы завтра никуда не уходите, — заключила графиня,—рано утромъ вы поѣдете со мною къ графу, вы— въ качествѣ свидѣтеля. А теперь маршъ къ Брагинской.

— Бѣгу, бѣгу,—проговорилъ панъ Видра, застегивая свою чамарку и торопливо оставляя будуаръ.—До свиданія! Покойной ночи и пріятныхъ сновидѣній!..

— Только безъ скандаловъ, пане Видра!—прокричала ему вслѣдъ графиня.

— Безъ, безъ!—откликнулся старикъ уже изъ прихожей.

Графиня кликнула Стефанію и отправилась въ спальню.

VIII.

Графъ Тенчинскій вскипѣлъ, когда онъ узналъ объ оргіяхъ пани Брагинской. Его самолюбіе ужасно страдало отъ мысли, что онъ ошибся въ своемъ разсчетѣ. Ему казалось, что, благодаря своей распорядительности, ему удалось заинтересовать, увлечь все населеніе въ одну сторону, къ одной

цѣли; ему казалось, что теперь всѣ объ этой цѣли только и думаютъ, такъ что, по его мановенію, всѣ возстанутъ, какъ одинъ человѣкъ, о чемъ онъ неоднократно и рапортовалъ въ центральный комитетъ. Оказывается, что даже молодежь, на которую онъ больше всего расчитывалъ, о цѣли совсѣмъ не думаетъ, будучи занята кутежами и любовными интригами.

— Что же будетъ со справою ойчизны?—спрашивалъ онъ себя, ходя въ своемъ кабинетѣ взадъ и впередъ и ломая руки.—Если старики ничего не будутъ дѣлать по трусости и изъ любви къ спокойствію, а молодежь будетъ кутить, то съ кѣмъ же будемъ взбудовать ойчизну? О, поляки, поляки! Когда же вы, наконецъ, сдѣлаетесь настоящими патріотами?.. Но нужно распорядиться.

Онъ призвалъ пана Прондкевича и приказалъ ему отправить повѣстки къ Андрею, пани Брагинской и пану Видрѣ. Въ ожиданіи ихъ, онъ сѣлъ писать приказы, распоряженія, инструкціи. За этимъ занятіемъ застала его панна Юлія, которая имѣла право входить къ нему безъ доклада.

— Хорошо, Юлинька, что ты пришла, — привѣтствовалъ онъ ее, продолжая писать,—я только что хотѣлъ посылать за тобою. Садись, я сейчасъ кончу.

Панна Юлія сѣла на диванъ.

— Дѣло вотъ въ чемъ,—сказалъ графъ, кончивъ писать и подсѣвъ къ своей племянницѣ на диванъ. — Для пользы нашей справы, нужно сдѣлать нѣкоторыя перемѣны въ личномъ составѣ нашего жонда. Нѣкоторые изъ его членовъ не совсѣмъ соотвѣтствуютъ своему званію. Нужно отъ нихъ освободиться. Да, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. А потому ты съѣздишь къ Авреліи..

— Она, кажется, сейчасъ здѣсь была, — перебила его панна Юлія.

— Да, и она сама тебѣ разскажетъ, по какому случаю она здѣсь была, мнѣ нѣкогда. И такъ, съѣздишь къ графинѣ Сташицкой и скажешь ей, что жондъ освобождаетъ ее отъ занятій по отдѣламъ собиранія офіаръ и иностранной корреспонденціи. Ты передашь ей вотъ эту бумагу.

Онъ всталъ, подошелъ къ письменному столу, взялъ бумагу и передалъ ее паннѣ Юліи.

— Отчего такая немилость? — спросила послѣдняя, уставивъ на графа недоумѣвающій, почти испуганный взглядъ.

— Человѣкъ, занятый любовными интригами, не можетъ быть членомъ жонда, — отвѣтилъ графъ грозно и рѣшительно.— Сердечныя тайны и справа ойчизны никакъ не вяжутся между собою.

Панна Юлія покраснѣла и углубилась въ чтеніе находившейся въ ея рукахъ бумаги, чтобы тѣмъ скрыть свою вспышку.

— Ты ей скажешь,—продолжалъ графъ, не замѣтивъ замѣшательства своей племянницы—ты ей скажешь, чтобы она была готова сдавать на дняхъ книги, документы и суммы человѣку, который къ ней будетъ присланъ съ довѣренностью отъ жонда.

— Но она этимъ обидится,—замѣтила панна Юлія.

— Ты ей объяснишь, что польза справы этого требуетъ, что обижаться ей не слѣдуетъ, что мы расчитываемъ на ея патріотизмъ, отъ котораго мы вправѣ требовать самыхъ тяжелыхъ жертвъ. Ты, наконецъ, ей скажешь, что я этого хочу и иначе не будетъ!.. Поѣзжай же къ графинѣ Сташицкой. Какъ женщина и какъ пріятельница, ты съумѣешь подсластить эту пилюлю, такъ что она не почувствуетъ ея горечи. Я не хочу, чтобы она страдала, хочу только, чтобы не страдали дѣла жонда, дѣла ойчизны. Ты ей скажешь, что я, впрочемъ, не перестану питать къ ней тѣхъ чувствъ глубокаго уваженія и доброжелательности, какія я питалъ къ ней до сихъ поръ. Наши отношенія, какъ частныхъ людей, не подвергнутся никакой перемѣнѣ. Я всегда буду радъ бывать у нея и принимать ее у себя. И такъ, до свиданія!

Панна Юлія оставила графскій кабинетъ.

Графъ опять сѣлъ работать за письменнымъ столомъ. Полчаса спустя, лакей доложилъ о панѣ Андреѣ.

— Пусть войдетъ, — сказалъ графъ, вставъ изъ за стола и закуривъ папироску.

Панъ Андрей вошелъ робко, на цыпочкахъ, и поклонился безъ своей обычной развязности. Лицо его было блѣдно отъ

вчерашней попойки и разстроено отъ предчувствія чего-то недобраго.

— Чтобы быть краткимъ,—началъ графъ, погладивъ свои усы,—я долженъ тебѣ сказать, что мнѣ извѣстно, гдѣ и какъ ты проводишь время, которое ты обязался посвящать нашей святой справѣ. Что ты плохой патріотъ, я зналъ уже давно; но что ты кутила, шулеръ, скандалистъ...

— Ваше сіятельство!—прохрипѣлъ панъ Андрей.

— Прошу не прерывать меня, я сейчасъ кончу: мнѣ некогда съ тобою толковать много. Отъ должности начальника дозорцевъ ты уволенъ и сегодня же долженъ оставить городъ.

— Какъ? — воскликнулъ панъ Андрей, схватившись за голову.

— Ты поѣдешь въ деревню, къ отцу.

— Что мнѣ тамъ дѣлать?

— Ждать, пока тебя потребуютъ.

— Ваше сіятельство!—воскликнулъ панъ Андрей, упавъ на колѣни,—сжальтесь надо мною, не погубите меня! Не гоните меня въ деревню; я тамъ умру со скуки.

— Оставлять тебя въ городѣ невозможно: ты человѣкъ вредный, ты развращаешь молодежь, ты отвлекаешь ее отъ нашей святой справы. Я этого не потерплю... Однимъ словомъ, ты поѣдешь въ деревню.

— Но я не поѣду!—воскликнулъ панъ Андрей, вскочивъ на ноги,—слышите, графъ? Я не поѣду! Въ деревнѣ мнѣ дѣлать нечего! Вы изъ города меня не выгоните! Вы не смѣете!

— Что? Я не смѣю?—заревѣлъ графъ—заскрежетавъ зубами.—Я тебѣ сейчасъ покажу, что я смѣю.

Онъ подскочилъ къ футляру, лежавшему на угловомъ столикѣ, вынулъ револьверъ и, направивъ его на грудь пана Андрея, проговорилъ:

— Если еще разъ скажешь, что я не смѣю, то,—клянусь Богомъ,—я застрѣлю тебя здѣсь, какъ собаку.

Панъ Андрей струсилъ, затрясся и сталъ пятиться назадъ.

— Если сдѣлаешь еще одинъ шагъ назадъ, продолжалъ графъ, держа револьверъ въ томъ же направленіи, — то, — клянусь моимъ гербомъ,—я спущу курокъ.

Панъ Андрей, ни живъ, ни мертвъ, стоялъ, какъ вкопанный, не шевелясь, не моргая.

— Теперь, голубчикъ,—сказалъ графъ, не выпуская изъ рукъ револьвера,—я распоряжусь съ тобою иначе. Ступай за мной!

Графъ отперъ дверь, ведущую въ корридоръ и велѣлъ пану Андрею слѣдовать за нимъ. Панъ Андрей повиновался. Они прошли длинные корридоры втораго и третьяго этажей, поднялись по узкой лѣстницѣ, ведущей къ небольшой площадкѣ передъ башенкой, господствовавшей надъ всѣмъ зданіемъ. Висѣвшимъ на стѣнѣ большимъ ключомъ графъ отперъ желѣзную дверь башенки и, пропустивъ мимо себя пана Андрея, проговорилъ:

— Какъ человѣкъ, способный на измѣну, ты здѣсь будешь арестованъ до тѣхъ поръ, пока не найду возможнымъ освободить тебя изъ подъ ареста. Ты теперь будешь имѣть довольно досугу на размышленіе, смѣетъ-ли графъ Тенчинскій тебѣ приказывать или нѣтъ.

При этихъ словахъ графъ захлопнулъ дверь, заперъ ее на ключъ и тѣмъ же путемъ возвратился въ свой кабинетъ.

Въ пріемной его уже ждала панна Брагинская. Онъ къ ней вышелъ, весьма любезно поздоровался съ нею и попросилъ ее въ кабинетъ.

— Сударыня,—началъ графъ мягко, усадивъ пани Брагинскую на диванѣ, и самъ сѣлъ насупротивъ ея на табуретѣ.—весьма сожалѣю, что изъ всегдашняго вашего поклонника и цѣнителя вашего таланта я долженъ теперь превратиться въ вашего обвинителя и даже судью.

— Обвинитель! Судья!—воскликнула артистка, устремивъ на графа недоумѣвающій взглядъ.

— Кто-бы этого ожидалъ,—продолжалъ графъ въ томъ же тонѣ.—что корифейка нашей отечественной сцены, которою мы гордились, которую мы на рукахъ носили, которой мы поклонялись, какъ богинѣ нашей народной драмы, унизится до презрѣнной роли древней гетеры...

— Графъ!—воскликнула артистка, покраснѣвъ.

— И до еще болѣе презрѣнной роли содержательницы игорнаго дома, шулерши!

— Графъ! — еще разъ воскликнула артистка, понуривъ голову и закрывъ лицо руками.

— Ваши литературныя вечера мы одобряли. Они были достойны и васъ и насъ. Они будили въ насъ тѣ чувства восторженнаго патріотизма и народной гордости, которыми мы всегда должны быть проникнуты. Ойчизна была вамъ благодарна за ваше благородное служеніе ея интересамъ не только литературнымъ, но и политическимъ. Но что эти патріотическіе вечера превратятся въ обыкновенныя мѣщанскія вечеринки, попойки, оргіи, въ которыхъ молодежь будетъ тратить свое время, здоровье и деньги,—мы никакъ не ожидали. Еще меньше мы ожидали, что виновницею этого превращенія будете вы, вы, наша знаменитая, прославленная, воспѣтая артистка, наша Рашель, наша гордость, наше украшеніе!...

Пани Брагинская плакала искренними, горючими слезами.

— Довольно! — проговорила она, когда графъ кончилъ свою тираду.—пощадите, графъ, ради Бога, пощадите меня!.. Я съ ума сойду. Ваши слова рѣжутъ мое сердце. Я сама понимаю, какъ глубоко я пала. Я презираю себя... Но будьте снисходительны, не бросайте въ меня камнемъ, хоть я это и заслуживаю... Вините обстоятельства: они меня губятъ. Я привыкла къ труду, къ занятіямъ... Теперь не имѣю занятій.. Праздность — мать пороковъ. Не я развращаю молодежь, а молодежь меня развращаетъ... Я молода, неопытна! Я опытна въ искусствѣ, на сценѣ, но дитя, ребенокъ въ жизни. Стою одна, безъ родителей, безъ родныхъ, безъ совѣтника. Имѣю толпу поклонниковъ, но ни одного друга, брата который бы предостерегалъ меня отъ ошибокъ, ложныхъ шаговъ, увлеченій, обмановъ. О, будьте моимъ отцомъ, покровителемъ, другомъ, братомъ, руководителемъ, совѣтникомъ!... Не давайте меня погрязнуть въ омутѣ, въ которомъ я очутилась не по своей винѣ!... Я полька, я патріотка, я артистка! Я знаю, сколько я обязана Богу, за дарованный мнѣ талантъ, и ойчизнѣ, умѣющей такъ высоко цѣнить его. Я не рождена быть гетерой, содержательницей шулерни. Спасайте меня, я еще не совсѣмъ погибла!..

Сказавъ это, она съ громкимъ рыданіемъ упала передъ

графомъ на колѣни, наклонила голову и закрыла лицо руками.

Графъ былъ растроганъ до глубины души. Глаза его покрылись влагою.

— Встань, дитя мое, — проговорилъ графъ, съ трудомъ удерживаясь отъ слезъ и заключивъ артистку въ свои объятія...—Мы въ тебѣ не ошиблись. Мы въ тебѣ поклонялись не только могучему таланту, но и благородному, непорочному сердцу. Я съ удовольствіемъ вступаю въ права и обязанности отца, руководителя, наставника. Отнынѣ графъ Болеславъ Тенчинскій будетъ бодрствовать надъ тобою, какъ надъ родною дочерью. Не плачь же, милое дитя мое, садись и выслушай меня.

Пани Брагинская сѣла.

— Я хочу вырвать тебя изъ среды, въ которой ты теперь вращаешься и которая недостойна тебя. Я тебя отправлю къ кармелиткамъ.

— Въ монастырь? —спросила артистка спокойно.

— Да, въ монастырь, не на покаяніе, а на отдыхъ. Настоятельница — моя родная тетка. Я ей напишу, она тебя приметъ съ распростертыми объятіями; она будетъ тебѣ матерью. Ты въ ней не найдешь сухой безсердечной монахини: она женщина добрая и образованная. Она имѣетъ превосходную библіотеку и отличный рояль. Ты будешь заниматься чтеніемъ и музыкой.

— И молитвой,—прибавила пани Брагинская.

— Пожалуй, и молитвой. Это уже будетъ зависѣть отъ тебя. Принуждать тебя не будутъ. Ты будешь гостить тамъ до тѣхъ поръ, пока освобожденная отчизна не вызоветъ своей жрицы опять священнодѣйствовать во храмѣ нашей родной Мельпомены. Согласна-ли ты?

— Еще-бы! — отвѣтила пани Брагинская, лицо которой засіяло отъ радости, — не имѣю словъ для выраженія той благодарности, которую къ вамъ чувствую. Вы меня спасаете, вы примиряете меня съ моею совѣстью, вы...

— Довольно, — прервалъ ее графъ,—поѣзжайте домой и приведите въ порядокъ ваши дѣла, если вы таковыя имѣете,

и уложите ваши вещи. Завтра, въ семь часовъ вечера, карета будетъ ожидать васъ у вашего подъѣзда. До свиданія.

Панна Брагинская распростилась и ушла. Графъ проводилъ ее до лѣстницы. На возвратномъ пути онъ подошелъ къ пану Видрѣ, ожидавшему его въ пріемной, и, покровительственно положивъ свою руку на его плечо, сказалъ:

— Слушай, старикъ, напиши твоему сыну, чтобы онъ пріѣхалъ. Онъ назначенъ начальникомъ дозорцевъ. Надѣюсь, что онъ будетъ исправнѣе пана Андрея: онъ расторопный малый. Вацлавъ Заремба очень хвалитъ его.

«Совѣтникъ и тѣлохранитель» графини Сташицкой осклабился и чуть не заржалъ отъ удовольствія.

— А до пріѣзда твоего сына,—продолжалъ графъ,—эту должность будешь исправлять ты.

— Слухамъ, вельможный пане грабіо,—отвѣтилъ старикъ, поклонившись чуть не до земли.

Графъ прошелъ въ столовую, гдѣ ожидалъ его завтракъ. Онъ ѣлъ скоро и съ аппетитомъ, что означало, что онъ очень доволенъ собою. Послѣ завтрака онъ закурилъ сигару и отправился въ «малый кабинетъ» народнаго жонда. Былъ уже часъ по-полудни, а въ это время онъ обыкновенно выслушивалъ докладъ своего секретаря. Послѣдній уже ждалъ его съ портфелемъ подъ мышкою.

Когда графъ вошелъ, панъ Прондкевичъ, отвѣсивъ предварительно глубокій поклонъ, положилъ свой портфель на письменный столъ, раскрылъ его, вынулъ бумаги и ожидалъ обычнаго приказа—садиться и докладывать.

— Садитесь и докладывайте, — проговорилъ графъ, опустившись на кресло и надѣвъ свой pince-nez.

Панъ Прондкевичъ опять поклонился, сѣлъ и, вооружившись карандашемъ, началъ докладывать:

— Центральный комитетъ увѣдомляетъ, что на дняхъ сюда прибудетъ пять офицеровъ, ѣдущихъ одни въ отпускъ, а другіе въ командировку. Они всѣ уроженцы здѣшняго края и «добрые поляки». Послѣднія слова два раза подчеркнуты. По предъявленіи ими комитетскихъ марокъ, вы можете говорить съ ними вполнѣ откровенно и обстоятельно. Они имѣютъ порученіе завязать переговоры съ офицерами и солдатами

изъ поляковъ квартирующихъ здѣсь войскъ. Вы имѣете слѣдить, чтобы они, по молодости своей и слишкомъ горячему усердію къ справѣ, не сдѣлали какой нибудь опрометчивости.

— Хорошо, примемъ къ свѣдѣнію, — замѣтилъ графъ, стряхнувъ пепелъ съ своей сигары.

— Пфеффель и К° увѣдомляютъ, что двѣ недѣли тому назадъ транспортъ ружей и пистолетовъ высланъ моремъ на имя центральнаго склада земледѣльческихъ орудій Гальванскаго и Сытневича въ М*.

— Высылать не штука,—замѣтилъ графъ,—увидимъ, что скажутъ въ таможнѣ.

— Отъ Гальванскаго и Сытневича сегодня получена телеграмма, что «земледѣльческія орудія» уже находятся теперь на пути въ М*.

— Вотъ это хорошо!—воскликнулъ графъ обрадовавшись.— Покажите мнѣ телеграмму.

— Инженеръ Вольскій пишетъ изъ Познани, — продолжалъ панъ Прондкевичъ докладъ свой,—что онъ видѣлся съ кѣмъ слѣдуетъ и ожидаетъ теперь дальнѣйшихъ приказаній.

— Ѣхать ему теперь въ Парижъ, къ Мѣрославскому,— была резолюція графа.

Панъ Прондкевичъ записалъ эту резолюцію на письмѣ инженера Вольскаго.

— Тетушка Пракседа, — продолжалъ секретарь докладывать,—была сегодня у меня и объявила, что побѣгъ Станислава Подгуры изъ дома умалишенныхъ совершился вчера ночью благополучно, что онъ теперь скрывается у нея, но что, боясь отвѣтственности, она долго держать его у себя не можетъ.

— Тетушку Пракседу вознаградить, смотрителя заведенія успокоить, а Подгуру снабдить деньгами и паспортомъ и отправить къ Вацлаву Зарембо въ его распоряженіе.

— Оберъ-кондукторъ Гавленъ увѣдомляетъ, что его переводятъ на другую линію.

— Это досадно, — замѣтилъ графъ, — Богъ знаетъ, кого назначутъ на его мѣсто. Сказать ему, чтобы онъ другаго назначенія не принималъ. Этотъ французъ намъ нуженъ. Пусть

себѣ отдыхаетъ или съѣздитъ на родину. Намекать ему, что щедрость жонда безгранична къ лицамъ, служащимъ ему умно и усердно. Дальше!

— Княжна Мильфоръ пишетъ изъ деревни, что охотники и дворовые люди ея батюшки изъявили полное согласіе участвовать въ рухаввѣ. Она проситъ, чтобы выслали человѣка для обученія ихъ военнымъ пріемамъ.

— Напишите, что вышлемъ. Дальше!

— Уже все, — сказалъ панъ Прондкевичъ, вставъ и начавъ складывать бумаги.

— Ахъ да, — припомнилъ графъ, — изготовьте листъ желязный (охранную грамату) на имя статскаго совѣтника Сырцева. Онъ надняхъ празднуетъ свой пятидесятилѣтній юбилей. Подчиненные дадутъ ему обѣдъ по подпискѣ. Я уже распорядился, чтобы и дворянство участвовало въ этомъ обѣдѣ. Нужно показать этому русскому, что мы умѣемъ цѣнить его справедливость къ намъ. Охранная грамата будетъ для него пріятнымъ сюрпризомъ. Онъ увидитъ, что жондъ не намѣренъ относиться безразлично ко всѣмъ русскимъ, а будетъ отличать друзей отъ враговъ. Отправить грамату въ самый день его юбилея.

— Слушаю, — отвѣтилъ панъ Прондкевичъ, поклонившись

IX.

Въ тотъ же самый день, въ квартирѣ Адольфа Кранца происходило чрезвычайное собраніе кружка. По озабоченному, почти печальному выраженію лицъ всѣхъ присутствующихъ видно было, что ихъ постигло большое горе. Дѣло въ томъ, что по распоряженію начальства, субботнія школы закрыли, изданія газеты не разрѣшили и въ открытіи чатальни имъ отказали. Кромѣ того, они получили извѣстіе о закрытіи субботнихъ школъ и читальни и въ городѣ Г* и о проектируемомъ упраздненіи еврейскихъ учебныхъ заведеній во всемъ краѣ. Эти факты какъ громомъ поразили всѣхъ членовъ кружка. Они были не только опечалины, но и озадачены: имъ всегда казалось, что ихъ дѣятельность полезна Россіи, а тутъ вдругъ само правительство запрещаетъ эту

дѣятельность, стало быть, оно находитъ ее вредною. Но чѣмъ она вредна,—этого они не могли объяснить себѣ. Напрасно они ломали себѣ голову надъ отысканіемъ разумной причины постигшихъ ихъ запрещеній: они ее не отыскали.

— Мнѣ кажется,—догадывался Адольфъ Кранцъ,—что это дѣло польскихъ рукъ.

— Столько же польскихъ, сколько и русскихъ, — поправилъ Саринъ.—Или, говоря точнѣе, это дѣло чиновническихъ рукъ. Наши субботнія школы чиновники подвели подъ категорію воскресныхъ школъ, ну и закрыли ихъ вмѣстѣ съ ними.

— Но отчего закрываютъ наши школы?—спросилъ кто-то,—мы вѣдь кромѣ граматы, русской граматы, ничего въ нихъ не преподаемъ? Неужели и грамата найдена вредною, опасною?

— До этого абсурда еще не дошли, —возразилъ Саринъ,— но дѣло въ томъ, что чиновникъ не вникаетъ, а можетъ быть и не обязанъ вникать въ суть дѣла, а долженъ держаться буквы. Сказано: школы закрыть, а потому закроютъ даже тѣ школы, которыя не только не вредны, но и полезны, необходимы.

— Подождемъ однакоже, что намъ привезетъ Петръ Аѳанасьевичъ, — сказалъ Мозырскій, по предложенію котораго Дубовъ былъ отправленъ къ начальству хлопотать, отстаивать субботнія школы, которыми кружокъ весьма дорожилъ, тѣмъ болѣе, что онѣ шли весьма успѣшно.

— Петръ Аѳанасьевичъ ничего намъ не привезетъ, —замѣтилъ Саринъ,—и я теперь жалѣю, что мы его отпустили. Онъ будетъ имѣть только непріятности, а дѣла не поправитъ: противъ теченія трудно плыть.

— Стало быть, все кончено?—спросилъ кто-то.

— Кончено, — отвѣтилъ Саринъ, глубоко вздохнувъ, — и намъ остается только ликвидировать наши дѣла, т. е. передать школьное имущество и школьныя суммы представителямъ общества. Возьмемся, господа, за работу. Возвратимъ обществу то, что мы получили отъ него.

Вяло и мрачно присутствующіе взялись за интвентари, книги и счеты. Водворилась глубокая тишина, прерываемая

только шагами Сарина, который ходилъ по комнатѣ взадъ и впередъ, ероша свои волосы. Онъ былъ блѣденъ, разстроенъ, взбѣшенъ, но старался казаться равнодушнымъ, хладнокровнымъ. Ударъ, постигшій кружокъ, поразилъ его прямо въ сердце; и немудрено: его заставляютъ распроститься съ идеалами, для которыхъ онъ до сихъ поръ жилъ и которымъ онъ хотѣлъ посвятить всю свою остальную жизнь. Равнодушный къ жизни, онъ не былъ равнодушенъ къ лелѣяннымъ имъ мечтамъ, въ осуществленіе которыхъ онъ твердо вѣрилъ, потому что никто, какъ онъ думалъ, не можетъ помѣшать его мирной, скромной дѣятельности, которую онъ велъ осторожно и обдуманно, съ соблюденіемъ всѣхъ законныхъ формальностей.

А тутъ вдругъ мѣшаютъ, и мѣшаютъ съ той стороны, откуда онъ меньше всего могъ ожидать этого. Чтоже это, ошибка или недоразумѣніе?... Да, ошибка, недоразумѣніе!— рѣшилъ онъ въ умѣ своемъ. Но откуда они произошли? Что ихъ вызвало?—Смуты!—подсказалъ ему какой-то внутренній голосъ. И онъ сталъ проклинать польскія и всяческія смуты, мѣшающія мирнымъ гражданамъ спокойно заниматься своимъ дѣломъ и заставляющія правительство, въ предупрежденіе разныхъ случайностей, прибрать крѣпче бразды правленія. Да, это такъ,—разсуждалъ онъ,—иначе и невозможно. Смуты— это патологическое состояніе государственнаго организма, и нѣтъ ничего законнѣе, какъ положить имъ конецъ, какъ можно скорѣе. Но мы то чѣмъ виноваты? Мы вѣдь къ этимъ смутамъ непричастны. Намъ смуты ненавистнѣе всего, да мы къ нимъ вовсе неспособны. Мы дѣйствуемъ тихо, смирно, въ предѣлахъ законности, всего ожидая отъ времени. Кому-же и чему можетъ быть вредна наша дѣятельность? И онъ опять сталъ проклинать смуты и производящихъ эти смуты, которые такъ не кстати загородили ему путь къ избранной имъ цѣли.

Пріѣхалъ Дубовъ. Всѣ кромѣ Сарина, бросились къ нему на встрѣчу.

— Ну что, ну что? обступили они его со всѣхъ сторонъ. и лица ихъ изображали любопытство и надежду.

— Скверно, глупо, подло, — отвѣчалъ Дубовъ, бросивъ свою фуражку на столъ.

Лица присутствующихъ вытянулись.

— Хоть колъ на ихъ головѣ теши, ничего съ ними не подѣлаешь,—продолжалъ Дубовъ, — обтирая потъ съ своего лица. — Я ихъ урезонивалъ, урезонивалъ, — не помогаетъ. Они теперь одержимы такою паникою, что съ ними не столкуешься. Предписаніе вскружило имъ голову. Мнѣ тошно было говорить съ ними. Они меня попросили, т. е. собственно не просили, а приказали, чтобы я не въ свое дѣло не мѣшался. Слышете? не въ свое дѣло! Какъ будто русское дѣло не есть дѣло всякаго русскаго... Я имъ отвѣчалъ, что, какъ служащему, они могутъ приказывать, но я подамъ въ отставку, тогда ихъ приказанія не будутъ для меня обязательны. Ахъ да, — обратился онъ къ Сарину, — я чуть было не забылъ: за вами сейчасъ послано.

— За мною? — спросилъ Саринъ, какъ бы обрадовавшись,—это хорошо. Я бѣгу? Они отъ меня услышатъ то, чего они ни отъ кого еще не слыхали. Я ихъ не пощажу; правду, всю правду, я имъ выскажу!

Лицо его пылало; долго подавленное душевное волненіе стало выступать наружу.

— Я не чиновникъ — продолжалъ онъ, все больше и больше воспламеняясь, — раболѣпство мнѣ не знакомо. Мы преклонимся передъ идеею, но не передъ силою. Сила можетъ давить насъ, сколько ей угодно, но ей никогда не удастся подавить въ насъ свободный духъ нашъ. Въ воздухѣ пахнетъ теперь регрессомъ; но мы, евреи, регресса не знаемъ. Мы знаемъ только стагнацію или прогрессъ. Мы или стоимъ на одномъ мѣстѣ, или идемъ впередъ; назадъ — никогда! Слышите, Петръ Аѳонасьевичъ? Во всю нашу историческую жизнь мы не одного шага не сдѣлали назадъ. Мы или цѣлые вѣка лежали окаменѣлыми на одномъ мѣстѣ, или же гигантскими шагами шли впередъ въ нашемъ духовномъ развитіи. И это потому, что мы не пѣшки въ рукахъ игроковъ, а люди духа. Мы не идемъ туда, куда сила хочетъ толкнуть насъ, а туда; куда влечетъ насъ свободный нашъ духъ. Мы захотѣли теперь учиться, такъ никакія мѣропріятія невоспрепятствуютъ намъ въ этомъ. Вы закроете наши казенныя училища, такъ мы откроемъ частныя, вы закроете частныя, такъ будемъ

учиться дома, на чердакахъ, въ погребахъ; вы и это запретите, такъ будемъ учиться за границей. Рѣжьте насъ, жгите насъ, вы съ нами ничего не подѣлаете. Мы будемъ учиться, просвѣщаться, на зло всѣмъ реакціонерамъ и обскурантамъ. Насъ постоянно упрекали, что мы сами себя обособляемъ отъ всего остальнаго человѣчества, чуждаемся европейской цивилизаціи, довольствуемся своимъ исключительно-еврейскимъ міромъ. Этотъ упрекъ, основательный или неосновательный, мы близко приняли къ сердцу и стараемся очиститься отъ него. Мы теперь полными ведрами желаемъ черпать изъ источника общечеловѣческой цивилизаціи, которой мы прежде будто-бы чуждались. Неужели теперь у кого нибудь поднимется рука мѣшать намъ дѣлать то, на что постоянно указывали намъ съ упреками и безъ оныхъ? Это было-бы въ высшей степени непослѣдовательно, да и просто невозможно. Мы назадъ ужъ не пойдемъ!

Онъ кончилъ и обвелъ присутствующихъ вдохновеннымъ взглядомъ, въ которомъ отражалось убѣжденіе, что и они раздѣляютъ его надежды. Потомъ, подошелъ къ Дубову и протянувъ ему обѣ руки, проговорилъ:

— Простите, Петръ Аѳонасьевичъ, что я такъ рѣзко выражаюсь. Земля наша велика и обильна, но людей въ ней нѣтъ. Вы скажете, что я сужу по чиновникамъ, но вѣдь чиновники тѣ же русскіе люди, вербуются они не изъ какой нибудь отдѣльной, замкнутой касты, а изъ всѣхъ слоевъ народа. Притомъ, кто изъ русскихъ людей не хочетъ быть, не можетъ быть и не есть чиновникомъ, если не на государственной, то на общественной службѣ и даже въ самомъ домашнемъ кругу? Гдѣ ваши гражданскія чувства, вашъ патріотизмъ? Отчего здѣшніе русскіе такъ обезличены, что почти стыдятся своей народности, своего языка? Вы сомнѣваетесь?

— Нисколько,—отвѣтилъ Дубовъ со вздохомъ.—Къ сожалѣнію и къ стыду моему, я о своихъ единоплеменникахъ не лучшаго мнѣнія. Мы находимся наканунѣ вооруженнаго возстанія, и чѣмъ болѣе я живу въ краѣ, тѣмъ болѣе я убѣждаюсь, что это возстаніе мы сами подготовляли, мы, русскіе. Какъ полякамъ не претендовать, когда мы сами подбиваемъ ихъ на это?... Слушайте, что я узналъ на дняхъ. Въ прош-

ломъ году, когда здѣсь шли пренія о языкѣ преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ здѣшняго края, многіе изъ русскихъ подали свой голосъ за польскій языкъ! Какъ вамъ нравится этотъ либерализмъ?...

— Если это точно либерализмъ, — отвѣтилъ Саринъ, надѣвая пальто,—то это, пожалуй, и похвально. Но что, если это не больше не меньше, какъ тупоуміе, непониманіе своихъ народныхъ интересовъ или же погоня за дешевою популярностью, на которую русскіе такъ падки?

— Тогда, прошепталъ Дубовъ, заскрежетавъ зубами, — тогда... нужно просто бѣжать изъ края. Мнѣ тошно жить здѣсь! Здѣшніе порядки бѣсятъ меня. Пойдемте, Аркадій Моисеевичъ, — прибавилъ онъ уже спокойнѣе. Намъ, кажется, по дорогѣ. Вы вѣдь къ администратору?

— Да.

— До свиданія, господа,—сказалъ Дубовъ, поклонившись членамъ кружка.—Мы еще увидимся. Ожидаю васъ сегодня къ чаю. Намъ нужно еще о многомъ потолковать .. Нашъ кружокъ, надѣюсь, не распадется, ваше дѣло еще не кончено. Гдѣ бы я ни жилъ, я вашъ тѣломъ и душою. Еще разъ до свиданія.

X.

Въ ожиданіи появленія администратора, Саринъ прохаживался въ пріемной, обдумывая, какъ и что ему говорить съ превосходительнымъ бюрократомъ. Что онъ долженъ говорить правду, это онъ зналъ; но онъ еще не зналъ, въ какія слова онъ долженъ облечь ее, дабы она не показалась только дерзостью, а принесла бы пользу дѣлу: знать, онъ еще имѣлъ надежду, что ему, можетъ быть, удастся урезонить полновластнаго сановника, какъ будто полновластные сановники любятъ выслушивать резоны обыкновенныхъ, нечиновныхъ людей. Какъ идеалистъ, онъ еще вѣрилъ въ силу разума, убѣжденія, а потому далъ себѣ слово не горячиться, быть хладнокровнымъ, говорить убѣдительно, но почтительно.

Дверь кабинета, наконецъ, отворилась, и на порогѣ появилась высокая и полная фигура сановника въ бархатномъ пиджакѣ и съ владимірскимъ крестомъ на шеѣ.

— Ваша фамилія? окликнулъ сановникъ Сарина.

— Саринъ,—отвѣтилъ молодой человѣкъ, поклонившись и принявъ почтительную позу.

— А! — произнесъ сановникъ, сдѣлавъ неопредѣленную гримасу.— Пожалуйте сюда.

Саринъ вошелъ за сановникомъ въ кабинетъ.

— Вы гдѣ нибудь служите?—спросилъ сановникъ, усѣвшись за письменнымъ столомъ и закуривъ сигару.

— Прежде служилъ, а теперь нѣтъ.

— Чѣмъ-же вы занимаетесь?

— Частными уроками и сотрудничествомъ въ журналахъ.

— Значитъ, литераторъ?

— Литераторъ.

— А! Теперь понятно,—протяжно проговорилъ сановникъ.

— Что?—спросилъ Саринъ.

Сановникъ не отвѣтилъ, но, надѣвъ pince-nez и вперивъ въ Сарина строгій, инквизиторскій взглядъ, пробасилъ:

— Это вы, сударь, занимаетесь здѣсь какою-то пропагандою, какимъ-то агитаторствомъ?... Знаете ли, молодой человѣкъ, что въ Россіи нельзя агитировать?

— Даже въ пользу Россіи? спросилъ Саринъ.

— Даже въ пользу Россіи, — отрѣзалъ сановникъ, который, какъ таковой, былъ убѣжденъ, что онъ можетъ говорить даже несообразности.

— Признаться, ваше превосходительство,—сказалъ Саринъ, пожавъ плечами,—я этого не зналъ и даже не подозрѣвалъ.

— Тото же не знали. Польза Россіи не ваше дѣло: на то есть начальство.

— Но что, если начальство ошибается?

— Что?!—воскликнулъ сановникъ, не вѣря своимъ ушамъ. И вы смѣете говорить такія вещи?

— Если я сказалъ, значитъ я смѣю, проговорилъ Саринъ, забывъ данное себѣ слово—не волноваться.

Сановникъ затрясся на своемъ креслѣ и покраснѣлъ, какъ ракъ.

— Да знаете-ли,—загремѣлъ онъ,—куда я могу васъ сослать за такія слова?

— Знаю, ваше превосходительство, въ Пермь, въ Томскъ, въ Тобольскъ, но правда, отъ этого не перестанетъ быть

правдою: начальство — тѣ-же люди, а людямъ свойственно ошибаться. Вы этого не допускаете?

Сановникъ энергически пожалъ плечами и бросилъ на стоявшаго передъ нимъ молодаго человѣка одинъ изъ тѣхъ оффиціальныхъ, внушительныхъ взглядовъ, отъ которыхъ люди, на которыхъ они обращены, обыкновенно трепещутъ, чувствуя себя уничтоженными, погибшими. Но Саринъ не только храбро выдержалъ этотъ взглядъ, но отпарировалъ его такъ мѣтко, что сановникъ, почти сконфузившись, опустилъ свои глаза и сталъ карандашомъ чертить что-то на бумагѣ.

— Да скажите, пожалуста,—началъ онъ опять, не глядя на Сарина, и съ трудомъ подавляя свой гнѣвъ,—съ какихъ это поръ жиды стали заботиться о пользахъ Россіи?

— Съ тѣхъ поръ, — отвѣтилъ Саринъ,—какъ они перестали быть жидами и стали чувствовать себя русскими гражданами.

— Гражданами?—вспылилъ сановникъ—citoyens? Въ Россіи нѣтъ гражданъ, ситойеновъ, а есть подданные, понимаете? Ишь, что выдумали — граждане! У насъ развѣ республика. Мы эту литературу изъ вашей головы выбьемъ. Намъ гражданъ не нужно, намъ нужно вѣрноподданныхъ, а кто этого не понимаетъ, того мы вразумимъ; на то мы и начальство, чтобы вразумлять. А кто поджигаетъ Петербургъ? Вѣдь «граждане», а?

— Я этого не знаю.

— А мы знаемъ и примемъ мѣры. И наконецъ, кто васъ проситъ чувствовать себя русскими? Очень намъ нужно! А вотъ въ тридцатьпервомъ году, когда евреи не чувствовали себя русскими, такъ они были намъ вѣрнѣе. Отчего это теперь никто изъ васъ не доноситъ, что дѣлается между поляками? Вѣдь вы все знаете, поляки передъ вами ничего не скрываютъ, отчего же вы молчите? Гдѣ ваша вѣрность?

— Мы теперь Россіи гораздо вѣрнѣе, чѣмъ были въ тридцатьпервомъ году: мы теперь находимся на пути, чтобы сдѣлаться русскими.

— Премного вамъ благодарны за эту честь,—проговорилъ сановникъ, комически расшаркнувшись передъ Саринымъ.

Саринъ едва могъ подавить подступившія къ горлу слезы, и отвѣтилъ уже надтреснувшимъ голосомъ:

— Вашему превосходительству угодно издѣваться надъ нашимъ посильнымъ служеніемъ интересамъ Россіи, по крайней мѣрѣ, въ здѣшнемъ краѣ; но мы отъ этого нисколько не теряемъ духа. Мы убѣждены, что поступаемъ правильно, такъ какъ мы дѣйствуемъ просто изъ чувства самосохраненія, которое рѣдко обманываетъ. Мы видимъ предъ собою альтернативу: или сдѣлаться русскими гражданами, или же быть, чѣмъ мы были до сихъ поръ т. е. паріями, въ тягость себѣ и Россіи.

— Опять эти заботы о Россіи!—воскликнулъ сановникъ уже съ гнѣвомъ.—Да кто васъ проситъ? Россія не нуждается въ вашихъ заботахъ о ней. Вы лучше скажите намъ, что вы знаете о полякахъ.

— Мы ничего не знаемъ, да и не скажемъ, — отвѣчалъ Саринъ скромно, но твердо.

— Но я васъ заставляю говорить!—крикнулъ сановникъ, самъ не зная, что ему дѣлать съ безстрашіемъ этого *чудака*, котораго онъ однимъ почеркомъ пера можетъ погубить на вѣки.

Сановникъ, однако, медлилъ погубить, потому что безстрашіе стоявшаго передъ нимъ сумасброда почему то начало интересовать, забавлять его. Онъ рѣшился слушать. Саринъ продолжалъ: Намъ нѣтъ никакого дѣла до того, что дѣлаютъ поляки: мы теперь заняты собою, своимъ воспитаніемъ, своимъ образованіямъ. Если вы не хотите помогать намъ, такъ на то ваша воля; но если вы намѣрены даже препятствовать, то знайте, что это вамъ не удастся. Желаніе учиться теперь въ насъ такъ сильно, что никакому циркуляру не удастся подавить въ насъ это желаніе. Мы очень гибки, насъ можно согнуть въ три погибели, но переломать насъ... пишите пропало. Если начальство этого не знаетъ, та на то оно и начальство, чтобы ничего не знать безъ указанія сверху или доноса снизу, такъ что оно почти разучилось видѣть собственными глазами и слышать собственными ушами. Если-бы это было иначе, вы-бы не испугались ни нашихъ субботнихъ школъ, ни нашей пропаганды, имѣющихъ цѣлью—обрусеніе евреевъ, вы бы...

— Довольно! — перебилъ его сановникъ сурово, дернувъ

за сонетку,—намъ вашего краснобайства не нужно. Вы уже достаточно выдали себя, мы уже знаемъ, кто вы такой. Я о васъ доложу генералу, а пока... вы будете арестованы, какъ агитаторъ, какъ человѣкъ съ вреднымъ направленіемъ, понимаете?

— Потрудитесь,—гласилъ приказъ сановника вошедшему дежурному чиновнику, — препроводить этого молодаго человѣка къ полиціймейстеру, и быть ему арестованнымъ при полицейскомъ управленіи, впредь до особаго распоряженія.

— Слушаю, ваше превосходительство, сказалъ чиновникъ, бросивъ недоумѣвающій взглядъ на ввѣреннаго ему арестанта, который, къ немалому его удивленію, казался совершенно спокойнымъ.

Поклонившись сановнику и иронически улыбнувшись, Саринъ послѣдовалъ за чиновникомъ.

Часъ спуста, на квартиру Сарина нагрянули полицейскіе чиновники и произвели обыскъ. Ничего подозрительнаго не нашли, кромѣ бумагъ, которыя были прошнурованы, пронумерованы, запечатаны и забраны.

На слѣдующій же день Саринъ былъ переведенъ изъ полицейскаго управленія въ тюрьму политическихъ преступниковъ.

— Неужели я политическій преступникъ? — спрашивалъ себя Саринъ, очутившись въ уединенной келіи упраздненнаго католическаго монастыря, превращеннаго во временную тюрьму для политическихъ арестантовъ. — Что я такое сдѣлалъ? Неужели агитація въ пользу Россіи есть преступленіе?

Но на эти вопросы никто ему не отвѣчалъ, потому что, кромѣ часоваго въ корридорѣ, да сторожа, приносившаго ему пищу, онъ никого не видалъ.

Онъ, впрочемъ, былъ совершенно спокоенъ, не зная за собою никакой вины; но онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ времени когда его потребуютъ къ допросу, любопытствуя знать въ чемъ его обвиняютъ.

— Знаютъ ли мои о моемъ арестѣ? Да, знаютъ, потому что, кто-же мнѣ прислалъ бѣлье, книги?... Не арестованы-ли и они?... Но я ихъ выгорожу. Возьму всю в и н у на себя!... В и н у! ха, ха, ха! Странные у насъ порядки, или справед-

ливѣе, странные у насъ люди! Быть патріотомъ — значить быть опаснымъ человѣкомъ, преступникомъ... Впрочемъ, если сановникъ правду говоритъ, если въ Россіи не должно быть граждан, то я въ самомъ дѣлѣ преступникъ, тѣмъ болѣе, что я еврей, а для еврея гражданскихъ чувствъ ужъ во всякомъ случаѣ не полагается... Но что, если еврей все-таки чувствуетъ себя гражданиномъ? Но что, если всѣ живущіе въ Россіи евреи предъявятъ свои права на русское гражданство? А вѣдь это время приближается; мы вѣдь народъ благодарный, мы очень чувствительны къ оказываемымъ намъ благодѣяніямъ. За равноправіе мы будемъ платить патріотизмомъ, нашимъ исконнымъ, нашимъ пламеннымъ патріотизмомъ. Наша азіатская кровь не позволитъ намъ любить Россію и въ то же время относиться безстрастно къ ея интересамъ... Мы будемъ русскими, но для насъ вѣдь всегда останутся чуждыми русская лѣнь, русская беззаботность, забубенность, безстрастіе и то, что называется русскою широкою натурою. Благодушествовать не въ нашемъ характерѣ, мы — соль человѣчества...

Такими и подобными разсужденіями коротал Саринъ длинныя ноябрьскія ночи, лежа на своей койкѣ и глядя въ густую темноту своей неосвѣщенной келіи, ожидая позыва ко сну.

Прошла цѣлая недѣля со дня его ареста, а его къ допросу не требуютъ. Ему стало невыносимо то, что онъ отрѣзанъ отъ всего свѣта. Но его нѣсколько успокоила записка, которую онъ разъ утромъ нашелъ на столѣ запечатанной и безъ адреса. Записка была на польскомъ языкѣ и слѣдующаго содержанія:

«Вы теперь, вѣроятно, уже убѣдились, какъ Россія отплачиваетъ усердствующимъ объ ея интересахъ. Если бы я не безпокоилась о вашемъ здоровьи, то я бы радовалась вашему аресту: онъ послужитъ вамъ хорошимъ урокомъ и указаніемъ, какъ вамъ слѣдуетъ поступать впредь!.. Мы хлопочемъ о вашемъ освобожденіи, и надѣюсь, что по выходѣ изъ заключенія вы посвятите вашу дѣятельность намъ. Вы только по ошибкѣ работали до сихъ поръ для неблагодарной Московіи.... Уѣзжаю на дняхъ въ Варшаву... мѣсяца на два.

Рѣшительный часъ приближается. Все уже настроено и приготовлено, какъ слѣдуетъ. Ожидаемъ только сигнала... Прощайте и не унывайте!.. Въ рѣшительный часъ надѣюсь встрѣтиться съ вами подъ знаменемъ отчизны».

Подписи не было, но по почерку и содержанію онъ узналъ, что это пишетъ панна Юлія.

Сначала онъ обрадовался не тому, что хлопочутъ объ его освобожденіи, но тому, что къ нему пишетъ, интересуется имъ та, которою онъ когда-то бредилъ. Какъ онъ ни увѣрялъ себя, что онъ уже умеръ для свѣта, равнодушенъ къ жизни и ея радостямъ, онъ однакоже въ глубинѣ души любилъ панну Юлію, по прежнему, пламенно, восторженно. Онъ читалъ и перечитывалъ дорогія для него строки, прижималъ ихъ къ своей груди, цѣловалъ ихъ и готовъ былъ заплакать отъ радости и счастія.

Но потомъ, когда первые порывы прошли, умъ, холодный, неумолимый, сталъ брать верхъ и мало по малу оттѣснилъ движенія сердца на задній планъ.

— Нѣтъ, сказалъ себѣ Саринъ, — измѣнникомъ своимъ убѣжденіямъ я не сдѣлаюсь. Мои принципы вѣрны и тверды, я не ошибаюсь Эта передряга — ничто въ сравненіи съ великою цѣлью, которую имѣемъ въ виду. Мы должны быть русскими! Рѣшено разъ навсегда! Прочь отъ меня искушеніе!..

Онъ взялъ и разорвалъ записку на мелкіе кусочки и далъ себѣ слово не думать больше о своихъ сердечныхъ дѣлахъ.

Наконецъ, его потребовали въ коммиссію.

— Ваша фамилія? Лѣта? Вѣроисповѣданіе? Гдѣ и когда вы были арестованы? — гласили вопросы слѣдователя, человѣка среднихъ лѣтъ съ штабъ-офицерскими эполетами и съ очень добродушнымъ лицомъ.

Саринъ отвѣчалъ.

— Знаете ли, въ чемъ васъ обвиняютъ?

— Нѣтъ.

— Если смотрѣть на рапортъ администратора, — продолжалъ слѣдователь, — то васъ легко подвести подъ категорію политическихъ преступниковъ, но изъ фактовъ этого не видно.

Это ваши бумаги? спросилъ онъ, указывая на лежавшую на столѣ кипу бумагъ.

Саринъ пересмотрѣлъ ихъ и призналъ своими.

— Вы можете ихъ забрать: онѣ намъ уже не нужны. Это вы сами пишете?

— Самъ.

— Бойкое у васъ перо,—похвалилъ слѣдователь.— Все такъ гладко, округлено, точно передовыя статьи газетъ.

Саринъ съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на слѣдователя, не понимая, къ чему клонитъ этотъ разговоръ. Онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ, когда слѣдователь заговоритъ, наконецъ, о дѣлѣ.

— Чортъ возьми!— продолжалъ послѣдній,— я самъ тоже недурно пишу, но все таки не такъ. Я самъ чувствую, что слогъ мой немножко шероховатъ. Скажите, пожалуйста, какимъ образомъ вы усвоили себѣ такой хорошій слогъ?

— Я много упражнялся, много читалъ.

— И я не мало читалъ, но теперь некогда, батюшка,— сказалъ слѣдователь со вздохомъ,—я книги очень люблю, но читать не приходится:, едва успѣваешь пробѣжать даже газету.

Послѣдовала пауза. Слѣдователь, какъ будто забывъ о присутствіи Сарина, углубился въ лежавшія передъ нимъ бумаги. Саринъ пожималъ плечами недоумѣвая, что ему думать о всемъ этомъ.

— Позвольте васъ спросить, г. полковникъ,— рѣшился онъ положить конецъ своему недоумѣнію,—что насчетъ меня?

— Ахъ, виноватъ,—сталъ извиняться полковникъ, добродушно улыбаясь,— какая разсѣянность! Голова просто идетъ кругомъ... Вы свободны. Уже сдѣлано распоряженіе объ освобожденіи васъ изъ подъ ареста. Но слушайте, молодой человѣкъ,—сказалъ онъ, вставъ изъ за стола, подошедъ къ Сарину и покровительственно положивъ руку на его плечо,— фактически начальство противъ васъ ничего имѣть не можетъ, однакоже, я вамъ совѣтую избрать для себя другой родъ дѣятельности. Неровенъ часъ. Хорошо, что ваши бумаги попали въ мои руки: я оцѣнилъ ихъ по достоинству; но попадись онѣ въ руки бюрократа, понимаете, бю-ро-кра-та, онъ

иначе на нихъ взглянулъ бы и осудилъ бы васъ. Все зависитъ отъ угла зрѣнія, такъ вѣдь выражаются газеты? Изъ вашихъ бумагъ я понялъ, что вы хлопочете объ образованіи, обрусеніи вашихъ единовѣрцевъ. Это, само по себѣ, очень похвально и, можно даже сказать, желательно; но начальство все таки можетъ придираться къ вамъ подъ предлогомъ, что вы мѣшаетесь не въ свое дѣло, что вы агитаторъ. Администраторъ такъ и аттестуетъ васъ. Хорошо, что я знаю, что администраторъ—человѣкъ недалекій и на его аттестаціи не обращаю ни малѣйшаго вниманія; но что бы было, еслибы на моемъ мѣстѣ сидѣлъ другой? Васъ административнымъ порядкомъ выслали бы изъ края. А потому я вамъ совѣтую быть осторожнымъ, въ особенности въ такое безпокойное время. Вы мнѣ обѣщаете?

— Пріиму вашъ совѣтъ къ свѣдѣнію,—отвѣчалъ Саринъ, поклонившись.

— Еще одинъ совѣтъ,—продолжалъ полковникъ,—очень можетъ быть, что генералъ потребуетъ васъ къ себѣ, чтобы прочитать вамъ наставленіе:—такъ я вамъ совѣтую ничего не говорить, не разсуждать, а только благодарить за освобожденіе.

— Благодарить за освобожденіе! — воскликнулъ Саринъ, почти вспыхнувъ,—меня ни за что, ни про что держали цѣлый мѣсяцъ въ тюрьмѣ, а я долженъ еще благодарить, что освободили!

— Что-жъ дѣлать, порядокъ такой, —объяснилъ полковникъ. Если будете горячиться, то вамъ-же худо будетъ.

— Дѣлать нечего,—согласился наконецъ Саринъ;—постараюсь держаться порядка.

— И хорошо сдѣлаете,—сказалъ полковникъ, протянувъ Сарину два пальца на прощанье.

Вечеромъ того-же дня Саринъ былъ выпущенъ изъ тюрьмы. У воротъ его ожидали почти всѣ члены кружка, въ томъ числѣ и m-lle Софія Аронсонъ. Всѣ бросились обнимать его.

— Гдѣ Петръ Аѳанасьевичъ? —спросилъ Саринъ, замѣтивъ отсутствіе Дубова.

— Выслалъ въ Петербургъ, шепнулъ ему на ухо Мозырскій.

— Порядокъ такой!—многозначительно проговорилъ Сарыгъ, язвительно улыбнувшись.

XI.

Зима 1863 года была необыкновенно теплая. Вмѣсто рождественскихъ и крещенскихъ морозовъ и снѣговъ, стоялъ густой осенній туманъ, сквозь который проглядывало солнце тускло, но постоянно. Носились даже слухи, что гдѣ-то на деревьяхъ показались почки и что скотъ былъ снова выпущенъ на подножный кормъ. Полагали, что въ февралѣ придется взяться за полевыя работы. О санномъ пути нечего было и думать: бывали дожди, бывалъ градъ, а снѣга ни щепотки. Сама природа, казалось, благопріятствовала поликамъ, которые почему то предпочли зимнюю кампанію лѣтней. По данному сигналу, мятежъ одновременно вспыхнулъ въ разныхъ мѣстахъ царства и уже съ самыхъ первыхъ дней сталъ принимать угрожающіе размѣры. Въ лѣсахъ, точно изъ земли, выросли вооруженныя банды, бросившіяся прежде всего на телеграфные столбы, желѣзно-дорожные рельсы, да кое гдѣ на разрозненныя воинскія команды. Менѣе чѣмъ въ десять дней, пламя пожара перевалило за границу Волыни, Литвы и Жмуди. Менѣе чѣмъ въ пятнадцать дней, огонь уже охватилъ всѣ провинціи бывшей Рѣчи Посполитой.

Въ одинъ январьскій вечеръ 1863 года, большой господскій домъ, на мызѣ графини Сташицкой, былъ такъ ярко освѣщенъ, что онъ издали казался весь стоящимъ въ огнѣ. Къ его крыльцу, тоже освѣщенному фонарями и плошками, съ самыхъ сумерекъ стали подъѣзжать галопомъ какіе-то всадники, загримированные и въ фантастическихъ костюмахъ. Сдавъ своихъ лошадей ожидавшимъ здѣсь конюхамъ и шепнувъ что-то на ухо стоявшему въ сѣняхъ дворецкому, всадники отправлялись во внутренніе покои.

Въ большой танцовальной залѣ, носившей громкое названіе ротонды, по самой серединѣ, стоялъ большой круглый столъ, который ломался подъ тяжестью установленной на немъ серебряной, фарфоровой и хрустальной посуды съ яствами, фруктами и цвѣтами. У одной изъ стѣнъ стоялъ большой

буфетъ съ разными напитками и холодною закускою. Отъ времени до времени къ нему подходилъ то одинъ, то другой изъ гостей, выпивалъ рюмку, закусывалъ и возвращался къ прочей компаніи. Кромѣ хозяйки и знакомыхъ уже читателю Юліи Крутицкой, княжны Мильфоръ, Ядвиги фонъ-деръ-Борстъ, Изабеллы Слупкевичъ, Полины Кранцъ, ксендза Квецинскаго, Вацлава Зарембы и Андрея Грушевича, который, недѣлю тому назадъ, былъ помилованъ и опять принятъ въ составъ жонда, мы здѣсь встрѣчаемъ двухъ прапорщиковъ, только что выпущенныхъ изъ корпуса, двухъ французовъ, именующихъ себя инженерами, одного нѣмца техника, четырехъ молодыхъ помѣщиковъ съ бородками à la Napoleon III, одного отставнаго гимназиста, съ очень рябымъ и очень дерзкимъ лицомъ, и двухъ молодыхъ ксендзовъ въ лоснящихся ластинговыхъ сутанахъ.

Всѣ эти гости, за исключеніемъ французовъ и нѣмца, громко разговариваютъ, горячатся, хохочутъ и курятъ. Иностранцы же, отъ времени до времени, отпускаютъ свое certainement или gewiss съ соотвѣтственною жестикуляціею, хотя они только догадываются о смыслѣ оживленнаго разговора, идущаго на польскомъ языкѣ.

Въ кабинетѣ же графини, графъ Тенчинскій важно засѣдаетъ за генеральною картою Западнаго края и диктуетъ четыремъ довудцамъ, сидящимъ тутъ же за большимъ кухоннымъ столомъ, ихъ маршруты, при чемъ онъ имъ объясняетъ, съ вѣсомъ опытнаго боеваго генерала, стратегическую цѣль, которую они должны имѣть въ виду. Довудцы, произведенные сегодня же въ полковники, съ благоговѣніемъ слушаютъ объясненія главнокомандующаго и записываютъ въ свои записныя книжечки.

— Прошу насъ, панове, — говоритъ главнокомандующій, — строго держаться параллельнаго движенія впередъ, такъ чтобы каждая колонна была увѣрена, что имѣетъ на кого опереться въ случаѣ надобности. Вы, по возможности, и будете поддерживать сношенія между собою. — Предложивъ довудцамъ еще нѣкоторые вопросы, графъ Тенчинскій всталъ изъ за стола, закурилъ сигару, зашагалъ по комнатѣ взадъ и впередъ и сталъ диктовать послѣднія инструкціи.

Часу въ десятомъ, когда кабинетная работа была окончена, графъ, въ сопровожденіи доманевъ, вошелъ въ ротонду. Разговоръ во всѣхъ углахъ комнаты прекратился. Глаза всѣхъ съ напряженнымъ вниманіемъ обратились на генерала и полковниковъ. По данному генераломъ знаку и по приглашенію хозяйки, гости сѣли за столъ.

Кушали молча: каждый сознавалъ и чувствовалъ торжественность этой минуты. Лицо графа было необыкновенно серьезно, почти мрачно. Глаза его уткнулись въ тарелку, но мысли его, очевидно, были далеко отъ тарелки и даже отъ дома, гдѣ онъ теперь находился, такъ какъ онъ не ѣлъ, а только машинально держалъ въ рукѣ вилку. Это однакоже не мѣшало прочимъ гостямъ молча уписывать все, что имъ попадалось.

Подали шампанское. Бокалы были наполнены, но никто къ нимъ не притрогивался. Всѣ чего-то ожидали отъ генерала. Послѣдній, взглянувъ на свои часы, не заставилъ себя долго ждать. Онъ взялъ свой бокалъ, всталъ и началъ:

— Панове!

Всѣ гости встали.

— Сегодня церковь наша празднуетъ обрученіе Пресвятой Дѣвы, а мы празднуемъ теперь наше обрученіе съ святой для насъ ойчизной, которую мы должны освободить изъ предательскихъ объятій тирановъ. Мы будемъ плохими поляками, плохими женихами, плохими кавалерами, если мы, для освобожденія нашей возлюбленной, не будемъ рисковать нашимъ достояніемъ, нашею кровью, нашею жизнью!

— Будемъ! Будемъ!—воскликнули гости въ одинъ голосъ.

— Я вамъ вѣрю и благодарю васъ отъ имени ойчизны,— продолжалъ графъ.—Часъ возмездія насталъ. Слезы ойчизны и кровь нашихъ братьевъ, павшихъ на полѣ брани и замученныхъ въ сибирскихъ рудникахъ, вопіютъ о мщеніи. Будемъ мстить врагу и спасать себя. Весь цивилизованный міръ за насъ и противъ узурпатора. Это должно удвоить нашу исконную храбрость, извѣстную всему міру. На насъ смотрятъ, какъ на передовую стражу западной Европы, долженствующую охранять вѣками добытую цивилизацію отъ варварскаго нашествія дикихъ московскихъ ордъ. Нашъ родакъ

уже разъ спасъ Европу отъ мрака полумѣсяца, будемъ теперь въ свою очередь спасать ее отъ прожорливости двуглаваго орла, ищущаго добычи на Западѣ и на Востокѣ. Да будетъ каждый изъ насъ Собіесскимъ, такъ побѣда останется за нами. Не забудемъ, что мы—поляки, т. е. народъ благороднѣйшій, первенствующій между славянскими племенами. Наша роль повелѣвать, а не покоряться. Только интриги, несогласія и зависть сосѣдей сдвинули насъ съ колеи, предназначенной намъ провидѣніемъ; постараемся теперь быть выше интригъ, выше несогласій и недосягаемы для безсильной зависти, такъ мы опять попадемъ на нашу колею. Jeszcze Polska nie zginela, kiedy my żyjemy! Да здравствуетъ Польша! — провозгласилъ онъ и началъ чокаться.

— Виватъ! Виватъ! — кричали всѣ присутствующіе, чокаясь и обнимаясь.

Графъ выпилъ свой бокалъ. Потомъ, поднявъ его выше головы и бросивъ его на полъ, провозгласилъ:

— Смерть москалямъ!

Всѣ присутствующіе послѣдовали его примѣру. Офиціанты принесли новые бокалы и взялись за откупориваніе бутылокъ шампанскаго и венгерскаго, стоявшихъ на буфетѣ цѣлыми батареями. Пошла попойка, сопровождавшаяся виватами, поцѣлуями, обниманьемъ, веселымъ говоромъ и хохотомъ. Разгоряченные виномъ мужчины почувствовали себя Собіескими и стали описывать самыми живыми красками чудеса храбрости... которыя имъ предстояли, поминутно цѣлуя ручки у дамъ и обѣщая имъ забрать въ плѣнъ, кто эскадронъ кавалеріи, кто три батареи артиллеріи и кто даже цѣлую дивизію со всѣмъ обозомъ. Само собою разумѣется, что всѣ эти трофеи они сложатъ у ногъ своихъ дамъ, «одинъ поцѣлуй которыхъ для нихъ дороже всей дивизіонной казны». Дамы были въ восхищеніи отъ своихъ храбрыхъ и благородныхъ рыцарей и позволяли имъ цѣловать свои ручки и свои локоны, сколько ихъ душѣ угодно было.

Во время попойки, графа въ ротондѣ уже не было. Послѣ перваго выпитаго бокала, онъ со своими полковниками удалился въ кабинетъ. Около полуночи онъ вышелъ къ пирующимъ и скомандовалъ:

— Въ походъ, братцы!

Водворилась тишина. Мужчины бросились къ своимъ саблямъ. У многихъ сердце екнуло и лицо вытянулось.

— Панове!—сказалъ кто-то—какъ рыцарямъ, намъ слѣдуетъ получать наши сабли изъ рукъ нашихъ любезныхъ дамъ, которыхъ мы всегда привыкли отождествлять съ отчизною. Какая полька не олицетворяетъ собою умной, чувствительной, благородной, храброй и обворожительной Польши?

— Дѣло! Дѣло!—согласились всѣ присутствующіе.

Дамы разобрали сабли и образовали изъ себя полукругъ. Кавалеры подходили, преклоняли колѣно и получали свои сабли, предварительно поцѣловавъ саблю и руку, державшую ее. Послѣ этой импровизированной церемоніи, кавалеры, пристегнувъ свои сабли къ кушакамъ и надѣвъ на бекрень свои конфедератки, бросились къ выходамъ, къ ожидавшимъ ихъ верховымъ лошадямъ. Для дамъ же приготовлены были кареты.

Полчаса спустя, вся кавалькада, въ предшествіи пѣшихъ и конныхъ факельщиковъ, уже находилась на пути отъ мызы графини Сташицкой до Лясу.

Лясъ, принадлежавшій той же графинѣ Сташицкой, отстоялъ отъ мызы на разстояніи двухъ верстъ съ половиною. Въ то время, когда главнокомандующій съ довудцами и съ штабомъ пировалъ въ ротондѣ, на большой полянѣ передъ лѣсомъ, вокругъ зажженныхъ костровъ, толпились люди въ очень странныхъ костюмахъ, не то охотничьихъ, не то крестьянскихъ, лишь бы по теплѣе. Вооружены были эти люди тоже довольно пестро: кто карабиной, кто косою, кто сѣкирою, кто болвшимъ кухоннымъ ножомъ и кто просто завостренной дубиной. Несмотря на это разнообразіе въ вооруженіи, люди эти всѣ вмѣстѣ, числомъ до трехсотъ, носили одно собирательное имя: отрядъ косиньеровъ № 1-й. У опушки лѣса, дюжина крестьянскихъ фуръ съ не очень тяжелой поклажей изображала собою обозъ этого отряда.

Поодаль отъ костровъ и обоза, по протоптанной на полянѣ тропинкѣ, какой-то старикъ мѣшковатаго тѣлосложенія,

въ грубой сѣрой чамаркѣ и высокихъ сапогахъ, съ кавалерійскою саблею у бедра и съ сложенными на спинѣ руками, ходилъ взадъ и впередъ, поглядывая то на людей, толпившихся около костровъ, то на дорогу, ведущую къ мызѣ. Ему, видимо, очень нетерпѣливилось, потому что отъ времени до времени онъ разражался такими проклятіями, которыя услышите отъ поляка, развѣ когда онъ ужъ очень сердитъ. Этотъ сердившійся полякъ былъ ни кто иной, какъ панъ Видра, начальникъ отряда, которому сегодня же предстояла честь открытія кампаніи. Онъ сердился на графа и его свиту, почему-то медлящихъ своимъ прибытіемъ въ армію, и ежеминутно посылалъ ихъ къ чорту, какъ будто это должно было ускорять сборы паничей, которыхъ онъ съ удовольствіемъ повѣсилъ бы, если бы это только отъ него зависѣло. Армія же, какъ видно, совсѣмъ не раздѣляла нетерпѣнія своего начальника: она, разбившись на группы, расположилась вокругъ костровъ и предалась совершенно мирнымъ занятіямъ: кто покуривалъ трубочку, кто чинилъ свой кожухъ, кто калякалъ съ своими ближайшими сосѣдями и кто, усѣвшись на пнѣ, наиблагодушнѣйшимъ образомъ храпѣлъ. Только одна группа нѣсколько напоминала собою лагерь. Посрединѣ ея стоялъ какой-то долговязый старикъ съ сѣдыми усами, въ военной шинели и въ конфедераткѣ, и что то разсказывалъ, размахивая руками и подражая ртомъ свисту пуль, топоту конницы и грохоту барабановъ. Это былъ вахмистръ бывшаго польскаго войска. Онъ разсказывалъ о кампаніи тридцать перваго года, въ которой онъ участвовалъ. Его слушали съ напряженнымъ вниманіемъ и любопытствомъ, хотя онъ путалъ событія и больше сочинялъ, чѣмъ описывалъ дѣйствительно имъ видѣнное. Вдали отъ группъ и костровъ, сидѣло двое молодыхъ людей въ довольно щегольскихъ повстанскихъ костюмахъ и покуривали папиросы. Отъ времени до времени они переговаривались на нѣмецкомъ языкѣ.

— Стало быть, мы идемъ за справу? — спрашивалъ одинъ.

— За справу,—отвѣчалъ другой.

— И противъ абсурда?

— И противъ абсурда.

— Ладно, дай огня.

Читатель, вѣроятно, догадывается, что эти молодые люди были—Жюль Перецъ и Джонъ Берковичъ.

Около полуночи, со стороны мызы послышались два ружейныхъ выстрѣла и горизонтъ на секунду освѣтился взвившимися къ облакамъ двумя ракетами. Этого было достаточно, чтобы армія дрогнула и бросилась бѣжать.

— Москали! Москали!—кричали повстанцы, удирая въ лѣсъ и опрокидывая другъ друга.

— Куда вы, черти?—кричалъ имъ въ слѣдъ вахмистръ, не трогаясь съ мѣста. Какіе тамъ москали? Это ракеты, фейерверкъ, сигналъ. Эхъ, мужичье, мужичье!

Панъ Видра, находившійся было тоже на пути въ лѣсъ, опомнился, выхватилъ свою саблю и, бросившись за бѣгущею арміею, неистово закричалъ:

— Назадъ, подлецы! Не то,—я васъ искрошу этою саблею. Ишь, удирать вздумали, поганцы!

Поганцы возвратились назадъ.

— Эхъ трусы вы, трусы,—упрекалъ ихъ вахмистръ. — Какіе вы жолнеры? Съ сохой вамъ возиться, а не воевать. Ишь, ракеты испугались, ха, ха, ха!

Взвилась еще одна ракета.

Панъ Видра вопросительно взглянулъ на бывалаго вахмистра, какъ-бы спрашивая объясненія этихъ небесныхъ знаменій.

— Должно быть,—отвѣчалъ вахмистръ охорашиваясь, — штабъ оставилъ главную квартиру и скоро сюда прибудетъ.

— Въ шеренги!—скомандовалъ панъ Видра и захлопоталъ около своей арміи.

Догадка вахмистра оправдалась. Десять минутъ спустя, на дорогѣ, ведущей къ мызѣ, показались факельщики, а за ними большая кавалькада всадниковъ въ фантастическихъ костюмахъ.

— Baczność!—закричалъ панъ Видра, ставъ во главѣ первой шеренги, понатужа грудь и засопѣвъ всѣмъ своимъ одутловатымъ лицомъ.

Кавалькада рысью приближалась къ шеренгамъ.

Впереди всѣхъ ѣхалъ самъ генералъ на красивой вороной лошади въ серебряной сбруѣ. Онъ былъ одѣтъ въ

теплую чамарку и высокіе сапоги со шпорами; на головѣ же онъ, вмѣсто конфедератки, имѣлъ черкескую папаху съ краснымъ верхомъ, что придавало его лицу много воинственности.

— Здорово, ребята!—поздоровался онъ съ арміею.

— Виватъ, пане грабіо!—грянула послѣдняя.

У другаго края шеренги кто-то началъ было трубить въ охотничій рожокъ, думая, что эта музыка теперь очень умѣстна, но онъ былъ пріостановленъ громкимъ: «nie trzeba!» графа.

Объѣхавъ всѣ шеренги и осмотрѣвъ обозъ, графъ, передавъ отрядъ одному изъ довудцевъ и сказавъ нѣсколько напутственныхъ словъ, скомандовалъ:

— Вольнымъ шагомъ, съ паномъ Богомъ—въ походъ!

Отрядъ двинулся въ походъ при крикахъ: виватъ, Польша! виватъ, пане грабіо!

— Теперь, панове,—сказалъ графъ своей свитѣ, когда отрядъ уже скрылся съ глазъ,—поѣдемъ къ другимъ отрядамъ. Рухавка должна начаться сегодня на всѣхъ пунктахъ.

Кавалькада, предшествуемая факельщиками, тихо и торжественно завернула на тропинку, углублявшуюся въ лѣсъ и ведущую ко всѣмъ пунктамъ, о которыхъ говорилъ графъ.

XII.

Въ то время, когда Полина Кранцъ находилась на мызѣ графини Сташицкой, чтобы, на равнѣ съ прочими патріотками, участвовать въ проводахъ арміи въ походъ, въ домѣ ея отца происходила необычайная суматоха.

На постели, перенесенной изъ спальни въ залъ, старый Кранцъ лежалъ при смерти. Въ теченіи двухъ-трехъ дней онъ получилъ два аппоплексическихъ удара: отъ перваго онъ лишился употребленія языка, а отъ втораго—обмерла рука и одна нога. Около больнаго съ утра до вечера суетились доктора, фельдшера и многочисленные друзья почтеннаго старика. Каждые три часа, по настоянію Адольфа, потерявшаго голову, но не терявшаго надежды, происходили консиліумы. Доктора флегматически исполняли обрядъ, для формы что нибудь прописывали и даже торопили прислугу въ аптеку, но

многозначительно пожимали плечами и поглаживали туго накрахмаленные воротники своихъ манишекъ, какъ бы говоря: мы свое дѣло дѣлаемъ, мы лечимъ ad leges artis, но мы не отвѣчаемъ, если исходъ будетъ ad patres. Саринъ же и Мозырскій, находившіеся почти безотлучно при Адольфѣ, помогая ему распоряжаться, старались подъ рукой приготовлять своего друга къ предстоящему ему тяжкому удару.

Внезапная болѣзнь стараго Кранца была вызвана внезапнымъ исчезновеніемъ Полины изъ родительскаго дома. Старикъ какъ-то разъ вечеромъ зашелъ въ ея комнату, думая найти ее за чтеніемъ или за работой; но, вмѣсто своей дочери, онъ нашелъ на столѣ клочекъ бумаги, на которой было написано: «Я уѣзжаю; не знаю, когда возвращусь, можетъ быть совсѣмъ не возрвращусь. Благодарю за все. Прощайте! Вы обо мнѣ еще услышите».

Старикъ чуть не обезумѣлъ. Онъ схватился за голову и закричалъ, какъ зарѣзанный. Его отчаянный рыкъ разнесся по всему дому. Прибѣжали люди. Прибѣжалъ Адольфъ ни живъ, ни мертвъ.

— Вотъ,—хрипѣлъ старикъ, указывая на записку Полины и задыхаясь отъ волненія,—бѣги... приведи... скорѣй... сію минуту... умру.

Онъ затрясся и чуть не упалъ, но былъ поддержанъ людьми. Адольфъ же бросился отыскивать Полину.

Зная, гдѣ Полина обыкновенно проводила свое время, онъ полетѣлъ къ графинѣ Сташицкой, но нашелъ подъѣздъ запертымъ, а въ окнахъ ни малѣйшаго освѣщенія. Онъ, однакоже, сталъ звонить и звонилъ до тѣхъ поръ, пока звонокъ не оборвался. Въ воротной калиткѣ появилась какая-то баба.

— Что вамъ угодно?—окликнула она Адольфа.

— Гдѣ графиня Сташицкая?

— Уѣхала въ Варшаву.

— Не было ли здѣсь Полины Кранцъ?

— Почемъ мнѣ знать? Можетъ и была. Я судомойка, въ покои не хожу.

Пока Адольфъ возвратился домой, со старикомъ случился первый ударъ. Медики захлопотали, стали усердствовать и

накликнули второй ударъ. Больной одною ногою стоялъ въ гробѣ.

На пятый день старый Кранцъ уже обѣими ногами былъ опущенъ въ гробъ.

Два мѣсяца спустя, Адольфъ Кранцъ писалъ къ Мэри Тидманъ слѣдующее:

«Отецъ мой скончался; Полина больна; лѣтомъ ее нужно будетъ отвезти за-границу... къ Грезингеру: здѣшніе медики о леченіи душевныхъ болѣзней и понятія не имѣютъ. Мозырскій собирается въ университетъ, Саринъ тоже куда-то уѣхалъ. Нашъ кружокъ разстроился совсѣмъ: въ Россіи ферейновъ не полагается. Ѣхать въ университетъ мнѣ невозможно, по крайней мѣрѣ, теперь: отецъ оставилъ мнѣ въ наслѣдство множество неоконченныхъ дѣлъ. Ликвидировать теперь же дѣла нашей фирмы будетъ весьма убыточно: пахнетъ сотнею тысячъ рублей... Наша фирма существовать д о л ж н а, я д о л ж е н ъ поддерживать ея честь, ея доброе имя въ коммерческомъ мірѣ. Мнѣ крайне не хотѣлось бы быть купцомъ, но что подѣлаешь съ судьбою? Я купцомъ быть д о л ж е н ъ, не то—я буду раззоренъ.

«Но я одинокъ, убитъ горемъ, погруженъ въ апатію.

«Если ты, мой дорогой другъ, хоть нѣсколько любишь меня; если ты хоть нѣсколько жалѣешь меня; если ты хоть нѣсколько понимаешь, какъ дорога ты моему сердцу; если тебѣ хоть нѣсколько тяжела наша разлука,—то пріѣзжай, забудь нашу размолвку, забудь мою кажущуюся холодность, и пріѣзжай. Мы созданы другъ для друга, мы должны идти въ жизн в м ѣ с т ѣ, я это всегда чувствовалъ, я въ этомъ всегда былъ убѣжденъ, а потому... пріѣзжай. Я съ нетерпѣніемъ и со страхомъ буду ожидать твоего отвѣта, отъ котораго зависитъ вся моя будущность, почти моя жизнь».

Мэри отвѣтила по телеграфу: «пріѣду».

Саринъ уѣхалъ изъ Н* вслѣдствіе слѣдующаго, полученнаго имъ отъ капитана Вольскаго, письма:

«До меня дошло, что Людвися находится теперь въ Г*. Что она тамъ дѣлаетъ? Это очень безпокоитъ меня. Неужели жонду удалось завлечь и ее? Нѣтъ, это уже будетъ слишкомъ. Ойчизна не имѣетъ на нее никакого права. Я отцу поклялся жертвовать собою, но не своими дѣтьми. А потому ты немедленно отправишься въ Г*, возьмешь Людвисю и водворишь ее въ Яблоновкѣ, откуда ей не выѣзжать ни на шагъ—подъ опасеніемъ моего родительскаго гнѣва, проклятія. Ты, кстати, пожуришь мою барыню за ея непростительное легкомысліе. Скажи имъ всѣмъ, что я приказываю, чтобы они сидѣли смирно!.. А тебѣ поручаю поселиться въ Яблоновкѣ и караулить ихъ впредь до оканчанія кампаніи.

«О себѣ ничего не пишу, потому что не стоитъ. Что насъ бьютъ и перебьютъ, въ томъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія... Да, я чуть не забылъ сказать, что у меня на всякій случай приготовленъ ядъ, стало быть, я передъ военный судъ никогда не предстану. Это очень важно. Я этому такъ радъ, что я... Но прощай!..»

Прочитавъ письмо, Саринъ собрался и сейчасъ-же уѣхалъ.

XIII.

Мартъ 1863 года. На одной изъ проселочныхъ дорогъ, проведенныхъ между фольварками западняго края, плетется, позѣвывая и отплевываясь, небольшой отрядъ, состоящій изъ одной роты пѣхотинцевъ, двухъ десятковъ донскихъ казаковъ и двухъ орудій со всѣми ихъ принадлежностями. По усталому, почти болѣзненному виду солдатъ легко догадаться, что отрядъ этотъ уже не первый день въ походѣ. Тѣмъ не менѣе однакоже, люди топчутъ бѣлорусскую грязь довольно бодро, оглядываясь поминутно по сторонамъ, не засѣла-ли гдѣ нибудь засада, до которой повстанцы оказались большими охотниками. Командующій отрядомъ полковникъ почти не разстается съ подзорною трубою: съ высоты своей верховой лошади онъ возводитъ ее на каждую рощицу, на каждый кустъ, на каждую полуразвалившуюся избенку, попадающуюся на пути.

Впереди отряда шагаетъ, помахивая руками и перепры-

гивая ухабы, тщедушный еврей въ истертой енотовой шубенкѣ, перепоясанный ремнемъ. Еврей этотъ—знакомый читателю шинкарь Шмуль, самъ вызвавшійся быть проводникомъ этого отряда.

— Бѣда съ этими панками,—говорилъ одинъ унтеръ-офицеръ другому, набивая на ходу свою трубку. Хотите воевать, такъ воюйте, какъ всѣ добрые люди воюютъ. Стройся въ шеренги, жди команды и стрѣляй, аль пустись въ рукопашную. А то нѣтъ: покажется чучело гороховое, выстрѣлитъ безъ прицѣла и — давай драла, а потомъ гоняйся за нимъ, какъ за зайцемъ.

— Что̀ и говорить,— отвѣчаетъ другой унтеръ-офицеръ,— это народъ отпѣтый; артикула не знаетъ и туда же воевать суется. Не воевать-бы съ ними, а съ облавой пойти на нихъ, какъ на лѣсного звѣря, вотъ что! Даромъ порохъ тратишь! Тьфу!

— Эй, Шмуль! — крикнулъ полковникъ, — что это за строеніе?

— Гдѣ, ваше благородіе?—спрашиваетъ Шмуль.

— Да вонъ тамъ, прямо. Развѣ не видишь черепичной крыши?

— Черепичная крыша?—переспрашиваетъ Шмуль, остановившись.—Такъ оно заводъ и есть.

— Заводъ?—крикнулъ полковникъ, выхвативъ свою саблю.—Ребята! Скорымъ шагомъ! За мной!

— Ваше благородіе!—сказалъ Шмуль, подошедъ къ полковнику, когда отрядъ находился уже въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ какого-то большого строенія съ черепичною крышею.—Это не заводъ, а хлѣбный магазинъ. Мы не туда зашли.

— Куда же ты насъ ведешь, подлецъ? — накинулся на него полковникъ, ткнувъ еврея концомъ сабли.—Эй, берегись, Шмуль! не плутуй! Въ одинъ мигъ снесу твою башку.

— Намъ нужно взяться направо, вонъ и дорожка есть, — отвѣтилъ Шмуль, какъ бы не слыша угрозы полковника.

Отрядъ завернулъ на дорожку, что направо и, полчаса спустя, онъ очутился передъ огромнымъ каменнымъ зданіемъ съ очень высокими дымными трубами.

— Заводъ, заводъ!—закричалъ Шмуль, хлопая въ ладо-

ши.—Прикажите стрѣлять, г. Полковникъ, Здѣсь повстанцы.

Полковникъ велѣлъ бить тревогу и подъ грохотъ барабановъ отрядъ окружилъ зданіе со всѣхъ сторонъ.

Видно было, что во всѣхъ этажахъ огромнаго зданія зашевелились и засуетились люди. Окна распахнулись, въ нихъ появились повстанцы въ конфедераткахъ и съ блѣдными лицами.

— Сдавайтесь! — громко закричалъ полковникъ, подъѣхавъ близко къ зданію.

Повстанцы въ недоумѣніи глядѣли на шеренги солдатъ и ничего не отвѣчали: они растерялись.

— Сдавайтесь, господа!—крикнулъ полковникъ еще громче,—сдавайтесь, такъ вы будете помилованы. Государь милостивъ.

— Vive la Pologne! — послышалось изъ среды повстанцевъ и, вслѣдъ затѣмъ, послѣдовалъ пистолетный выстрѣлъ.

Солдаты заворчали и вопросительно взглянули на своего командира.

— Я въ третій разъ приглашаю васъ сдаться,—кричалъ послѣдній, трясясь отъ гнѣва,—не то—прикажу стрѣлять.

Вмѣсто отвѣта, изъ оконъ зданія послѣдовало нѣсколько выстрѣловъ, и повстанцы взялись за свои винтовки.

Полковникъ отъѣхалъ отъ зданія и отдалъ приказъ. Менѣе чѣмъ въ пять минутъ, перестрѣлка находилась въ полномъ разгарѣ и вскорѣ заводъ загорѣлся во многихъ мѣстахъ.

— Пожаръ!—кричалъ Шмуль, бѣгая, какъ изступленный, туда и сюда, любуясь на зарево и хлопая въ ладоши.— Вотъ вамъ за мою хатку! А что, вы будете бунтовать? Будете гнать насъ изъ края! Ухъ, какъ важно горитъ!... Молодцы, солдатушки! — похваливалъ онъ, вертясь около шеренгъ.—Дай Богъ вамъ здоровья! Государь вамъ хрестъ пожалуетъ, а я вамъ ведро водки поставлю, ей Богу!... Валяй, ребята!.. Вонъ оно что. Зубъ за зубъ,—глазъ за...

Но въ эту минуту пуля попала ему въ лобъ и онъ упалъ и замолкъ на вѣки.

Перестрѣлка продолжалась и въ скоромъ времени послышался «пардонъ!» повстанцевъ, махавшихъ бѣлыми платками.

— Что? Сдаетесь?!—послышался громовой голосъ одного

повстанца: Не смѣете! Nie pozwalam! Сражаться — такъ сражаться до послѣдней капли крови. Сражайтесь же вы, трусы и измѣнники!

Полковникъ подъѣхалъ къ окну, откуда слышался этотъ голосъ. Поднявшись на стременахъ, онъ увидѣлъ передъ собою молодаго человѣка съ черными курчавыми волосами и съ необыкновенно выразительнымъ лицомъ, пылавшимъ отъ гнѣва, отчаянія и рѣшимости. Въ каждой рукѣ онъ держалъ по пистолету.

— Смерть Москалямъ! — воскликнулъ молодой человѣкъ, заскрежетавъ зубами, когда увидѣлъ предъ собою полковника. Смерть Москалямъ!—повторилъ онъ свой лозунгъ и выстрѣлилъ.

Полковникъ пошатнулся и упалъ съ лошади.

Солдаты, не ожидая команды, съ остервѣненіемъ бросились къ дверямъ зданія, выломали ихъ, проникли къ повстанцамъ и грозно мстили за смерть своего командира...

XIV.

Аркадій Саринъ Адольфу Кранцу.
Женева, май 1864 г.

«Вы, вѣроятно, уже привыкли считать меня пропавшимъ безъ вѣсти или даже умершимъ: но я какъ видите, не пропалъ и не умеръ, а потому шлю къ вамъ сіе посланіе. Я очутился за границей отчасти вслѣдствіе влеченія сердца или предопредѣленія судьбы, отчасти же, чтобы разсѣяться отъ тяжелаго впечатлѣнія, которое произвела на меня печальная драма, разъигравшаяся въ нашемъ несчастномъ краѣ. Изъ тишины берлоги, въ которую я удалился, я слѣдилъ за всѣмъ, что дѣлалось, но не давалъ о себѣ знать, потому что мнѣ не хотѣлось, чтобы кто нибудь зналъ о моемъ существованіи, которое съ каждымъ днемъ становилось для меня невыносимѣе. «Ruhe, сказалъ Берне,—ist Glück, wenn sie ein A u s r u h e n ist, wenn wir sie gewählt, wenn wir sie gefunden, nachdem wir sie gesucht; aber Ruhe ist kein Glück, wenn, wie in unserem Varterlande, sie unsere einzige Beschäftigung ist». Я не искалъ и не хотѣлъ отдыха, я искалъ дѣла и почти нашелъ его. Меня отрѣзали отъ

дѣла, такъ я хотѣлъ отрѣшиться отъ жизни, такъ какъ послѣдняя казалась мнѣ невозможною безъ перваго. Я умиралъ медленно, потому что на немедленную смерть у меня не хватило энергіи, и я съ нетерпѣніемъ ожидалъ минуты, когда свѣча моя погаснетъ отъ посторонняго дуновенія...

«Но одно письмо изъ извѣстнаго города и отъ извѣстной особы, играющей очень важную роль въ моей жизни, внезапно вырвало меня изъ обуявшей меня апатіи, и я послѣдовалъ обаятельному зову, сперва машинально, но потомъ сознательно, съ восторгомъ. Я въ первый разъ въ жизни узналъ, что и сердце имѣетъ свои права, и я въ первый разъ въ жизни рѣшился не препятствовать его влеченію и и не раскаиваюсь въ своемъ рѣшеніи.

«Не ждите отъ меня подробнаго восторженнаго, а для посторонняго скучнаго, разсказа о моей любви, предметѣ моей любви, и перипетіяхъ, чрезъ которыя она проходила до сего дня. Я того мнѣнія, что любовь принадлежитъ къ тѣмъ индивидуальнымъ чувствамъ человѣка, до которыхъ постороннему нѣтъ никакого дѣла. Я люблю и любимъ — вотъ вамъ весь романъ мой, подробности котораго интересны только для меня, но ни для кого больше въ мірѣ, потому пощажу васъ ихъ описаніемъ.

«Нахожусь здѣсь въ обществѣ нѣсколько знакомыхъ вамъ графа Тенчинскаго, графини Сташицкой и Юліи Крутицкой, которые какимъ то чудомъ уцѣлѣли отъ погрома, постигшаго край нашъ. Само собою разумѣется, что колонія новѣйшихъ польскихъ эмигрантовъ не ограничивается вышеназванными лицами: потерпѣвшихъ крушенье наберется здѣсь до сотни; но я не имѣю съ ними ничего общаго, потому что, какъ вамъ извѣстно, я не эмигрантъ. Живу здѣсь по законному паспорту и могу возвратиться въ Россію, когда мнѣ угодно будетъ.

«Графъ посѣдѣлъ и сдѣлался философомъ; графиня постарѣла и сдѣлалась богомолкою, а панна Юлія... Позвольте мнѣ ничего не сказать о ней. По временамъ ими овладѣваетъ такая тоска, которая можетъ быть сравнена развѣ съ тоскою нашихъ палестинскихъ предковъ, которые на рѣкахъ Вавилонскихъ сидѣли и плакали. О,

мнѣ очень понятна эта грызущая, давящая тоска!... Она священна—потому что невыразима. И я плачу вмѣстѣ съ ними, потому что я знаю, что значить не имѣть отечества, жить на чужбинѣ, странствовать и не видѣть конца своимъ странствованіямъ. Поляки тоже будутъ странствовать... Поздравимъ себя попутчиками.

«Поплакавъ, принимаюсь утѣшать ихъ, чѣмъ могу. За вечернимъ чаемъ читаю имъ «Іудейскія войны» Іосифа Флавія. Они находятъ это чтеніе интереснымъ и назидательнымъ. И не мудрено: судьбы Польши и Іудеи имѣютъ въ себѣ очень много аналогическаго: та же крошечность территоріи, то же центральное положеніе между сильными и воинственными сосѣдями, тѣ же великіе задатки, та же живучесть, талантливость и неугомонность, тотъ же изступленный патріотизмъ, вмѣстѣ съ внутренними раздорами партій, и тѣ же несчастія. Это чтеніе доставляетъ намъ обильный матеріалъ для разсужденій и умилительныхъ заключеній, и всѣ чувствуютъ себя значительно облегченными. Мнѣ же очень пріятно видѣть, какъ ясневельможные паны все больше и больше убѣждаются, что мы—не цыгане какіе нибудь, а народъ съ историческою жизнью, со славнымъ прошедшимъ. Графъ намедни такъ и порѣшилъ, что евреи—это поляки древняго міра. Изъ устъ такого родовитаго поляка — это большой намъ комплиментъ.

«Я чуть было не забылъ вамъ сказать, что, мѣсяцъ тому назадъ, я, по просьбѣ графини, навѣстилъ сестру вашу въ Берлинѣ. Она видимо поправляется; ея выздоровленіе, сверхъ ожиданія медиковъ, теперь несомнительно. Доказательство: она узнала меня, припомнила всѣ событія, распрашивала о всѣхъ нашихъ знакомыхъ. Она къ вамъ не пишетъ, потому что доктора пока запрещаютъ ей писать. Когда она окончитъ курсъ леченія, мы переведемъ ее къ намъ. Пусть, до возвращенія на родину, отдохнетъ нѣсколько мѣсяцевъ на лонѣ восхитительной природы и въ средѣ любящихъ ее друзей. Мы здѣсь такъ порѣшили. Графиня считаетъ дни и часы, когда ей возможно будетъ обнять свою любимицу, по которой она сильно тоскуетъ.

«Ну, будетъ. Напишите мнѣ чѣмъ скорѣе и чѣмъ по-

дробнѣе обо всемъ, что можетъ интересовать меня. Будьте увѣрены, я не останусь у васъ въ долгу. Кланяйтесь m-lle Тидманъ, виноватъ, вашей супругѣ, m-lle Аронсонъ и всѣмъ нашимъ добрымъ знакомымъ. Волны женевскаго озера — не струи Леты, а потому я ничего и никого не забылъ изъ моего прошлаго. «Аще забуду тя, Іерусалиме, забвена буди десница моя, прильпни языкъ мой гортани моему». Прошу, чтобы не забывали и меня».

Тотъ же къ тому же.
Женева, іюнь 1864 г.

«Я точно выбывшій изъ строя боевой конь, услышавшій знакомые ему звуки сигнальнаго рожка, которымъ онъ привыкъ повиноваться. Вы наврядъ-ли ожидали, что письмо ваше такъ пріятно взволнуетъ, встрѣвожитъ меня и перевернетъ вверхъ ногами планъ жизни, который я себѣ было составилъ. Какъ, обрусеніе евреевъ взведено у васъ, наконецъ, въ правительственный принципъ, а я буду сидѣть за границей и наслаждаться швейцарскими видами и воздухомъ? Нѣтъ! Это выше силъ моихъ. Я не эпикуреецъ. Я чернорабочій. Хочу труда, хочу работы! Мнѣ стыдно отдыхать на лаврахъ, которыхъ я еще не заслужилъ.

«Хочу въ Россію! Не можетъ быть, чтобы правительство не нуждалось въ насъ, топографахъ, піонерахъ, изучившихъ и очистившихъ почву, на которой оно намѣрено теперь дѣйствовать.

«Встанемъ же всѣ подъ высоко поднятое имъ теперь въ краѣ русское знамя, ибо подъ этимъ знаменемъ, — дастъ Богъ, — мы обрѣтемъ себѣ отечество.

«Мнѣ трудно будетъ вырваться отсюда; но я буду настаивать, буду умолять; объясню имъ долгъ мой, словомъ — вырвусь, такъ или иначе, хоть на короткое время.

«Скажите нашимъ товарищамъ, что нашъ безсрочный отпускъ кончился, что будетъ походъ. Какъ только пріѣду, мы опять сомкнемся въ ряды и опять пойдемъ завоевывать себѣ отечество.

«Побѣда, разумѣется, въ руцѣ Божіей!»

Тотъ же къ тому же.

Вержболово, іюль 1864 г.

(По телеграфу). «Ѣдемъ курьерскимъ поѣздомъ. Ждите нас на бангофѣ. Везу вамъ пріятный сюрпризъ. Надѣюся, вы будете довольны».

Сюрпризъ этотъ была—Полина.






Digitized by Google

